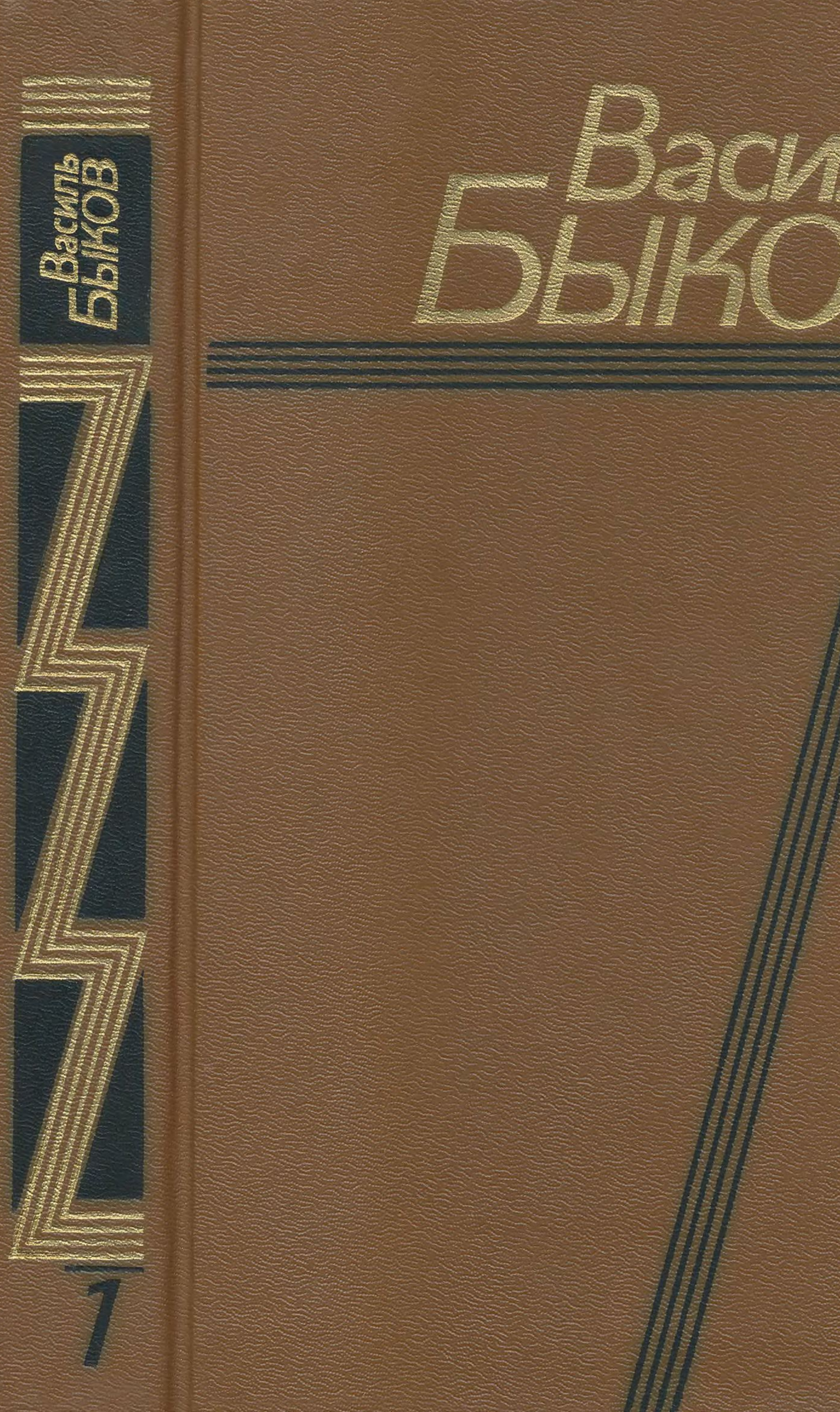
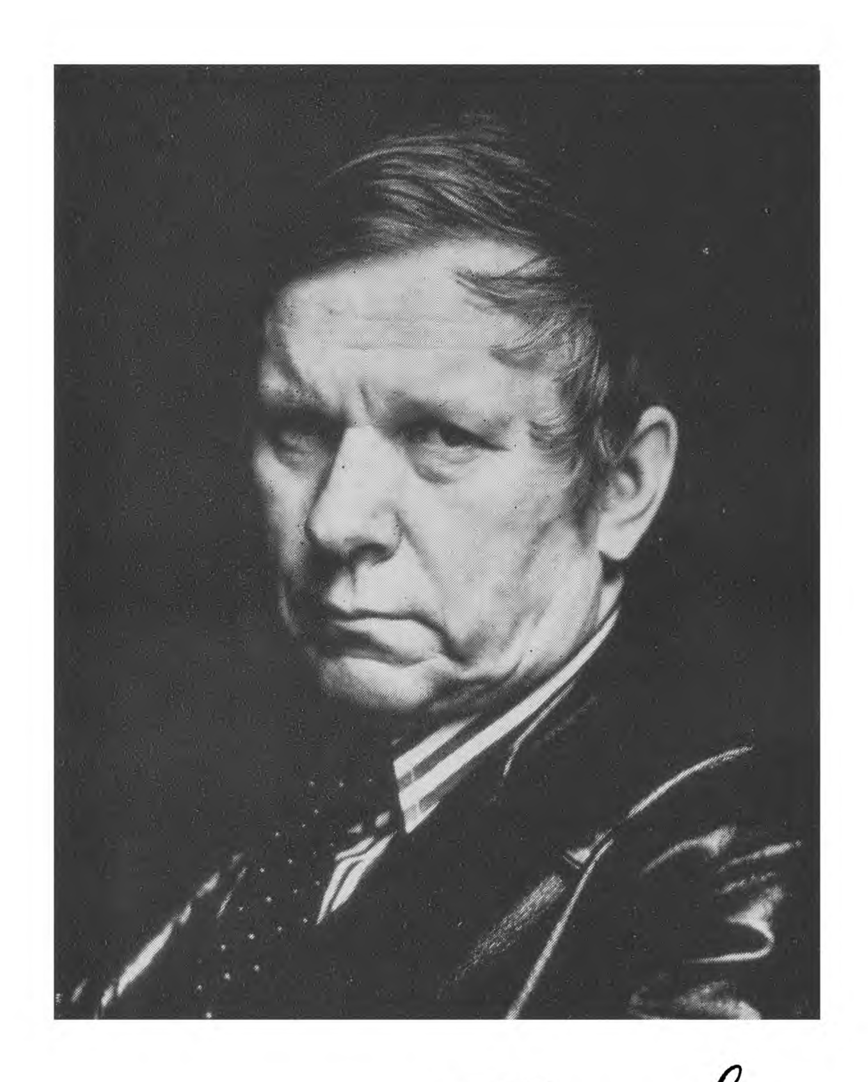


Василь Быков



В. Быков

ВАСИЛЬ
БЫКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Василь Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

84Бел7
Б 95

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Б $\frac{4702120200-196}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985.

ГЛУБИНА И МОЩЬ ПРАВДЫ

Василь Быков — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии БССР имени Якуба Коласа, народный писатель Белоруссии, депутат Верховного Совета республики, работает в литературе уже три десятилетия. За это время он написал пятнадцать повестей, десятки рассказов и публицистических статей. Его творчество вышло на широкий простор многонациональной Советской страны, вызвало заметный мировой резонанс, поставило писателя в ряд самых значительных художников нашего времени. Все его творческие успехи обеспечены оригинальностью крупного таланта и самоотверженного труда, большим гражданским мужеством в отстаивании глубинной правды о человеке середины нашего столетия, правды, выстраданной не только напряженным творческим поиском, но и собственной жизнью.

Биография Василя Быкова поначалу складывалась обычно, и, кажется, ничего особенного не предвещала. Родился он 19 июня 1924 года в деревне Бычки на лесной и озерной Ушаччине, что на Витебщине, в простой крестьянской семье. Она отличалась разве что своим трудолюбием да жизненной цепкостью, хорошо знакомой читателям по быковским произведениям, например, по образам Петрока и Степаниды Богатьков из «Знака беды» — им автор придал некоторые черты своих родителей.

Детство писателя прошло в родных местах. Было оно бедное, «скупое на радости и трудное, как и все то время». Так говорил прозаик в заметках «Три абзаца автобиографии», а позже, в статье «От имени поколения», продолжал: «Я не люблю своего детства. Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и надеть... Единственное, что было отрадой, — это природа и книги. Летом озеро, лес, рыбалка. Если позволяло время, конечно. Ведь надо было работать. И надо, да и заставляли».

Что же, в таком деле и принуждение может быть полезным. Крестьяне хорошо это знали (сама жизнь не позволяла забывать!) и с детства приучали ребят к труду.

Как вспоминает сестра В. Быкова Валентина, добрая и душевная белорусская женщина, которая и теперь живет на родной Ушаччине, он с малых лет пристрастился к литературе, увлеченно читал книги, брал их даже на деревенские вечеринки, когда друзьям удавалось вытащить парня из родительской избы.

Первыми художественными произведениями, с которыми пришлось познакомиться В. Быкову, по его словам, были рассказы М. Лынькова. «Я долго был под влиянием очень хорошей, поэтической прозы Михася Тихоновича, тут мои первые, невидимые ни для кого литературные уроки, наконец, просто приобретение литературного вкуса», — припоминает писатель. Значительно позже, уже после войны, он присылал на строгий лыньковский суд свои ранние рассказы и между начинающим и именитым писателями установилась творческая дружба.

Из белорусских классиков, кроме М. Лынькова, В. Быков с детства увлекался и Я. Коласом, сначала его повестью о гражданской войне на Полесье «Трясина», а потом и поэмами «Новая земля» и «Сымон-музыкант». Коласовские произведения, отмечал прозаик, «несут в себе огромный заряд добра и человечности, важность которых в наш термоядерный век переоценить невозможно».

Этой человечностью, а также подлинной народностью, в которой В. Быкову видится глубинная сущность гениальности национального классика, ему прежде всего и близок Я. Колас.

В школьные годы он познакомился с книгами Л. Толстого, Ф. Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина, А. Писемского, А. Чехова, К. Станюковича, а также с произведениями зарубежных классиков — Т. Майн Рида, Жюля Верна, Джека Лондона.

«Читал, — вспоминает прозаик, — без всякой системы, без разбора. Но время и опыт все расставили на свои места. Из классиков я, конечно, выделяю Толстого и Достоевского, хотя считаю, что русских писателей-классиков нужно любить всех без исключения. Толстой, как мне кажется, велик своим мироощущением, способностью вбирать в себя и осмысливать целые эпохи с их сложностями и противоречиями. Достоевский — необычайной углубленностью в человека, в его внутренний мир. Моей писательской природе близка также проза Пушкина. Она ясна, немногословна, почти без тропов».

Говоря о художниках, близких В. Быкову в подходе к воен-

ной тематике, нельзя обойти и тот факт, что сам он в этой связи называл А. Фадеева и М. Шолохова.

О фадеевском романе «Разгром» писатель говорил еще в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты «Молодые о себе», предложенной журналом «Вопросы литературы». Разговор о произведениях, традиции которых кажутся ему близкими, Быков тогда начал с этого романа, а уже в 1984 году снова возвратился к нему, заметив: «Очень сильное впечатление произвел на меня «Разгром» Фадеева. Я перечитывал его не раз, и до сих пор он поражает меня многими своими сторонами. Я вижу здесь живую правду, запечатленную талантливой и честной рукой».

В. Быков обращает внимание на трагедийные аспекты фадеевского романа. Они близки его собственному мироощущению вообще и его пониманию войны в частности. И, конечно же, прав критик Л. Новиченко, отмечая, что В. Быкова с автором «Разгрома» «сближают не только кризисные ситуации, атмосфера почти неотвратимой трагической развязки, но и обязывающая художника к углубленной аналитичности проблема сурового «отбора человеческого материала» в испытаниях войны, проблема, столь фундаментально поставленная и решенная Фадеевым в его первом романе».

Неоднократно В. Быков подчеркивал и огромную силу шолоховского воздействия на него, писателя, на всю советскую литературу. «Вся наша советская литература на протяжении многих лет своего существования жила и развивалась под могучими крыльями шолоховского гения», — писал он, особенно выделяя у автора «Тихого Дона» «глубинную народность его поэтики, революционный смысл, верность правде человеческого существования в этом жестоком мире».

Творческие корни В. Быкова уходят в самые глубинные литературные традиции, питаются художественным опытом Л. Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Фадеева и Шолохова, а также белорусских классиков Коласа, Горецкого и Чорного, Лынькова и Мележа. Традиции писателей-классиков находят свое многообразное осмысление, развитие и продолжение в творчестве В. Быкова, становятся для него мощным источником творческой энергии, надежной опорой в понимании писательского долга как подвижнического гражданского служения художественным словом, всегда будут прочной поддержкой в борьбе за бескомпромиссную правдивость литературы социалистического реализма, за ее глубинный гуманистический пафос.

Заметное воздействие на творчество писателя и его личную судьбу оказал и А. Твардовский. Он всемерно содействовал широкому выходу быковских произведений на всесоюзную арену, от-

мечая гуманистический накал в его повестях, доскональное знание военной действительности и фронтового быта, высокую точность письма. «Работа с Твардовским стала для меня незабываемой школой литературы, возможно, в ее общем, но очень значительном понимании. Он раскрыл передо мной ряд элементарных, но очень важных литературных (и не только литературных) истин», — сказал В. Быков в одном из своих интервью недавнего времени, а еще раньше подчеркивал: «Проходя у него суровую по своей требовательности школу литературы, мы постигали высоту его идеалов, освобождались от остатков провинциального верхоглядства, учились не бояться несправедливой жестокости критических приговоров. И когда такие приговоры случались, он не имел обычая бросать беззащитного автора или поспешно лишать его кредита доверия. Наоборот, какая бы неудача ни постигла автора, если он поверил в кого, то уже не менял этой своей веры и поддерживал, как только мог. Отступничество было не в его характере.

Литература создается не для одного дня и не для какой-нибудь очередной кампании — ее жизнь меряется десятилетиями, и каждое произведение живет тем дольше, чем более в нем заложено от правды народной жизни. Именно заботой о долговечности литературы и ее правдивости были проникнуты его известные выступления на партийных и писательских съездах, на встречах с журналистами и читателями».

Думается, как раз непреклонная последовательность в этой заботе, сама писательская масштабность и глубина его понимания советской многонациональной литературы больше всего привлекали и привлекают к А. Твардовскому как В. Быкова, так и других наших мастеров слова.

Конечно, и восхищение Твардовским, и ориентация на традиции классиков в изображении человека придут значительно позже. А тогда, в предвоенное время, В. Быков еще и не мечтал о литературном труде. Он хотел заняться изобразительным искусством и после семилетки поступил на скульптурное отделение Витебского художественного училища: «Только учиться там долго не пришлось: в 1940 году отменили стипендии, и это обстоятельство снова вернуло меня в деревню», — вспоминает писатель. Кстати, у него и теперь сохранился интерес к изобразительному искусству, особенно к живописи, о которой В. Быков умеет писать не только с тонкой художнической проникновенностью, но и с высоким профессионализмом; видимо, то юношеское занятие изобразительным искусством воспитало в нем способность броским и точным штрихом «схватить» характерные черты человека, что, бесспорно, помогает и в писательской работе.

Окончив среднюю школу в Кубличах, В. Быков перед самой войной поехал на Украину. Он собирался поступать в индустриальный институт в городе Шостка Сумской области. Но война распорядилась по-своему. В. Быкова направили в инженерный батальон, на строительство оборонных укреплений. Потом было участие в тяжелых боях на Юго-Западном фронте, пехотное училище в Саратове. После училища, в котором В. Быков получил звание младшего лейтенанта, — снова бои на Украине, в Румынии, Венгрии, Австрии — до самой Победы.

Широко известно, что на Кировоградчине есть братская могила. Среди имен погребенных в ней воинов значилось и имя Василя Быкова. Но это была ошибка... Однако смерть, которая много раз, можно сказать, ежедневно, а то и ежечасно подстерегала каждого фронтовика, особенно в периоды боев, тогда прошла совсем рядом. Из ее уже распростертых цепких лап вырвал фронтовой товарищ, командир роты, в состав которой входил взвод В. Быкова. Он, этот ротный командир, в последний момент подорвал фашистский танк, настигавший раненого в ногу В. Быкова. Опасность была настолько близка, что и после взрыва гранаты вражеская машина, уже останавливаясь, все же вдавила в снег полы шинели распластанного на земле раненого воина. Ноги он инстинктивно подобрал под себя.

Позже у В. Быкова было второе ранение. А в Венгрии, перед самой Победой, было и такое: в полуметре от В. Быкова упал снаряд, но, к счастью, не разорвался.

К счастью... Не кощунственно ли звучит здесь это слово? Известно же, что «долгие версты войны» никому из тех, кто мужественно прошел сквозь ее губительный огонь, не давались легко. Полною мерой, выпавшей на долю рядового бойца и младшего командира, узнал ее страшную тяжесть и В. Быков. Но уже то, что он вернулся живой, было большим счастьем, которое выпало немногим его сверстникам.

«Судьба сберегла нам Василя Быкова, чтобы он жил и писал от имени целого поколения, от имени тех, кто юнцами познал войну и возмужал духом с оружием в руках, для которых день жизни был равен веку жизни», — писал впоследствии Ч. Айтматов, выделяя в творчестве своего белорусского собрата, в самом его мироощущении очень важную черту, которая во многом определяет и быковское ви́дение войны, и его концепцию человека на войне.

В. Быков пришел в литературу, чувствуя себя обязанным рассказать о том, насколько тяжела была минувшая война, «как нелегко давалась она нам — наша победа», какие героические усилия миллионов людей потребовались для того, чтобы добыть ее в

огне ожесточенных боев. И само это чувство, которое определяет внутренний пафос всех военных произведений писателя, и его гуманистическая страстность, нравственный максимализм, бескомпромиссная правдивость в изображении войны имеют глубинную связь с тем, что В. Быков действительно пишет от имени поколения своих ровесников, и вообще фронтовиков, не только тех, которые остались живыми, но и тех, которые отдали свою жизнь ради победы над фашизмом. Он очень органично, всей своей человеческой сутью ощущает кровную слитность, солдатское родство с теми, кто погиб на полях былых сражений, и их подвигом, их совестью меряет и самого себя, и наши дела, всю нашу жизнь.

В рассказе «Утро вечера мудренее» есть такой многозначительный, полный глубокого смысла эпизод. Раненый младший лейтенант, стоя над братской могилой, в которой вот-вот будут похоронены его боевые товарищи, печально, с душевной грустью и понятной человеческой болью размышляет: «Я чувствую к этой могиле какое-то невыразимое свое отношение. Возможно, потому, что среди тех, кто скоро ляжет сюда, очень даже возможно, мог бы лежать и я. Судьба или случай распорядились иначе. И все же какая-то частица моего Я будет вечно находиться здесь».

Написано от имени героя-рассказчика, но В. Быков так мог бы сказать и от собственного имени, от себя лично, потому что и он оставил частицу своей души, своего человеческого Я в тех братских могилах, где навсегда остались его фронтовые друзья и побратимы.

Писатель свято сохраняет верность фронтовому братству воинов Великой Отечественной, скрепленному общими страданиями, пролитой кровью и добытой победой. И эта верность ко многому обязывает. Это она диктует В. Быкову такие глубоко выношенные, очень человечные мысли о погибших, высказанные в статье «Наша воля и сила»: «Мы обязаны увидеть у них то, что так дорого было для них и в равной мере важно для нас сегодня.

Прежде всего мы обязаны рассмотреть у них молчаливую просьбу *помнить*, не забыть в смене лет их имена и их дела, поведать потомкам о смысле их жизни и особенно — их смерти. Отстоять от разрушительного воздействия времени духовное Я человека, сберечь идеалы нашей фронтовой молодости, до конца дней остаться верными духу товарищества, дружбы, сохранить готовность в любой момент ринуться в бой за правое дело — разве не такой молчаливый приказ проскальзывает во взглядах наших давних и вечно молодых товарищей?»

Да, это она, все та же быковская верность фронтовому братству, идеалам своей фронтовой молодости, заставляет писателя снова и снова напоминать себе и другим: «Жестокая, безжалостная память обязывает нас, бывших солдат, быть правдивыми и честными до конца своей жизни. Она обязывает нас рассказывать сегодняшнему поколению всю правду о войне, какой бы страшной и трагичной ни была эта правда. Это наш общественный и писательский долг перед мертвыми и живыми».

Хорошо понимая этот долг, писатель стремится быть предельно правдивым во всем и ни по каким соображениям не может поступиться и малой частицей понятой им правды о человеке на войне и о самой войне со всей ее трагедийностью, точно определенной К. Симоновым: «Какие бы ни были высокие наши устремления, война все равно оставалась для нас человеческой трагедией от своего первого и до последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась ненормальным состоянием для каждого человека, который не утратил человеческий облик. И если забыть об этом, то правды о войне не напишешь».

Рассуждая о войне, В. Быков в статье «Правда войны» развил эту мысль: «Да, война тянулась неполных четыре года, но разве эти годы можно сопоставить с какими-нибудь годами до или после нее? Четыре года колоссальных усилий народа создали духовный концентрат небывалой ценности, моральный сплав нации, в котором нашло свое наиболее полное воплощение не только наше прошлое, но в определенном смысле и наше возможное будущее».

Для самого В. Быкова военные годы были решающими в гражданском становлении личности, в закалке идейных убеждений, а фронтовой, солдатский опыт определил коренные основы, главные и самые прочные устои его человеческого мужества и стойкости, его художественного сознания, всего эстетического мира.

«Каждый художник приходит в искусство прежде всего с правдой собственного опыта, с собственным пониманием и объяснением мира», — убежденно пишет В. Быков. Его собственной правдой, выстраданной на кровавых фронтовых дорогах, и стала правда войны, бескомпромиссная правда о подвиге советского человека в борьбе с фашизмом. И эту правду со всей страстностью, а часто и с полемической заостренностью утверждает писатель, начиная с его ранних рассказов и особенно с повести «Журавлиный крик», которая принесла автору общественное признание и является во всех отношениях типично быковским произведением.

Уже в этой повести вполне определенно проявились такие особенности быковской прозы, как отказ от внешней всеохватности панорамных произведений, характерных для предыдущего периода в развитии литературы, сконцентрированность на небольшом круге героев и событий, локализованность действия в пространстве и времени.

На рубеже 50—60-х годов эта тенденция в изображении войны была широко распространенной. Отчетливо замечается она, скажем, в творчестве Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Астафьева, К. Воробьева, В. Богомолова и других писателей фронтового поколения. Некоторые из них начинали немного раньше Быкова и оказывали на него влияние в начале творческого пути (прежде всего Бондарев и Бакланов), укрепляли, по словам автора, желание писать о войне неприкрашенную правду со всей возможной глубиной.

С течением времени многие представители военной прозы 50—60-х годов от внешне локализованных повестей перешли к романам и стали писать романы наряду с такими повестями. Для В. Быкова же небольшая, локализованная по своим основным параметрам повесть осталась главным, самым любимым его жанром. И в этом жанре он достиг выдающихся успехов, смог создать свою очень правдивую и глубокую летопись Отечественной войны, народного героизма в ней.

Затрагивая некогда настойчивые попытки судить так называемую локальную прозу с позиций будто бы обязательной панорамности в изображении войны, Е. Исаев на страницах газеты «Правда» уже в 1984 году отмечал: «Есть масштаб пространства и есть масштаб глубины в пространстве. Тот, кто воевал, знает, что надежность обороны зависит не только от длины окопа, но и от его глубины. И, конечно же, от глубины обороны в душе отдельно взятого воина — солдата и офицера. Каждого!»

Так вот глубиной проникновения в солдатскую душу, а через нее — в душу народа и привлекает в первую очередь предельно честная, бескомпромиссно правдивая проза В. Быкова. И в этом один из самых существенных признаков ее подлинной эпичности. Ибо масштабы настоящей эпопеи, как резонно подчеркивает известный исследователь этой проблемы А. Чичерин, «прежде всего не внешние, а *внутренние* масштабы, масштабы понимания человека и создания типического, индивидуального образа».

В. Быков в своих военных повестях создал целый ряд объемных, широко типизированных человеческих характеров, через которые глубоко и масштабно постигаются многие стороны народного подвига в годы Отечественной войны, его коренные особен-

ности. «Поистине образ народа, силы духа которого не могут сломить никакие тяжелые испытания, встает за скромной, непритязательной фигурой Игоря Ивановского», — справедливо писал С. С. Смирнов, анализируя быковскую повесть «Дожить до рассвета», вместе с «Обелиском» отмеченную Государственной премией СССР. И это суждение вполне применимо почти к каждой из зрелых повестей писателя.

Конечно, быковские повести так или иначе продолжали и развивали традиции таких правдивых произведений о войне, как «Василий Теркин» А. Твардовского, «Судьба человека» М. Шолохова, «Знамя бригады» А. Кулешова, «Дни и ночи» К. Симонова, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, лучшие образцы военной прозы К. Чорного и ряда других советских писателей. Нужно иметь в виду, что одновременно с В. Быковым вносили и вносят свой вклад в художественную летопись Отечественной войны многие современные прозаики: С. Крутилин, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Астафьев, Е. Носов, К. Воробьев, В. Курочкин, В. Карпов, А. Ананьев, В. Кондратьев, Д. Гусаров, О. Гончар, Й. Авижюс, П. Куусберг, Я. Брыль, И. Шамякин, А. Адамович, И. Науменко, А. Кулаковский, И. Чигринов.

Однако В. Быков не только в белорусской, но и во всей советской литературе оказался самым последовательным в своей преданности военной теме. Он больше, чем любой другой наш писатель, уже сделал и делает для показа рядовых участников войны, для расширения самого понятия героического, в которое современная литература закономерно включает не только выдающиеся, исключительные по своей яркости подвиги, но и более скромные свершения миллионов людей, всех тех, кто с полной выкладкой сил боролся за наше общее дело, проявляя готовность идти на смерть за свои убеждения, или, тем более, отдавал свою жизнь ради победы, понимая, по словам В. Быкова, что «какой бы дорогой ни была жизнь каждого, судьбы Родины и человечества несравнимо важнее».

Отметим и то, что в приверженности В. Быкова к рядовым участникам войны, в его умении убедительно, с большой психологической глубиной и исключительной точностью показать скромное по своим проявлениям мужество и неэффектно-будничный, не каждому заметный, но глубинно-органичный героизм представителей многомиллионных масс также обнаруживает себя подлинная народность писателя. В быковском постоянном внимании к такому ежедневному, внешне негероическому героизму, по существу, просматривается, как писал критик Л. Лазарев, «интерес к народному характеру в его самом массовом проявлении. Вот поче-

му в повестях В. Быкова... явственно ощущается масштаб всенародной войны, в которой решается судьба Родины, огромное напряжение гигантской битвы не на жизнь, а на смерть. И сила духа героев В. Быкова, и свойственное им чувство ответственности, и их самоотверженность — за всем этим неизменно встает народ на войне, поднявшийся на защиту своей свободы, достоинства и жизни».

Представителями этой многомиллионной армии рядовых борцов, которым В. Быков отдает наибольшее внимание еще и потому, что сам кровно связан с ними всем своим солдатским, военным опытом, являются и крикливый, склонный к излишней придирчивости к подчиненным, но такой надежный в качестве командира старшина Карпенко, единственный человек, имеющий богатый армейский опыт, из всего небольшого заслона на обычном железнодорожном переезде «с будкой и сломанным шлагбаумом»; тихий, всегда уступчивый, однако, несмотря на свою первоначальную боязливость, упорный в бою молоденький Глечик; и нескладный, несведущий в военном деле Фишер, ученый-искусствовед, готовый добросовестно выполнять любую работу в непривычной, исключительно тяжелой для него обстановке кровавой войны; и жуликоватый с виду, веселый насмешник Свист с его запятнанной ранее биографией и добровольным уходом на фронт. Это герои повести «Журавлиный крик», которые при всем разнообразии своих характеров и довоенных занятий схожи в главном. Все они сражаются до конца, своей кровью, жизнью своей обеспечивая организованный отход красноармейского батальона. Через их трагическую судьбу очень убедительно показывается трагедия первых военных месяцев и реалистически раскрывается неброское в обыденности своих внешних проявлений мужество советских людей, которое в конечном итоге обеспечило нашу победу.

В отмеченной литературной премией имени Якуба Коласа повести «Третья ракета» и в повести «Фронтовая страница» действие происходит намного позже, уже на заключительном этапе войны, когда ее огненный вал докатился до Румынии и Венгрии. Но и в этих повестях герои типологически прежние — все те же обыкновенные люди труда, которых время вынудило оставить привычные и очень естественные для них мирные занятия и взяться за оружие. Таков, к примеру, командир орудия старший сержант Желтых («Третья ракета»). «Обычный колхозный дядька», как говорится о нем в повести, он воюет с ясным пониманием того, что иначе нельзя, но больше всего мечтает, чтобы эта война была последней, «чтобы детям не довелось» узнать такого лиха, которое забрало у Желтых и отца (погиб на первой мировой), и

деда (убило во время русско-японской войны), а позже, под Халхин-Голом, и брата покалечило. Черты обыкновенности отчетливо проступают и в Лозняке, который, заглядывая себе в душу, уже твердо решив «биться изо всех сил», думает: «Я не герой, я очень обыкновенный, и сдается мне, даже боязливый парень». Есть они в по-товарищески простой Люсе-Синеглазке, о которой сказано, что это «с виду совсем еще девчонка лет шестнадцати», и в аккуратном, подтянутом наводчике сорокапятки Попове, и особенно — в Кривенке и Лукьянове, персонажах со сложной и страдальческой военной судьбой. «Худущий, как жердь», «тихий слабосильный интеллигент», «он какой-то надломленный, обиженный» — это все о больном малярией Лукьянове, бывшем лейтенанте, разжалованном за трусость в рядовые. Но и он понял, что «не победив в себе... труса, не победить врага». И это понимание, и тем более победа над самим собой дались Лукьянову очень нелегко. Такая уж мера авторской достоверности в показе войны, мера требовательности писателя, его реализма, который имеет в виду полную искренность и не мирится с самой малой фальшью или с какой бы там ни было облегченностью.

А умирает Лукьянов, при всех его слабостях, по-солдатски. Как и почти все его товарищи по артиллерийскому расчету, он отдает свою жизнь в борьбе с гитлеровцами, оплатив самой высокой ценой приобретенное наконец-то солдатское мужество.

Обыкновенными тружениками войны, рядовыми великой битвы народа против фашизма являются и пожилой, нерасторопный ездовой Здобудько, наивный и добрый Тимошкин, упрямый, но справедливый Щербак («Фронтовая страница»), невезучий командир взвода Климченко («Западня»), а также Иван Терешка из «Альпийской баллады».

«Альпийская баллада» — одна из самых популярных ранних повестей В. Быкова.

В ней В. Быков, развивая один из мотивов «Западни», обращается к судьбе тех, кто по воле случая попал в фашистский плен, но и там продолжал борьбу. Таким образом, внешние обстоятельства действия, сам материал, положенный в основу произведения, резко отличают эту повесть от «Журавлиного крика» и от «Третьей ракеты». Однако внутреннее родство главного героя «Альпийской баллады» с героями этих повестей не вызывает сомнений. Это снова обычный, рядовой воин, оказавшийся в плену. «В полку, — аттестует Ивана Терешку писатель, — он ничем не выделялся среди других пехотинцев. За прежние бои получил три бумажки с благодарностью от командования да две

медали «За отвагу» и думал, что на большее не способен. И уже в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью, в нем как-то сами собой проявлялись дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть — не самое худшее из всех бед на войне».

Так рождается у Ивана решимость во что бы то ни стало вырваться из плена. Она и придает большую нравственную силу скромному, молчаливому и рассудительному парню, заставляя его снова и снова совершать побеги из фашистских лагерей. И хотя Терешке, предпринявшему четыре побега, так и не удалось добраться к партизанам, но свой смертный час он встречает как настоящий солдат — с оружием в руках, непокоренный, непобежденный, ибо убить человека можно, а его мужество, его свободу отнять нельзя, если только сам человек, пусть и обычный, ничем особенно не выдающийся, будет последовательным до конца, если он согласится скорее умереть, чем стать рабом.

Да, Иван Терешка умирает. Но не умирает, остается людям его мужество, которое в самые трудные минуты поддерживает спутницу советского солдата по его последнему побегу из лагерей — итальянскую девушку Джулию Новелли. Образ этой обаятельной девушки обрисован автором с большой симпатией и тонким пониманием противоречивых движений женской души. Это помогает убедительно показать и ту неожиданную, но прекрасную в своей благородной сути любовь, которая вопреки всем ужасам войны, можно сказать, на краю могилы соединила две молодые души, бросившие отчаянный вызов бесчеловечности фашизма.

Поэтизируя высокую одухотворенность интимного чувства своих героев, писатель не избегает и обычно редких у него приемов романтической стилистики. Но он и тут далек от романтизации войны или нарочитой погони за сентиментальной красивостью. В повести все-таки преобладает характерная для всего творчества В. Быкова атмосфера трагедийной реалистичности, которая по контрасту оттеняется и подчеркивается романтизированными сценами любви. И реалистичность эту не может существенно нарушить, скажем, такой, конечно же, весьма условный эпизод, как спасение Джулии в безвыходной ситуации. Оно, это маловероятное в конкретных обстоятельствах повести спасение, понадобилось автору для того, чтобы через послевоенную судьбу благодарной Ивану итальянки показать, какой отпечаток в сознании простых людей многих стран оставил подвиг советского солдата, освобождавшего Европу от коричневой чумы.

Как типично быковские рядовые герои войны воспринимаются также Ананьев и особенно Чумак из «Атаки с ходу», Степка Толкач, Митя и Мослаков из «Круглянского моста», учитель Алесь Мороз из «Обелиска». Он сознательно жертвует жизнью, чтобы морально поддержать перед казнью своих учеников и разоблачить ложь оккупантов, пообещавших освободить подростков, если объявится их учитель. Это решение Мороза на первый взгляд как будто не совсем целесообразное и для многих партизан просто непонятное. Но люди морозовского склада «воспитывают собой». Действительно, их сила — в исключительной честности, в том, что они, если нужно, если иначе не получается, способны собственной жизнью заплатить за свои взгляды и убеждения. И в этом проявляется очень высокая, возможно, наивысшая духовность человека.

Весьма обычными людьми показаны Ивановский, Пивоваров и другие персонажи повести «Дожить до рассвета», Левчук и Грибоедов из повести «Волчья стая», отмеченной вместе с «Его батальоном» Государственной премией БССР имени Якуба Коласа, Зося Нарейко из повести «Пойти и не вернуться».

Несколько другого типа Сотников из одноименной повести и Волошин из «Его батальона». В первом случае — перед нами командир батареи, сын героя гражданской войны. Но в ходе событий повести мы видим Сотникова в качестве рядового партизана. Правда, это человек с очень высоким сознанием «своего долга гражданина, бойца и коммуниста». Однако свой солдатский долг обычно осознают и до конца выполняют и другие положительные герои В. Быкова, какими бы необыкновенными, будничными, негероичными они ни казались. Та же в довоенной жизни пионервожатая, а потом партизанская разведчица Зося Нарейко, «маленький человек на этой земле», «ясно чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выбора не существует. Иначе не стоит и жить, лучше сразу головой в омут, чтобы не обманывать себя, не мучиться». Правда, помучиться Зосе пришлось даже сверх меры, но борется она с исключительным упорством. Вообще только люди, которые при всех своих слабостях, больших или меньших недостатках способны в конце концов выполнить свой долг в борьбе с врагом, — только они в произведениях В. Быкова и заслуживают право на положительность и писательскую симпатию. Сотников (и в этом он уж совсем обычный) тоже «боялся когда-то за свою жизнь, когда он мог легко и незаметно погибнуть в бою». «Выходя из боя живым, он прятал в себе тихое удовлетворение, что пуля минула его». Все это по-человечески очень понятно и естественно.

Разумеется, Сотников, как и другие герои В. Быкова, умел бороться с врагом «до последней минуты». В партизанах он перестал бояться смерти («перебоялся уже за десяток самых безнадежных случаев»). Для него «важно было жить, когда он был командиром в армии, когда от его забот и умения зависели жизни людей». Попав же в безвыходном положении в плен к полицаям, он уже думает о смерти с оружием в руках как о большой роскоши. Здесь «он уже почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой конец на многочисленных полях сражений», — отмечает автор, исследуя внутренний мир Сотникова очень скрупулезно, ощущая тончайшие нюансы его психологического состояния.

Идя на смерть, Сотников не столько думает о себе, сколько озабочен тем, чтобы «что-то сделать для других», и еще беспокоится, чтобы его смерть не была напрасной. «Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе — зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу», — рассуждает Сотников. И уже сама глубина этих рассуждений, как и его способность проницательно анализировать самые разнообразные ситуации, раскрывает философский склад сотниковского мышления, накладывающего четкий отпечаток на всю стилистику повести с ее очень сильным аналитическо-философским началом.

Такой склад мышления — явление не совсем обычное, по крайней мере, заурядным его назвать трудно. Определенным образом возвышается Сотников и тем, что он хочет умереть «агитационно», стремясь своим мужеством перед лицом неизбежного поддержать того же мальчугана в буденовке, других честных людей, согнанных на место казни. Однако то, как ведут себя, глядя в глаза смерти, его герои, для В. Быкова важно всегда. А часто в повестях писателя именно смерть, лучше сказать, способность мужественно умереть, если нет других вариантов, высвечивает глубинную сущность героев. И свой не только глубокий смысл, но также и агитационный аспект, правда, не так наглядно раскрытый, как в случае с Сотниковым, есть и в мужественной смерти Алеся Мороза («Обелиск»), лейтенанта Ивановского («Дожить до рассвета»), хотя он и умирает совсем без свидетелей, один на один с врагом, которого вместе с собой взрывает последней гранатой. Однако утешение и оправдание его страданий, его жизни Ивановскому дает, как это обычно бывает у героев В. Быкова, осознание до конца честно выполненного долга, уверенность, что он сделал все, что мог сделать. «Но останутся жить другие. Они победят, им отстраивать эту счастливую зеленую

землю, дышать полной грудью, работать, любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода лейтенант Ивановский?» — таковы последние мысли молодого лейтенанта. И в них заложен огромный смысл, ясно просматривается основной пафос всей повести.

Так что и «агитационная» смерть Сотникова не выглядит слишком уж исключительной в сопоставлении с жизнью и смертью других быковских героев. Тем более что изображается она в сдержанно-реалистической тональности и уж, во всяком случае, без сколько-нибудь подчеркнутой героизации, хотя ситуация, изображенная в повести, давала для этого немало возможностей.

Пожалуй, еще больше оснований имел писатель, чтобы героизировать при желании Волошина из повести «Его батальон». Это же, в конце концов, человек, которому суждено стать командиром полка, Героем Советского Союза. Но об этом мы узнаем только из скупых строк стилизованной под архивный документ справки, данной в конце произведения. А на протяжении всей повести Волошин, на наших глазах отстраненный от командования батальоном, действует преимущественно как рядовой воин, разделяет со своими бойцами все солдатские тяготы, выпавшие в очень трудном наступлении на одну из «проклятых высот». Да и будучи комбатом, он не прятался за спины подчиненных, не отделял собственной судьбы от судьбы своего батальона. Поэтому и Волошин с полным основанием воспринимается как типичный быковский герой, один из миллионов рядовых великой битвы с фашизмом. К тому же он представитель самого многочисленного и самого многострадального рода войск — пехоты, о которой В. Быков писал: «Продолжительность жизни пехотинца в стрелковом полку исчислялась немногими месяцами. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера-пехотинца, который мог бы сказать ныне, что он прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо.

Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота... Пехота минувшей войны — это народ со всей его многотрудной бранной судьбой, там надо искать все».

Обязательное приобщение к народной судьбе — одно из самых важных, определяющих качеств для положительных героев писателя. Его сила и подлинная глубина заключаются и в том, что самый рядовой, якобы «маленький» герой в изображении

В. Быкова имеет много настоящих достоинств, спрятанных только от невнимательного глаза под внешней обыкновенностью и будничной непритязательностью. Ему свойственны значительный духовный потенциал, высокая человечность, органичное понимание или только подсознательное, но тем не менее очень сильное чувство справедливости войны с фашизмом, ее народного характера, а также нерушимости основных общечеловеческих законов. Они «сражаются не только оружием, они противостоят заразе, «чуме» бесчеловечности... Эти люди потому и дороги писателю, что хорошо чувствуют ту грань, за которой кончается человек, культура и справедливость», — говорит о героях В. Быкова критик И. Дедков.

Высокую оценку получила и повесть писателя «Знак беды». Произведением, в котором история народная берется «в самом своем существе, без нарочитости, без стилизации», назвал «Знак беды» академик Д. С. Лихачев. Повесть действительно принадлежит к самым глубоким и значительным явлениям современной литературы. Она в чем-то очень существенном закрепляет наши привычные представления о В. Быкове, его эстетической системе, а вместе с тем и обогащает эту систему новыми гранями, новыми открытиями.

Привычный, уже хорошо знакомый В. Быков, отличный психолог, аналитик с масштабной художественной мыслью, тут сразу чувствуется во многом: и в еще одном обращении к изображению войны, ее исторически очень точному, предельно правдивому осмыслению, направленному в своих философских этических аспектах не только и, может быть, не столько в историю, сколько в нашу живую, трепетную современность, и в преимущественно трагедийном видении войны, и в выборе ограниченного числа персонажей, и подчеркнуто быковской характерности положительных героев — тех рядовых тружеников, на плечи которых падала главная тяжесть испытаний, страданий и бед военного времени. Это снова те типично быковские, типологические для писателя герои, в судьбе которых наиболее наглядно и последовательно просматривается судьба народа. «С какой беспощадной правдивостью исследована судьба белорусской крестьянской четы... С какой художественной силой проявлены поистине народные характеры!» — писал в «Литературной газете» О. Смирнов, имея в виду главных героев «Знака беды» Степаниду и Петрока Богатьков.

И верно, в их обрисовке характерные для писателя подчеркнуто гуманистические тенденции в изображении человека на войне проявляются очень ярко, а трагедийные аспекты в самом авторском взгляде на войну еще усиливаются, приобретают особую

остроту и выразительность. Традиционное для В. Быкова психологическое мастерство, умение точно почувствовать, «схватить» не только основные черты, опорные линии человеческого характера, но и каждое душевное движение персонажа, каждый его жест, поворот мысли и чувства, — это умение также заявляет о себе во всю силу в изображении и Петрока, и особенно Степаниды, женщины с трудной жизненной судьбой, и глубоким, каким-то природным в своей естественности пониманием правды, человечности и неистребимой тягой к справедливости. Очень хорошо показал В. Быков, как вызревает решимость Степаниды ни в чем не поступиться ни полицаям, ни их хозяевам — гитлеровцам, как закаляется ее упорство, накапливается желание отомстить за то издевательство над человеком, которое на каждом шагу творят оккупанты. Впечатляет также полная, абсолютная несовместимость Степаниды с тем строем жизни, что навязывают фашисты, высокое мужество ее последнего выбора — принять ужасную смерть, но не покориться нелюдям.

Пожалуй, никогда ранее не привлекали такого пристального внимания писателя образы наших классовых врагов. Особенно основательно, глубоко и разносторонне исследуется бесчеловечность полицаев Недосеки. Колонденка и Гужа. У них разные характеры, неодинаковые пути к предательству. Но всех их объединяет то, что они лишены глубоких корней в народной почве и потому всегда готовы в критической ситуации пренебречь гуманистическими, подлинно народными принципами.

Характерной особенностью «Знака беды» является и то, что тут показана динамика времени, прочная связь довоенной и военной действительности. Правда, отчетливая двуплановость повествовательных ракурсов в пределах одного произведения замечалась у писателя и раньше. Сложные проблемы довоенного времени затрагивались в «Журавлином крике» и «Альпийской балладе». А «Знак беды» вообще можно назвать произведением не только о войне, но и о довоенной жизни белорусского крестьянства. Ибо теперь, в «Знаке беды», притом впервые у В. Быкова, война не просто подсвечивается действительностью довоенного времени, а целый изобразительный слой посвящается этой действительности. И слой не менее значительный, чем все остальное в произведении. Это очень существенный, глубокий и острый аспект повести, который, возможно, наиболее выразительно показывает новизну «Знака беды» и для творчества В. Быкова, и для всей нашей современной литературы.

Голос народной души слышится, скажем, в том, как остро, с присущим ей глубинно-народным чувством правды и справедли-

вости протестует Степанида против того, что в свое время получило название грубых перегибов в проведении коллективизации и было сурово осуждено в известных партийных документах.

В этой повести в изображении довоенной действительности отсутствует идилличность, упрощенность или приглаженность. Прозаик показывает тогдашнюю жизнь со всеми ее трудностями и сложностями. И главный, также очень человечный и верный, вывод его: довоенная наша жизнь не только пробуждала человеческую личность, звала людей на большие свершения ради лучшей доли, но и сталкивала их с многими сложными проблемами, в той или иной мере, по-видимому, неизбежными при коренных социальных сдвигах и ломках; однако они оставались настоящими патриотами, до конца преданными новой жизни, Советской власти, были ее самоотверженными защитниками в самые трудные, самые напряженные периоды Отечественной войны.

Ретроспективный изобразительный слой в повести «Знак беды» хорошо увязывается с традициями советской литературы. Из белорусской прозы довоенного времени на память приходит прежде всего остропроблемный роман М. Зарецкого «Вязьмо», из литературы 60—70-х годов — такие известные, полные гуманистического пафоса произведения, как повесть «На Иртыше» С. Залыгина, роман «Канун» В. Белова, «Полесская хроника» И. Мележа, произведения В. Тендрякова, М. Стельмаха, В. Бубниса, Й. Авижюса, других советских писателей. В. Быков подключается к этим очень плодотворным традициям в изображении деревенской жизни фактически впервые. Но подключается очень сильно, надежно, подхватывая те тенденции, которые заявили о себе в начале 60-х годов и активно развивались до следующего десятилетия.

И сегодня он, возможно, как никто другой в современной литературе, укрепляет эти гуманистические тенденции в показе деревенской действительности.

Главы о довоенной жизни в «Знаке беды» имеют принципиальную важность с различных точек зрения, в том числе и для укрепления тенденций в осмыслении народного подвига не только в годы войны (к этому у Быкова мы уже давно привыкли), но и в нелегкие довоенные времена, когда Степанидам и Петрокам тоже нужно было многое вынести на своих плечах.

Эта повесть дает много оснований для разговора о бескомпромиссности писателя в изображении самых разных сфер жизни и убедительно показывает, что его проза не только сохраняет свое

значение, но и набирает новую силу. И мы по-прежнему имеем все основания с гордостью говорить о таких уже привычных понятиях, как быковская повесть, быковская ситуация, быковский герой, быковское мужество по отношению к самой суровой и жестокой правде, быковская последовательность в отстаивании своих убеждений, глубина быковского психологизма, масштабность обобщающей философской мысли, которая все более успешно, проникновенно высвечивает самые сложные аспекты нашей жизни, опираясь на опыт Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Фадеева и других выдающихся писателей.

Бесспорно, что наибольшие достижения В. Быкова связаны с работой в жанре повести. Но самого доброго слова заслуживают и его рассказы, многие из которых («Фруза», «Одна ночь», «Свои люди») стоят на уровне самых глубоких и содержательных быковских повестей, и его пьесы, а также публицистические выступления, интервью, критические статьи, которые показывают широту писательских и человеческих интересов автора, помогают лучше понять его собственное творчество, глубже постигать многие явления в современном литературном процессе, особенно в развитии литературы о подвиге народа в Отечественной войне. Они ведут активную, наступательную борьбу за самые плодотворные тенденции в литературе и искусстве социалистического реализма, содействуют успешной разработке важных теоретических проблем, главных принципов нашего творческого метода, рожденного передовыми социальными и эстетическими идеями времени, много дают для осмысления психологии творчества, роли гуманистической культуры в сегодняшнем мире, значения личности художника, подлинной гражданственности в становлении и закалке таланта, в возрастании его общественной весомости.

Лучшие произведения В. Быкова уже давно оказывают свое плодотворное воздействие на развитие всей многонациональной советской литературы. В. Астафьев назвал В. Быкова правофланговым в шеренге ровесников — сподвижников по литературе, одним из тех писателей-фронтовиков, которые «заставили и других писать лучше».

Вообще способность заметно влиять на литературный процесс, а также на другие области культуры, на всю духовную жизнь современников — одна из самых надежных примет подлинной значительности писателя. В. Быков и в этом отношении — явление нечастое, незаурядное. Его произведения, сама его человеческая и писательская личность дают немало созидательных импульсов театру, кино, телевидению, изобразительному искусству и даже опере и балету.

И дело тут не в какой-то моде, за которой Василь Быков никогда не гнался и не гонится, а в большой силе его таланта, в его писательской честности, подлинной гражданственности, в глубине и мощи открытой им правды о нашем времени, о человеке на крутых поворотах XX столетия.

Д. БУГАЕВ

ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК

ПОВЕСТЬ

1

Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным дорогам земли.

Он выбрал себе тут удобное место, на краю осокового болотца, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки бежали по гравию почти наравне с землей. Проселок, спускаясь с пригорка, пересекал железную дорогу и сворачивал в сторону леса, образуя перекресток. Его когда-то обнесли полосатыми столбиками и поставили рядом два таких же полосатых шлагбаума. Тут же одиноко ютилась оштукатуренная будка-сторожка, где в стужу дремал у жаркой печки какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Теперь в будке не было никого. Настырный осенний ветер то и дело поскрипывал настежь распахнутой дверью; словно искалеченная человеческая рука, протянулся к студеному небу сломанный шлагбаум, второго совсем не было. Следы явной заброшенности тут лежали на всем, видно, никто уже не думал об этом железнодорожном строении: новые, куда более важные заботы овладели людьми — и теми, кто недавно хозяйничал тут, и этими, что остановились теперь на заброшенном глухом переезде.

Подняв от ветра воротники обтрепанных, заляпанных глиной шинелей, шестеро их стояло группкой у сломанного шлагбаума. Слушая комбата, который объяснял им новую боевую задачу, они жались друг к другу и невесело посматривали в осеннюю даль.

— Дорогу надо перекрыть на сутки, — хриплым простуженным голосом говорил капитан, высокий, костлявый человек с заросшим усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. — Завтра, как стемнеет, отойдете за лес. А день — держаться...

Там, в поле, куда глядели они, высился косогор с дорогой, на которую роняли остатки пожелтелой листвы две большие коренастые березы, и за ними, где-то на горизонте, заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию огромной бритвы, тускло блестела в небе.

Серый осенний вечер, пронизанный холодной, надоедливой мглою, казалось, был наполнен предчувствием неотвратимой беды.

— А как же с шанцевым инструментом? — грубоватым басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. — Лопаты нужны.

— Лопаты? — задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. — Поищите сами. Нет лопат. И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь...

— Ну да, и людей не мешало бы, — подхватил старшина. — А то что пятеро? Да и то вон один новенький и еще этот «ученый» — тоже мне вояки! — зло ворчал он, стоя вполоборота к командиру.

— Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, — устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко — коренастому, широколицему, с решительным взглядом и тяжелой челюстью. — Ну, желаю удачи.

Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно попрощался с ним. Так же сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» — высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, — молодой, с печальными глазами рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», — беспечно пошутил пэтээровец Свист — белобрысый, в расстегнутой шинели, жуликоватый с виду парень. С чувством собственного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командир батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, направился догонять колонну.

Расстроенные прощанием, они остались все шестеро и какое-то время молча смотрели вслед капитану, ба-

тальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, быстро удалялась к лесу.

Старшина стоял недовольный и злой. Еще не совсем осознанная тревога за их судьбы и за то нелегкое дело, ради которого они остались здесь, все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил в себе это неприятное ощущение и привычно закричал на людей:

— Ну, чего стоите? Геть за работу! Глечик, поищи-ка ломачину какую! У кого есть лопатки, давай копать.

Ловким рывком он вскинул на плечо тяжелый пулемет и, с хрустом ломая сухой бурьян, пошел вдоль канавы. Бойцы гуськом неохотно потянулись за своим командиром.

— Ну вот, отсюда и начнем, — сказал Карпенко, опускаясь у канавы на колено и всматриваясь в косогор поверх железной дороги. — Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка у тебя есть, начинай.

Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил ее в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от бойца шагов десять вдоль канавы, Карпенко снова присел, посмотрел вокруг, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили в его подчинение.

— Ну, кому тут? Вам, Фишер? Хотя у вас и лопатки нет. Тоже мне вояка! — злился старшина, поднимаясь с колена. — Столько на фронте, а лопатки еще не имеете. Может, ждете, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?

Фишер, испытывая неловкость, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял очки в черной металлической оправе.

— В конце концов, чем хотите, а копайте, — сердито бросил Карпенко, посматривая куда-то вниз и в сторону. — Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.

Он направился дальше — сильный, экономный и уверенный в движениях, словно был не командиром взвода, а по меньшей мере командиром полка. За ним покорно и безразлично поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на озабоченного Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:

— Вот задачка профессору, ярина зеленая! Помочь не устать, да надо дело знать!..

— Не бóлтай! Ступай-ка вон к белому столбику на линии, там и копай, — приказал старшина.

Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.

Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски огляделся. Из двух выбитых окон упруго тянул пронизывающий сквозняк, на стене болтался надорванный порыжелый плакат, призывавший разводить пчел. На затоптанном полу валялись куски штукатурки, комья грязи, соломенная труха. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным. Старшина молча осматривал скупые следы человеческого жилья. Овсеев стоял у порога.

— Вот кабы стены потолще, было бы укрытие, — подобревшим тоном, рассудительно сказал Карпенко.

Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.

— Что, думаешь, теплая? — строго усмехнулся Карпенко.

— А давайте вытопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, — оживился боец. — А, старшина?

— Ты что, к теще на блины пришел? Греться! Подожди, вот наступит утро — он тебе даст прикурить. Жарко станет.

— Ну и пусть... А пока что какой смысл мерзнуть? Давай затопим печку, окна завесим... Как в раю будет, — настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.

Карпенко вышел из будки и встретил Глечика. Тот тащил откуда-то кривой железный прут. Увидев командира, Глечик остановился и показал находку.

— Вот вместо лома — дробить. А выбрасывать и пригоршнями можно.

Глечик виновато улыбнулся, старшина неопределенно посмотрел на него, хотел по обыкновению одернуть, но, смягчившись наивным видом молодого бойца, сказал просто:

— Ну давай. Вот здесь — по эту сторону сторожки, а я уже — по ту, в центре. Давай, не тяни. Пока светло...

2

Вечерело. Из-за леса ползли сизые мрачные тучи. Они тяжело и плотно затянули все небо, закрыли блестящую полоску над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с бешеной осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, от сильного ветра выплескиваясь из луж, брызгала на обочину студеными грязными каплями.

Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг, отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело копал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и одежду и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и, пряча в рукава озябшие руки, листал какую-то книжку, временами припадая взглядом к ее истрепанным страницам.

За этим занятием и увидел его Карпенко, когда, приостановив работу, вышел из-за сторожки. Усталого старшину передернуло. Выругавшись, он набросил на потную спину залубенелую от грязи шинель и вдоль канавы направился к Фишеру.

— Ну что? Долго вы будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, я вас в батальон отправлю? В безопасное место?

С виду безразличный ко всему Фишер вскинул голову, его близорукие глаза под стеклами очков растерянно заморгали, затем он неловко поднялся и, заикаясь от волнения, быстро заговорил:

— М-м-можете не беспокоиться, товарищ командир, это исключено. Я н-н-не меньше вас понн-н-нимаю свои обязанности и сделаю все, чт-т-то нужно, без лишних эксцессов. В-в-вот...

Слегка удивленный неожиданным выпадом этого тихого человека, старшина не сразу нашелся, что ответить, и передразнил:

— Ишь ты: эсцексов!

Они стояли так друг против друга: взволнованный, с дрожащими руками, узкоплечий боец и уже спокойный, властный, полный уверенности в своей правоте коренастый командир. Нахмурив колючие брови, старшина с минуту раздумывал, что делать с этим неумекой, а потом, вспомнив, что на ночь нужно выставить дозор, уже спокойнее сказал:

— Вот что: берите винтовку и марш за мной.

Фишер не спросил, куда и зачем, с подчеркнутым безразличием засунул за пазуху книжку, взял за ремень винтовку с примкнутым штыком и, спотыкаясь, покорно побрел за старшиной. Карпенко, на ходу надевая шинель, осматривал, как окапывались остальные. Проходя возле своей ячейки, он коротко бросил Фишеру:

— Возьми лопатку.

Они вышли на переезд и по заслеженной сотнями ног дороге направились на пригорок с двумя березами.

Сумерки быстро сгущались. Небо совсем потемнело от туч, сплошной массой обложивших его. Ветер не стихал, зло рвал полы шинелей, забирался за воротники, в рукава, выжимал из глаз студеные слезы.

Карпенко шагал быстро, не особенно выбирая дорогу и уж совсем не жалея своих новых кирзовых сапог. Фишер, подняв ворот шинели и натянув на уши пилотку, тащился за ним. К бойцу снова вернулось обычное для него безразличие, и он, скользя взглядом по загустевшей дорожной грязи, старался не шевелить забинтованной, в чирьях, шеей. Ветер ворошил в канавах листву, вокруг неуютно щетинилась стерня осеннего поля.

На середине косогора Карпенко оглянулся, издали окинул взглядом позицию своего взвода и тут увидел, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, он снова листал на ходу свою книгу. Карпенко был непонятен подобный интерес к книгам, и он, немало удивленный, остановился и подождал, пока боец догонит его. Но Фишер так был поглощен чтением, что не видел старшину, позабыл, вероятно, куда и зачем шел, только перебирал страницы и что-то тихо шептал про себя. Старшина нахмурился, но по обыкновению не прикрикнул, только нетерпеливо переступил на месте и строго спросил:

— Это что за библия?

Фишер, видно, еще не забывший недавней ссоры, сдержанно сверкнул стеклами очков и отвернул черную обложку.

— Это биография Челлини. А вот репродукция. Узнаете?

Карпенко глянул на снимок. На черном фоне стоял обнаженный, взлохмаченный человек и, глядя в сторону, хмурил брови.

— Давид! — между тем объявил Фишер. — Знаменитая статуя Микеланджело. Вспоминаете?

Но Карпенко ничего не вспоминал. Он еще заглянул в книжку, окинул недоверчивым взглядом Фишера и сделал шаг вперед. Нужно было спешить, чтобы засветло выбрать место для ночного дозора, и старшина торопливо зашагал дальше. А Фишер озабоченно вздохнул, расстегнул противогазную сумку и бережно положил туда книгу рядом с куском хлеба, старым «Огоньком» и патронами. Затем, как-то сразу повеселев, уже не отставая, пошел за старшиной.

— Вы что, взаправду ученый? — почему-то насторожившись, спросил Карпенко.

— Ну, ученый — это, может, чересчур громкое определение для меня. Я только кандидат искусствоведения.

Карпенко немного помолчал, стараясь понять что-то, а потом сдержанно, словно опасаясь выявить свою заинтересованность, спросил:

— Это что? По картинам спец или как?

— И по картинам, но, главным образом, по скульптуре эпохи Возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре.

Они поднялись на пригорок, из-за которого открылись новые, уже затуманенные вечером дали — поле, ложбина, покрытая кустарником, далекий ельник, впереди у дороги — соломенные крыши деревни. Рядом, у канавы, качая на ветру тонкими ветвями, жалобно шелестели порыжелой листвой березы. Они были толстые и, видно, очень старые, эти извечные сторожа дорог, с потрескавшейся, почерневшей корой, густо усыпанные шишками наростов, с вбитыми в стволы железнодорожными костылями. У берез старшина свернул с дороги, перепрыгнул заросшую бурьяном канаву и, зашуршав по стерне сапогами, направился в поле.

— А он что, этот голый, из гипса вылеплен или

как? — спросил он, сделав явную уступку невольной своей заинтересованности. Фишер сдержанно, одними губами снисходительно улыбнулся, словно ребенку, и пояснил:

— О нет. Эта пятиметровая фигура Давида высечена из цельного куска мрамора. Вообще гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса мало применялся. Это уже распространенный материал нового времени.

Старшина снова спросил:

— Говоришь, из мрамора? А чем же он такую глыбу высек? Машиной какой-нибудь?

— Ну что вы? — удивился Фишер, шагая рядом с Карпенко. — Разве можно машиной? Безусловно, руками.

— Ого! Это же сколько нужно было долбить? — в свою очередь, удивился старшина.

— Два года, с помощниками, конечно. Нужно сказать, что в искусстве это еще небольшой срок, — помолчав, добавил Фишер. — Александр Иванов, например, работал над своим «Мессией» почти двадцать два года, француз Энгр писал «Родник» сорок лет.

— Смотри ты! Наверно, трудно. А он кто такой, этот, что сделал Давыда?

— Давида, — деликатно поправил Фишер. — Он итальянец, уроженец Флоренции.

— Что — муссолинец?

— Да нет. Он жил давно. Это знаменитый художник Возрождения. Величайший из великих.

Они еще прошли немного. Фишер уже держался рядом, и Карпенко искоса раза два глянул на него. Худой, со впалой грудью, в короткой, подпоясанной под хлястик шинели, с забинтованной шеей и заросшим черной щетиной лицом боец выглядел весьма неприглядно. Одни только черные глаза под толстыми стеклами очков теперь как-то ожили и светились отражением далекой сдержанной мысли. Старшина про себя удивился тому, как иногда за таким неказистым видом скрывается образованный и, кажется, неплохой человек. Правда, Карпенко был уверен, что в военном деле Фишер не многого стоит, но в глубине души он уже почувствовал нечто похожее на уважение к этому бойцу.

Шагах в ста от дороги Карпенко остановился на стерне, посмотрел в сторону деревни, оглянулся назад. Пе-

реезд в ложбине едва серел в вечернем сумраке, но отсюда еще был виден, и старшина подумал, что место для дозора тут будет подходящее. Он притопнул каблуком по мягкой земле и, переходя на обычный свой командирский тон, приказал:

— Вот тут. Копай. Ночью спать — ни-ни. Смотри в оба и слушай. Пойдут — стреляй и отходи на переезд.

Фишер снял с плеча винтовку и, взявшись обеими руками за короткую ручку лопатки, неумело ковырнул стерню.

— Эх ты! Ну кто так копает! — не выдержал старшина. — Дай сюда.

Он выхватил у бойца лопатку и, легко врезая ее в рыхлую землю пашни, ловко растрассировал одиночную ячейку.

— Вот на... Так и копай. Ты что, кадровую не служил?

— Нет, — признался Фишер и в первый раз искренне улыбнулся. — Не довелось.

— Оно и видно. А теперь вот намаешься с вами, этими...

Он хотел сказать «учеными», но смолчал, не желая вкладывать в это слово своего прежнего язвительного смысла. Пока Фишер кое-как ковырялся в земле, Карпенко присел на стерне и, защищаясь от ветра, стал сворачивать цигарку. Ветер выдувал из бумажки махорочную труху, старшина бережно придерживал ее пальцами и торопливо завертывал. Сумерки тем временем все плотнее окутывали землю, на глазах затягивался тьмой переезд со сторожкой и сломанным шлагбаумом, растворялись в ночи далекие крыши деревни, только по-прежнему тревожно шумели у дороги березы.

Закрывая от ветра трофейную зажигалку, старшина сгорбился, стараясь прикурить, но вдруг лицо его дрогнуло и насторожилось. Вытянув жилистую шею, он глянул на переезд. Фишер тоже почувствовал что-то и, как стоял на коленях, так и замер в напряженной, неловкой позе. На востоке, за лесом, приглушенная ветром, слаженно раскатилась густая пулеметная очередь. Вскоре на нее отозвалась вторая, пореже, видно, из нашего «максима». Затем слабым далеким отсветом, прорвав вечерний сумрак, загорелась и потухла мерцающая россыпь ракет.

— Обошли! — сердито, с досадой бросил старшина и выругался. Он вскочил, всматриваясь в далекий потем-

невший горизонт, и снова со злостью, отчаянием и тревогой подтвердил: — Обошли, гады, черт бы их побрал!..

И, беспокоясь за людей, оставленных на переезде, Карпенко быстро зашагал по полю в направлении дороги.

3

На переезде первым услышал стрельбу Пшеничный. Еще засветло он вырыл глубокий, в полный рост, окоп, сделал на дне ступеньку, с которой можно было стрелять и выглядывать, а затем — ямку внутри, чтобы в случае необходимости быстрее выскочить наверх. Потом старательно замаскировал ломким бурьяном бруствер и отдал лопатку Глечику, который все еще ковырял землю железным прутом. Выполнив таким образом приказ старшины, он притаился на дне своего нового укрытия.

Тут было тихо и относительно уютно. Брошенная на дно охапка бурьяна защищала от зябкой сырости. Пшеничный заботливо укрыл им ноги в стоптанных грязных ботинках, вытер о полу шинели руки и развязал вещевой мешок. Там боец приберегал краюху добытого в какой-то деревне крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Он давно уже проголодался, но на людях все не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться, а делиться Пшеничный не хотел. Он знал, что из съестного, кроме разве куска черного хлеба, ничего ни у кого не было. Но не его это забота, пусть каждый старается сам для себя, а на то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство, хотя бы тот же Карпенко, этот строгий, крикливый служака. И теперь, сидя в добротном, только что вырытом окопе, где никто его не мог видеть, Пшеничный разложил на коленях завернутое в бумажку сало, достал из кармана складной, на медной цепочке ножик и, разделив кусок пополам, порезал одну его половину на тонкие ломтики. Остальное опять завернул в клочок газеты и спрятал на дно набитого всякой всячиной вещевого мешка.

Пшеничный аппетитно жевал своими не очень здоровыми, попорченными уже болезнью и временем зубами и думал, что нужно бы еще притащить бурьяна, зарыться в него и «покемарить», как говорит Свист, часок-другой ночью. Правда, взводный попался придирчивый и настырный, этот придумает еще что-нибудь до утра, но Пшеничный — не Глечик и не подслеповатый Фишер,

чтобы покорно исполнять все, что прикажут. Во всяком случае, он сделает не больше, чем для отвода глаз, и уж себя не обидит.

Тихое течение этих праздных, медлительных мыслей было прервано далекими раскатистыми выстрелами. Пшеничный с набитым ртом от неожиданности притих, прислушался, потом, быстро запихав в карман остатки еды, вскочил. Над лесом взвилась в небо рассыпчатая гроздь ракет, осветила на миг черные вершины деревьев и погасла.

— Эй! — закричал Пшеничный товарищам. — Слышите? Окружают!..

Уже совсем стало темно. Белыми стенами слегка выделялась сторожка, вырисовывался в небе сломанный остов шлагбаума; слышно было, как рядом, в окопе, копошится старательный Глечик и у железной дороги долбит землю Свист.

— Оглохли, что ли? Слышите? Немцы в тылу!

Глечик услышал, выпрямился в своей еще неглубокой яме. Выскочил из окопа Овсеев и, прислушавшись, через картофельное поле торопливо подался к Пшеничному. Где-то в темноте замысловато выругался Свист.

— Ну что? — кричал из окопа Пшеничный. — Докопались! Я же говорил еще утром. Надеялись на тыл, а там уже немцы.

Овсеев, стоя рядом и вслушиваясь в звуки далекого боя, уныло молчал. Вскоре из темноты вынырнул Свист, подошел и остановился сзади настороженный Глечик.

А там, далеко за лесом, громыхал ночной бой. К первым пулеметам присоединились другие. Очереди их, сталкиваясь друг с другом, слились в далекий, приглушенный расстоянием треск. Беспорядочно и неторопливо щелкали винтовочные выстрелы. В черное поднебесье еще взлетела ракета, потом вторая и две вместе. Догорая, они исчезали за мрачными вершинами деревьев, а на низком, обложенном тучами небе еще какое-то время мигали их неяркие пугливые отсветы.

— Ну, — не унимался Пшеничный, обращаясь к настороженным, примолкшим людям. — Ну?..

— Что ты нукаешь? Что нукаешь, мурло? Запряг, что ли? — зло закричал Свист. — Где старшина?

— Фишера в секрет повел, — сказал Овсеев.

— А то нукаю, что окружили. Окружили ведь, вот и ну, — не сбавляя тона, горячился Пшеничный.

Ему никто не ответил, все стояли и слушали, охваченные тревожным предчувствием недоброго. А в далекой ночной тьме все рассыпались очереди, рвались гранаты, ветром разносилось вокруг негромкое эхо. Людей охватила лихорадочная тревога, сами собой опустились натруженные за день руки, тревожно суетились мысли.

В унылом молчании и застал их старшина; запыхавшись от быстрого бега, он внезапно появился у сторожки и, конечно, сразу понял, что согнало людей к этой крайней ячейке. Зная, что в подобных случаях самое лучшее без лишних слов проявить свою власть и твердость, старшина еще издали, не объясняя и не успокаивая, закричал с напускной злостью:

— Ну, чего встали, как столбы на обочине? Чего испугались? А? Подумаешь, стреляют! Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, Глечик?

Глечик растерянно пожал в темноте плечами:

— Да вот окружают, товарищ старшина.

— Кто сказал: окружают? — разозлился Карпенко. — Кто?

— Что окружают — факт, не булка с маком, — ворчливо подтвердил Пшеничный.

— А ты молчи, товарищ боец! Подумаешь, окружают! Сколько уже окружали? В Тодоровке — раз, в Боровиках — два, под Смоленском неделю пробирались — три. И что?

— Так ведь всем же полком, а тут что? Шестеро, — отозвался из тьмы Овсеев.

— Шестеро! — передразнил Карпенко. — А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной Армии? Нас вон в финскую на острове трое осталось, два дня отбивались, от пулеметов снег до мха растаял, и ничего — живы. А то — шестеро!

— Так то в финскую...

— А то в немецкую. Все равно, — уже немного спокойней сказал Карпенко и смолк, отрывая от газеты клочок на цигарку.

Пока он ее сворачивал, все молчали, побаиваясь вслух высказывать свои опасения и чутко вслушиваясь в звуки ночного боя. А там, кажется, постепенно становилось тише, ракеты больше не взлетали, стрельба заметно затихала.

— Вот что, — произнес старшина, послюнив цигар-

ку, — нечего митинговать. Давай копать круговую. Ячейки соединим траншеей.

— Слушай, командир, а может, лучше отойдем, пока не поздно? А? — сказал Овсеев, застегивая шинель и позвякивая пряжкой ремня.

Старшина пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что его удивляет подобное предложение, и, отчеканивая каждое слово, спросил:

— Приказ ты слыхал: закрыть дорогу на сутки? Вот и исполняй, нечего болтать попусту.

Все напряженно молчали.

— Ну, довольно. Давай копать, — уже примирительнее сказал командир. — Окопаемся и завтра как у Христа за пазухой будем.

— Как у Мурла в сидоре, — пошутил Свист. — И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха-ха! Пошли, барчук, работа не стоит, ярина зеленая, — дернул он за рукав Овсеева, и тот нехотя подался за ним в ночную тьму. Глечик тоже вернулся на свое место, а старшина некоторое время постоял молча, затянулся махорочным дымом и вполголоса, чтоб не слышали другие, зло сказал Пшеничному:

— А ты у меня покаркаешь. Я с тебя шкуру спущу за твои штучки. Попомнишь...

— Какие штучки?

— Такие, — послышалось из темноты. — Сам знаешь.

4

Обозленный на старшину за угрозу и взвинченный близкой опасностью, Пшеничный какое-то время стоял неподвижно, разбираясь в обуревавших его чувствах, а потом, почти мгновенно приняв решение, бросил в ночной мрак:

— Хватит!

Да, хватит. Хватит месить грязь по этим разбитым дорогам, хватит стучать зубами от стужи, голодать, хватит дрожать от страха, копать-перекапывать землю, глохнуть в боях, где только кровь, раны и смерть. Давно уже Пшеничный присматривался, ждал подходящего момента, взвешивал все «за» и «против», но теперь, попав в эту мышеловку, наконец-то решился. «Своя рубашка ближе к телу, — рассуждал он, — а жизнь для человека дороже всего, и сохранить ее можно, только бросив

оружие и сдавшись в плен. Авось не убьют, ерунда все эти сказки о немцах. Немцы ведь тоже люди...»

Ветер шумел в ушах, остужал лицо. Стараясь укрыться от него и отдаться разбуженным, но еще не додуманным до конца мыслям, Пшеничный снова спустился в окоп. Траншею копать он не стал, пусть это делает Глечик, а он уже отработал свое. Ему тут никого не было жаль. Старшина зубастый и въедливый, как фельдфебель; Витька Свист — блатняга и брехун — все Мурло да Мурло. Правда, он и остальных, кроме разве Карпенко, тоже наделил кличками: Овсеев у него Барчук, Фишер — Ученый, Глечик — Салага. Но те все молодые, а он, Пшеничный, раза в полтора старше каждого. Только Карпенко его возраста. Овсеев, тот и в самом деле барчук, избалованный с детства белоручка, способный в учебе, но лентяй в труде, а Глечик еще малец, послушный, но совсем не обстрелянный, боязливый подросток, того и гляди, струсит в бою; Фишер — подслеповатый книжный червяк, из винтовки выстрелить не умеет, зажмуривает глаза, когда нажимает спуск, — вот и воюй с такими. С ними разве осилишь тех, сильных, обученных, вооруженных до зубов автоматами да пулеметами, которые стреляют, будто швейные машинки строчат?..

В тиши окопа слышно, как неподалеку долбит землю Глечик, изредка поскрипывает от ветра дверь сторожки и шумит, высвистывает свою осеннюю песню высохший бурьян в канаве. Стала донимать стужа. Пшеничный достал из кармана остатки сала, съел, а потом съежился и, сомкнув руки, притих — отдался течению мыслей, заново переживая все свои беды.

Нескладно и горько сложилась его жизнь.

Первые впечатления от обиды цепко и долго держатся в человеческой памяти. Иван как теперь помнит то трудное голодное лето, когда бабы из соседней деревни Ольховки с пасхи бродили по межам, собирали щавель, крапиву; пухли с голоду дети и старики; черные и молчаливые от горя, всю весну ходили через хутор в поле ольховские мужики. Люди ели траву, толкли древесную кору, терли полову, рады были горсти просеянных отходов, чтобы подмешать в травянистую, противную пищу, склеить «травяники». У них на хуторе тоже было не густо, но травы они все же не ели — доились две коровы, и в клети в закромах кое-что еще имелось. Тем летом судьба свела тринадцатилетнего Ивана с де-

ревенским парнем Яшкой. И оттого, что в свое время он не сумел сделать выбора между ним и отцом, навалилось на Пшеничного столько несчастий в жизни.

Однажды на какой-то праздник — Петра или троицу — в душный летний вечер, когда опустившееся к горизонту солнце заметно растратило уже свой дневной жар, тринадцатилетний Иванка возвращался на хутор. Незадолго перед тем родители приехали с базара, и он отвел в кустарник коня, где спутал его и пустил пастись. Уже подходя к высоким массивным воротам своей усадьбы, услышал разговор во дворе — чей-то жалобный женский голос и частое недовольное покашливание отца. Отец в новой праздничной рубахе и жилетке сидел на ступеньках крыльца и посапывал трубкой, а рядом, сгорбившись, закрыв лицо низко повязанным платком, стояла вдова Мирониха — их какая-то дальняя родственница, она плакала и чего-то просила.

В ту минуту, когда Иван входил во двор, как раз наступила пауза. Женщина с надеждой и страхом уставилась на отца, прикрыв рот уголком платка, а отец зло, как сразу заметил Иван, пускал клубы дыма и молчал.

«Ладно, — наконец подал он голос. — Пусть придет. Дам пудик. А завтра на зорьке чтоб тут был. Косы не нужно, косу мою возьмет».

Женщина перестала плакать, высморкалась, начала кланяться и благодарить, а отец молча поднялся и пошел в дом.

На рассвете следующего дня мать, как всегда, ласково разбудила Иванку на сеновале, подала завязанный в рушник завтрак — кусок ветчины и краюху хлеба. Он всегда в такое время носил отцу в поле еду, но на этот раз еды было вдвое больше. Иванка догадался: это помощнику. Работников они нанимали и раньше — в косьбу, жатву, молотьбу, но держали недолго: отец был требовательный, очень въедливый, жадный к работе, и мало кто мог угодить ему.

Выйдя из ольшаника, Иван увидел наполовину скошенный лужок, а в конце его — отца и Яшку Тереха. Но, видно, что-то там стряслось, потому что они не косили, а стояли друг против друга. Отец одной рукой держал сломанную у шейки косу, другой — косовище и зло смотрел на Яшку. Батрак, одетый в нательную рубашку, с закатанными до колен штанами, почесывал худую грудь и виновато оправдывался:

«Дяденька Супрон, ей-богу, нечаянно. Замахнулся, а тут камень — и отлетела».

«Лодырь проклятый! Гультай чертов! — кричал отец, тряся густой слежалой бородой. — Такую косу сломал! Небось чужое? А? Кабы свое, иначе б смотрел, босота! Ых ты!..»

Он бросил косу, обеими руками схватил косовище, замахнулся и, все больше зверея, стал им бить парня по плечам, голове, рукам, поднятым, чтоб заслониться.

Иван почувствовал, как задрожали от страха, а больше от нахлынувшего вдруг негодования ноги. Он хотел закричать на отца: мальчику жаль было тихого, беззащитного Яшку, любителя рыбной ловли, удивительного знатока всех окрестных лесных тайн. Но Иван не закричал, а потихоньку шел к ним, с трудом переставляя ноги. Лучше бы бежать куда глаза глядят, чем видеть и слышать все это.

За сломанную косу Яшка отрабатывал лишнюю неделю — стоговал, сушил, возил сено, затем еще помогал в жатву. Иван к нему относился доброжелательно. После того случая на лугу он чувствовал себя очень неловко: угнетала неосознанная еще вина перед парнем и какая-то глубокая, не совсем понятная обида. Впрочем, вскоре они подружились, ходили вместе купаться, возили сено, расставляли на кротов капканы и никогда не говорили про отца. Иван знал, что Яшка ненавидит хозяина. Эта его неприязнь незаметно передалась и молодому Пшеничному. Он чувствовал, что отец скупой, злой, несправедливый, и это невольно угнетало его.

Минуло несколько лет. Иван втянулся в крестьянскую работу и, вопреки себе, во всем шел за отцом, который безжалостно школил сына в несложной земледельческой науке, постигнутой на суровом собственном опыте. Яшка вскоре пошел на службу в Красную Армию, отслужил там два года и вернулся в деревню совсем другим — повзрослевшим и как-то вдруг поумневшим. Через некоторое время он стал заводилой всех молодежных дел в деревне, начав свою общественную деятельность с кружка воинствующих безбожников.

Иван сторонился деревенских парней, в деревню ходил только по праздникам, на вечеринки, а вообще жил отчужденно — своим хутором, хозяйством, под каждодневным отцовским надзором и понуканием. Но взаимная привязанность молодого Пшеничного и былого бат-

рака Яшки, видно, сохранилась в сердцах обоих, и вот однажды поздней осенью, встретившись на деревенском выгоне, Яков пригласил его прийти вечером посмотреть репетицию «безбожницкой» пьесы. Иван, не подумав тогда, как к этому отнесется отец, согласился. Вечером смазал дегтем юфтевые сапоги, набросил поддевку и пошел. Репетиция ему понравилась. Сам он не участвовал в пьесе, зато посмотреть на других было интересно. Потом он зачастил в ту обветшалую, скособоченную вдовью хатку, где собиралась по вечерам деревенская молодежь, ближе сошелся с хлопцами и девчатами. Его не обижали, хотя иногда незло подшучивали, называя молодым подкулачником.

И вот об этом как-то узнал отец. Однажды утром, расходившись, он накричал на Ивана, ударил уздечкой мать, когда та заступилась за сына, и пригрозил выгнать из хаты безбожника, позорившего честь отца. Ивану было очень обидно, но давняя закоренелая привычка во всем подчиняться его воле взяла верх, и он перестал ходить к Яшке. Яков это быстро заметил. Возвращаясь как-то вместе с мельницы, они разговорились по душам.

Говорил, правда, Яшка, Иван больше слушал, потому что по натуре своей был молчалив, но не согласиться с тем, что говорилось, не мог. А Яков рассказывал о классовой борьбе, о том, что старик Пшеничный — сельский мироед, что он выжал все соки из его, Ивановой, матери, как батрака заездил самого Ивана, что он готов подавиться от жадности.

«Слушай, как ты живешь с ним? Я удрал бы от такого злыдня. Разве он отец тебе?»

Ивану было тогда не по себе. Они шли по тихой песчаной дороге за гружеными возами, и перед их глазами, уныло поскрипывая, мелькали и мелькали колеса. Иван верил Яшке и понимал, что лучше было бы порвать с отцом, пойти на свой хлеб, как-нибудь прожил бы, но на это не хватало решимости. Вот так, как следует не сомкнувшись, разошелся его путь с людьми, с теми, кто дал бы ему веру в жизнь, в собственные силы и, быть может, уберег душу от тоски одиночества.

Не прошло и двух лет, отца раскулачили, забрали в сельсовет все их имущество, описали постройки, а самого с матерью выслали. Иван в ту зиму жил в местечке у дяди и учился в семилетке. Дядя был неплохим человеком, как говорят, мастером на все руки. К племяннику

относился, как и к своим дочерям, никогда ни в чем не упрекал его. Но по едва уловимым приметам и мелочам юноша видел, что он все же лишний, чужой в этой семье, и от этого не было Ивану радости. Учился он неплохо, понимал и любил математику и после семилетки подал документы в педагогический техникум. Он ждал экзаменов, видя в своем студенчестве единственный счастливый выход из того тупика, в который загнала его жизнь. Но на экзамены его не вызвали, документы вскоре вернули, и в холодной казенной отписке было сказано, что в техникум его принять нельзя, потому что он — сын кулака.

Это было огромным горем для молодого Пшеничного, гораздо большим, чем раскулачивание, видеть которое ему не довелось, первой, действительно незаживающей раной в душе. Иван решил, что он не такой, как все, что тень отца, как проклятие, будет тяготеть над ним всю жизнь. Что-либо исправить в этом, казалось ему, уже было поздно.

После неудачной попытки учиться дальше Пшеничный — уже рослый, привычный к труду парень — около года перенимал у дяди его ремесло каменщика, а затем отправился в город искать своего хлеба и своего счастья.

В Брянске он поступил в артель каменщиков, попал в бригаду таких, как сам, молодых парней, возводил фабричные громады, по узким дощатым дорожкам гонял тачки с раствором, по стремянкам таскал на этажи кирпич. Себя он не жалел, работал с жаром, с отцовской въедливостью. Это вскоре заметили рабочие и начальство. Его хвалили на собраниях, ставили в пример остальным, и парень постепенно стал забывать о своей ущербности и былых неудачах. О родителях он никому ничего не рассказывал, писем от них не получал и не знал, где они и что с ними. По ночам ему иногда снилось что-либо из детства, и сердце его сжималось тогда от жалости к тихой, забитой матери. Отца он не жалел, знал: он и там такой же несправедливый и злой.

В то время на стройке создали комсомольскую ячейку, многие хлопцы вступали в комсомол и, конечно, потянули туда лучшего каменщика Пшеничного. Он подумал, слегка поколебался, а потом, поощренный доверием и повеселевший, поверил, что и он сможет стать человеком, и подал заявление. На собрании потребовали рассказать все о себе, о родителях и родных и, когда услыхали, что он

сын кулака-хуторянина, в приеме в комсомол отказали.

Он тяжело переживал эту неудачу, несколько дней не ходил на работу, пластом лежал на койке в общежитии. Случилось так, что не нашлось никого, кто оказался бы к нему ближе всех в ту минуту, успокоил, подбодрил. Наоборот, все как-то вдруг переменились, стали его сторониться, держаться отдельно, своей комсомольской компанией. Это была смертельная, на всю жизнь, обида. Иван Пшеничный уже окончательно уверовал в свою отверженность.

Он уехал из Брянска, жил некоторое время в Донецке, работал на шахтах и везде помнил, что он не ровня другим, что он — классовый враг, что между ним и людьми пролегла глубокая пропасть. Порой он старался забыться в труде, иной раз — в водке, но это не забывалось, не проходило никак и нигде. Об этом ему напомнили и в военкомате, когда призывали в армию. «Ты сын кулака и будешь служить в рабочем батальоне», — сказал озабоченный суетливый капитан. И Пшеничный стал красноармейцем рабочего батальона — немного учился военному делу, а больше работал: строил железные дороги, мосты, тоннели. Это было в Сибири, зимой. Он наловчился ходить на лыжах, в соревнованиях однажды занял первое место.

Когда готовили лыжный агитационный пробег на двести километров, для участия в нем, как лучшего лыжника, записали и Пшеничного. Он был рад выделиться хотя бы этим своим качеством, но и тут черная тень прошлого легла на его дороге. Уже со старта его вернул комиссар, сказав, что ему ехать нельзя, потому что у него, красноармейца Пшеничного, неладно с биографией.

После еще было много малых и больших обид, порожденных отцовским прошлым. И Иван сдался, отступил в сторону, не лез больше туда, где были не такие, как он, люди. Только сам себе, сам для себя, вопреки всему — такой волчий девиз усвоил постепенно Пшеничный. Он не пренебрегал ничем: когда нужно было, обманывал, воровал, лгал, слабых ненавидел, сильных побаивался и тоже ненавидел. Он понимал, что становился нечестным, иногда подлецом, злопамятным и вредным, как отец, но переделать себя уже не мог и катился все больше туда, куда гнали его обида и злость.

Когда началась война, среди огромного моря человеческого горя и слез нашелся человек, который тайно зло-

радствовал. Этим человеком был боец запасного батальона Иван Пшеничный, ставший затем фронтовиком и сегодня вот окончательно решивший сдаться в плен немцам.

5

К ночи ветер слегка успокоился, но зато откуда-то из шелестящей тьмы стал накрапывать дождь. Сразу промокли вислоухие пилотки на головах бойцов, постепенно пропитывались влагой, тяжелели и становились лубяными шинели. Свежевскопанная земля быстро превращалась в грязь и липла к ботинкам.

В тяжелом молчании бойцы снова впряглись в работу. Почти ощупью они скребли в темноте лопатами, рыли траншею, чтобы соединить ею все стрелковые ячейки. Тревога, неожиданно охватившая их от недавней перестрелки в тылу, постепенно стихала, наткнувшись на внешне непреклонную уверенность старшины в собственных силах и удаче. Карпенко, казалось, оставался спокойным, прежним, только разве меньше покрикивал на людей, а какое-то время ночью его совсем не было слышно. Но другие тоже работали молча, больше слушали: мало ли что могла принести им эта ненастная фронтовая ночь.

Сделав свое и передав лопатку Овсееву, старшина присел на бруствер и задумался. Чем больше времени проходило с момента их расставания с батальоном, тем все озабоченнее становился Карпенко. За день они оторвались от противника, обессиленный бомбежками полк спешил отступить за лес, окопаться, наладить оборону и как-нибудь удержаться на лесном рубеже. Дорогу на подступах к этой обороне комбат приказал удерживать сутки. Ночь вот стоит тихая, а кто знает, каким будет завтрашний день? Конечно, немцы могут пойти и другим путем, но если двинут вот этой дорогой, то их шестерке доведется хлебнуть горя.

Эта мысль все время не давала старшине покоя, грызла, точила его душу, пока он помогал Овсееву копать или сидел, вслушиваясь в ночь. С виду спокойный и всегда уверенный в себе, Карпенко на самом деле не был таким: случалось, и сомневался, и беспокоился, иногда и боялся. Но за продолжительное время службы в армии он усвоил одно немудреное правило: все сомнительное, неопределен-

ное прятать в себе, а напоказ выставлять только уверенность и непреклонную твердость воли. «Прав или не прав, а сказал — стой на своем», — так некогда учил его старшина сверхсрочной службы Броваров, и Карпенко на всю жизнь запомнил мудрые слова старого служаки.

Дождь не переставал. Холодные струйки воды, стекая с висков, ползли за воротник, вызывая неприятный озноб. Старшина поднялся с бруствера и осмотрелся: забывать об осторожности нельзя. Все копали. Рядом Свист и Овсеев, за сторожкой — Глечик. Со всех сторон обложила землю глухая ночь, ненастье, холод и неосознанная, как давно прошедшая забота, тревога.

Не услышав ничего подозрительного, Карпенко взял с бруствера свой мокрый «ручник» и, пряча его от дождя, поставил под стену сторожки. Потом он туда же перетащил два ящика с патронами и остановился у груды вязкой земли над траншеей, где, сопя и покряхтывая, ковырялся Овсеев. Боец почувствовал присутствие старшины; не разгибаясь и не выпуская из рук лопатки, как-то обиженно пожаловался:

— Сизифов труд. Долбишь, долбишь — и никакого следа.

— Плохо долбишь, значит, — думая о другом, сказал Карпенко.

Овсеев бросил в темную яму лопату и выпрямился.

— И вообще на кой черт все это? Полк отошел, а нами прикрылся? Как это называется?

Он еле стоял на ногах от усталости, тяжело дышал и говорил с давно накипевшей злостью.

— Это называется: выставить заслон, — спокойно ответил старшина.

— Ага, заслон? А чем кончается такой заслон, тебе, командир, известно?

— На что намекаешь? — насторожился Карпенко.

Овсеев зашевелился в траншее, швырнул в темноту ком земли и сказал тоном, в котором чувствовалось: нечего, мол, спорить о том, что и так понятно.

— Намекаю! Будто сам не знаешь: смертники мы!

— Вот что, Овсеев, — помолчав, твердо сказал старшина. — Ты думай, что хочешь, но трепаться не смей! Слышишь?

Он не стал больше говорить с этим слишком догадливым бойцом и пошел прочь. Сапоги скользили по размокшей земле, усталое тело сковывала зябкая дрожь. В не-

проглядной, кромешной тьме уже густо и споро шумел дождь, мелко барабанил по куску жести на крыше сторожки.

Старшине было неприятно, что его затаенные даже от самого себя догадки и подозрения так легко разгадал этот хитроватый, смекалистый боец. За месяц совместной службы Карпенко так и не узнал, какой на самом деле этот Овсеев и как ему, командиру, относиться к нему. В мирное время из Овсеева скорее всего вышел бы неплохой боец — такой на политзанятиях получал бы пятерки, был бы лучшим по физподготовке, да и в прочих науках многие позавидовали бы ему. Но теперь, в лихую годину войны, Овсеев из-за своей хитрости, чрезмерной догадливости и сообразительности относительно разных ходов-выходов не нравился старшине. Правда, до сих пор эта сторона его характера еще ничем особенным не проявилась.

«Вот хорошо», — подумал про себя Карпенко, подходя к позиции Глечика. В ночной тьме неопределенно чернел на земле широкий бугор бруствера, а где-то в глубине траншеи все продолжала шаркать лопатка.

Карпенко помолчал, довольный старанием молодого бойца. Хотел похвалить его, но сдержался. Такие усердные, как Глечик, в мирное время при определенных способностях тоже бывают хорошими красноармейцами, дисциплины они не нарушат, за их поступки к начальству не вызовут. Но каким он будет завтра, этот послушный тихоня Глечик? Наверное, уткнет голову в угол своей глубокой траншеи и будет дрожать, как осиновый лист, пока вокруг не отгремит бой. А может, и того хуже? Самое страшное в таких случаях — это старшина знал по себе — начало. Главное — пережить его, выстоять, а там уже станет закаляться боец.

— Ты родом откуда, Глечик? — спросил Карпенко, стоя над траншеей.

— Я? Из Белоруссии, Бешенковичского района, может, слышали? — охотно отозвался боец.

— А как же ты очутился здесь, в России?

— Сбежал. Был в Витебске, в ФЗО учился, а когда немцы подошли, сбежал. В Смоленске пошел в военкомат, взяли в армию.

— Доброволец, значит? — нарочно удивился старшина.

— Да нет. Мой год уже начали призывать. Как раз

в тот день приказ в военкомат пришел — брать двадцать третий год.

— Так сколько же тебе?

— Ну считайте — с двадцать третьего года, уже восемнадцать.

— Да, не много, — задумчиво произнес Карпенко. — А почему это ты один копаешь? Где Пшеничный?

— Ладно, я и один справлюсь, — уклончиво ответил из темноты Глечик.

— Пшеничный! — позвал старшина. — Давай помогай. Ишь мне хитрец, на одного свалил все!

Где-то рядом завозился в бурьяне Пшеничный, видимо, с трудом расставаясь со своими сокровенными думами. На этот раз он не возражал, послушно ввалился в траншею к Глечику и взял из его рук лопатку.

А дождь все усиливался. Заметно тяжелела на плечах шинель, сапоги чавкали в набрякшей земле. От железной дороги старшину позвал Свист, Карпенко подошел к нему.

— Все! Принимай работу, — объявил боец.

Старшина спрыгнул в траншею, сделал несколько шагов, в одном месте она была до пояса — не выше.

— Давай глубже, так не пойдет.

Свист витиевато выругался, постоял, отдышался и, поплевав на ладони, снова начал копать.

6

Наверное, уже к полуночи выгнутая дугой траншея кое-как соединила пять стрелковых ячеек. Не везде она была нужной глубины — на делянке Пшеничного, на долю которого вместе с Глечиком выпал еще и участок Фишера, она доходила не больше чем до колен. К тому же получилась кривая и угловатая. Оно и понятно — ночная работа. Впрочем, на это не обращали внимания ни бойцы, ни их командир.

Все они сильно намокли. В полночь Свист, первым кончив работу, вошел в сторожку, заткнул какой-то ветошью оба ее окошка и принялся растапливать печку. Старшине, пришедшему туда следом, его самоуправство не очень понравилось, но он все же не возразил ни Свисту, ни Овсееву, когда тот присоединился к этому занятию. Карпенко понимал, что как ни понукай, а людям нужно отдохнуть до утра, потому что завтра их ждет не-

мало других забот и других, куда более трудных дел.

Так постепенно в эту покинутую людьми железнодорожную хибарку сошлись пятеро. В раскрытой печке весело трещали сухие еловые щепки, а заботливый Свист все еще что-то щепал на полу своей незаменимой пехотной лопаткой.

Уютом сторожка, конечно, не могла порадовать: дуло из окон, дым почему-то не хотел идти в трубу и, расползаясь под низким потолком, слепил и ел глаза, но все это казалось раем после слякотного ненастья на улице. Главное — тут было сухо, дождь и холод остались за дверью и напоминали о себе лишь непрерывным шорохом ветра да стуком капель по крыше.

Карпенко прилег на топчане, устало вытянув заляпанные грязью ноги. Тело сразу одолела сладкая истома, сами собой стали слипаться глаза: хотелось прикорнуть хоть на минутку. У печки, на полу, уставясь на мигающий огонь, сидели Овсеев и Свист, в темноте, у порога, кряхтя и посапывая, переобувался Пшеничный. Сзади всех расплывчато белело лицо Глечика.

— Эх, ярина зеленая, думаю иногда и диву даюсь, как это неважнецки человек устроен, — рассудительно заговорил Витька Свист, вороша щепкой угольья. — Есть много, хочется еще больше. А нет ничего, какой-нибудь пустяк — мечта. Вчера под Озерками, когда нас утюжили танки, я только и мечтал: скорей бы стемнело. Казалось, все бы отдал за одну минуту темноты. А теперь вот и немцев нет, и танков не слыхать, так хочется еще и тепла, и жратвы. Чудно...

— Открыл Америку, — буркнул Овсеев. — Еще Шекспир сказал: «Коня, коня! Полцарства за коня!» Понимаешь? За коня. Припечет, так захочешь...

Обхватив колени пальцами, он сидел так, посматривая в печку, усталый, раздражительный и невеселый.

— А что это немцы сегодня выходной себе устроили? Не слышно почему-то, — накручивая обмотку, осторожно заметил Пшеничный.

Свист иронически хмыкнул:

— Наступит утро, услышишь.

Он еще пошевелил щепкой огонь и вдруг воскликнул:

— Хлопцы! Идея! Давайте ужин сообразим. А то кишка кишке марш играет. Пшеничный, доставай свой котелок!

— А что сварим?

— Ну, брат, что у кого есть. У меня — полпачки пшена.

— У меня горохового концентрата немного было, — отозвался из темноты Глечик.

— Расчудесно. Будем кашеварить назло фашизму, — потер руки Свист. Его белобрысое тонкогубое лицо засветилось воодушевлением. — Мурло, жми за водой, да чистой набери, чтоб как из-под крана.

— Где ее наберешь теперь чистой? Везде грязь.

— Эх, чудак-человек, ярина зеленая. Под крышу подставь. Забыл, как баба корыто наполняла? А ты солдатского котелка не наберешь?

Пшеничному не хотелось трогаться с места, но и не было желания заводиться с этим Свистом. Тяжело поднявшись, он завязал вещмешок и вышел. Как только за ним хлопнула дверь, Витька молниеносно подхватил его тугой, увесистый «сидор» и ловко запустил туда руку.

— Так, ремень командирский на конец войны Мурло припасает, какая-то банка, новая рубаха, сухие портянки — на, салага, держи на смену. — Он сунул Глечику пару портянок и снова полез в мешок. — Ага, вот она, краюха, так, так... Сахару кусочек... О, братва, сало! Ура Пшеничному, молодчина, не все слопал. Каша будет с салом.

Он тут же завязал тесемки и швырнул мешок в угол.

— Слушай, Свист, нехорошо так, — бросил с топчана Карпенко. — Нужно бы спросить.

— Ого, спросить! Фигу с него, жмота, возьмешь.

Вскоре вошел Пшеничный, подал Свисту котелок с водой и, кряхтя, уселся на свое место в углу. Свист, моргнув белесыми ресницами, простодушно посмотрел на него.

— Браток Пшеничный, нет ли у тебя какого куска к общей складчине?

Пшеничный молча покрутил головой. Свист снова подмигнул друзьям.

— Ну что ж... Ограничимся гречко-овсяной смесью.

Скоро котелок с водой, втиснутый в печку, зашипел на горячих угольях, а Свист на разостланной поле шинели стал растирать куски спрессованного концентрата. Овсеев уныло глядел на огонь. Неподвижно застыл за спиной Свиста медлительный Глечик. А в углу неопределенно шевелилась широкоплечая тень Пшеничного. Старшина, опершись на руку, лежал на боку, посматривал на свой маленький взвод и думал о том, как им по-

везет завтра, справятся ли они с той задачей, ради которой их оставили здесь? Хватит ли сил и умения? Все ли одолеют страх? Кому суждено будет выстоять до конца? Карпенко все еще не мог примириться с тем, что людей ему дали случайных, без выбора, первых, кто попался комбату, а это, по его мнению, было неверно. Не нравился сегодня старшине надутый Овсеев, немногого ждал он от Глечика, знал, что завтра нужно будет смотреть в оба. Один Свист пока не вызывал опасений. Он неплохо вел себя в эти тяжкие недели отступления, но кто знает?.. Старшина слышал, что боец уже побывал в тюрьме, и хоть с виду веселый и преданный, но еще неизвестно, что он носит в себе. Думалось и о Фишере. На миг старшине почему-то стало жаль умного человека, не привычного к невзгодам военной жизни, слабого и болезненного. Как они от батальона, так и Фишер от взвода подставлен теперь под первый удар, и, кто знает, дождется ли он смены. Думалось: хотя бы не уснул он до утра, потому что тогда может случиться беда, от которой и им не уйти. Мысли о себе не очень-то донимали Карпенко. Самому себе он был понятен, знал, что если уж понадеялись на него комбат и командир полка, то он не подведет их. Может, убьют его, может, ранят, но, если останется невредимым, сделает все, что от него потребуется.

Трещала, брызгала искрами печка, за стеной где-то лилась с крыши вода, шумел за окном ветер, и очень хотелось спать. Но старшина усилием воли отгонял дрему. Бойцы сидели на полу и внимательно глядели на стоявший на угольях котелок.

— Так, так... Влипли мы на этом чертовом переезде, — тоскливо сказал Овсеев, опершись подбородком на согнутые колени. — Это уже аксиома.

Ему никто не ответил и не возразил, только Глечик вздохнул в тишине да Пшеничный громко высморкался.

— Овсеев, — глуховатым, но решительным голосом после минутной паузы сказал Карпенко, — бери винтовку — и на пост.

Овсеев круто повернулся на полу.

— А почему я? Хуже всех, что ли?

— Без разговоров.

— Давай, давай, Барчук, — заговорил Свист. — Не бойся, каши не прозеваешь. Оставим, клянусь соленым огурцом с хвостом селедки.

Овсеев посидел еще, потом неторопливо застегнулся

и неохотно вышел, сильнее, чем нужно, хлопнув дверью.

Каша выдалась удивительно вкусной. Свист незаметно положил на дно котелка вытащенное у Пшеничного сало, от чего все это несоленое месиво получилось жирным и наваристым. Ели все вместе, из одного котелка, дружно скребя по его бокам деревянными и алюминиевыми ложками, а Свист — даже трофейной вилкой, скрепленной с черенком ложки. Когда уже на дне осталось немного, Карпенко облизал ложку.

— Хватит. Остальное Овсееву и Фишеру...

— Ну, браток Мурло, как кашка? — хитровато подмигнув, спросил Свист.

— А ничего. С голодухи сама во рту тает, — довольно отозвался Пшеничный. Его мордастое, толстогубое лицо стало лениво-сытым.

— За это скажи спасибочко самому себе. Славное у тебя было сальце.

Пшеничный удивленно захлопал глазами и тут же схватился за мешок.

— Ворюга ты! — зло бросил он из темноты, щупая свой набитый мешок. — За такие штучки тебе нужно морду бить, сволочь блатная.

— Для твоего ж брюха, чудак-человек, — смеялся Свист. — А то б кокнули тебя завтра голодного, и какой-нибудь Ганс порезал бы твое сало тоненькими ломтиками на свой бутерброд. А так вот и жизнь повеселела, все равно как сто грамм пропустил.

Пшеничный еще ворчал что-то в углу, а разморенный сытостью Свист сладко растянулся на полу, разбросав кривые ноги.

— Ну вот и чудесно, — говорил он, поглаживая живот. — Давно такого удовольствия не испытывал. Разве только, когда из лагеря вышел.

— Слушай, Свист, а за что ты в лагерь попал? — спросил Карпенко, сворачивая самокрутку. Он снова уселся на топчане, тоже подобрел от тепла и еды, стал по-домашнему простым, свойским, таким, как и все.

— А, длинная история. История с географией. Было дело, да.

— Что, может, ни за что?

— Не скажу, — сразу став серьезным, Свист задумался. — Было за что. Могли б и больше припаять, отбрыкался двумя годами. Могу рассказать, коль интересует.

Он помолчал, глядя в закопченный потолок, прислу-

шался к завыванию ветра снаружи, потом вздохнул и пошуровал в печке. Там что-то треснуло, выстрелило, ярче загорелись дрова, осветив насупленного в углу Пшеничного и любопытное курносое лицо Глечика.

7

— Бестолковый я человек... вот. Шальной, безголовый... — говорил Свист. — Одним словом, обормот. Только теперь понял. Как говорят, не вши меня заели, а молодость загубила. Жил в Саратове на Монастырке. Красота городок, скажу вам, первый сорт. Саратов... Да... — Он помолчал, мечтательно вспоминая что-то и все посматривая в печку. — Четыре года уже как не был, душа истосковалась. Так вот, учился малость. Учиться не любил. Да и дисциплина хромала. Мать, бывало, ходит, ходит в школу по вызовам, лупит меня, а толку как от козла молока... А вообще-то била мало. Больше нужно было бить, может, и человек вышел бы, а так — осколок, подобие одно. Подрос, зашился в компанию — дружки-милушки, ярина зеленая. А все же хорошее было время. Раздолье, особенно летом. Мать на заводе — на подшипниковом — работала, а я — будто в раю. На кладбище в войну играем — да, там у нас Чернышевский, писатель, похоронен, — деловито сообщил Свист, повернувшись к Карпенко. — Памятник такой громадный, как шалаш. Так вот, на кладбище, на Лысой горе, в сосняке, а иной раз вырвемся и на Волгу. Вот, брат, счастье, ярина зеленая, сто чертей и бочка рому! Никто в тех местах не видел Волги? Нет? О, у нас есть на что посмотреть! Ширь, простор, вода, солнце, небо, и, если б вы знали, ни в сказке сказать, ни пером описать, райский уголок — Зеленый остров посредине. Стянем чью-нибудь лодку, переправимся туда — и забав, игр на два дня. Мать ищет и в милиции, и в колонии, и в тюрьме, а мы на острове кинжалы выстругаем и разбойников изображаем...

Витька вздохнул, запихнул в печку конец какой-то доски, озабоченно пошуровал там щепкой.

— Потом пошел работать, — продолжал он. — Вначале Григорий Семенович, сосед наш, меня к токарному делу определил. Работал на том же подшипниковом, втулки делал. Сперва ничего, а потом надоело, опротивело, как горькая редька. Как говорится, послал бог работу, да отнял черт охоту. Утром — втулки, вечером — втулки,

вчера — втулки и завтра — втулки, зимой и летом — одни втулки. Уж эти кольца да дырки ночью сниться стали — отрава! С тоски к водке потянуло. Выпивал. Както в пивной познакомился с одним — Фроловым по фамилии. Не было печали, так черти накачали! Так хитро ко мне подъехал, и так, и этак, смотрю — милый человек. И денег не жалеет. Пили. Ловко он мне житуху отравил, и не заметил, как окрутил дурня. Ты, говорит, свой парень, зачем тебе мозоли натирать? Хочешь, устрою, работенка — лафа. И что ж? Устроил продавцом в хлебный магазин. Работаю месяц, второй. Не скажу, чтоб очень нравилось. Правда, сыт — тогда голодновато было на Волге, — а так — почти как и на подшипниковом — нудная работа, только и знай, режь килограммы. Пять тонн сегодня, пять тонн завтра. Не смотри, что хлеб, а нарежешься за день, так хуже, чем на заводе, устанешь. Хотел я уже драла дать, да однажды заявляется этот Фролов, говорит, приходи в «Поплавок», дело есть. Прихожу. Сидят в углу под пальмой — Фролов и еще один, дядей Агеем звали. Что, думаю, за дело? Выпили, закусили — ничего не говорят, еще выпили, закусили — молчат. Еще и еще. А потом Агей и шепни: так и так, дескать, подбросим пару пудиков сверх накладной — продашь? Продам, говорю, не залежится: товар ходкий. «Ну вот и порядочек, парень свойский, и комар носа не подточит», — тешился Агей, потирая руки. А мне спьяну и невдомек, что это — первый мой шаг к черту в зубы. Хорошо на душе, смелости хоть отбавляй, угодить хочется людям — вот и согласился. Не знал того, ярина зеленая, что сегодня — пару пудов, а завтра — десяток, а потом тоннами подбрасывать мне хлеб станут. Придет машина — начнут сгружать, этот Агей и еще один, смотрю — на весах две тонны, а накладную дают на полторы. Остальное наше. Деньги все им отдавал. А они делили. Сначала скребло у меня на душе, думаю, до добра не доведет. Ну, а потом деньги сбили с толку — повалили кучей. Не привык столько иметь, не знал, что делать с ними. Не пропьешь: поллитровка шесть рублей — и только.

— Ну это ты врешь, — вставил Пшеничный. — С деньгами еще ни у кого не было заботы.

— Не было? — язвительно переспросил Свист. — Что ты понимаешь, Мурло, душа копеечная?..

— Ладно, хватит вам. Давай дальше, — оборвал ссору Карпенко.

— Ага. Ну тут разгорелась моя фантазия, увлекся фотографией. Купил аппарат, всякие к нему штучки, начал изводить бумагу и пластинки. Снимал. И на Волге, и на Зеленом острове, и в парке. Наловчился со временем — ничего получалось. Подумал было: а не поступить ли мне в фотоартель? Сказал однажды Фролову — тот только зубами заскрипел. Попробуй, говорит. Так, живу дальше. Надоело фото, купил байдарку и вечером, и в выходные — на Волгу. Вот это дело я любил. Видно, душа такая: все простора просит. Флоров с Агеем тоже иногда приходили, катал. Потом продал байдарку, купил моторку. Снова Зеленый остров, только уже — не разбойники, а жулики, и не игра, а на самом деле. Пьем, рыбу ловим. Туда же один раз привезли они Лельку. Девка, брат, такая, ярина зеленая, во! Закачаешься. Огневая, боевая, веселая. Захмелела моя башка в один вечер — и водки не нужно. Купались, пили, и там в кустах изловчился я, сгреб ее в охапку и поцеловал. Думаю, в морду ляпнет, а она — куда там — обхватила меня обеими руками за шею, впилась в губы, и дух мне заняло, будто в прорву ринулся. Закрутила меня любовь с этой Лелькой, места себе не найду. Говорю, давай поженимся, жить будем по чести, а она только смеется. Ходит ко мне на свидания, целуется, но все тайком, чтоб Фролов не знал. Что ты, говорю, маленькая или он отец тебе, чего боишься? Нельзя, говорит, чтобы знал, и все. Не знаю, чем бы это кончилось, кабы однажды такая история не приключилась. Договорились встретиться — уже не помню, в какой праздник, — прихожу, а она стоит у танцплощадки в парке рядом с этим самым Фроловым. Почувствовал я недоброе, но подошел, а Фролов берет меня вот так за локоть и выводит в боковую аллейку. Думаю, что-то будет, а он мне говорит: оставь Лельку, не тронь — не твоя. Злость во мне взыграла. А чья, говорю, может, твоя? Моя, говорит. А глаза, как у зверя, рука в кармане что-то нащупывает. Ну, я не обратил на это внимания, изловчился да как саданул ему в скулу. Началась драка, пырнул он меня финкарем в лопатку, но и я кулака отвесил. Сбежались люди, закричала Лелька, ну, нас и взяли. Привели в отделение — протокол и так далее. Смотрю, этот, собака, чужую какую-то фамилию называет, и документ у него соответствующий в кармане. Взбунтовалась во мне кровь — ах ты, гад ползучий, думаю, снова кем-то заслониться хочешь! Веди, говорю конвоиру, к главному. Позвали на-

чальника, взял я и рассказал все: про хлеб, и про Агея, и про наши шахер-махеры. Ничего не утаил — утаил только про Лельку. Чувствовало мое сердце, что и она не так себе, тоже в кодле, а назвать не мог. Не назвал...

Свист почему-то умолк, задумался, заглядевшись на огонь. Вокруг, ожидая продолжения, сидели товарищи. Карпенко, подперев голову рукой, лежал на топчане и тоже ждал. Свист молчал, поглаживая горячие от огня колени и, видно, уже по-новому переживая старую свою беду.

— Посадили нас в КПЗ, начали следствие. Ко мне неплохо относились все — и милиционеры, и тюремщики, и следователи, а тут однажды замечаю: что-то переменилось, подозрительно так посматривают и все стараются на слове поймать. «В чем дело? — спрашиваю. — Я все вам выложил, по совести». — «Все ли? — говорит один черный такой, с виду кавказец. — А почему про Злотникову молчишь?» — «Какую Злотникову?» — «Про Лельку», — отвечает и так всматривается, словно в душу хочет заглянуть. Оказывается, этот гад Фролов уже выдал ее. Ну и вот, судили. Целую шайку. Как глянул я на суде, так аж испугался. Ярина зеленая, оказывается, я только кончик нитки им дал, а весь клубок распутали без меня. Человек двадцать разных ворюг. И Лелька. Тяжко мне было видеть ее там. За себя не так обидно, как за нее. А она в глаза мне не глядит, не говорит. Неужто, думаю, меня доносчиком считает? Молчание ее душу мне выворачивает, хочется заговорить, а нельзя. Ну, дали кому сколько. Фролову десять, Лельке — три, мне — пять. Потом поползла жизнь тюремная, лагерная. В Сибири лес валили. Пихта, ель. Снег до пупа, сопки, мороз. Дым от костра даже теперь ночью чувствую — снится. Все, кажется, им провоняло. Вывозили в распадок. Пайки хлеба, баланда, нормы. Люд разный. Одни — ничего, душевные, другие — сволочи. Охрана тоже. Трудно было. Потом привык. С зачетами отбыл два года. Отпустили. Куда податься? Говорят бывалые: на запад не суйся, теперь ты с блямбой на веки вечные. Там ты — как волк в облаву. Все атукать будут — судимый! Айда на восток. Поверил, подался на восток. На Сахалин прибился, повкалывал в шахтах — не понравилось. Вспомнил Волгу — пошел матросом на сейнер. Крабов в Татарском проливе ловили, сельдей, в путину — лососей. Трудная житуха морская, а привык — ничего. Море, оно притягивает — муштрует и не отпускает,

как капризная зазноба. Временами, в шторм, припечет, свет белый проклянешь, а когда стихнет, успокоится — лучшего и желать не надобно: простор, ветер — милая душа, ярина зеленая.

А тут — война, — снова помолчав секунду, продолжал Витька. — Да, забыл вам рассказать. Был еще в моей жизни человек, уважал я его больше матери. Не многих уважал, а его — от души. Владимир Кузнецов. Летчик. Капитан. Еще, помню, я мальцом по Монастырке по садам лазал, а он приезжал в отпуск — в серой гимнастерке, в желтых ремнях. Фуражка такая золотая с крабом. Но особенно мне нравились его нагрудные значки. Помню, «Ворошиловский стрелок», ПВХО, ГСО и парашютистский. Любили мы, ребята, за ним бегать, и он не сторонился, дружил с нами. Однажды я записку от него Инке Голощековой носил — была у нас такая деваха. Ну вот, а потом этот самый Владимир исчез — ни слуху ни духу. Отец его, Григорий Семенович, тот самый, что меня к токарному делу пристроил, ходил молчаливый, угрюмый, мать все горевала, а где он — никто не знал. Только через год или два объявился наш Владимир Григорьевич. Уже три шпалы в петлицах, вместо значков — два ордена Красного Знамени, только что-то со здоровьем у него неладно стало. Ранен, оказывается, был. Думаете, где? В Испании. С франчуками дрался за республику. Потом он сам мне это по секрету рассказывал. Уволили его со службы из-за ранения, и начал он чернеть от какого-то горя, как котелок от сажи. Стал печальным, молчаливым — и все один. А увидит самолет над городом, так, поверите, прищурится, смотрит, смотрит, смотрит... Тот уже за облака скроется или на посадку пойдет, а он все стоит и всматривается. А на глазах слезы. Вот горе было у человека! Когда я спутался с этой чертовой фроловской компанией, он сразу заметил неладное — конечно, по соседству долго не утаишь — и все говорил мне: «Брось ты, Витька, не тем занимаешься». Только я не послушал. Хотел и не мог. Ну, а любил я его очень. И теперь сердце болит, что не послушался, хоть, конечно, не знал он всего, мог только догадываться... И вот получаю на Сахалине письмецо из Саратова от племянницы, пишет — того взяли, этого призвали, а Кузнецова сын на второй день войны сам пошел. Не хотели брать летчиком, потому что здоровье никудышное, так он в пехоту напросился. Ну, думаю, картина, ярина зеленая. И что за гады — фашисты, если уж такой

человек готов даже в пехоте с ними драться? Думаю: все мои знакомые — на фронте, один Свист в тылу. То сидел в тюрьме, а теперь в теплом местечке пристроился, на рыбфлоте. Нет, думаю, я тоже человек, а не скотина. Подал заявление: давайте расчет. Не пускают. Говорит начальник кадров: «Брось, Свистунов, — меня все Свистуновым звал — хорохориться. Тут ты за милую душу до конца войны досидишь, на кой тебе лезть на рожон?» —«Ах ты прохвост, — говорю, — там люди жизни не щадят, а тут — сиди. Не в тюрьме же я, отсидел свое. Давай деньги». Выбил у него косую и прикатил в Москву. По старой привычке пошел к начальнику НКВД. Так и так: бывший заключенный, хочу на фронт. Помогите. И помогли. Дал полковник бумажку, и меня — на пополнение в стрелковую дивизию, а потом на фронт. Под Полоцком окружили. Еле-еле с дружком одним, Алешей Гореловым, ноги унесли. Вот на вас наткнулись. Взял ваш комбат. Расспросил все — как и что, куда и откуда — и взял...

В сторожке потемнело, под потолком клубился дым, в окна временами прорывался ветер. Карпенко курил, лежа на спине.

— Да, хлебнул ты, видно, горя, — задумчиво проговорил старшина. — Это не сладко — тюрьма. Только было за что: виноват, как ни крути.

Свист даже зашевелился от этих слов, видно было, они больно отозвались в его и без того изболевшейся душе.

— Было за что — это правда. Дали пять — согласился. Дали б десять — ни слова б не сказал. Все б отбыл. Заслужил — получил по справедливости. Только, знаешь, не хочу, чтоб всю жизнь попрекали. Что было, то прошло и быльем поросло. Нужно, еще отсижу, стерплю, только без бирки, без ярлыка — человек я ведь, ярина зеленая... И хоть балда безголовая, дурак последний, только, думаю, не хуже многих других — тихоньких, ровненьких... Вот...

Карпенко в ответ не сказал ничего. Все молчали, и слышно было, как выл-завывал за окном неумолчный осенний ветер.

8

Выйдя из сторожки, Овсеев остановился и прислушался. После света из печки, пусть ничтожно малого, в этой кромешной тьме ни зги не было видно, только по-

прежнему монотонно шелестел дождь да судорожно выл ветер. Бойца сразу охватила глухая осенняя ночь, тело вздрогнуло от зябкой промозглости, он поднял воротник, нерешительно ступив во тьму.

Под ботинками чавкала грязь, однообразно стучал и стучал дождь по намокшей спине, пилотке, и тяжелое предчувствие все глубже и глубже забиралось в душу бойца.

Одно из двух, думал Овсеев, или все они во главе со старшиной круглые остолопы, или он сам нытик и трус. Но трусом он не признал бы себя ни за что, потому что помнил в жизни моменты, когда Алик Овсеев решался на такие поступки, на какие не всякий был способен. Просто теперь он понимал то, что не хотели или не могли понять ни старшина, ни Свист, ни Глечик, ни Фишер, и это не на шутку беспокоило его. Ну, конечно, их оставили в заслоне не для того, чтобы они, просидев спокойно сутки, могли затем догнать батальон. Если уж приказали держать эту дорогу, значит, именно здесь подстерегает опасность, здесь ожидается тот главный удар, от которого хочет уйти полк. Но что они, шестеро, могут сделать против фашистской оравы, когда с ней четвертый месяц не справляется вся наша армия? Первым же ударом их тут прихлопнут, как комара на лбу. Кто только придумал такое пожертвование? Явный просчет, глупая затея, никудышная мера — и только. А этот твердолобый, недалекий Карпенко уперся как баран в новые ворота, и знай себе заладил: приказано — выполняй.

Овсеев прошелся по меже, далеко не отходя от сторожки, прислушался и, не услышав ничего подозрительного, решил спрятаться под крышу. Если там прижаться к самой стене, можно хоть немного укрыться от дождя и пронизывающего ветра. Окоченевшие руки сами ищут тепла за пазухой и в карманах, из сторожки слышится разговор, о чем-то треплется Свист. Какой-то непонятный он человек, этот Свист. Так вроде и ничего — сообразительный, ловкий и многое повидал, а никакого критического подхода к обстоятельствам. Удивительно даже, как он, анархист и блатняк по натуре, может так беспрекословно подчиняться воинской дисциплине? Вначале, когда он только появился в их роте, Овсеев хотел даже подружиться с ним, потому что никого подходящего больше тут не было — все какие-то неотесанные, с которыми ни поговорить, ни поразмыслить. Но постепен-

но Овсеев убедился, что этот Свист больше тянется к другим, любит держаться компании, и Овсеев махнул рукой — черт с ним.

В полку Овсеев жил сам по себе. Это было не очень весело; дело в том, что ему казалось, будто он куда умнее и интеллектуальнее, чем все те, кто в этой армейской жизни был рядом с ним. Многих он презирал, на других, таких, как Глечик, просто не обращал внимания.

Постепенно привыкнув ко тьме, Овсеев стал различать тусклую линию железной дороги, очертания столбиков на переезде, слышал, как печально шумели молодые посадки у линии. На горе, на дороге все было тихо. Немцы, видно, не торопились или заночевали где-нибудь в такую непогодь, не то быть бы беде. Только нет худа без добра. Ночью они еще сумели бы оторваться от врага, скрыться во тьме, отойти, а вот завтра вряд ли. Завтра всем им придется туго, возможно, они погибнут. Это скорее всего. А погибать, прожив только двадцать лет, Овсеев совсем не хотел. Вся его душа, каждая клеточка тела гневно протестовали против гибели и жаждали одного — жить. К дьяволу эту войну, к дьяволу муки и кровь, если человеку нужно только одно — жить! Столько услад в жизни — познанных и еще не познанных, столько радости и счастья, что погибать в самом ее начале — преступление перед самим собой. Этот твердолобый Карпенко готов разбиться в доску, чтобы только выполнить приказ. А он, Овсеев, привык всегда все взвешивать, анализировать, думать и находить лучшие для себя варианты из всей суммы возможных. Эту привычку он приобрел давно, еще в школе, когда понял, что большего иногда можно достигнуть и малыми средствами. Он много читал, учился легко, среди учителей и товарищей слыл способным и развитым. Без особого труда давались ему гуманитарные предметы. Математику он тоже знал, но она требовала усидчивости, настойчивости, въедливости до мелочей, а это было не по душе «утонченной» натуре Алика. Бесконечные домашние задания по алгебре, тригонометрии, физике бесили его тем, что «съедали» все свободное время, так необходимое для спорта, удовольствий и забав. И он договорился с одноклассником Шугайло, недалеким учеником-переростком, который неплохо справлялся с математикой и второгодничал в восьмом классе из-за абсолютной неспособности к языкам. Шугайло стал готовить за Алика все домашние задания

по математике, писал за него контрольные, одним словом, облегчал все его математические обязанности. Алик помогал ему во время диктантов и сочинений, но делал это хитро, и если по математике отметки у них были одинаковые, то по языковым работам оценка у Шугайло редко когда поднималась до 4. Алик же был круглый отличник.

Отец его, военврач подполковник Овсеев, в дела юноши-сына почти не вникал: у него было полно своих хлопот. Зато мать, уже немолодая и очень добрая женщина, обхаживала своего единственного за пятерых отцов и пятерых матерей. С детства она находила в Алике множество различных и необычайных способностей. Стоило малышу, балуясь, тронуть клавиши пианино, как мать тут же восторгалась и бежала к отцу, соседям, знакомым, говорила: «Это же чудо-ребенок, он уже взял аккорд! О, он будет композитором». Если Алик, послюнив карандаш, выводил на бумаге какие-нибудь каракули, мать подхватывала листок и бежала показывать другим. Если он, случалось, обижал малышей во дворе и на него жаловались соседки, она, закрыв двери, одобряла: «Молодчина, сынок. Не разрешай брать верх над собой».

Когда Алик подрос, он пошел в музыкальную школу, неплохо проучился там два года, но потом бросил. Мать очень переживала. Удивлялись преподаватели, почему он, такой способный к музыке, вдруг потерял к ней охоту. Овсеев никому ничего не объяснял, но сам знал определенно, что поступил правильно. «Лучше быть первым в Галии, чем вторым в Риме», — вычитал некогда Алик и понял, что в музыкальной школе ему никогда не быть первым. Первой там была Нина Машкова, а на второе место для себя Алик не мог согласиться.

Через месяц Овсеев записался в студию изобразительных искусств, купил альбом, медовые акварельные краски и всю зиму писал натюрморты. Алику казалось, что его рисунки не хуже работ других студийцев, но преподаватель Леонид Евгеньевич, старичок в поношенной толстовке, иногда, остановившись у его мольберта, теребил узенькую бородку и непонятно почему спрашивал:

— Вам, Овсеев, спорт нравится?

— Нравится, — быстро поворачиваясь к нему, говорил Алик, и учитель согласно кивал головой.

— Правильно, футбол, например, чудесное занятие для юноши.

Сперва Овсеев не понимал, а потом догадался о смысле тех туманных намеков и перестал посещать студию. Как раз начиналась весна, пригревало солнце, на детском стадионе до поздней ночи бухали мячи — и Алик Овсеев отдался спорту.

После нескольких тренировок его зачислили в юношескую футбольную команду, которая затем в городских соревнованиях заняла первое место. Снимок команды-победительницы поместили в местной газете. Алик в решающем матче забил два гола и почувствовал себя так, словно стал намного старше своих шестнадцати лет. Его перестали интересовать одноклассники и даже учителя, несмотря на возросшее их уважение к юноше-спортсмену. Он замечал, какими влюбленными глазами посматривали на него девчата и как товарищи томились от зависти к его спортивным успехам. Все это приятно щекотало его самолюбие, и Алик начинал уже думать, что нашел свою дорогу в жизни, как вдруг в начале лета на их команду посыпался ряд неудач. Три раза подряд на ответственных соревнованиях они позорно проиграли. Однажды Алика вывели из игры за грубость и в конце концов заменили другим.

Долго после этого Овсеев в одиночестве переживал свои жизненные невзгоды, но мать утешала сына, доказывая, что он очень способный, всесторонне одаренный, но немножко ленится, а если постарается, станет просто гениальным. Этот усвоенный с детства довод постепенно успокоил Алика, наполнил его сердце презрением к другим и дал основание смотреть на себя как на исключение. Но другие почему-то упрямо не хотели замечать исключительности Овсеева и совсем не так, как того требовала его натура, относились к молодому человеку. Особенно ярко это проявилось, когда Алик приехал в Ленинград и поступил в артиллерийское училище.

Еще занимаясь в десятом классе, Алик понял, что искусство, музыка, живопись, а также спорт — не его стихия, потому что там нужны фанатичная самоотверженность, упорство и каторжный труд. А все то, что достигается огромными усилиями, через трудности — Овсеев был уверен в этом, — не приносит удовлетворения: радость достигнутого омрачается трудностью достижения. Военное дело влекло его воображаемой романтикой жизни и красотой формы. Он любил смотреть на строй красноармейцев во время парадов, ему нравился бравый вид

молодых командиров в портупеях, с планшетками и пистолетами на боку, он восхищался мощью боевых машин и вычитанными из книг геройскими подвигами во время войны. Отец не возражал против новой склонности Алика, мать же, во всем угождая сыну, отступила от своих прежних намерений относительно его карьеры на поприще искусства, и за год до войны Овсеев стал курсантом пехотного училища.

Но случилось так, что с первых же дней своей военной жизни курсант Овсеев почувствовал разочарование. Командиром отделения, в которое зачислили Овсеева, назначили мешковатого тугодума Тодорова. Этот недалекий, по мнению Алика, человек совсем не хотел видеть, что Овсеев умнее его и многих курсантов, более развитой и ловкий, куда лучше воспитанный. Кстати, этого не хотели также замечать ни старшина, ни командир взвода. Его школили так, как и всех. И когда он попытался выделиться, показать свои знания и способности, доказать, что он стоит большего, тогда его невзлюбили товарищи.

Правда, те невзгоды быстро прошли. Летом, когда началась война, его в числе большой группы курсантов отозвали из училища и с маршевой ротой направили на фронт. Овсеев вначале даже обрадовался и, по пыльным дорогам добираясь до передовой, был полон решимости совершить какой-нибудь героический поступок: все хотелось показать, на что он способен. Но в первом же бою его оглушило грохотом взрывов, ослепило страхом близкой смерти, обожгло болью неудач. «Нет, — сказал он себе. — Это не для меня». Дальше он только и думал о том, как бы уцелеть.

До сих пор ему везло, но, кажется, пришел конец его удачам. Овсеев очень беспокоился за завтрашний день, чувствовал, ныло его сердце — быть беде, и все думал: что предпринять, чтобы отвести от себя гибель?

Стоя так под краешком крыши и отчаянно ища выхода из тупика, Овсеев не заметил, как прекратился дождь. Наступила тишина. Перестали стучать капли по крыше, кажется, постепенно унимался и ветер. Неизвестно, который был час. Овсеев чувствовал слабость во всем теле и, сердито подумав о тех, что остались в сторожке и не сменяют его, рванул на себя дверь.

9

Из сторожки пахнуло теплом, дымом, кислыми испарениями от мокрых солдатских шинелей. Не переступая порога и держа дверь настежь раскрытой, Овсеев спросил:

— Ну что? Вы меня смените сегодня?

— Что-то ты больно скоро, — отозвался с топчана Карпенко. — Еще, верно, и двух часов не прошло.

Он неторопливо вытащил из карманчика старые «кировские» часы на цепочке и повернулся к скупому свету из печки.

— Да пять часов! Скоро рассвет. Ну кто? Глечик, давай ты.

Глечик с готовностью вскочил с пола, но его опередил Пшеничный.

— Постой. Я пойду. Глечик пусть отдохнет. Он копал много, так что...

Не ожидая согласия командира, боец запахнул шинель и полез в дверь. Овсеев поставил в углу винтовку и стал устраиваться у печки.

— Дождь, кажется, утихает? — спросил Карпенко.

— Стих, — ответил Овсеев, протянув к огню озябшие красные руки.

Рядом, разомлев от жары и поджав ноги, сидел Свист. Он все, видно, не мог одолеть своего задумчиво-меланхолического настроения и с тихой грустью в светлых глазах, уставленных на горящие уголья, говорил:

— Повидал я людей и там, и тут, смерти насмотрелся и думаю: эх, человек, не знаешь ты, что тебе надобно. Выкамариваешь, как малое дитя, пока тебя жареный петух в зад не клюнет. А клюнет, тогда враз ум появится. Тогда докумекаешь, как жить надо. Это я о самом себе думаю. Допёр вот, ярина зеленая.

— Оно так, — отозвался Карпенко, вытягивая ноги на топчане. — Только пропади она пропадом, война эта. Мне она всю жизнь поломала. Только на ноги поднялся, на свою дорогу набрел, как тут трах-бах — понесло...

— Это правда, — согласился Свист. — И когда уж мы его осилим, гада? Прет и прет, паразит окаянный!

— Ничего, осилим. К Москве не допустим. Это уж точно.

Овсеев, грея мокрые руки, неприветливо блеснул на старшину черными холодными глазами.

— Ну да. Можно подумать, Москва за Уралом.

— За Уралом не за Уралом, а Москву не отдадим.

— Это мы уже слышали, — хмыкнул Овсеев. — А три месяца отступаем...

— Ерунда, — живо отозвался Свист. — Кутузов тоже отступал. Тут план, может, такой — как с французами. А что? Заманить поглубже в леса, болота, окружить и кокнуть к чертовой матери, чтоб ни одного не осталось.

Карпенко курил, пуская в потолок широкие кольца дыма, и о чем-то сосредоточенно думал. Овсеев, отогревшись, стал доедать кашу. Витька сгребал у печки последнее топливо, а Глечик, полный внимания на круглом мальчишеском лице, оперся на руку и слушал. Дрова в печке догорали, сверкала, переливалась жаром куча углей, тьма все плотнее окутывала силуэты людей. Тускло светились лишь их лица и руки.

— Ах, гады, гады! Что сделали с Россией, — говорил Свист, подбирая во тьме остатки топлива. — Ну подожди, доберемся — никому пощады не будет.

— Зачем так, — подумав, заметил Карпенко. — Всех на одну мерку нельзя мерить. Есть и среди немцев люди. Подпольщики. Они свое дело делают.

— Что, может, пролетарскую революцию готовят? — невесело улыбнувшись, съехидничал Овсеев. — Я слыхал, один политрук про революцию в Германии агитацию разводил. Говорит, скоро немецкий пролетариат поднимется против Гитлера.

— А что? Возьмет и поднимется. Что ты думаешь? Мы не знаем, а там, возможно, дело делают. Не может того быть, чтоб все немецкие рабочие за Гитлера стояли.

— Да, жди, — буркнул Овсеев.

— Эх ты, умник, — разозлился Карпенко. — Что-то, смотрю, все ты знаешь, все понимаешь.

— И понимаю, а что ж!

— Понимаешь! Вот посмотрю завтра на тебя, умника.

Овсеев смолчал. Стало тихо. Глечик насупился. Свист рассудительно говорил:

— Это ничего, ничего. Пускай! Понятно, беда, да кто беды не бедовал. Хлебнуть доведется, но беда жить научит. Эх, ярина зеленая. — Он вдруг переменил тон на свой обычный шутливо-разухабистый. — Слушайте анекдот на закуску, да нужно кемарнуть часок.

Карпенко улыбнулся, поворачиваясь на бок. Глечик

придвинулся ближе к печке. Овсеев пренебрежительно скривил губы.

— Так вот, про женское любопытство. Кто «против», кто «за»? Идет. Ну вот, ярина зеленая, слушайте. Был у одного человека знакомый. Встречаются однажды: «Как жизнь?» — «Ничего». — «Смотрю, что-то тощий ты больно, еле-еле душа в теле. Что такое?» — «Да жена заела». — «Эк, а жена что, тоже похудела?» — «Где там: печь-баба». — «Ну, я помогу, отучу ее от ссор». И вот является как-то этот знакомый в выходной. Стук-стук. «Здравствуйте». — «Заходите, милости просим». — «Да я по делу, к хозяину». — «Ну что ж». Хозяин притих, понятно, ведет гостя в комнату, дверь на ключ. Жена нервничает: в чем дело? Ну и к двери, понятно, глаз в дырочку — что такое? А знакомый бух перед хозяином на колени. Слышит баба, умоляет простить. «Не могу, — говорит хозяин, — сам знаешь, не могу». — «Христом прошу: прости, молодой был, бес попутал». — «Не проси, не в моих это силах». И так с полчаса. Наконец вышли оба совершенно убитые. Знакомый за шапку да к двери, не попрощавшись. Жена к мужу: «Что такое?» — «Не могу, говорит, дорогая, не моя тайна». Она и так и этак, а он: «Не могу, и все, не проси». Жена не спит ночами, перестала есть, все думает, гадает, допытывается, просит раскрыть ей тайну. А муж ни в какую. Во второй выходной снова та же история. Приходит знакомый, запираются, и снова один просит, а второй упорствует. Жена места себе не находит, сохнуть начала, обед не варит. А муж молчит — и все. Так трижды приходил этот человек и все умолял простить его, а на четвертой неделе высохшую как щепка жену отвезли в больницу.

— Здорово, — сказал Карпенко. — Не очень смешно, но правильно. Ну а теперь на пару минут — молчок.

Заскрипев топчаном, он повернулся на другой бок и сразу затих. Сидя прислонился к теплой печке промокший Овсеев, на полу с головой укрылся шинелью Свист. Глечик подвинулся ближе к печке и, обхватив колени руками, печально смотрел на дотлевавший огонь.

Когда совсем догорели дрова, еще долго ярко краснели угли, по ним кое-где пробегали синевато-прозрачные огоньки, но их становилось все меньше. Потом уголья стали покрываться тоненькой пеленой пепла, и эта пе-

лена, будто живая, шевелилась, дышала, расползалась по топке. В груди Глечика отчего-то все больнее сжималось сердце, полное давних горестных терзаний.

10

За это страшное время неизмеримых людских страданий Глечик уже порядком огрубел душой и перестал замечать мелкие жизненные невзгоды. Не очень допекали его марши и окопы, стужа, голод. Привык он и к требовательности командиров. Только одна всепоглощающая боль, ни на минуту не утихая, день и ночь жила в его сознании.

Он был робким и молчаливым. Никто никогда не слышал от него ни одного слова жалобы, так же как никому не открывал он своей души, не делился затаенными страданиями, и, слушая других, думал, что его горе — не горе. Правда, от этого было не легче, и сердце его тоскливо сжималось.

Эх, если бы можно было остановить время, перекроить жизнь заново, «собрать с дороги камни те, что губят силы молодые». Не поступил бы, может, и он, Глечик, так опрометчиво, не обидел бы самого близкого человека — родную мать. Но сделанного не исправишь. Оттого так и болит теперь его сердце.

Безмятежным и тихим было детство Василя Глечика. Кирпичный завод на окраине поселка, огромные старые карьеры, залитые широкими лужами желтоватой воды, длинные сушильные навесы да множество кирпича — сырого, подсохшего и обожженного. На сыром можно было запросто написать свою фамилию, нарисовать звездочку. Обожженный кирпич, жесткий и звонкий, краснел как медь. В карьерах поселковые сорванцы ловили весной головастиков, баловались, купались, пропадали у воды спозаранку дотемна, пока на обрыве не появлялся Васин отец и не разгонял их по домам.

Отец Василя Глечика, конечно, имел самое непосредственное отношение к заводу, работал обжигальщиком, считался чуть ли не полновластным хозяином длинной, как пещера, гофманской печи, которая всегда полыхала жаром. Добряк по натуре, он никогда не обижал Васю, в получку обычно приходил слегка навеселе и приносил сыну игрушки и конфеты. Мать тогда хмурилась, и маленький Василек никак не мог понять, почему она сер-

дится — ведь отец в такие часы был еще ласковее и добрее, чем всегда. Ну а когда мать обижалась, Василек не мог чувствовать себя счастливым, он тоже переживал и тоже дулся на отца, потому что очень любил мать. Всегда веселая, жизнерадостная, с приветливой, открытой улыбкой на спокойном красивом лице, она была ровной со всеми, и, бывало, каждый при встрече с ней сразу радостно и светло улыбался. Они очень счастливо жили тогда. Василек учился в школе. Характером он пошел в мать, был старательным, честным, уважительным к старшим и до пятнадцати лет не знал, что такое настоящее горе.

Но горе нагрянуло — неожиданное, обидно-нелепое и страшное. Однажды в дождливый, как сегодня, осенний вечер они все — отец, мать, Василек и трехлетняя Насточка — сидели за столом и слушали музыку. Отец неловкими, огрубевшими от работы пальцами вставлял в мембрану неделю назад купленного патефона иголку и осторожно опускал ее на пластинку. Мать, облокотившись на подоконник, казалось, вся ушла в музыку, — она была очень красива тогда, какая-то мечтательно-грустная и тихая-тихая. И вдруг снаружи донесся дикий, нечеловеческий крик.

Все вздрогнули, отец бросился к окну, затем к двери, ноги в сапоги и как был — в одной рубахе, без шапки — выскочил на улицу. Василек тоже выбежал следом и сразу за углом, у забора, в свете фонаря увидел незабываемо-ужасное. С мокрого от дождя невысокого столба электросети сползал вниз человек. Это был их сосед Трошкин. А на земле, распластавшись в грязи, неподвижно лежал отец. Василек бросился к нему, закричал. Выскочила мать, сбежались люди. Но уже ничего нельзя было сделать — отца убило током.

В тот вечер кончилось Васильково счастливое детство. Отца похоронили. Мать почернела от горя и слез. Василек тоже плакал, но тайком от всех: неожиданно он почувствовал себя самым сильным в осиротевшей семье и сдерживался как мог. Жить стало трудно, томительно-скучно и одиноко. Он тогда окончил семилетку, но мать хотела, чтобы сын учился дальше, и сама пошла на завод формовать черепицу. Зарабатывала она немного, денег на все не хватало, они берегли каждую копейку и кое-как сводили концы с концами. Василек старался помогать матери — собирал металлолом, ремонтировал ва-

гонетки, грузил на машины кирпич. Мать постепенно оправлялась от горя, успокаивалась и иногда, положив спать Насточку, садилась у окна, говорила: «Ничего, не горюй, сынок, как-нибудь проживем. Все ж нас двое, работников». Полная нежности, она гладила его по коротко остриженным вихрам, а Васильку было очень не по себе от этой ее ласки, и он стыдливо уклонялся. Но в такие минуты мальчик готов был на любые невзгоды, лишь бы облегчить жизнь матери. После смерти отца он стал любить ее вдвое сильней.

Мать неожиданно повеселела.

Как-то в погожий выходной день она обула свои белые, купленные еще отцом туфли, взяла маленькую сумочку и пошла, наказав Васильку присматривать за Насточкой и никуда не отлучаться из дому. Вернулась она под вечер, веселая, быстрая, по-прежнему красивая и ласковая. Она долго и радостно играла с Насточкой, гладила по голове Василька, но в душе сына вдруг возникла к ней непонятная, ничем не объяснимая враждебность. Правда, он тогда ничего не сказал ей, а, тихонько выйдя из дому, направился к карьеру и до сумерек просидел на обрыве.

Через несколько дней обида улеглась; мать, веселая и добрая, как всегда, много работала, вечером приходила усталая и успокоенная. Но однажды в какой-то праздник она поднялась очень рано, сбегала в магазин, тщательно убрала в комнате, приготовила посуду и сказала Васильку, что он, если хочет, может погулять, потому что к ним придет гость. Василек сразу насторожился, насупился, гулять не пошел, а залез на крышу сарая и стал высматривать гостя. Им оказался Кузьмиченков — бухгалтер завода, уже не молодой человек, который всегда ездил на велосипеде с пристегнутым к раме портфелем. Василек убежал на карьер и до полуночи не возвращался домой.

А мать в тот вечер долго не ложилась спать: все ждала сына. Она, конечно, сразу почувствовала его отчужденность и вздохнула, когда он, придя, молча завалился на кровать, потом всплакнула и сказала, что он еще мал и не понимает всего, что нужно было б понять. Какая-то жалость к матери на мгновение шевельнулась в его душе, но понять мать окончательно он действительно не мог, а главное — не хотел.

Что-то в нем ожесточилось, он утратил свою преж-

нюю искренность, избегал оставаться с ней наедине. И когда год назад мать привела в дом Кузьмиченкова и сказала, что он теперь будет их отцом, Василек понял: тут ему оставаться нельзя.

Два дня спустя он взял новую рубаху, зимнюю отцовскую шапку, три червонца полученных накануне денег и отправился на станцию. Там сел в пригородный поезд и приехал в Витебск. В его кармане лежала потрепанная газета с объявлением о приеме учащихся в школу ФЗО. Так Василь Глечик перешел на свой хлеб.

Дома он не сказал никому, куда поехал, за что и на кого обиделся. Мать, видно, немало пережила, пока отыскала его в Витебске, приехала, просила вернуться, а главное — не обижаться, но он молчал, ни слова не сказал ей при встрече, не отвечал на письма. В начале войны он узнал, что Кузьмиченков пошел в армию, а мать с Насточкой остались одни. И парень тогда заколебался. Он знал, что перед той бедой, которая неудержимо катилась на восток, ему надо быть ближе к матери, но прежняя обида нет-нет да и давала еще о себе знать.

Пока он взвешивал и раздумывал, немцы подошли к Витебску, и нужно было спасаться самому. Василек прицепился на станции к заднему вагону последнего поезда и, где пешком по шпалам, а где в эшелонах, добрался до Смоленска. Видно, в огромном людском горе растворилась и его обида. Осталось только болезненное сознание своей так поздно понятой несправедливости к матери...

Глухая тьма наконец целиком завладела сторожкой; потухли последние искорки в печке. Стало холоднее. Дружно посапывали красноармейцы, похрапывал старшина, а Глечик широко открытыми глазами смотрел во тьму. Завтра может настигнуть его беда, он может погибнуть. Это будет его первый бой с ненавистным врагом. Но не страх смерти, не жалость к себе терзали парня в эти последние минуты покоя.

— Мама, дорогая моя мамуля, — беззвучно шептал во тьме Глечик, — простишь ли ты когда-нибудь мое непослушание, мои глупые выходки? Почему я был тогда таким дурнем, зачем оставил тебя — родную, единственную мою? Как ты теперь там, во вражьем плену, одна? Что сделают с тобой кровавые изверги и кто заступится за тебя?..

11

Тем временем старшине Карпенко снился несуразный, тягостный сон.

Чудилось ему, будто вот в этой сторожке у печки, на том месте, где разлегся Витька Свист, сидит его, Григория Карпенко, отец. Строгий, озабоченный, сгорбленный от нелегкой житухи старик закручивает взлохмаченный седой ус, хрипловатым голосом говорит: «Вот что, сыны. Как себе хотите, а надел больше делать не будем. Пока я жив — не дам. Поделились — с сохой повернуться негде. Ляксей пусть живет, остальные геть в свет — своего хлеба искать».

И тут видит Карпенко: из тьмы выступают его братья — старший Алексей, хромой Ципрон, сварливый Никита, а с другой стороны он, младший, Гришка. Как и тогда, лет пятнадцать назад, злой, горластый Никита в ответ на отцовские слова сорвал с головы замусоленную от пота шапку и, ударив ею об землю, закричал: «Ага! Любимчику, старшенькому, черт его дери! А мы что? Куда мне четверых босяков девать? Куда? Говори, отец!» — бил себя кулаком в расхристанную грудь Никита.

Братья загудели, задвигались, недовольные отцом, вытянули жилистые руки и стали наступать на него, готовые растерзать сгорбленную фигуру у печки. Но отец сидел спокойный, строгий, лишенный всякого страха, словно чувствовал в себе какую-то магическую силу, способную защитить его. А он, Гришка, испугался и, бросившись к старику, заслонил его.

Тогда братья замахали длинными, как поломанный шлагбаум, руками, растопырили над ним костлявые, с отросшими ногтями пальцы, жадно потянулись к его шее.

«Ага, — шипел из тьмы голос Никиты. — Хорошо тебе: ты в армию пойдешь, до командира дослужишься, жалованье получишь, а мы что? Что мы-ы-ы?»

И вот костлявые пальцы брата ухватили Гришку за горло, сжали, он стал задыхаться, но отбивался как мог. А отец все сидел у печки и, наблюдая за дракой, противно хихикал: «Ага, ага! Вот так его, так-так, так...»

Григорий изо всех сил рванулся, выскользнул из сжавших его мертвой хваткой объятий и бросился прочь.

Потом что-то переменилось во сне, и он лежал уже за станковым пулеметом под огромным заснеженным валуном, на берегу того безымянного озера в Финляндии, где совершил свой первый воинский подвиг. За вторым таким же камнем притаился с «ручником» взводный — лейтенант Хиль. Больше из их роты не осталось никого, и они третьи сутки из двух пулеметов отбивались от финнов. Только теперь, во сне, на них почему-то наступали не лыжники особого батальона «Суоми», а немецкие эсэсовцы. Они ровной густой цепью бежали по заснеженному льду озера. Карпенко стрелял и стрелял, но его пули где-то пропадали, не причиняя врагу никакого вреда. Он спохватился, что не поставил на планке прицел, и тогда оказалось, что нет и самой планки, что ее срезало осколком, а пули из перегретого ствола падали на снег прямо перед самой его позицией. Ужаснувшись от мысли, что может попасть в плен, Карпенко схватил в обе руки по «лимонке» — они были последними — и с криком: «За Родину!» — замахнулся на врагов. И в этот момент послышался сзади хорошо знакомый ему простуженный голос командира батальона, который вчера оставил их здесь, на этом переезде: «Так их, так их, Карпенко!..»

Удивленный старшина повернулся на этот голос и почему-то увидел Овсеева, который спокойно выскребал из котелка остатки каши, сваренной Свистом, и говорил: «Ты чудак, командир. Зачем так артачишься? Давай лучше есть кашку с котлетами. Не видишь разве — это же наши».

Еще больше недоумевая, Карпенко всмотрелся в цепь на льду и понял, что это действительно шли наши, красноармейцы в буденовках, а Овсеев, облизывая ложку, продолжал: «Ну вот, командир, теперь у тебя медальку и отберут. Почему в своих стрелял?»

Измученный ужасами, старшина с опаской глянул на свою грудь, где рядом со значком «Отличник РККА» висела медаль «За боевые заслуги», и вдруг почувствовал там чью-то руку, ласково гладившую его. Он приподнял голову: рядом стояла Катя — Катерина Семеновна, его молодая жена, которая неизвестно как очутилась тут. Она гладила его грудь, отчаянно цепляясь за шею, и плакала, плакала, как в тот день, когда провожала его в военкомат — на вторую, куда более страшную, войну.

«Так смотри ж, — говорил Карпенко, большими ру-

ками обнимая худые острые Катины плечи. — Родится, береги его...»

«Ой, родненький, никогда он для тебя уже не родится, — запрокинув голову, сквозь слезы причитала жена. — Погибнешь ты, пропадешь, любимый, хороший мой!..»

Это было невыносимо. Охваченный страхом, Карпенко напрягся, чтобы освободиться от него, и проснулся.

В сторожке царила слепая тьма. Мерно посапывал на полу Свист, где-то ровно и сдержанно дышал Овсеев. Карпенко спустил с топчана ноги. Тело его застыло от холода, который уже успел забраться в это дырявое помещение, и старшина зябко закутался в шинель. Он пощупал карманы, вытянул кисет, свернул цигарку. Зажигалка почему-то не загоралась, только высекала маленькие синеватые искорки, которые тут же и гасли. Карпенко сунул ее обратно в карман и осторожно, стараясь не наступить на кого-нибудь, пробрался к печке. Под пеплом еще кое-где тлели угольки. Старшина достал один и, взяв его пальцами, прикурил. Бумажный кончик цигарки вспыхнул ярким испуганным пламенем, осветив на мгновение сонное, нахмуренное лицо старшины, сверкнул в настороженных глазах лежавшего у печки Глечика. Старшина бросил уголь в печку, затянулся и снова пошел к топчану.

— Ты почему не спишь? — спросил он из темноты Глечика.

— Так, не спится.

— А ну ложись! Завтра вряд ли удастся, — заметил он, а сам, весь во власти только что приснившегося, отмахнулся мысленно: «Ерунда! Наплелось всякое...»

Он снова улегся на топчане, курил и думал о том, что навеял ему этот нелепый кошмарный сон...

Да, нелегко сложилась жизнь крестьянского сына Карпенко. Отслужив срочную помощником командира взвода, он остался в армии и лет десять еще тянул лямку старшины роты. Беспокойная это служба, кто знает — не позавидует старшинскому хлебу. Но Григорий привык, втянулся в бесконечные казарменные хлопоты. Да и вынужден был привыкнуть, потому что возвращаться домой, на Орловщину, не выпадало: в отцовской хате жил со своей многодетной семьей Алексей, все остальные братья разбрелись по свету. Правда, потом организовался колхоз, но он на первых порах крестьянам ни-

чего не давал. Каждый пробивался как мог. Постепенно жизнь налаживалась и в деревне, и в городе. Но внезапно началась финская война. Тут Карпенко довелось хлебнуть горя. Тяжелое ранение надолго вывело его из строя, потом он получил боевую медаль и наконец осуществил свою давнюю мечту — уволился в запас. Как участника войны и награжденного, его назначили заместителем директора льнозавода, дали хорошую квартиру во второй половине поповского дома, где была заводская контора, и Карпенко вскоре женился на Кате, молоденькой учительнице местной начальной школы.

Заводские дела его увлекли. По старой армейской привычке он не жалел ни сил, ни времени, вместе с директором, одноруким красным партизаном Шорцем, сделал этот завод одним из лучших в районе. Он сдержанно, по-своему, без особой ласки, но крепко любил свою Катю и с необычной, никогда прежде не испытанной нежностью ждал появления малыша.

И тут снова война.

Тяжело и неудачно началась она. Каждый день погибали люди. Но Карпенко на фронте все же везло. Их дивизию летом разгромили под Лепелем, однако остатки полка, в котором служил старшина, как-то выбрались из окружения, вынесли оружие и знамя. Правда, погибли в боях три командира его роты, сменилось несколько комбатов, уже совсем мало осталось тех, кто выдержал первый бой, а Карпенко по-прежнему был невредим. Наконец он уже привык к мысли о своей неуязвимости, больше заботился о других и почти не тревожился о себе. Случалось, он ненадолго оставался командиром батальона, дольше — командиром роты. Немцы наседали крепко, но обычно выходило так, что и Карпенко, наловчившись, давал им хорошей сдачи. Он не терялся сам, внимательно следил за боем, не давал спуска трусам. Бойцы немного обижались на него за излишнюю строгость, но в боях по-настоящему ценили крикливого командира...

Карпенко докурил цигарку, полежал еще. Сон больше не шел. В сторожке по-прежнему было темно, но чуткий ко времени старшина догадывался, что скоро утро. Он снова поднялся, плотней запахнул шинель и, переступив через Свиста, открыл дверь.

Медленно светало. Тьма постепенно редела, отползала от переезда, уже проглянула из мрака железнодорожная насыпь и дорога с блестящей лужей посредине. Чер-

ной расплывчатой полосой вдоль дороги тянулись посадки. Ветер стих, потеплело, с лощины через пути ползли серые космы тумана.

Старшина осмотрелся, ища часового Пшеничного, но того нигде не было. Он обошел сторожку, заглянул в траншею, позвал. «Удивительно, — подумал Карпенко, — неужто задремал?» Он еще осмотрелся, потом зло выругался.

В этот момент на дороге за березами чуткую предрассветную тишину прорезала гулкая пулеметная очередь...

12

За несколько часов до того, оставшись один в поле, Фишер встревоженно слушал дальнюю стрельбу за лесом, смотрел на мигающие сполохи ракет и думал, что их дела здесь, видно, плохи. Если немцы уже зашли с тыла, удержать эту дорогу будет невозможно. Теперь, наверно, в тыл вышла лишь небольшая группа фашистов, но их основные силы не минут этого единственно пригодного для машин пути. Когда они хлынут? Какие это будут силы? Удастся ли им, шестерым, удержать переезд на сутки? Этого Фишер не знал, и именно это не давало ему покоя.

Когда стрельба за лесом утихла, Фишер все же стряхнул с себя тревожную задумчивость и взял лопатку. Уже совсем стемнело: небо, поле, дорогу с березами заволокло туманной мглою, еще немного видна была стерня у ног и в ней — неровная полоска определенного старшиной контура окопа. Фишер взялся копать, азартно, но беспорядочно, неумело разгребая в стороны мягкую от влаги почву со стерней. Вскоре образовалась ямка, похожая на воронку. Дальше земля стала тверже и не хотела поддаваться. Боец устал, расстегнул ремень, снял противогазную сумку, немного постоял, хотя и не отдохнул, но дальше стал работать спокойнее.

От однообразного труда и монотонной ветреной тиши к Фишеру пришла привычная потребность рассуждать, добираться до скрытого смысла разнообразных явлений и обстоятельств его военной судьбы.

Сложное и противоречивое чувство вызывал в нем Карпенко. Фишер не любил этого человека. Его угнетали неизменная требовательность старшины, злые окрики,

черствость его солдатской натуры. Часто, когда старшина бесцеремонно, грубо за какие-нибудь мелочи кричал на бойцов, Фишеру хотелось возмутиться, дать ему отпор, потребовать доброжелательного, ровного отношения к людям. Хотелось, но ни Фишер, ни кто другой из тех, кто тоже про себя возмущался его наскоками, не решались сделать этого. Самоуверенность старшины обезоруживала, парализовывала волю, и Фишер временами чувствовал, что он просто побаивается взводного. Карпенко же, по всему было видно, не любил «интеллигентов-умников» и, как натура элементарно простая, не умел скрывать своего к ним отношения. Фишер временами презирал старшину, временами ненавидел, но стоило тому хоть на минуту просто, по-человечески подойти к нему, стать Карпенко-товарищем, как Фишер уже забывал о своей неприязни и готов был простить все свои прежние обиды.

Вот и теперь, после короткой стычки на переезде, стычки, во время которой, накопившись, взорвалось наконец давнее возмущение Фишера, стоило Карпенко заговорить с бойцом просто и уважительно, как тот сразу обмяк. И хоть ему было очень не по себе тут, в этом холодном, продутом всеми ветрами поле (и одиноко, и боязно, и горели ладони от свежих мозолей, и где-то точила маленькая обида — почему на такое дело назначили его, а не другого), он молчаливо терпел. Знал: это нужно полку, батальону, им, шестерым, на переезде, и еще в каком-то уголке души тлело затаенное желание — угодить командиру.

А угодить было трудно. Чем глубже он зарывался в землю, тем неудобнее становилось копать в тесноте узкой ячейки — ни согнуться как следует, ни выбросить полную лопатку — она тыкалась о стены и рассыпала землю. Фишер все чаще вынужден был выпрямляться и, тяжело дыша, вслушиваться в ночь.

Но тогда сразу становилось холодно на ветру, порывы которого делались все неистовее, наполняя ночь шелестом берез у дороги, шорохом стерни и еще какими-то неясными звуками. Стал накрапывать дождь.

Уже можно было с грехом пополам укрыться в окопчике-ямке, отрытом Фишером. Но старшина приказал окопаться как следует, и боец, отдохнув, все сгибался и сгибался в черной тесноте убежища.

Удивительно, думал Фишер, как это получается, что

он, молодой, способный, как раньше утверждали многие, ученый, знаток многочисленных человеческих истин, хотя втайне, но все ж таки не прочь угодить какому-то малограмотному солдафону. Неужели все дело в грубой силе или в тех дисциплинарных правах, какие дает командиру устав, а может, в нагловатой самоуверенности этого человека? Однако, поразмыслив, Фишер пришел к иному выводу. Он подсознательно почувствовал, что Карпенко имеет свои настоящие преимущества перед ним, свою потенциальную силу, на которую опирается и он, боец Фишер. Но в чем была та сила, он понять не мог. Не мог же он допустить, что старшина умнее его или лучше разбирается в военных обстоятельствах, от которых ежечасно зависела их судьба. Фишер хоть и не был кадровым военным, но за время своей фронтовой жизни научился понимать обстановку, как он думал, не хуже Карпенко.

Дождь все настойчивей стучал по спине, пилотке. По лицу стекали студеные капли. Промокла повязка на шее. Фишер выпрямился, вытер горячей ладонью мокрые колючие щеки и жалобно посмотрел в небо, словно там можно было что-либо увидеть. Затем он измерил глубину — бруствер еще не достигал и груди, но уже покрылся грязью. В грязи выпачкались мокрые полы шинели, руки, пудовые комья прилипли к ботинкам. Нигде в эту ночь не было спасения от холодной противной сырости, которая наполняла собой все окрест.

Фишер минуту постоял, отдышался и решил, что копать уже хватит. Не вылезая из окопчика, он кое-как разровнял на бруствере землю, взял лежавшую в стороне винтовку, поднял воротник шинели и скорчился на дне укрытия.

Непреодолимая, страшная усталость охватила его. Сама собой склонилась голова — сильно захотелось спать. Но спать ему было нельзя. Усталое, разомлевшее тело очень скоро охватил озноб. Холод с каждой минутой все дальше за ворот запускал свою ледяную руку, заставлял бойца сжиматься в комок и мелко дрожать. Дождь становился гуще. Совсем вымокла пилотка; зябла на ветру недавно остриженная голова. Сомкнув руки в рукавах, Фишер дрожал, поводил плечами, топал ногами, стараясь как-нибудь облегчить страдания. Но согреться было невозможно.

И постепенно, видимо, уже свыкнувшись с безвыход-

ностью или, может, отупев от холода, он смирился со своим положением, и, хоть замерзал еще больше, им завладели новые чувства и мысли.

Вот уже несколько дней в привычные горестные восприятия его — чувства безысходности и боли за неудачи войны, отступление — как-то постепенно входило подсознательное недовольство собой, неясное ощущение какой-то своей вины. Но хорошенько разобраться в этом все было некогда — то бомбежки, то марши, короткие схватки на случайных рубежах и снова отступление. Он боялся признаться самому себе, но, кажется, где-то в глубине души надломились несокрушимые до сих пор устои его бытия, устои, которые с детства усвоил себе Борис Фишер и на которых строил всю свою жизнь.

Он был не так уж молод — недавно разменял четвертый десяток, но за все прожитые годы ни разу в нем не появилось и тени сомнения в извечной силе прекрасного. Все самое лучшее, самое вечное и мудрое видел он в высочайшем проявлении человеческого духа — в искусстве.

Он рос в Ленинграде. У его отца, доктора Фишера, была ценнейшая библиотечка монографий о великих художниках, и первые рисунки, захватившие мальчика, оказались репродукциями из альбомов живописи и скульптуры. Борис рос тихим не по летам, болезненным мальчиком, неохотно и редко спускался в тесный, захламленный двор, в котором всегда было студено и сыро, и часто подолгу рассматривал рисунки в отцовских книгах.

Потом он сам с трепетным волнением в сердце взялся за кисть и краски, рисовал то, что видел из окна квартиры: дома, улицу, лошадей, собак. Взрослые хвалили, а мальчику хотелось плакать от обиды, что все, такое красивое в представлении, так плохо выходило на бумаге. Наперекор людским убеждениям о его одаренности, Борис знал, что художник из него не получится. Но окончательно он убедился в этом, вероятно, тогда, когда вся душа его без остатка оказалась в плену у искусства, и юноша уже не мог мыслить и существовать без него. Непонятной болью очарования душили его слезы перед босыми ногами «Блудного сына», истошный крик гнева и ужаса всегда рвался из груди перед катастрофой Помпеи, ему хотелось молиться на «Джоконду», бесконечно рассматривать необычные лица, позы,

одежду знаменитого ивановского «Явления Христа народу», стыдливая радость жизни охватывала его у полотен Рубенса.

И он, не став художником, все же связал свою жизнь с искусством. Учился, читал, думал, исследовал сам и в двадцать пять лет защитил диссертацию на звание кандидата искусствоведения. Ближе всех ему в эту пору стал Иванов с его бескорыстной самоотверженной душой, сгоревшей в многолетних поисках высшего смысла жизни, с его фанатичной приверженностью к мудрости и правде. Фишер преклонялся перед его «Явлением...», любовался воздушной тонкостью его итальянских пейзажей, но особенно поразили эскизы художника. Он нашел в них Иванова — чудесного графика, и Иванова-философа, неутомимого искателя вечного. Его «Вирсавия» казалась Фишеру не оцененным по справедливости гимном жизни, зенитом акварельного мастерства, шедевром гения, который творил, не подозревая о величии своего творения.

Искусство навсегда очаровало Фишера, наполнило его непреодолимой жаждой прекрасного. После диссертации он несколько лет исследовал итальянское Возрождение, написал монографию о Микеланджело. Безмерное величие захватывающего и высокого открывалось ему в каждом из великих деятелей прошлого, и он очень жалел, что так быстро идет время и так коротка человеческая жизнь. Он не очень интересовался политикой, той беспокойной, хлопотливой жизнью, что бурлила, плыла, обгоняла его. Ученого мало заботили дела и планы действительности: с детства он обособился от всего, что не составляло чарующих интересов искусства. По этой, вероятно, причине он не понимал и не очень интересовался братом — инженером-конструктором самолетостроения. Еще с юношеских лет они как-то взаимно отдалились, встречались редко и по духу были чужими друг другу. Последний раз братья съехались два года назад на похороны отца и несколько дней провели вместе.

Брат был совсем другим. Энергичный, быстрый, находчивый, он во всяком деле чувствовал себя как рыба в воде и все понимал с полуслова. Они должны были уже расстаться и как-то в последний вместе проведенный вечер медленно шли по проспекту. Парило, было душно. С Фонтанки приятно тянуло прохладой. Одна за другой выскользнули из-под Аничкова моста на середину

реки байдарки. Братья остановились у одной из скульптур клодтовского «Укрощения» и лениво посматривали на слаженные рывки гребцов.

— Вот так и у нас с немцами, — продолжал прерванный разговор брат. — Будто и согласие, и дружба, и мир, а на самом деле...

Он не кончил, смолк, вглядываясь в мутную водяную рябь, а Борис никак не мог понять, что означало это «на самом деле». Ему казалось, брат утрирует, ибо давняя вражда с Германией улажена, договор заключен, газеты дают немецкую информацию о войне на Западе, вовсю развиваются торговля и культурный обмен. К чему же тогда это «на самом деле»?

Он высказал все брату, а тот, затянувшись папиросой, только улыбнулся. Потом, помолчав немного, объяснил:

— Отстал ты, Борис, от времени. Занафталинился в древности. Конечно, твое дело, но в наше время это удивительно и, я бы сказал, даже непростительно. — Помолчав, добавил: — Мир на грани большой войны, пойми, брат.

Борис тогда не поверил, а она вскоре грянула и понесла, эта страшная, большая война. Борис Фишер остановился на сорок восьмой странице своей новой монографии и больше уже не взялся за нее.

В армии он почувствовал себя белой вороной, ни к чему не пригодным, самым незадачливым из всех в этой разноголосой, разноликой массе людей. Он никак не мог научиться ходить в ногу, быстро вскакивать при подъеме, неуклюже, под громовой хохот товарищей отдавал честь, занятия по штыковому бою вконец обессиливали его. Сначала он горько переживал все это, болезненно сносил наскоки крикливых сержантов, каялся за пренебрежение военным делом в институте и думал, что он самый неспособный человек на земле. Потом слегка освоился. На фронте уже другие, большие страхи и заботы вытесняли болезненное самолюбие интеллигента. Человек вдумчивый, он понимал, что в страданиях и муках медленно рождался в нем тот, кем он меньше всего готовился быть, рождался боец. Но в то же время он почти с тревогой следил, как все меньше и меньше оставалось в нем от былого — от искусствоведа Фишера. Грубая, страшная жизнь ежедневно и неумолимо стирала в его душе великую значимость искусства, которое все больше

уступало пробуждавшимся инстинктам борьбы. Выходило, что то высокое и вечное, чем дышал он почти тридцать лет, теперь, в этом военном хаосе, просто стало ненужным. И тогда пришло затаенное сомнение, в котором он сегодня наконец признался себе: в самом ли деле искусство — то действительно великое и вечное, чему стоило отдать лучшие годы? Не ошибся ли он, признав его своим единственным крестом, не вернее ли поступил брат, отдав времени и людям усилия другого порядка, усилия, воплотившиеся теперь в реальную силу, способную защитить мир?

Неизвестно, сколько прошло времени, а черное ветреное небо все сыпало в ночь спорый шепотливый дождь. Фишер окончательно закоченел, все в нем дрожало от непрекращающихся судорог, сводило челюсти, но какое-то мертвящее оцепенение отобрало способность шевельнуться, чтобы согреть себя. К спине и плечам липла холодная мокрая одежда, с бруствера плыли потоки грязи, в которой, увязая все глубже, противно хлюпали ноги. Фишер подтянул их к самому лицу, прикрыв колени мокрыми полами шинели. Когда от нестерпимого холода особенно сильно вздрагивало тело, он усилием стряхивал с себя дремотную безучастность и тревожно прислушивался. Вокруг по-прежнему завывал ветер и часто сыпал дождь.

Так постепенно проходила эта мучительная, сырая ночь. Под утро Фишер прикорнул, будто провалился куда-то в мутную бездну мыслей о себе, старшине Карпенко, об историзме Вазари, новаторстве Микеланджело и о том, как все-таки ужасно трудно стать настоящим бойцом.

13

Прикрыв за собой дверь сторожки, Пшеничный с отчетливой ясностью понял, что он навсегда уже отделен от этих пятерых людей, с которыми свела его непутевая военная судьба. С самой этой минуты, когда он ступил в дождливый мрак ночи, он оказался один, не связанный уже ни с кем во всем белом свете. Все его неладное прошлое осталось теперь за дверью темной задымленной сторожки, осталось по его доброй воле, будущее же лежало где-то на грязной, неизведанной дороге.

Какое-то время Пшеничный боролся с внезапным вол-

нением от сознания близкого осуществления своей затаенной мечты. Вдруг в его душе неприятно шевельнулась непонятная жалость, словно робкий боязливый укор самому себе. И он, почувствовав, что это может отразиться на его намерении, мысленно выругал себя: «Не кисни! Не из-за чего!»

Он направился к железной дороге, перепрыгнув траншею, взошел на невысокую насыпь и всмотрелся во тьму. Дождь перестал, понемногу ослабевал и ветер. Ночь окончательно сгустилась, утопив в осенней глуши все вокруг. Пшеничный знал: скоро начнет светать, а на рассвете, возможно, на дороге появятся немцы, и тогда уже будет поздно. Тогда он может очутиться между двух огней, и поэтому нужно было спешить.

Он еще постоял, вслушался, оглянулся на сторожку, от которой доносился приглушенный расстоянием голос Свиста, и сказал себе: «Давай!» Потом торопливым воровским шагом сбежал с песчаной насыпи, перескочил канаву и, не разбирая — по грязи и лужам, быстро пошел дорогой.

Взойдя на гулкий настил мостика в ложбинке, Пшеничный еще раз оглянулся и тут снова с особой силой почувствовал в душе щемящую тоску и еще — начало неизвестного своего одиночества. Это чувство, помимо его желания и воли, вдруг охватило его так цепко, что он даже остановился, но затем снова разозлился на себя и, вспомнив недобрую озабоченность Овсеева, приободрился. Нет, он не ошибается, он прав уже хотя бы потому, что все они там, в сторожке, осуждены на смерть. А он наконец постарается. оседлать свою судьбу, заслужить, доказать свое право на человеческую жизнь, жизнь, которой он достоин, несмотря ни на какие невзгоды.

С этими горячечными мыслями, в беспорядке суетившимися в голове, он быстро шагал, разбрызгивая лужи, скользя по грязи, остерегаясь свалиться в канаву. Тем временем стало светать. Мутным расплывчато-туманным отсветом обозначился горизонт, отчетливо проступила из темноты грязная, в лужах, дорога. Пшеничный выбирался на взгорок с березами. Он знал, что где-то здесь в секрете должен быть Фишер, и слегка замедлил шаг. Фишера он не боялся, с этим ученым-неудачником он справился бы запросто, но все же считал, что лучше не попадаться ему на глаза. Пшеничный снял с плеча винтовку, повернул голову, прислушался — нигде никого не было.

Вскоре березы остались позади. Пшеничный пошел дальше, изредка настороженно оглядываясь. Тусклый серый рассвет, просачиваясь неизвестно откуда, отслаивал землю от неба, раздвигал туманный простор полей, постепенно отвоевывал у тьмы дорогу, канавы, редкий кустарник.

Порядком уже отдалившись от переезда и берез, Пшеничный отметил, что самое страшное пройдено. У него отлегло от сердца, появились легкость и какая-то вольность в мыслях. Перебросив из одной руки в другую винтовку, он подумал, что оружие теперь ни к чему, а при встрече с немцами может только повредить ему. Не останавливаясь, схватил винтовку обеими руками за штык, размахнулся и швырнул в канаву. Услышав, как она гулко шлепнулась о размякшую землю, Пшеничный криво ухмыльнулся. Теперь его ничто уже не связывало с армией, с обязанностями гражданина Советской страны. Теперь он остался один между небом и землей. Это было непривычно — чувствовать себя одиноким, вне какой бы то ни было зависимости от людей, и он знал: так не проживешь. Чтобы спастись от гибели и заполучить у судьбы лучшую долю, в его положении самым благоразумным будет сдаться немцам — на их милость и власть.

От быстрой ходьбы Пшеничный разогрелся, расстегнул ворот шинели, слегка замедлил шаг. Тем временем утро уже разогнало тьму, и он, обходя лужи, пошел по обочине дороги. Однообразие ходьбы совсем уже сгладило его недавнюю взволнованность. Пшеничный захотел есть и, подумав о том, что нужно воспользоваться тишиной и одиночеством, на ходу развязал мешок. Тут он недобрым словом еще раз помянул Свиста, вытащившего сало. Правда, краюха хлеба с сахаром показалась ему не менее вкусной, и Пшеничный, жуя, весь ушел в свои мысли.

Прежде всего было интересно, как к нему отнесутся немцы. Хорошо, если бы сразу встретился какой-нибудь интеллигентный, умный офицер. Пшеничный показал бы ему немецкий пропуск-листовку, некогда найденный в поле и заботливо припрятанный на всякий случай. Потом он попросил бы отвести его в штаб и там рассказал бы какому-нибудь начальнику, кто он и почему добровольно сдался в плен. Потребовал бы сведений о его полке — он ничего не утаил бы. Зачем? Все равно рано или поздно полк разобьют и без того. Потребуют еще что-

нибудь — он сделает все, потому что все это будет в его пользу и против тех, от кого он достаточно натерпелся на своем веку. Не может быть, чтобы немцы не оценили его искренности и не вознаградили как следует. В лагерь его, как добровольного перебежчика, не должны отправить. Скорее всего отпустят на волю, а может, даже предложат какой-нибудь руководящий пост в городе или сельской местности. Это было заманчиво. О, тогда Пшеничный проявит свои способности, докажет хозяевам, что они не ошиблись в нем. Он не пожалеет ни себя, ни людей, этих покорных работяг-тружеников, которых немцы за несколько месяцев, несомненно, научат дисциплине и порядку. Немцам, конечно, нужны преданные люди, ведь пространства завоеванной России огромны. И Пшеничный, если хорошенько постарается, возможно, добьется высоких чинов. Кончится война, он обзаведется небольшим, аккуратным, на немецкий манер, хозяйством и спокойно, по-человечески, поживет хоть на старости лет.

Вдруг впереди, совсем близко, послышался чей-то отрывистый говор. Пшеничный насторожился, до боли в глазах всматриваясь в затуманенную даль дороги, стараясь что-нибудь увидеть и продолжая потихоньку шагать вдоль канавы. Из тумана тусклыми контурами проглянули крыши деревенских хат, голые ветви деревьев, потом плетень с позабытой тряпкой на жерди. За углом крайней хаты, куда сворачивала дорога, угадывалось присутствие людей, и Пшеничный еще больше встревожился: кто там? Было страшно снова встретить своих, русских, которые неизвестно как отнесутся к нему, безоружному. Опять-таки стало боязно и немцев. Пшеничный впервые на какой-то миг почувствовал досаду от того, что так поспешно принял решение уйти. Но изменить что-либо было уже поздно.

Из-за угла хаты вдруг показался сухопарый немецкий солдат, подпоясанный, в фуражке с козырьком. Упираясь ногами в землю, он выкатил на сухое место мотоцикл и, не выпуская из рук руля, поставил ногу на заводную педаль. Пшеничный не сразу понял, кто перед ним, и словно врос в землю от неожиданно охватившего его страха. Мотоцикл тем временем затарахтел, и тогда только немец увидел растерянного Пшеничного. Солдат встрепенулся, схватился за автомат, болтавшийся у него на груди. Из-за хаты выбежал еще один немец в пятни-

стом, зеленом, как жаба, комбинезоне. Пшеничный почувствовал, как в его груди что-то оборвалось, и неловко, с каким-то мгновенно возникшим беспокойством поднял руки.

Немцы стояли у мотоцикла, держась за автоматы, а он, с трудом переставляя сомлевшие ноги, боязливо шел к ним. Они не стреляли, только гыркнули зло и враждебно что-то непонятное. Один из них, тот, который заводил мотоцикл, — белолицый, с отвислой губой — пошел ему навстречу. Он что-то крикнул. Пшеничный не понял и, не опуская рук, попытался объяснить:

— Рус капут. Я — плен, плен...

Он опустил одну руку, пытаясь достать из-за пазухи непростительно забытый в такую минуту пропуск-листовку, но немец опять угрожающе крикнул и повел стволом автомата. Второй, помоложе, что стоял поодаль, также наставив на него оружие, с холодным интересом лениво рассматривал перебежчика.

Так Пшеничный стоял с поднятыми вверх руками под направленными на него автоматами. Из дворов выбегали другие немцы, подкатило несколько мотоциклов с колясками, из которых торчали тупорылые стволы ручных пулеметов. Тогда солдат, что помоложе, и еще один подступили к Пшеничному, стащили с него вещевой мешок, ощупали карманы, бесцеремонно сорвали с цепочки ножик. Пшеничному не жаль было своего барахла, его угнетала только эта беспричинная озлобленность в их движениях и на лицах, настороженная подозрительность к нему. Сначала он пытался убедить то одного, то другого, что у него нет плохих намерений и что он сам, добровольно, сдается в плен. При этом он криво усмехался и с незатухающим страхом в глазах бубнил:

— Я плен, камарад немец... Сам плен, сам...

Взгляд его метался по лицам мотоциклистов. Он старался угадать более человечного и снисходительного из них или увидеть офицера, и тут его взгляд встретился с мрачными глазами человека в фуражке с высокой тульей и в шинели, на которой бархатом чернел воротник. Поняв, что все получилось не так, как он думал, и оттого не в состоянии преодолеть дурного предчувствия, он бросился к этому немцу:

— Господин офицер! Я ведь сам, я плен, плен...

Офицер даже не взглянул на него. Он что-то говорил солдатам, натягивая на жилистую руку желтую кожаную

перчатку. Пшеничный тогда совсем перепугался и окончательно пал духом, почувствовал: случилось непоправимое.

Немцы, разговаривая между собой, уже безразлично посматривали на Пшеничного. Офицер что-то сказал солдату с отвислой губой, тот дернул Пшеничного за рукав и махнул рукой вдоль дороги. Пшеничный догадался, что нужно идти, и, оглядываясь и спотыкаясь, пошел, думая, что немец будет его конвоировать. Но солдаты оставались на месте. Видя его нерешительность и, вероятно, желая подбодрить, они замахали руками в направлении пустой утренней улицы. Он удивился, поняв, что они не будут сопровождать. Его лицо исказилось болезненной гримасой, и Пшеничный, время от времени оглядываясь, боязливо пошел по дороге.

Так он отдалился шагов на сто, немцы все стояли сзади, один мотоцикл затрещал мотором и развернулся, направляясь за ним. От страха Пшеничный уже терял власть над собой и, не зная куда и зачем, как пьяный, брел по грязи, изрезанной следами резиновых шин. У поваленных ворот обнесенного забором двора неожиданно появилась испуганная женщина в толстом платке с пустыми ведрами на коромысле. Пшеничный даже похолодел от неожиданности этой недоброй в такой момент встречи и в то же время вздрогнул от гулкой пулеметной очереди сзади. Грудь его пронзила адская боль, и он, надломившись в коленях, осел на грязную землю улицы.

Напоследок, судорожно хватая ртом воздух, Пшеничный еще услышал горестные причитания женщины и дико замычал — от боли, от сознания конца и последней лютой ненависти к немцам, убившим его, к тем, на переезде, еще оставшимся жить, к себе, обманутому собой, и ко всему белому свету...

14

Та же пулеметная очередь, что оборвала озлобленно-нелюдимую жизнь Пшеничного, вывела из полусонного забытья и Фишера. Ничего не понимая, он вскочил в окопе и тут же снова свалился на его дно, подкошенный болью в сведенных судорогой ногах. Уже совсем рассвело, хотя поле и лес еще затягивала редкая пелена тумана. Было тихо и сыро. У дороги расплывчато и неподвижно застыли на фоне мутного неба березы. Дорога

лежала пустая. Из-за ложбины тусклым белым пятном едва пробивалась сторожка. Деревни, окутанной туманом, отсюда не было видно.

И тогда из сумеречной дали, в которой исчезала дорога, прорвался, нарушив предутреннюю тишину, беспорядочный треск моторов. У Фишера тревожно заныло в груди, ослабели руки. Настороженным взглядом впился он в даль и почувствовал, что именно сейчас наступила минута, которая определит весь смысл его жизни. Кое-как собрав воедино остатки душевных сил, он привычно передернул затвор и уже не сводил близоруких глаз с затуманенной далью дороги, на которой должны были показаться немцы. Или враг не спешил, или так уже ослабело зрение, только он ничего не различал там, а мотоциклы все продолжали трещать. Несколько минут передышки помогли Фишеру справиться с волнением, и он с необычайной ясностью понял, что ему тут придется туго. Но при таких обстоятельствах, когда все его действия в этом поле были на виду у старшины, он, сам того не сознавая, хотел, чтобы Карпенко наконец убедился, на что способен «ученый». Это не было тщеславием новобранца или желанием отличиться — просто так нужно было Фишеру. Видно, за эту мучительную ночь раздумий немудреная карпенковская мерка солдатского достоинства стала в какой-то степени эталоном жизненной годности и для Фишера.

И он ждал, от напряжения и внимания мелко стуча зубами и до боли прижимая к плечу приклад винтовки. У мушки слегка колебался на ветру какой-то высохший стебелек. От учащенного горячего дыхания у Фишера запотевали стекла очков, но он боялся снять их, чтобы протереть. Он с необыкновенной ясностью осознал сейчас свои обязанности и был полон решимости выполнить их до конца.

А вообще ему было нелегко, и он старался подбодрить себя, успокоить тем, что гении, творившие искусство вечного, — и Микеланджело, и Челлини, и Верещагин, и Греков — в свое время брались за шпагу, мушкетон или винтовку и шли в грохот батарей. Видно, борьба за право существования была первичнее искусства, и ей, вероятно, суждено пережить его. Этот неожиданный вывод слегка успокоил Фишера, и он почувствовал себя немного сильнее.

Когда наконец из дымчатой завесы тумана вынырну-

ли юркие приземистые силуэты мотоциклов, Фишер уперся локтями в размякшую землю бруствера и стал целиться. Но от долгого напряжения зрение его все мутнело, туман и проклятая близорукость не давали возможности как следует видеть цель. Фишер перевел дыхание, приложился еще раз и понял, что поразить мотоциклистов у него немного шансов.

Это открытие было поистине ужасно, боец испугался, растерялся. А мотоциклы тем временем, все набирая и набирая скорость и с каждой минутой все увеличиваясь в тумане, быстро неслись по грязной дороге.

Не зная, что предпринять, чтобы остановить врагов, Фишер все же как-то прицелился и выстрелил. Приклад сильно ударил ему в плечо, потянуло горьковатым пороховым дымом, а мотоциклы как ни в чем не бывало приближались. После минутного оцепенения Фишер второпях перезарядил винтовку и снова выстрелил. Потом еще и еще.

Выпустив всю обойму, он сощурил глаза и всмотрелся. Колонна мотоциклистов по-прежнему неслась по дороге — никто не остановился, даже не обернулся в ту сторону, где находился Фишер. Передний мотоцикл уже приближался к березам, и бойцу нужно было либо удирать на переезд, либо притаиться. Но тут перед ним с необычайной отчетливостью предстало скуластое лицо Карпенко, и Фишер почти наяву услышал его обычный пренебрежительный окрик: «Разиня!» Это опять ударило по самолюбию; не зная еще, что сделает, Фишер впихнул в магазин новую обойму и направил винтовку в сторону берез.

Это было самым верным и самым опасным из всего возможного при тех обстоятельствах. За короткое время, пока боец, затаив дыхание, прижимался к брустверу и вел, вел стволом за мотоциклом, ни одной ясной мысли не появилось в его голове. Он окончательно выбросил тогда из своих ощущений и жизнь, и искусство, и рассуждения о назначении своей личности — весь огромный мир в ту минуту заслонил от него укоризненный злой взгляд Карпенко да эта стремительная колонна мотоциклов.

Передняя машина, сдержанно покачиваясь из стороны в сторону, аккуратно объезжала лужи и быстро приближалась к березам. Уже можно было рассмотреть плечистого, неподвижного водителя в шинели и каске,

казалось, он слился с машиной; ниже, в коляске, важно сидел второй немец, на нем высоко торчала фуражка и темнел черный ворот шинели. Фишер не думал тогда, что его самого могут убить раньше, чем он успеет выстрелить. Он не старался спрятаться в окопе и продолжал целиться в передний мотоцикл. Когда мотоциклист поравнялся с березами, Фишер выстрелил. Сидевший в коляске сразу дернулся на сиденье, обеими руками схватился за грудь и размашисто стукнулся лбом о железо коляски. Каким-то обостренным, неестественным слухом Фишер услышал в рокоте моторов тот звук, и тотчас же оглушительный грохот острой болью расколол ему голову. Боец выпустил из рук винтовку и, обрушивая руками мокрую землю, сполз на дно окопа.

Какое-то время Фишер еще был жив, но уже не чувствовал ничего, не видел, как бросились немцы к убитому им офицеру, как бережно уложили его, окровавленного, в коляску. Не видел Фишер того, как двое или трое немцев, шаркая по стерне сапогами, подбежали к окопчику и разрядили в него, полуживого Фишера, свои автоматы. Молодой, в пятнистом комбинезоне автоматчик с равнодушными глазами склонился над ним, рванул за мокрый ворот шинели и брезгливо отдернул руку. Несколько секунд немец постоял над убитым, не зная, что сделать еще, и озлобленно пнул сапогом противогазную сумку на бруствере. Из сумки выпали кусок черствого хлеба, несколько обойм с патронами и потрепанная старая книжка в черной обложке — «Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанная им самим». Отброшенная в стерню, она раскрылась, и утренний ветер, который уже начал разгонять туман, потихоньку ворошил ее зачитанные страницы...

15

Услышав далекую, знакомую по темпу очередь немецкого пулемета, Карпенко рванул дверь сторожки и зычным голосом, способным поднять полк, крикнул:

— В ружье!

Глечик и Свист, щуря заспанные глаза, бросились к двери. Свист спросонья никак не мог попасть в рукав шинели и так выскочил из сторожки, недоуменно оглядываясь вокруг. Овсеев, побледнев, сноровисто прыгнул в траншею и притаился в ячейке. Карпенко тоже занял свое укрытие и, заряжая пулемет, залязгал затвором.

С минуту они сидели не шелохнувшись, боясь потревожить тишину. Ждали. Но нигде никого не было. Тогда тревога постепенно улеглась. Бойцы осмотрелись, стали совещаться. Карпенко, вспомнив об исчезновении Пшеничного, громко и зло выругался:

— Где же Пшеничный, собачье рыло? Что это такое?

Свист и Овсеев, впервые услыхавшие об исчезновении Пшеничного, в недоумении смотрели на старшину. Это событие неприятно поразило их, но нужно было следить за дорогой, ибо, судя по всему, там произошло что-то недоброе.

Припав грудью к брустверу окопа, старшина напряженно всматривался в туман и зло думал о Пшеничном, о недотепе Фишере, молча сидевшем в поле и не подававшем никаких признаков жизни, и об ожидавшей их неизвестности. Карпенко не сомневался, что в деревне немцы. Он только не знал, когда они наконец покажутся из тумана, и боялся, что Фишер не дай бог задремлет, попадет к ним в руки. На какое-нибудь сопротивление этого незадачливого бойца командир не надеялся...

Через некоторое время здесь, на переезде, услышали далекое тарахтение мотоциклов. Карпенко глянул на Свиста, который, беспечно высунувшись из окопа, осматривал дорогу, на Овсеева, низко пригнувшегося к брустверу, и тоже впился взглядом в даль. Глечика, окоп которого находился за углом сторожки, отсюда не было видно. Старшина властно скомандовал:

— Внимание! Замри!

Сам он припал к прикладу «дегтяря», хищно сомкнул над переносицей широкие брови и напряженно сжался. И в ту же минуту все явственно услышали, как на взгорке прогремели редкие одиночные выстрелы, и увидели выползшие из тумана мотоциклы.

— Зачем? Зачем? — не понимая, почему не спасается Фишер, в отчаянии закричал старшина. — Эх ты, раз-зи...

Он не закончил. Выстрелы стихли, а мотоциклы в тумане продолжали двигаться дальше. Карпенко ждал, что Фишер вот-вот выскочит в ложбинку. Потом старшина стал думать, что боец решил затаиться, пропустить немцев. Но вскоре снова раздался одиночный выстрел, который, видимо, задержал всю колонну мотоциклистов. Старшина удивился, ничего не понимая, и

вдруг застыл, пораженный необычной стычкой, завязавшейся в поле у двух коренастых берез. Он в недоумении прислушивался, ожидая, что же будет дальше. Из этого оцепенения его вывело злое восклицание Свиста:

— Ах вы, собаки! Я ж вам влеплю!

Он схватился за свое противотанковое ружье. Но до немцев было еще далеко, и старшина свирепо закричал:

— Стой! Я тебе влеплю!

Бронебойщик недовольно оглянулся, но стрелять не стал. Не прошло и минуты, как у берез выплыли из тумана два бронетранспортера. Они остановились возле переднего мотоцикла, почему-то постояли и потом медленно, с очевидной опаской стали спускаться вниз по дороге. За ними двинулись мотоциклы.

Уже совсем стало светло. Сквозь разорванный ветром туман в небе показались клочья темных облаков, кое-где между ними сиротливо проступала голубизна неба.

Старшину больше всего обеспокоили бронетранспортеры. Чтобы ударить наверняка, нужно было подпустить их как можно ближе, и Карпенко заранее наметил этот рубеж на дороге — мостик шагах в двухстах от переезда.

— Свист! — крикнул он бронебойщику. — Начнешь с заднего. Слышь?

— Будь спок! — коротко отозвался Свист, наводя на машины длинный ствол ПТР.

Теперь все решали выдержка, стойкость. Озабоченный Карпенко уже не наблюдал за бойцами и не видел, как одиноко ссутулился за углом сторожки молоденький Глечик, как настороженно притаился за бруствером Овсеев, как в напряженной позе застыл Свист. Перебегая в траншею, он, видно, где-то потерял свою пилотку и теперь зябко втягивал в плечи голову с торчащими во все стороны нестрижеными льняными вихрами.

Передний транспортер еще не достиг мостика, когда из него вдруг неожиданно и глухо вырвалось «бу-бу-бу...», и сразу же на железной дороге, бруствере, на крыше сторожки и еще где-то сзади, с бешеной лютостью разбрасывая землю и щепки, пробарабанила очередь разрывных крупнокалиберных пуль. Карпенко вздрогнул, когда на его щеку плюхнуло грязью, но вытирать щеку было уже некогда. Подумав, что немцы,

вероятно, заметили их, старшина старательно прицелился и дал первую длинную очередь.

Сквозь грохот пулеметной очереди он различил рядом звонкий выстрел ПТР и увидел, как на броне передней машины блеснула искра. Транспортер метнулся в сторону, ткнулся передними колесами в канаву и стал. Второй транспортер выскочил вперед. И снова рядом, больно отдавшись в ушах, грохнул выстрел Свиста. Машина, сбавляя скорость, медленно остановилась. Мотоциклы завертелись на дороге, словно потревоженные водяные жуки, беспорядочно застучали немецкие пулеметы, и короткий, стремительный свист пуль снова рассек воздух над переездом.

Карпенко хотел крикнуть Свисту, чтобы тот скорей добивал транспортеры, но боялся оторваться от пулемета, стараясь использовать момент замешательства и не дать мотоциклистам возможности спрятаться за броню.

Железной хваткой сжав пулемет, Карпенко бил по врагам злыми короткими очередями и, кажется, сделал свое. Спустя несколько минут два мотоцикла уже валялись в придорожной канаве, перевернувшись вверх колесами, один застыл на середине, брошенный водителем. Только задний успел развернуться и помчался вверх по дороге. Карпенко дал ему вслед несколько очередей, однако фашистскому мотоциклисту удалось вырваться из-под огня и выскочить на взгорок.

Положив пулемет на бруствер, старшина глянул в ложбину. Транспортер на дороге горел, охваченный мигающими языками пламени, расстилая над полем хвост черного дыма. Второй стоял в канаве, задрав на обочину длинный пятнистый ящик кузова, чем-то напоминающий гроб, а вдоль канавы один за другим удирали к березам шесть немцев.

Старшина снова схватил пулемет, но в диске уже кончились патроны. Меняя диск, Карпенко оглянулся на бойцов. Витька Свист торопливо бил зажигательными пулями, стараясь поджечь второй транспортер. С оживленным, даже каким-то вдохновенным лицом высунулся из окопа Овсеев, а за углом поклеванной пулями сторожки часто и, казалось, как-то даже весело била и била винтовка Глечика. Карпенко, не сдержав радости, закричал:

— Огня, огня давай! Бей! Овсеев, ядреный корень! Жги гадов!

И они стреляли по ложбине, по бегущим на взгорке, пока уцелевшие гитлеровцы не скрылись за березами. На дороге, в канавах, у транспортеров распластались неподвижные тела. Одна подбитая машина горела дымным, колеблющимся на ветру пламенем.

Бойцы поняли, что первую атаку отбили, победили, и огромная радость охватила всех. Свист залихватски выругался, осмотрелся и с задорным выражением на веселом своенравном лице подошел к Карпенко. Радостно и сдержанно улыбался в своей ячейке Овсеев, где-то за сторожкой явно неохотно прекратил стрельбу Глечик.

— Витька — молодец, дай пять, — сказал Карпенко и, крепко сжав, встряхнул руку бронебойщика. А тот, сияя радостью на курносом лице, объяснял:

— Понимаешь, думал по заднему, а когда передний дал очередь, решил: нет! Гад, такой трескотни натворил, уже думал, голову продырявит. Ну, я ему и звезданул в лобатину.

— Черт, а мне под самый ствол разрывную всадил, чуть глаза не выбило, — говорил Карпенко, вытирая рукавом грязное лицо. — Ну, теперь утихомирились.

— А я мотоцикл подбил, — вставил Овсеев. — Вон тот, что в канаву свалился. Моя работа.

Они, конечно, прихвастывали, счастливо радуясь первой победе, каждый был полон собственных впечатлений, и никто не оглянулся назад, где возле угла сторожки стоял со своей драгункой до робости стеснительный Глечик. Неизвестно, как выдержал он это свое первое боевое крещение, но теперь в его мальчишеских глазах светились восторг и восхищение.

Старшина Карпенко, однако, недолго радовался. Он вдруг вспомнил Фишера, несомненно, погибшего на своем посту, и выражение озабоченности тронуло его грубое лицо.

— Смотри ты, а ученый-то выстоял. Не струсил, — произнес старшина.

Свист и Овсеев посмотрели туда, где чуть заметным пятном выделялся в стерне окопчик Фишера. Они не сказали ничего, только сдержанная печаль мелькнула в их взглядах.

— Я на него не надеялся, — задумчиво продолжал Карпенко. — А он молодец, смотри ты...

Но короткая радость-возбуждение быстро прошла, люди отдались новым заботам о самом близком своем будущем. Старшина знал, что вскоре опять надо ожидать немцев, да с еще большими силами, чем эти, которые были, видно, разведкой. Он приказал Свисту, Овсееву и Глечику подготовиться и стал набивать патронами два пустых магазина. Свист и Овсеев отошли в свои ячейки, а Карпенко, прислонившись спиной к стене траншеи, защелкал в диске патронами.

Как-то немного не по себе было командиру оттого, что давеча накричал он на Фишера, что вообще не раз пренебрегал этим бойцом, возможно, даже оскорблял его. Теперь старшина никак не мог понять, как этот интеллигент-книжник отважился на такой поступок. Бесспорно, в характере его было что-то трудно постижимое, и Карпенко, всю жизнь уважавший людей простых, понятных и решительных, как он сам, теперь впервые усомнился в своей правоте. Впервые, может быть, почувствовал он, что есть еще какая-то неизвестная ему сила, кроме силы мышц и внешней показной решительности.

— Но где же этот Пшеничный? Неужто сбежал? — сам у себя спросил он и покачал головой, подумав, что и тут проворонил — недосмотрел в человеке главного.

16

Алику Овсееву готовиться к новому бою, собственно, было нечего: патронов хватало, винтовка в исправности, окоп довольно глубокий. Боец, расстегнув крючки шинели, навалился грудью на бруствер и стал посматривать на дорогу.

Каких-нибудь полчаса назад в грохоте короткого боя никто не заметил, что после первой очереди из транспортера Овсеев нырнул за бруствер и, как мышь, затаился в траншее. Он совсем не видел дороги, по которой ехали немцы, и не стрелял, только повернул голову, чтобы видеть Карпенко. Пока не прекратилась стрельба, Овсеев мучительно переживал, не переставая упрекать себя, что не сбежал ночью, когда стоял часовым, не удрал за лес, где можно было бы присоединиться к какому-нибудь подразделению и обхитрить смерть. Он уже догадался, что Пшеничный исчез совсем. Ему было обидно за свою недавнюю нерешительность, и вот теперь придется расплачиваться жизнью. Против возможной и

даже неизбежной, к тому же бессмысленной, как считал Овсеев, смерти отчаянно протестовало все его тело, весь его напористый дух. Каждая клеточка ,напряглась, словно натянутая струна, и жаждала одного — жить.

Но прошло некоторое время, а гибели все не было, да и особого страха — тоже. Выстрелы с дороги стихли, только рядом грохало ПТР и тарахтел пулемет старшины. Овсеев осторожно выглянул из траншеи.

То, что он увидел на дороге, сразу отрезвило его. Исчезло мучительное ожидание конца. Боец схватил винтовку и начал стрелять. Он бил по немцам, удиравшим канавой. Вскоре ему даже показалось, что один из них упал, настигнутый его пулей. Это, оказывается, даже приятно — бороться и побеждать. И хотя Овсеев знал другое, давно уже определил свое отношение к этой борьбе, теперь что-то в ней невольно захватило его. Бой кончился быстро, и он в избытке чувств даже пожалел, что так мало досталось ему победной радости.

Чем больше проходило времени, тем настойчивее одолевали Овсеева другие мысли. Теперь он считал, что хорошо сделал, оставшись здесь, не поддавшись слабости и страху, что теперь и он может не только гордиться, но и испить сладость никогда еще не испытанного им приятного чувства победителя. Мысли плыли дальше, и Алик представлял уже, что, если им посчастливится выбраться отсюда живыми, их, вероятно, представят к награде, тогда и грудь Овсеева украсит медаль или орден — это было необычайно заманчиво.

Так в раздумьях шло время, а вокруг все еще было тихо. Где-то за поредевшими, прорванными до небесной синевы облаками пророкотали и ушли самолеты. Откуда-то донеслись глухие разрывы бомб. День снова обещал быть ветреным, по-осеннему ненастным и студеным, но теперь капризы погоды отступили для них на второй план.

Свист все никак не мог справиться со своим радостным оживлением. Не остерегаясь, он вылез из грязной траншеи и в незастегнутой шинели с поднятым воротом уселся на тыльном бруствере. Правда, сейчас можно было и не остерегаться, потому что дорога и поле впереди были пусты. Транспортер догорал, подставив ветру закопченный железный бок. Рядом валялись подбитые

мотоциклы. Свист, посматривая туда и сосредоточенно о чем-то думая, не выдержал:

— Командир, — позвал он Карпенко, очищавшего лопаткой свою ячейку от грязи, — давай слетаю на минутку. А?

Карпенко выпрямился, глянул в поле, поморщился: видно было, он не одобрял намерения Свиста, но и отказать ему не хотел.

— А, командир? — не отставал бронебойщик. — Может, из жратвы найдется что? А то уже мыши крохи подобрали, ярина зеленая.

Карпенко помолчал, еще осмотрелся, нехотя согласился:

— Ладно, иди. Только смотри, кабы какой недобитый фриц не подстрелил.

— О, мы его быстренько прикокнем, — обрадовался бронебойщик и перепрыгнул траншею. — Овсеев, айда со мной.

— Нет уж. Спасибо.

— Отважен кролик, сидя под печкой, — пренебрежительно сказал Свист и позвал Глечика: — Айда, салажонок!

Глечик растерялся, не зная, как поступить. Ему очень хотелось посмотреть на совершенное ими, но боязно было вылезать из траншеи туда, где еще недавно лютовала смерть. Отказаться он все же не смог, тем более что Свист уже пренебрежительно бросил:

— Что, трусишь? Пошли.

Глечик взял винтовку и вылез в свободный, просторный и в то же время опасный мир. Они перешли железную дорогу и направились по дороге к ложбине.

Глечику как-то не по себе стало тут, на просторе, все тянуло отстать от Свиста, спрятаться за его спину, думалось, что вот-вот от тех вражьих машин раздастся очередь — и боль пронижет тело. Однако там пока что не видно было никого, и молодой боец сдерживался, преодолевая страх, и шагал рядом с товарищем. Так они перешли мостик. Никто не стрелял в них, и Глечик понемногу успокоился. Свист же довольно решительно, с засунутой за ремень гранатой подошел к стоявшему на дороге транспортеру, обошел его, заглянул в открытую сзади дверцу. Живых тут не было никого, Поодаль лицом в грязь уткнулся убитый немец, рядом с ним в канаве лежал второй. Воняло жженой резиной,

тлеющим тряпьем и краской. Не видя опасности, Глечик тоже подошел к машине.

Осмотрев все снаружи, Свист схватился за дверцу и прыгнул внутрь транспортера. Глечик, выставив вперед винтовку, полез было следом, но ту же отпрянул: на черном клеенчатом сиденье, откинув голову и свесив вниз неподвижную руку, лежал гитлеровец. Преодолев первый испуг, боец с любопытством, смешанным со страхом, стал всматриваться в его бескровное белобрысое лицо, будто стараясь увидеть на нем разгадку той воинственной алчности, которую несла в Россию многомиллионная армия этих чужаков. Но лицо выглядело обычным, худощавым, небритым, и ни следа боли, ни какого-нибудь другого из прежних чувств на нем уже не было. Свист же, безразличный к убитому, бесцеремонно переступил через него и, лязгая каким-то железом, стал рыться в чреве машины.

— Глечик, держи!

Он просунул в дверцу новенький, совсем не обгорелый вороненый пулемет. Глечик принял его, а Свист еще покопался немного и соскочил с охапкой металлических пулеметных лент. Их он тоже отдал Глечику, а сам подхватил по дороге трофейный автомат, ногой перевернул на спину его владельца и брезгливо сплюнул в канаву.

Глечику все время было не по себе. Убитые лежали совсем как живые: в шинелях, подпоясанные, с круглыми коробками противогазов, только не двигались, но казалось, в любое мгновение они могут вскочить и броситься на них. Свист тем временем, не обращая на убитых никакого внимания, осмотрел мотоцикл, обошел второй транспортер, тот, который засел в канаве и продолжал дымить. Через борт боец влез в кузов.

— Черт, нет ничего, — недовольно сказал он. — Сгорел весь харч, ярина зеленая.

Глечик даже обрадовался, что ничего не нашлось, — какая там еда, тошнит от всего этого! Долго тут расхаживать они не стали и вскоре подались обратно.

Глечик тащил пулемет, тяжелый клубок металлических лент и теперь уже не чувствовал никакого страха. Эта вылазка даже понравилась ему, он продолжал восхищаться своими друзьями, учинившими такой разгром. Казалось даже невероятным, что пятерым бойцам удалось так искромсать прославленную германскую

технику, разгромить тех самых немцев, которые завоевали Европу и которых от самой границы не могли остановить наши дивизии. Глечик не мог понять всего, но чувствовал, что и Карпенко, и Свист, может, и Овсеев за внешней своей простотой и неуклюжестью таят в себе что-то надежное и сильное. И только в нем, Глечике, видно, не было никакой военной силы, и поэтому он боялся и переживал: столько страху в недавнем бою натерпелось его мальчишечье сердце! Но он старался душить в себе этот страх, хотел хоть чем-нибудь помочь в том общем деле, которое творили они. Теперь же, познав радость первой победы и слегка успокоившись, он готов был сделать все, что угодно, и для командира Карпенко, и для отважного Свиста. До слез жаль было беднягу Фишера, с которым они даже немного подружились в последние дни и обычно ели из одного котелка. Молодой, одинокий и искренний Глечик тянулся к ним — к этой маленькой группке бойцов, в которой и он постепенно стал находить себя.

— Вот это дело, — сказал Карпенко, когда они подошли к траншее. — Вот за это хвалю.

Он перенял от Глечика его ношу, бережно осмотрел новенький пулемет, схватил и потянул на себя огромной пятерней рукоятку.

— Трофей, — засмеялся Свист и спрыгнул в траншею к командиру. — А шамать нечего. Была торба галет, да и та обгорела. А это тебе, командир, — все легче твоего пудового «дегтяря».

Карпенко вертел в руках пулемет, осматривая его со всех сторон, подергал затвором, прицелился, вскинув на руку. Пулемет ему явно нравился, но старшина все еще что-то взвешивал.

— А патроны? — спросил он Свиста. — Это и все? Нет, брат, не пойдет. На, Овсеев, осваивай, воевать будешь, а мне «дегтярь» больше по сердцу.

Свист, удивившись, присвистнул и тронул на вихрах пилотку.

— Ну и зря. Я его сам взял бы, да ПТР — с двумя не сладишь.

Овсеев без особой радости взял пулемет, а Витька, запустив руку в глубокий карман своей шинели, что-то достал и сунул под нос старшине.

— Ну, а на это что скажешь? А?

Карпенко осторожно взял с его ладони круглые кар-

манные часы на длинной блестящей цепочке, заскорузлыми большими пальцами бережно открыл футляр, покрутил головку. Это были великолепные карманные часы с секундной стрелкой, выпуклыми, светящимися во тьме цифрами на кремневом циферблате.

— Пятнадцать камней, анкерный ход — вот, брат, трофей! — хвастал Свист. — Хочешь, бери. На именины не подарю, а теперь — пожалуйста.

— Смотри ты, ладная штуковина: пятнадцать камней, говоришь? — не то всерьез, не то с иронией спросил старшина. — Молодец ты, Свист, молодчина. Этак через годик-два из тебя отличный мародер получится. Первый сорт, ярина зеленая!

— Ну скажешь еще — мародер! — засмеялся Свист. — Не хочешь, давай сюда.

Он протянул руку, но Карпенко, не обратив на это ни малейшего внимания, размахнулся и изо всей силы ударил часами об иссеченную пулями стену сторожки. Посыпалась штукатурка, и, казалось, с тонким звоном разлетелись в разные стороны, наверное, все пятнадцать камешков из часов.

— Вот и все, и молчок! — сказал командир и отвернулся к своему пулемету.

Свист почесал затылок, подмигнул Глечику и действительно не сказал ни слова.

17

Заинтересовавшись немецким пулеметом, Глечик поподошел к Овсееву, и они вдвоем начали осматривать этот пулемет. Но Овсеев снова почему-то стал невеселым и замолчал, и нельзя было понять, рад он оружию или нет. Демонстративно не замечая Глечика, Овсеев положил пулемет на бруствер, сдул с него пыль и открыл затворную коробку.

— «Эмга тридцать четыре», последняя модель, — буркнул он. — В училище изучали. Скорострельность огромная — не ровня нашему «дегтярю».

Глечик внимательно слушал своего более опытного товарища, с надеждой посматривал на него, думая, что тот покажет, как обращаться с пулеметом. Но Овсеев вдруг с непонятной враждебностью закричал:

— А вообще, на кой черт! Ты принес, ты и стреляй!

— Так я не умею, — чистосердечно признался Глечик. — А ты почему не хочешь?

Овсеев помолчал, пощелкал затвором.

— Мне еще жить охота!

Глечику он не хотел говорить, что с пулеметом гораздо опаснее в бою, чем с винтовкой, что раньше всех погибают пулеметчики, что теперь ему уже не спрятаться в траншее, потому что Карпенко потребует огня, и снова Овсееву придется рисковать головой. Сразу зловеще омрачилось его прояснившееся было лицо, снова в его быстрых светлых глазах забегали злобные огоньки сожаления: как это он, поддавшись нерешительности и усталости, не воспользовался такой подходящей для спасения ночью. Тоскливое чувство отрешенности все больше охватывало его. Морща грязный, мокрый лоб, он продолжал думать о том, как найти выход из создавшегося положения. Прикинул: если отдать пулемет Глечику, можно, прикрываясь от старшины углом сторожки, по траншее и канаве как-нибудь пробраться к лесу. Думалось, напуганный первой стычкой, Глечик согласится на это, а он пообещает затем помочь удрать и ему. Вот почему, вдруг круто изменив свое отношение к молодому бойцу, Овсеев по-дружески хлопнул его по плечу:

— Слушай, бери пулемет! Стрелять я тебя научу.

— Давай! — обрадовался Глечик и подошел ближе.

Овсеев уже воспрянул духом и начал было объяснять принцип действия пулемета, когда вдруг от сторожки послышался строгий голос Карпенко:

— Кончай хитрить! Не на базаре! Стрелять тебе приказано, ты и выполняй.

Сузив на ветру глаза, Овсеев с ненавистью посмотрел на старшину и прикусил губу.

— Собака, — чуть слышно процедил он сквозь зубы. — Фельдфебель. Черта ты тут до вечера продержишься. Перебьют всех, как мышей.

Глечик тревожно глянул на него, помолчал, оценивая смысл сказанного, и не поверил:

— Неужто перебьют? Это с двумя-то пулеметами да пэтээром?

— Пулеметами! — передразнил Овсеев. — Что ты смыслишь в войне? Неуч зеленый...

Глечик в растерянности потирал рукавом вороненую

сталь пулемета. Твердая уверенность Овсеева в том, что всех перебьют, в конце концов встревожила и его. Но парню не хотелось верить в это, настолько он уже свыкся с мыслью об удаче.

— Пшеничный вот смылся, — мрачно сообщил Овсеев. — И правильно сделал.

— Как смылся? — простодушно удивился Глечик, подняв на Овсеева большие чистые глаза.

— А вот так. Махнул в тыл и теперь, может, где-нибудь в обозе портянки сушит.

Глечик уныло потупился, нахмурил белесые брови, стараясь осознать смысл таинственного исчезновения Пшеничного. Как можно было бросить товарищей, взвод, удрать в тыл? Этого Глечик, сколько ни старался, понять не мог.

Пока Глечик мучительно раздумывал, Овсеев медленно отошел в траншею и исподлобья внимательно наблюдал за ним. Первый вариант его плана провалился в самом начале, и теперь Овсеев с присущими ему хитростью и изворотливостью думал, что предпринять еще. Сговариваться с Глечиком, видимо, не имело смысла: парень он недалекий и теперь слегка обстрелялся, осмелел и бежать, вероятно, не согласится. Не решаясь окончательно раскрыть ему свое намерение, Овсеев прикидывал и так и эдак, пока громкий голос Карпенко снова не встревожил весь переезд:

— К бою!

Невольно подчиняясь команде, Овсеев схватился за пулемет, испуганно бросился на свое место Глечик, а старшина властно и сурово командовал:

— Свист, на прицел — танки! Овсеев — по пехоте. Глечик — гранаты к бою! Замри! Огонь по команде!

И опять над переездом нависла смертельная опасность. Вдали по хорошо просматриваемой дороге на выезде из деревни, крыши которой чуть виднелись из-за пригорка, показались немцы. Видимо, это была большая колонна, она двигалась медленно с несколькими танками во главе.

Над серым осенним полем, над перекрестком дорог и далеким лесом, за которым ждало этих людей спасение, грустной усмешкой блеснуло низкое уже солнце. Только на одно мгновение его лучи скользнули по сырой глине траншеи, серой седине стерни, пламенем коснулись пожухлой листвы берез. И эта спокойная солнечная

ласка острой тоской тронула людские сердца. Глечик направил вдаль винтовку, осторожно загнал в ствол патрон и прижал к плечу выщербленный деревянный приклад. Боец слегка побледнел, зябко вздрагивал и, стараясь унять тревожную нервную дрожь, плотнее припал к земле. Карпенко оставался внешне спокойным. Только морщины на его лбу, казалось, стали более глубокими, чем прежде. Овсеев сморщился, как от зубной боли, и одичавшим взглядом шарил вокруг, ища, видно, спасения. В этом мучительном напряжении вдруг необычно и дерзко прозвучала любимая поговорка Свиста:

— Эх, ярина зеленая, выше головы, огольцы! Пока суд да дело, слушай побасенку.

Глечику за углом сторожки не виден был этот чудаковатый человек, но он услышал его и удивился. Удивленно шевельнул бровями затаенно-озабоченный командир, нервозно повернулся к соседу Овсеев, а Свист, прижав к боку обшитый кирзой приклад своего пэтээра и следя за противником, говорил:

— Вот, братки. Значит, так. Сидят в тюрьме два босяка. Обругали на чем свет урядника — это было еще до революции, — потому сидят голодные и про жратву мечтают. Говорит один: «Давай, Егор, сделаем подкоп и удерем». — «Давай», — соглашается Егор. «Потом давай собьем замок и влезем в хлебную лавку». — «Давай», — говорит Егор. «Возьмем пару буханок и ходу». — «Давай». — «Спрячемся куда-нибудь в подворотню и по очереди: я кусь, ты кусь...» — «Ага», — облизывается Егор. «Ты кусь, и я кусь-кусь». — «Я кусь, а ты кусь-кусь? — взревел вдруг Филипп. — Вот тебе!» — И кулаком в рыло Егору. Тот и взвыл: «Ты ведь сам два раза укусил». И ну драться. Влетел надзиратель, рознял и обоих в карцер на одну воду. Вот... Можете теперь смеяться, — заключил Свист.

Но на этот раз никто не засмеялся. Карпенко не сводил глаз с колонны, которая все росла и росла на дороге. Уже слышно было, как дрожала земля от танков, как стрекотали их тяжелые широкие траки. Пехоты, кажется, было немного — всего несколько машин, а дальше шли, замыкая колонну, груженые автомобили. Чуть поодаль от берез, как раз на самом взгорке, с кузовов стали соскакивать пехотинцы. Они тут же разбегались по обе стороны дороги, образуя неровную суетливую

цепь. Машины остановились. Дальше пошли лишь танки — три грохочущие стальные громадины.

— Витька! — среди нарастающего густого грохота встревоженно крикнул Карпенко. — Не спешить!

Свист не спешил. Где-то в глубине души тоскливо заныло недоброе предчувствие: знал боец — начнется нелегкое. Но это беспокоило какой-то момент. Свист сразу же перестроился на обычный свой разухабисто-деловой лад и стал следить за врагом. Его немного обеспокоило, что танки шли прямо, в лоб. Хоть бы один свернул куда-нибудь в сторону, подставил борт, и тогда Витька всадил бы в него зажигательную. Но они шли прямо, а у дороги, не в состоянии угнаться за ними и отставая, развертывалась пехота.

С середины пригорка передний танк, не останавливаясь, грохнул выстрелом — над переездом что-то фыркнуло, и сзади, в поле, вздрогнула от взрыва земля. Второй снаряд ударил по железной дороге перед траншеей. Бойцов оглушило, обдало землей, кислым смрадом тротила. На линии вздыбилось несколько вывороченных из насыпи шпал, задрался конец перебитого рельса.

Покачиваясь на неровностях дороги, танки шли в ложбину. Переезд молчал. Передний танк столкнул в канаву брошенный мотоцикл и слегка повернул, стараясь обойти препятствие, — развернувшуюся поперек дороги машину. И тогда, не дожидаясь команды, но очень вовремя, звонко грохнуло ружье Свиста. Танк сразу стал. Еще ничего не было видно — ни дыма, ни пламени, но сбоку уже отскочила крышка люка, из которого, будто тараканы из щели, посыпались на дорогу черные танкисты. Старшина дал первую очередь, переезд отозвался оглушительным грохотом винтовок.

Еще через минуту весь этот унылый осенний простор наполнился беспорядочным визгом, треском и грохотом. Попав под обстрел, пехота поспешно залегла в поле и открыла по переезду огонь. Второй танк уже осторожнее продвигался по дороге. Он оттолкнул в сторону транспортер и, приостановившись, задвигал орудием, наводя его на переезд.

— Ложись!.. — голосисто крикнул Карпенко, и не успел его крик утонуть в грохоте боя, как мощный взрыв черной земляной тучей накрыл переезд: траншею, людей, сторожку. Когда пыль осела, стали видны разлетевшиеся в стороны обломки досок, куски штукатурки, по-

ленья, а на том месте, где когда-то стояла печка, курилась небольшая воронка.

Переезд смолк, казалось, никого в живых уже не осталось в траншее. Но вот в самом конце ее мелькнул присыпанный песком силуэт Свиста — боец схватил ружье и с отчаянной злостью выругался. Его незаменимое оружие, не раз выручавшее людей из беды, выглядывало из-за бруствера коротким перебитым стволом.

— Старшина! Старшина! Что натворили, гады ползучие! Подонки! Выродки! — неистово кричал Свист, без нужды стуча затвором теперь уже бесполезного противотанкового ружья.

И тогда из окопа поднялся побледневший, медлительный и какой-то расслабленный Карпенко. Невидящим взглядом старшина посмотрел на дорогу, провел рукой по раненой голове, из которой на шинель, бруствер и на приклад пулемета неудержно лилась кровь.

— Свист... Не пускать! — каким-то чужим голосом выкрикнул он и свалился в траншею.

Свист, минуя Овсеева, который, втянув голову в плечи, корчился в ячейке, бросился к старшине, схватил его и приподнял. Командир тяжело хрипел, крутил головой и глохнувшим голосом говорил:

— Танки, танки... Бей танки!

Он не знал, что бить танки уже было нечем, и Свист ему не сказал об этом. Бронебойщик достал из кармана индивидуальный пакет, начал бинтовать старшине голову, успокаивая:

— Ничего, ничего!

Потом он отскочил в траншею. Ему вдруг показалось, что немцы уже рядом, а они только вдвоем. В это время из-за воронки забухали выстрелы Глечика. Свист обрадовался. Схватил пулемет старшины. Немцы с поля постепенно перебегали в ложбину, а два танка очень осторожно, один по правой стороне дороги, другой по левой, обойдя транспортеры, приближались к мостику. Пули из их пулеметов секли землю, железную дорогу, бурьян, визжали в высоте, рикошетили от рельсов. Взрывы и выстрелы наполняли простор визгом и стоном.

Свист был человеком действия, не в его характере было думать и рассуждать даже в спокойное, подходящее для этого время. Теперь он понял, что, прорвавшись к переезду, танки передавят их в траншее и, никем не задержанные, пойдут дальше, к лесу. Единственное мес-

то, где можно было еще задержать их, — на мостике, по обе стороны которого лежало грязное болотце. Эта мысль мгновенно озарила его, когда передний танк был от мостика в каких-нибудь пятидесяти метрах.

Бронебойщик бросил пулемет и, рванувшись в конец траншеи, крикнул скорченному в ячейке Овсееву:

— Давай к пулемету!

Сам же схватил в обе руки по тяжелой противотанковой гранате, вылез из окопа, перевалился через бруствер, вскочил, затем, пригнувшись, в три прыжка достиг железной дороги и кубарем скатился в вырытую снарядом воронку. Там он осмотрелся. Танки продолжали двигаться. Пули их пулеметов коротко, но люто фьюкали над самой насыпью. Свист слегка помедлил, тяжело дыша и собираясь с силами к последнему, решительному броску. Взбивая сырую землю, наискось от шпал к канаве пробежала очередь «вжик, вжик» — и на обочине осталась ровная черная цепочка пятен. Бронебойщик вскочил и что было силы бросился вниз, под прикрытие невысокой дорожной насыпи.

По бедру его все же хлестнуло, боец почувствовал, как к колену побежала горячая струйка крови, но боль была несильной, и он не обращал на нее внимания. Пригнувшись за насыпью, он бросился к мостику, на который, замедлив ход, словно конь, обнюхивающий надежность опоры, уже въезжал первый танк. Удушливая горечь перехватила Свисту дыхание. От быстрого бега громко стучало сердце.

Они сошлись как раз на мостике — вконец обессилевший, раненый боец и это грохочущее, с желто-белым крестом на борту страшилище. Свист, слабо размахнувшись, одну за другой швырнул под гусеницы обе гранаты, но сам ни укрыться, ни отскочить уже не успел...

18

Неизвестно, что показалось немцам, но после того, как второй их танк, подорванный Свистом, провалился под мостик, уткнувшись пушкой в торфянистую топь болота, они поднялись по склону пригорка и, отстреливаясь, стали отходить назад. Третий танк дал задний ход и тоже пополз вверх. Стрельба утихла. Присыпанный землей, чумазый, измученный, Глечик оторвался от своей винтовки.

Он весь дрожал от пережитого и сдерживал себя, чтобы не расплакаться, не потерять самообладания. Чувства и разум его не могли примириться с мыслью, что нет в живых Свиста, что он, уже неподвижный, взрывом отброшенный в травянистое болото, никогда больше не поднимется, не заговорит, не шевельнется. Но самое страшное для Глечика было в смерти всегда властного, строгого старшины, без которого боец чувствовал себя маленьким, слабым, растерянным. Он не обрадовался даже тому, что немцы начали отходить. Охваченный новой неодолимой тревогой, бросился к Карпенко.

Старшина, видно, очень страдал. Лицо его как-то вдруг осунулось, щеки запали, побледнели под вставшей торчком щетиной, сразу заметно увеличившейся. Он лежал на боку, откинув голову, в набрякшей кровью повязке и, вздрагивая, судорожно шевелил губами. Глечик, упав на колени, склонился к нему, его измученное сердце разрывалось от нестерпимого горя утраты.

— Что?.. Ну что вам, товарищ старшина? Свиста нет, нет, — словно ребенку, мягко втолковывал он, придерживая окровавленную голову командира.

— Свист!.. Свист!.. — не узнавая бойца, тихо шептал старшина. Его пересохшие губы едва шевелились, паузы между словами все увеличивались.

— Свист!.. Бей!

Глечик понял, что командир бредит, и у бойца задрожали губы от жалости к старшине, к себе, к мертвому Свисту, от страха и одинокой своей беспомощности. Не зная, чем помочь раненому, он все поправлял его голову, подложив под нее свою пилотку. Но старшина не мог лежать спокойно, все бросался, скрежетал зубами, хмурил брови, словно наблюдал бой, и натужно требовал:

— Свист!.. Свист... Раз-зиня!..

— Они уже отступили, — все силился объяснить ему Глечик. — Отошли.

Старшина услышал это, притих, тяжело, с усилием открыл глаза и затуманенным взглядом посмотрел на бойца.

— Глечик! — будто успокоенно и даже вроде бы радостно произнес старшина. — Глечик, ты?

— Что вам, товарищ старшина? Может, воды? Может, шинель подстелить? Свиста уже нет, — говорил Глечик, сразу воспрянув духом оттого, что старшина очнулся. Неожиданная радость приободрила Глечика,

воодушевила самоотверженностью, он готов был сейчас на все, лишь бы только помочь старшине. Но Карпенко снова сомкнул веки и сжал зубы — сказать он уже, кажется, не мог ничего.

И тогда в траншее появился Овсеев. Пригнувшись, он торопливо перепрыгнул через Карпенко, обсыпав его землей, и неожиданно и загадочно бросил Глечику:

— Тикай к чертовой матери!

Все еще придерживая голову старшины, Глечик вздрогнул и, не поняв ничего, огромными глазами смотрел вслед товарищу, который тут же исчез за поворотом траншеи. Через какой-то миг для Глечика все стало предельно ясно. Он почти физически ощутил, как болезненно столкнулись в его душе два властных противоречивых чувства — жажда спасения, пока была к этому возможность, и свежая, еще только что осознанная и гордая решимость выстоять. На минуту он даже растерялся и почти застонал от этой невыносимой раздвоенности. А на дне траншеи метался в бреду командир. Его окровавленное, потное лицо пылало жаром и судорожно кривилось от мук, а с губ лихорадочным шепотом срывались одни и те же слова:

— Свист, огонь! Огонь, скорее огонь... ох!

Что-то словно обожгло душу бойца; из глаз непрошеные и неудержные брызнули слезы, запекла-заныла обида. Уже не таясь от врага, он вскочил в траншею и увидел Овсеева, который, мелькая подошвами, бешено отмахиваясь левой рукой, с винтовкой в правой, изо всех сил бежал по канаве к лесу. Захлебнувшись слезами и обидой, Глечик по-мальчишески звонко, с отчаянием в голосе закричал вслед:

— Стой, что ты делаешь?! Стой!.. Стой!..

Овсеев на бегу оглянулся и побежал еще быстрей. Стало ясно — он не вернется. Тогда Глечик дрожащими руками схватил пулемет старшины, перебросил его на тыльный бруствер и, почти не целясь, выпустил вдогонку беглецу все, что оставалось в диске.

Потом, оторвав от приклада грязную щеку, он увидел далеко в канаве серый неподвижный бугорок шинели Овсеева. Больше до самого леса ничего не было видно. Обессиленный, Глечик в изнеможении опустил руки. Осенний ветер быстро высушил его слезы. Боец вдруг почувствовал полное душевное опустошение, притих и, шатаясь, бесцельно побрел по траншее.

Он ходил долго, слепо натыкаясь на стены, на угол стрелковой ячейки, и в его округлившихся глазах застыла пустота. Споткнувшись о ноги старшины, обутые в кирзовые сапоги, он опустился возле него на колени. Старшина лежал уже неподвижно, разбросав в стороны согнутые в локтях руки и слегка ощерив широкие зубы. В нем теперь не было ничего от прежней командирской строгости, только неясно угадывался в застывших чертах какой-то вопрос, удивление, будто он только сейчас понял, кому из них, шестерых, суждено будет закончить бой.

19

Вокруг было тихо. Ветер настойчиво гнал низкие лохмотья туч. Во многих местах небо прояснилось, окаймленное белизной облаков. Между тучами обманчивой скупой лаской проглядывало осеннее солнце, и широкие стремительные тени бесконечной вереницей быстро-быстро плыли по земле.

Это затишье стало постепенно возвращать к жизни измученного Глечика. Как ни тоскливо и безнадежно было ему оставаться одному, но, убив Овсеева, он почувствовал, что придется стоять до конца. Безразличный к самому себе, не спеша, пренебрегая опасностью, боец ходил по траншее и готовил оружие. Пулемет старшины он перенес в ячейку Свиста, трофейный установил на правом фланге. Потом туда же перетащил и ленты. В ячейке Карпенко отыскал последнюю противотанковую гранату, развинтил, посмотрел, заряжена ли, и положил перед собой на бровку траншеи.

Немцы, залегшие на пригорке, почему-то молчали, но не отходили; то и дело появляясь возле берез, что-то высматривали. Вскоре, свернув с дороги, в поле выехали несколько машин с орудиями на прицепе. Глечик понял: гитлеровцы что-то замышляют. Но прежнего страха он уже не испытывал. На миг в его душе шевельнулось злорадство при виде этих многочисленных приготовлений врага против него, одного.

Шло время. Вероятно, наступил уже полдень. Небо становилось светлее, редели тучи, все чаще показывалось нежаркое осеннее солнце. На ветру постепенно светлели размякшие комья бруствера. Подсыхала дорога. Только шинель Глечика все еще была влажной, измазанной глиной и пудовой тяжестью давила на плечи.

Испытывая невольную тягу к теплу и солнцу, боец вылез из сырого затененного окопа и сел на бруствер, свесив безвольные руки.

Так, пережив страх и угнетающее опасение за свою жизнь, неподвижно сидел он на переезде лицом к полю, готовясь к очередному удару. В голове бойца лихорадочно пульсировали невеселые мысли.

В сознании необычайно отчетливо предстала ничтожность всех его прежних, казалось, таких жгучих обид. Как он был глуп, обижаясь когда-то на мать, отчима, болезненно переживая пустячные невзгоды военной службы, строгость старшины, нечуткость товарищей, стужу и голод, страх смерти. Теперь все это казалось ему каким-то очень далеким и удивительно никчемным, ничтожно мелким в сравнении с гибелью тех, кому больше, чем себе, поверил он и с кем сжился. Да, видно, гибель товарищей была для него первым после смерти отца действительно самым огромным несчастьем. Подсознательно он чувствовал, что, пережив это, стал иным, уже не прежним робким и тихим. Что-то новое, мужественное и твердое, властно входило в его душу...

Между тем из деревни в поле выехала вереница немецких машин. Они подались в объезд, в сторону лощины. На пригорке появилось несколько орудий — враги определенно готовились к штурму переезда. А Глечику так хотелось жить! Пусть в стуже, голоде, страхе, хоть в таком кошмарном аду, как война, — только бы жить.

Прищурив глаза, он посмотрел на солнце: оно было еще высоко и не торопилось на встречу с ночью, так необходимой бойцу. В тот же миг до слуха его донеслись удивительно тоскливые звуки, отчего он еще выше запрокинул голову, всматриваясь в поднебесье. Потом улыбнулся и с непонятной, неожиданно сладкой болью в душе долго смотрел в небо. Там, медленно продвигаясь под облаками и надрывно курлыкая, летела в неведомую даль коротенькая цепочка журавлей.

В истерзанной душе бойца ожили полузабытые ощущения далекого детства. Глечик сдерживался, чтобы не расплакаться, — спазмы непонятной обиды то и дело сжимали его горло. Он долго смотрел вслед стайке родных с детства птиц. И когда его глаза уже едва нащупывали в серой подоблачной выси маленькую живую черточку, с неба донесся второй тревожно-отрывистый звук, полный печали и тоскливого зова: «Курл!.. Курл!.. Курл!..»

Вдогонку за исчезнувшей стаей, из последних сил перебирая крыльями, словно прихрамывая, на небольшой высоте летел отставший, видно подбитый, журавлик. От его почти человеческого отчаяния Глечик вздрогнул. Что-то созвучное своим страданиям услышал он в том его крике, и гримаса боли и жалости искривила круглое мальчишеское лицо. А журавль звал, бросал в воздушную бесконечность напрасные звуки тревоги, махал и махал ослабевшими крыльями, устремляясь вперед своей изогнутой шеей. Но догнать стаи он уже не мог.

Поняв это, Глечик обеими руками схватился за голову, заткнул уши, напрягся, сжался в комок. Так, в неподвижности, он сидел долго, сбитый с толку этой безудержной журавлиной тоской. Потом отнял от ушей руки и, хотя в небе уже никого не было, ему все еще слышался исполненный отчаяния журавлиный крик. Одновременно в душе его росли и ширились родные образы из того далекого прошлого, которое уходило от него навеки. Как живая, встала в памяти мать — но не та приветливая и ласковая, какой была всегда, а убитая горем и встревоженная его, сына, судьбой. Вспомнилась учительница Клавдия Яковлевна с ее тихой, неиссякаемой добротой к людям. Появился перед глазами непоседа Алешка Бондарь, а с ним — детские их забавы, походы в Селицкую пущу и некогда увлекательные игры в войну — самую проклятую из всех бед на земле. Сжалось сердце от старого раскаяния за Людку, выдуманной любовью к которой некогда дразнили его в школе, за что он едва не возненавидел эту девчонку с задумчивыми синими глазами.

Охваченный властной силой воспоминаний, он не сразу заметил, как откуда-то возник тяжелый танковый гул. Боец очнулся, когда на пригорок, зажав в клещи дорогу, выползло стадо чудовищ с крестами на лбу. Вокруг загрохотала, задрожала земля. Соскочив с бруствера, Глечик схватил единственную гранату, прижался спиной к дрожащей стенке траншеи и стал ждать. Он понимал, что это конец, и изо всех сил сдерживал в себе готовое прорваться наружу отчаяние, в котором необоримой жаждой к жизни бился далекий призывный журавлиный крик...

1959 г.

ФРОНТОВАЯ СТРАНИЦА

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На заросшие бурьяном межи, неровный бруствер окопа и одинокую пушку из затуманенной выси сыпался снег. Студеный северный ветер своевластно буйствовал в неубранном кукурузном поле, теребил и рвал мерзлые изломанные стебли, наполняя простор унылым завыванием вьюги.

Снег пошел под вечер, когда на огромном равнинном просторе утих грохот боя и немногие из уцелевших отошли на восток. Теперь тут было тихо и пусто, лишь смрадно чадили догоравшие танки, валялись передки пушек, повозки, убитые лошади и везде трупы, трупы... Немецкие танки, прорвав оборону, глухо ревели в снежной дали, быстро унося с собой многоголосое громыхание боя. Грохот его, однако, уже утихал, стрельба отдалилась, лишь изредка самый сильный или самый близкий взрывы сотрясали землю. Мелкие комья с бруствера катились тогда в окоп и приглушенно стучали по одубевшей плащ-палатке, под которой лежал командир этого орудия сержант Скварышев. Он был убит утром во время первой атаки, и, как только немного утихло, ефрейтор Кеклидзе, сняв с себя плащ-палатку, накрыл командира. Через какой-нибудь час надо было накрывать и самого Кеклидзе, но сделать это уже было нечем и некогда — живые отбивали новую атаку, затем следующую. Так присыпанный снегом ефрейтор и остался до вечера в измятой кукурузе, среди разбросанных гильз и пустых снарядных ящиков.

Его надо было похоронить, чтобы враг не надругался над трупом, но у Тимошкина уже не хватало силы встать с бруствера и дойти до убитого, так измотал его этот тяжелый день. Болела раненая рука, хотелось положить ее поудобнее и не двигать, — казалось, это уменьшит боль. Сначала, когда осколок немецкой мины

полоснул по ладони, Тимошкин не почувствовал особенной боли; не очень донимала она и после того, как наводчик Щербак двумя индивидуальными пакетами перевязал рану. В то время немецкие танки подошли к самым посадкам — в двухстах метрах от огневой позиции, и сорокапятчики стреляли по ним подкалиберными. Потом танки все же прорвались в тылы полка, пехота отступила, и артиллеристы остались одни. Бросить пушку они не имели права, а вывезти ее было нельзя — обе их трофейные лошади оказались убитыми. Эту печальную новость им принес только что вылезший из кукурузы ездовой Здобудька. Низко опустив голову, он виновато стоял теперь между станин, в своей короткой, обожженной внизу шинели, и, отвернувшись от ветра, молчал. Напротив, прислонясь к щиту пушки, зло глядел на него наводчик Щербак.

Звуки боя тем временем все отдалялись, взрывы редели, уже надо было вслушиваться, чтобы сквозь ветер уловить треск пулеметных очередей, которые полчаса назад неистовым грохотом оглушали простор. Немецкой пехоты, видимо, прорвалось немного и теперь тут, на поле боя, не слышно было никого. Будь у артиллеристов хоть какое-нибудь тягло, они, возможно, смогли бы спасти пушку и себя. Но лошадей у них не было, и виновником своей новой беды бойцы считали Здобудьку.

— Чертов недотепа, — злился Щербак, засовывая в карманы ватных штанов свои большие озябшие руки. — Запрячь бы теперь самого в пушку да врезать кнутом по боку!

Они ругали ездового за то, что погибли их лошади, хотя — сами понимали — не велика была в том вина пожилого солдата Здобудьки. Много ли можно спросить с призывника, который всего две недели назад пришел в батарею и только еще начал осваиваться на войне, как случилось это несчастье. Разве можно было сберечь лошадей, когда гибли роты и батальоны, когда немецкие танки шквальным огнем уничтожали все живое в окопах, на огневых позициях, в траншеях, кукурузе.

Прижимая к груди раненую руку, Тимошкин тупо глядел на орудие. Усталость и какое-то внутреннее оцепенение свинцовой тяжестью сковывали тело, которое жаждало теперь только покоя, а мысли напрасно метались в голове в поисках выхода. И все же надо было что-то делать, как-то искать спасения.

Щербак тем временем молча и зло топтался возле пушки.

Это была маленькая сорокапятка, которой не меньше, чем людям, перепало за сегодняшний день. В стальном щите ее зияли две рваные пробоины от крупнокалиберных пуль, правый закрылок был косо обрублен, наверно большим осколком, на колесах висели клочья резины. Казенник так накалился от выстрелов, что и теперь еще был теплым, и снежинки, оседая на нем, сразу же превращались в капли воды.

Тревожно шелестело на ветру кукурузное поле, в недобром предчувствии хмурилось небо — надвигалась холодная вьюжная ночь. Широко расставив ноги, запорошенный снегом, в ватнике и сдвинутой на ухо шапке, Щербак озабоченно стоял возле щита. Конечно, ему жаль было этой пушечки, с которой они прошли от Днестра до Балатона и которая не раз спасала им жизнь и выручала пехоту. Под Кишиневом, когда немцы прорывались из окружения, какой-то гитлеровец метнул в нее противотанковую гранату. К счастью, он промахнулся, граната перелетела через щит и, разорвавшись сзади, перебила только станину. В артмастерской на станину наварили стальную латку, и хлопцы говорили, что это счастливый знак, с которым пушка наверняка доживет до мира. Потом, уже в Венгрии, бронетранспортер пометил ее щит косой пулевой вмятиной. Неделю назад очередью из «мессершмитта» пробило сошник, тогда же ранило и пра́вильного Нерчика. Люди в расчете постепенно менялись — раненых отправляли в госпитали, убитых хоронили. Дольше всех оставался в строю молчаливый сержант Скварышев. Но вот сегодня не стало Скварышева, и, кажется, пришел конец и орудию.

Хорошо, если бы нашлась противотанковая граната или хотя бы один снаряд. В таких случаях стоило всыпать в канал горсть песка и выстрелить, как ствол разорвало бы на куски. Но снаряда у них не было. Щербак перекидал все ящики, переворошил сапогом в снегу звонкие, пустые, источавшие пороховой смрад гильзы и ничего не нашел. Оставалось одно — вынуть клин. Поковырявшись в затворе, Щербак сделал это и крикнул Здобудьке:

— Снимай мешок.

Не спрашивая зачем, ездовой снял из-за спины свой

вещевой мешок, развязал лямки, и наводчик бросил в него полупудовый клин и прицел.

— О, то тяжко! Як же нисти цэ? — недовольно заворчал Здобудька.

Щербак решительно оборвал его:

— Не ной! Сам понесу.

Он отставил мешок в сторону, сдвинув шапку, почесал затылок, огляделся, затем вынул из сапога финку и пошел в кукурузу. Здобудька неохотно поплелся следом.

Они долго бродили по истоптанному кукурузному полю, пока наломали по охапке стеблей, принесли, бросили их меж станин и снова пошли уже дальше, где кукуруза была гуще. Тимошкин по-прежнему сидел на бруствере, держа возле груди свою спеленатую, как кукла, руку, и ждал. Молчание и однообразный шум ветра нагоняли тоску, и в голове парня проносились вереницы невеселых, беспорядочных мыслей.

Еще вчера они жили тут, как можно до поры до времени жить на войне, — изредка стреляли по немцам, подолгу сидели в узком окопчике-ровике, ждали вечера, когда старшина приносил ужин, мерзли и много курили. Ночью, выставив часового, спали, тесно прижавшись друг к другу. В спокойную минуту заряжающий Кеклидзе, как о потерянном рае, вспоминал далекую Грузию, шашлык, вино и своих близнецов-ребят. Командир Скварышев чаще всего молчал, хотя этот умный, образованный москвич мог бы рассказать о многом. И вот не стало уже Скварышева, засыпает снегом Кеклидзе, утром отправили в госпиталь Румкина, разгромлен полк, неизвестно, что стало со всей их дивизией... Как теперь выбираться из этой западни, как пробиться к своим? И почему все тише и реже разрывы? Может, немцы уже прорвались к Дунаю?

Заметно темнело. Снежная крупа все сыпалась и сыпалась с затянутого пепельным мраком низкого неба. Быстро исчезали под снегом трупы, черные пятна воронок; равнинный простор поглощали ночные сумерки, лишь впереди тускло серели искалеченные деревья посадок. Не стало видно и долговязого немца, которого во время атаки почти у самой огневой застрелил из автомата Щербак. Запрокинув волосатую голову, немец с полудня удивленно смотрел на них остановившимся взглядом. Теперь и его укрыл снег.

Вдруг в кукурузе, приглушенный непогодой, прозвучал одиночный выстрел. Тимошкин вздрогнул, насторожился и потянулся рукой к лежащему у ног автомату. Но тишина больше не нарушалась, и вскоре на снегу с охапкой стеблей в руках появился Щербак.

— Кто стрелял? — тревожно спросил Тимошкин.

Наводчик дотащил свою ношу, вскинул ее на пушку и отряхнул ватник.

— Связиста прикончил. Раненого.

— Что ты! Может, выжил бы?

— Выжил? Кишки все вывалились...

Тимошкин с минуту вслушивался в ночь, затем опустился на бруствер. Спорить с Иваном он не хотел, потому что знал, как трудно было в чем-либо переубедить его. Иногда командиры ругали наводчика за самоуправство, иногда наказывали, но он всегда поступал посвоему, и зачастую получалось, что был прав.

Забросав кукурузой пушку, Щербак позвал Здобудьку и пошел к снарядным ящикам. Там, подхватив под руки тело Кеклидзе, он остановился, выжидая, пока ездовой возьмется за ноги убитого.

— А ну, смелей. Не укусит! — зло прикрикнул наводчик.

Спотыкаясь о комья бруствера, они понесли Кеклидзе к ровику, где лежал Скварышев. В это время поодаль, в кукурузе, мелькнуло тусклое пятно фонарика. Тимошкин предостерегающе шикнул — ребята притаились. Стало тревожно и тихо. Вскоре на краю кукурузного поля появилось несколько теней, у их ног на снегу шевелилось пятнышко света. Где-то там проходила траншея, и они осматривали ее, пока не исчезли в снежной метели. Конечно, это были немцы.

Щербак вполголоса выругался. Здобудька опасливо поднялся с земли и уже решительнее, чем в первый раз, взялся за ноги убитого. Тимошкин тоже встал с бруствера. Втроем они поднесли тяжелое тело Кеклидзе к ровику, где лежал Скварышев. Щербак, обрушивая сапогами землю и придерживая покойника за руки, начал опускать его в черную яму. Здобудька помогал ему, а Тимошкин, стоя над могилой, не мог проглотить застрявший в горле комок.

— Пошли, того принесем, — сказал Щербак, выпрямляясь. — Закопаем вместе.

Вдвоем со Здобудькой они побежали куда-то и вскоре принесли из кукурузы еще одно тело, которое, устало дыша, взвалили на бруствер. Это был здоровенный усатый боец, согнутые руки которого уже не разгибались и неуклюже торчали локтями в стороны. Полы его иссеченной осколками шинели широко распластались на снегу.

Тяжело дыша, Щербак сел рядом с убитым. Снег становился все гуще и быстро засыпал усы солдата, его мертвое небритое лицо.

— Закурить нет? — спросил наводчик.

— У Кеклидзе должно быть, — сказал Тимошкин, вспомнив, как утром ребята закуривали у запасливого ефрейтора.

Щербак, опершись на руки, спрыгнул в ровик, а Тимошкин обессиленно опустился возле убитого, уже не чувствуя того, что обычно ощущают здоровые люди рядом с покойником. Ездовой, видимо еще не до конца преодолев в себе страх перед мертвецом, насупившись стоял напротив. Наводчик, с минуту повозившись в ровике, вылез, держа в руках масленку с двумя горлышками, в которой бойцы носили махорку.

Укрываясь от ветра, Щербак свернул цигарку и из-под полы прикурил. Потом заметно притих, осел на бруствере и, будто подобрев, выдыхая табачный дым, сказал:

— Ну вот и все. Конец. А когда-то на формировке вместе патрулировали, — кивнул он в сторону убитого. — Веселый был дядька. Все про баб рассказывал...

Тимошкин, разбитый и подавленный, молча сидел рядом, глядя и не видя, как докуривал Щербак, как потом они со Здобудькой опускали в последнее пристанище убитого и искали под снегом лопаты.

И только когда в могиле-ровике зашуршала о палатку земля, боец, будто очнувшись, понял, что настало прощание. Они сделали все, что могли, — для живых, отступивших на восток, и для мертвых, навсегда оставшихся тут, в чужой стороне. Не было на этих поспешных ночных похоронах ни громких салютов, ни красивых слов о погибших, только, как всегда, тупая боль сжала сердце. У Тимошкина повлажнели ресницы, и хорошо, что настала ночь и не надо было отворачиваться, чтобы скрыть от других эту невольную солдатскую слабость...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Одинокие и ничем больше не связанные с тем клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток.

Они долго брели кукурузой, продираясь сквозь ее неподатливые, густые заросли. Было холодно, темно и ветрено. Сыпал снег. Шуршала сухая кукурузная листва, и в этом неумолчном шорохе трудно было что-либо услышать. Казалось, все вокруг по-ночному притихло, затаилось, поникло. Щербак своим могучим телом решительно раздвигал тугие намерзшие стебли, за ним, оберегая здоровой рукой раненую, пробирался Тимошкин. Он никак не мог успокоиться, то ли от того, что произошло сегодня, то ли от раны или еще отчего, его все время знобило, он дрожал. Последним уныло тащился Здобудька.

Горько это было и обидно — после стольких побед и удач переживать несчастье разгрома и втроем пробираться ночью по чужой земле, остерегаясь каждого шороха и каждой тени. Хорошо еще, что в такой беде рядом надежный товарищ, с которым связывает тебя нечто большее, чем просто полковое знакомство. В этом смысле Тимошкина немного успокаивало присутствие Ивана Щербака. Пока наводчик был рядом, боец мог справиться с любой бедой, без страха пошел бы с ним хоть на край света.

Когда-то, еще в Молдавии, Тимошкин пришел в этот полк из запасного, где его месяца два учили на автоматчика, и потому в артиллерии он разбирался слабо. И вот случилось так, что по какому-то недосмотру штабистов боец попал в команду, из которой пополняли артиллерийские батареи дивизии. Командир батареи, принимавший их, узнав, что Тимошкин не артиллерист, приказал вернуть его на сборный пункт. Накануне бойцы совершили большой марш, направляясь к фронту; Тимошкин при своем далеко не богатырском росте и очень ограниченной выносливости окончательно выбился из сил и выглядел, конечно, неважно. И тогда ефрейтор Щербак, который должен был со старшиной сопровождать пополнение в полк, попросил у комбата разрешения не отправлять Тимошкина обратно. Неизвестно, как ему удалось уговорить капитана, но через несколько дней они оказались в одном расчете, Щербак понемногу научил его артиллерийскому делу, постепенно они как-то сблизи-

лись, хотя характерами были разные, и стали друзьями. Каждый день они плечом к плечу стояли у пушки, сгибались в окопе во время бомбежки, вместе мерзли ночами, согревая один другого собственным теплом. Щербак был молчалив, сдержан, порою слишком упрям, но всегда справедлив. И еще он был смелым. У Тимошкина не было ни одной медали, а Щербак уже имел ордена Славы и Красной Звезды.

Наконец кукуруза кончилась, и наводчик первым вылез на сумеречный, тускло белевший простор. Снежная крупа все сыпалась на раскинувшееся впереди голое поле, посреди которого они увидели неподалеку одинокую человеческую фигуру. Быстрым шагом человек направлялся куда-то вдоль кукурузы, очевидно в ту сторону, куда шли и они. Замедлив шаг и всмотревшись, Щербак негромко окликнул его:

— Эй!

Словно споткнувшись, неизвестный остановился, оглянулся, но, видно не заметив их, торопливо зашагал в прежнем направлении.

— Стой! — громко крикнул Щербак, и человек остановился.

По присыпанному снегом жнивью они пошли к незнакомцу. Тот настороженно ждал, прижимая к груди автомат, взятый на изготовку. Но вот стала видна его перетянутая в талии шинель, затем шапка-ушанка, которая окончательно убедила, что это не немец. Щербак, идя впереди, спокойно забросил на плечо автомат, Тимошкин и Здобудька всматривались в еще неясную в сумерках фигуру. Человек, застыв на месте, тревожно ждал.

— О, гляди — земляк твой! — оглянувшись, сказал Щербак.

Подойдя ближе, Тимошкин действительно узнал своего земляка, писаря полкового штаба сержанта Блищинского. Давно уже, наверное от самой дунайской переправы, они не виделись, хотя и служили в одном полку. Правда, в этом не было ничего особенного — различными были их обязанности, и потому не очень часто сходились их стежки. Один нес службу при штабе, а второй все время был на передовой, копал окопы да таскал пушку.

Блищинский тоже узнал Щербака и Тимошкина и, кажется, недовольный тем, что его задержали, сказал:

— Давайте быстрее! А то немцы.

Они оглянулись — действительно, надо было спешить, от поля недавнего боя они отошли совсем недалеко. В стороне, где осталась их пушка, проворчала машина и послышались чьи-то приглушенные голоса. Хорошо, что снегопад надежно укрывал бойцов от чужих глаз.

Щербак, не останавливаясь, подался вперед, а Тимошкин с Блищинским пошли рядом. Было ветрено и не по-фронтовому тихо, только шуршала в стороне кукуруза да впереди, где-то далеко, еле слышно изредка грохотали взрывы. Блищинский шагал быстро, загребая сапогами снег, и, поглядывая по сторонам, говорил:

— Что, земляк, влопались? Опростоволосились! Ну, с кого-то погоны снимут. Такое нельзя прощать.

— С кого же снимать? — сказал Тимошкин. — С тех, что в снегу остались?

Не сбавляя шага, Блищинский сбоку глянул на земляка:

— Я не о тех. Бери повыше. Тех, кто прошляпили все это...

— Сила! Что сделаешь?

— Сила! А у нас не сила? Вон от Волги до Будапешта дошли. Тут дело не в силе. Просто проспал кто-то. Артиллерии-то мало оказалось. Одна полковая немного сделает. А ведь теперь придется опять отвоевывать. То же самое.

— Да, это так.

— Ну вот. Повторным заходом. Кровь проливать. А кровь-то не казенная.

Чувствуя неоспоримую правоту этих слов, Тимошкин только вздыхал.

— Вот из расчета втроем остались, — сообщил он земляку. — Двое убиты. Остальные ранены.

— Что, прямое попадание?

— Нет. Прямого не было. Так, осколками, — превозмогая боль, говорил Тимошкин.

Блищинский, идя впереди, удивленно оглянулся:

— А пушку что ж — бросили?

— Кукурузой закидали. Взорвать было нечем. Щербак вон в вещмешке клин несет.

Блищинский, не сбавляя шага, огляделся.

— Вот как! Плохо ваше дело.

— А что? — не понял Тимошкин.

— Спрашиваешь! Будто не знаешь! За оставление техники — трибунал!

У Тимошкина что-то словно оборвалось внутри. Он вдруг удивился, как все это не пришло ему в голову раньше, — ведь в самом деле, из-за пушки могут произойти неприятности. Но чтобы как-то скрыть свое замешательство, боец грубовато спросил о другом:

— А ты почему это так... задержался?

— Я? Майора Андреева тащил. Раненого. На руках умер. Вот сумку снял. — Блищинский хлопнул по кожаной сумке, которая на длинном ремешке болталась у колен. — Потому и задержался.

Щербак, безразличный к их разговору, быстро шагал впереди, а у Тимошкина после сказанного Блищинским зашевелилась в душе глухая вражда к писарю. Он сам еще не понимал, почему так, — ведь земляк говорил правду, да и сам Тимошкин хорошо понимал все это. И тем не менее ему стало обидно и горько от этих напоминаний, как он смутно чувствовал, именно потому, что они исходили от Блищинского — его земляка, хорошо знакомого ему человека. Правда, писарь, кажется, был равнодушен к их делам и замолчал, озабоченный собственной бедой. Он шагал широко и торопливо. И Тимошкин стал постепенно отставать, так как ослабел и уже не хотел идти рядом. Боец давно знал, что люди они разные и вряд ли удастся им когда-нибудь сблизиться, как сближаются друзья. Сзади споро топал низенький Здобудька, приклад его винтовки на длинном ремне почти касался земли. Ездовой вскоре нагнал Тимошкина, и они пошли рядом.

Неприятное и противоречивое чувство разбередило и без того растревоженную душу Тимошкина.

К Щербаку и Здобудьке боец уже привык, он видел их возле себя и в плохую и в хорошую минуты и знал, на что каждый из них способен. Блищинский же был человек иной, случайный в такой беде, к нему надо было присмотреться и держать себя настороже. Правда, Тимошкин знал его с детства, еще мальчишками они обегали все деревенские стежки, облазили все лесные чащобы. Но именно оттуда, с детства, и зародилась у Тимошкина неприязнь к нему. Сколько потом, в армии, им ни приходилось встречаться, Тимошкин никогда не чувствовал той искренней и светлой радости, которая охватывает каждого при встрече с земляком на войне.

С низкого, осевшего почти на самую землю неба косо сыпался снег, студил лицо резкий ветер, по-прежнему

ноющая боль в пробитой ладони донимала Тимошкина. Он все больше отставал, а Блищинский, не оглядываясь, торопливо шагал и шагал, пока не догнал Щербака. Так они и пошли впереди: Иван — развалистой широкой походкой здоровяка, Блищинский — по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, в перешитой офицерской шинели, с сумкой на боку. Крепкие и здоровые, они изредка переговаривались, Блищинский, кажется, начал в чем-то убеждать Щербака, показывая рукой в сторону от того направления, куда они шли. Тимошкин знал, что он не доверится Ивану и будет пытаться сам командовать, распоряжаться — всем навязывать свою волю. Блищинский с детства привык верховодить, стараясь опережать других, если это было выгодно ему, и подстраиваться к тем, кто был сильнее. Теперь он быстро определил, что из троих в этом поле значительнее всех Щербак, что он тверже и, наверное, смелее остальных, и потому и начал искать сближения с этим молчаливым парнем. Тимошкина он уже не принимал в расчет, ибо тот хотя и земляк, но был слабоват, моложе, ранен и для него, сержанта, мало что значил.

Спустя какое-то время, боязливо оглядываясь, прошел вперед и Здобудька. Тимошкин теперь шагал последним. Он устал, все больше отставал, и обида, как боль, тихонько точила его изнутри.

Бывает же так в жизни, и особенно, пожалуй, на войне, что чужой, незнакомый человек станет тебе роднее родного, а старый знакомый по какой-то причине утратит все свои привлекательные качества. Тимошкин очень хорошо понял это за долгое время своего знакомства с Блищинским и полгода фронтовой дружбы с Иваном. Нет, сейчас он не обижался на наводчика и ни за что не сказал бы ему о своих переживаниях: он знал, что Щербак никогда не оставит его в беде, поможет, а если ранят — вынесет. Но, оставшись сзади, один, он все сильнее чувствовал, как от обиды щемит внутри, и все потому только, что в спутники к другу навязался вот этот Блищинский.

Как ни старался Тимошкин шагать быстрее, он все же отставал, а те двое, занятые разговором, кажется, и не замечали этого. Правда, он понимал, что идти надо быстро, иначе, если они не выберутся до рассвета, завтра им придется туго. Однако от этого сознания ему не было легче. В нем росло какое-то непонятно-тревожное чув-

ство, и казалось, что принес его с собой писарь Блищинский.

Часто случается на войне, что гибнет самый хороший, самый смелый и всеми любимый парень, а какого-нибудь задиру, себялюбца или подлеца не берет ни болезнь, ни пуля. Так случилось и с друзьями Тимошкина. Много их было — скромных и славных его земляков, с которыми провоевал он два партизанских года, но вот на пороге заветного освобождения один за другим погибли лучшие его товарищи. А Блищинский выжил. В то время он тоже был с ними в лесу, и нельзя сказать, чтобы прятался — скрываться там было негде, — просто ему везло. И потом, уже в армии, Тимошкина со многими, может быть, навсегда разлучила безжалостная военная судьба, а с этим пришлось служить в одному полку и теперь вот очутиться рядом.

Тимошкин не сразу раскусил его, когда-то думал: может, ему только кажется, что Блищинский плут, а на деле он, может, и ничего себе парень? Нескладно это устроено в жизни, что и плохое и хорошее познается дорогою ценой, через боль неудач и ошибок. Некогда они жили в одной деревне. Хаты их не то чтобы стояли рядом, ровесниками они тоже не были (когда Тимошкин пошел в первый класс, Блищинский учился в четвертом), но в их деревушке ребятишек было немного, и друзей выбирать не приходилось. Поэтому с раннего детства Володя с Гришкой вынуждены были играть вместе, вместе летом бродили по лесу, а зимой за три километра ходили в школу.

Кроме как о себе, Блищинский ни о ком никогда не думал. Тимошкин был нужен ему, чтобы помогать пасти гусей, присматривать за кротовыми норами, в которые они ставили ловушки; чтобы воровать у отца табак — Гришка тогда уже начинал украдкой курить. Отец его в семье мало что значил, в доме всем распоряжалась мать — упрямая, сварливая женщина, которая замуштровала всех — и мужа, и троих дочерей, и только Гришка, благодаря своей хитрости, не поддался ей. Эта приобретенная с детства изворотливость и себялюбие на всю жизнь стали его отличительным качеством.

Володя во всем тянулся за Гришкой и старался, чем мог, угодить товарищу. Тот же, заметно было, не очень дорожил их дружбой и причинял немало обид Тимошкину. Самый последний и самый памятный случай и теперь

еще тлеет в душе Тимошкина незатухающей неприязнью к земляку.

...Это произошло в одну из далеких довоенных зим. Тимошкин учился тогда в шестом классе, Гришка — в девятом. Учился Блищинский отлично, считался активистом, был членом учкома и незадолго перед тем вступил в комсомол. На собраниях и митингах он часто выступал от «имени школьников» и складно читал по бумажке заранее составленные речи. Среди его друзей в то время появились парни постарше, с ними он сблизился больше, и их дружба с Тимошкиным едва теплилась. Тимошкин понимал, что становился ненужным ему, и не очень-то набивался в приятели, но в школу они ходили все-таки вместе. Обычно Тимошкин заходил к нему утром, ждал, пока Гришка оденется, позавтракает, и потом напрямик, через замерзшее болото они отправлялись в местечко.

Однажды, уже перейдя болото, ребята выбрались на укатанную санями дорогу и неторопливо подходили к местечку. Вдруг возле одинокой придорожной вербы Тимошкин увидел в колее кошелек (перед тем их обогнали две пары саней с незнакомыми людьми, ехавшими, очевидно, на базар). Находка, конечно, заинтересовала ребят, Гришка сразу выхватил кошелек у товарища и начал потрошить его. Там оказался паспорт, какие-то бумаги, пятьдесят рублей денег. На ходу просмотрев все это, Гришка сунул кошелек в карман. Тимошкин сказал, что надо отнести его в милицию или отдать в учительскую, но Гришка только рассмеялся и хлопнул товарища по спине. На большой перемене он кивком головы вызвал Тимошкина из класса и повел в магазин. Там Гришка купил конфет, папирос, сунул младшему другу пятерку и сказал, что документы из кошелька надо сжечь. Тимошкин долго не мог решиться на это, — он боялся и ненавидел себя и Гришку, но хитроватая самоуверенность Блищинского сбивала его с толку. Тимошкин все же запротестовал, они поссорились и в конце концов договорились, что кошелек, документы и деньги сдадут в милицию.

Гришка, однако, сделал иначе. На следующий день он снова встретил Тимошкина и сказал, что отнес в милицию только кошелек и паспорт. Тимошкин струхнул, а Блищинский, смеясь, заверил парня, что все будет в порядке, надо только молчать о деньгах.

И вот через день-два, перед самым звонком на урок,

в школьном коридоре появился какой-то дядька в тулупе, директор, классный руководитель. Все они направились в девятый «Б», где учился Блищинский. У Тимошкина от страха екнуло сердце — неужели узнали? Он хотел было убежать, но, прежде чем сделал это, сквозь открытую дверь услышал, как дядька благодарил Гришку. Оказывается, дядька махнул рукой на деньги (черт с ними, пятьюдесятью рублями! — ему дороже были документы) и в виде вознаграждения за «благородный» поступок он дал Гришке червонец. Потом об этом поступке Блищинского написали в стенной газете, учителя хвалили парня, а товарищи смотрели на него с легкой завистью. Идя домой в тот день, Гришка курил папиросы «Красная звезда» и посмеивался. Удивленный таким неожиданным исходом, Тимошкин возмутился, высказал ему все свои обиды на него. Блищинский обозвал его дураком, приказал молчать и даже пригрозил расправой.

Несколько дней после этого Тимошкин ходил словно в тумане, по ночам вскрикивал и даже плакал во сне. Днем не раз подходил он к двери учительской, но так и не осмелился войти туда, чтобы рассказать, как все это случилось. Блищинский же, наверно, догадывался о его переживаниях и вел себя угрожающе холодно.

Дорого обошлись парню его уступчивость и нерешительность.

Незадолго до начала войны Гришка с родителями перебрался на жительство в местечко. У Тимошкина тем временем появились друзья получше, и он впервые испытал настоящую мальчишескую дружбу. С Гришкой они тогда встречались редко. Еще через год Блищинский окончил десятый класс и поступил в медицинский институт. К тому времени неприязнь Тимошкина к нему уже притупилась, и только в памяти живы были все его злые проделки.

Когда началась война и местечко заняли немцы, явился из города и Гришка. Несколько месяцев он сидел на шее у матери, болтался по улицам и присматривался к новым порядкам. Отец его, мобилизованный в начале войны, где-то пропал (может, отступал на восток, а может, погиб), а к матери вскоре перешел жить примак из окруженцев. К зиме, когда начала создаваться полиция, примака тоже втянули в эту свору наемников. Полицай из него был никудышный, он беспросыпно пил самогон, дважды пьяный терял оружие, и начальство прогоняло

его со службы. Но полицейские были нужны, и его брали снова. Зимой же в местечке организовалось интендантство: школу и все лучшие постройки немцы заняли под склады. В помещении сельмага какие-то приезжие прислужники открыли мастерскую по ремонту амуниции и красильню, где окрашивали различные военные вещи и писали вывески. Эти вывески и разные объявления на немецком и белорусском языках развозились по всей округе, и вот в этой красильне к весне оказался и Гришка Блищинский.

Почти год черной и белой краской выводил он на фанере, жести и досках замысловатые готические литеры, свастику, стрелки и разные указатели, на что были большие любители немцы. Почти два года Блищинский получал немецкий паек, какую-то плату в рублях и марках. Когда же разгорелась партизанская война и на местечко трижды совершали налет партизаны, Гришка, видно, сообразил, что в немецкой мастерской ему не отсидеться. В эту пору почти все его ровесники и даже ребята помоложе было либо связаны с партизанами, либо по возможности помогали им. И Гришка решился. Он заявил партизанам, что хочет перейти к ним, и те потребовали доказательств его преданности советской власти. Он заманил домой примака-полицая, который в то время дневал и ночевал в комендатуре, опасаясь расправы, с ним еще одного такого же пьяницу, напоил их, обезоружил и через связных переправил в лес. Полицейских, конечно, расстреляли, а Гришке поверили, и он с оружием, отнятым у отчима, пришел в отряд. Тимошкин в это время тоже был там и, слушая, как некоторые партизаны хвалили Блищинского, возмущался. Он-то отлично понимал фальшивую душу своего бывшего друга и не скрывал этого, только в то блокадное время некогда было разбираться в душевных тонкостях нового партизана.

Оказавшись потом в запасном полку, Гришка начал новую жизнь с того, что «разоблачил» одного фронтовика-сержанта, который без разрешения отлучался из части. Сержант, разведчик по специальности, еще в 1941 году награжденный орденом, обычно после вечерней поверки уходил из казармы на станцию, где его ждала девушка. До подъема он возвращался и занимал свое место на нарах. Однажды, будучи дневальным, Блищинский выследил его. Некоторое время он об этом никому не докладывал, молчал, поджидая удобного случая. И вот

состоялось собрание, на которое пришли замполит командира полка, командир батальона и другие офицеры. Тут Блищинский, взяв слово, выступил с пламенной речью, разоблачил сержанта, которого в тот же вечер отправили на гауптвахту. Начальство заметило Блищинского, — его «непримиримость» к недостаткам и умение красиво говорить многим понравились, и вскоре он стал секретарем ротной комсомольской организации.

В свободное от занятий время Блищинский нарисовал портрет командира роты. Командир на портрете, конечно, получился красивее, моложе и мужественнее, чем был на самом деле. Он не остался безразличным к такому подарку. Не прошло и недели, как рядовой Блищинский, расположившись в ленинской комнате, уже рисовал плакаты и оформлял наглядную агитацию, в то время как остальные бойцы отрабатывали на жаре самую трудную тактическую тему — стрелковая рота в наступательном бою.

Прибыв вместе с пополнением в стрелковый полк, Блищинский не попал в батальон. Очевидно, как художника, его взял к себе начальник артиллерии — тому нужно было красиво чертить схемы и писать, а Блищинский уже был в этом деле признанным мастером. Так он и прижился при штабе — носил офицерам завтрак, по утрам поливал из котелка на руки, заботился об уюте их землянок, а в остальное время возился с бумагами. И со всем этим он, видно, справлялся неплохо. Когда началось наступление и Тимошкин с простреленной голенью попал в медсанбат, Гришка уже имел медаль «За боевые заслуги», к ней вскоре прибавилась новая — «За освобождение Белграда», в который он въехал на штабной машине, в то время как его земляк ковылял на костылях в санбате.

Тимошкин видел все это, возмущался в душе, но молчал. Он думал — черт с ним, каждому свое! В конце концов, не он, так кто-нибудь другой займет писарское место в штабе, потому что нужны и писаря. Опять-таки разве хорошо это — ходить по начальству, доносить на товарища, все же как-никак они земляки. К тому же Тимошкин не имел с ним никаких отношений, у него были свои хорошие друзья и свои заботы. Но вот незадачливая военная судьба свела их на одной стежке, и Тимошкин думал теперь, что вряд ли из этого выйдет что-либо путное.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Идти становилось труднее, вьюга усиливалась. Они брели по раскопанному с осени картофельному полю, сапоги то и дело скользили, ноги подворачивались на комьях, ветер сек снегом по лицам и слепил глаза. Снег, набиваясь за воротник, таял, было неуютно и холодно. Щеки все сильнее деревенели от стужи, у Тимошкина мерзла и болела обмотанная бинтами рука. Рукавицы он потерял где-то в бою и теперь здоровую руку прятал за пазуху или в карман. Но тогда сползал с плеча ремень автомата, надо было придерживать его, и пальцы так коченели, что едва сгибались.

Все вокруг сузилось, обособилось от мира дрожащею сеткой снегопада, и боец с трудом узнавал впереди тусклые тени спутников. Он шел по их следам, уже присыпанным снегом, и думал: хоть бы не споткнуться, не поскользнуться — вряд ли он найдет в себе силы встать. Погода немного обнадеживала. Хоть и трудно было идти, но в такое время легче было миновать передовые немецкие позиции, и если они где-нибудь нечаянно не наткнутся на фрицев, то завтра выйдут к своим.

Вверху сновали, мелькали снежинки, кружила вьюга, вились и вились снизу бесконечные цепочки следов. У Щербака след широкий и ровный, сапоги большие (сорок четвертый размер — таких больше никто не носил в батарее), у Блищинского же ступни заметно вывернуты наружу, носками в стороны, левой он, будто прихрамывая, загребает снег. Несколько в отдалении были видны следы ездового Здобудьки.

Следы то и дело путались, сливались со снегом. Тимошкин сбивался с них, сам не замечая того. Видно, боец начал дремать на ходу и не увидел, как товарищи остановились, чтобы передохнуть и дождаться его. Чуть не столкнувшись с ними, Тимошкин от неожиданности вздрогнул, как это бывает, когда человека внезапно разбудят.

— Устал, говоришь? — спрашивал Щербак, стоя перед ним весь усыпанный снегом.

— Ничего, — сказал Тимошкин, поймав в голосе друга еле заметные нотки сочувствия. Он приободрился, вдруг поняв, что в таких обстоятельствах совсем ни к чему обижаться и ждать от товарища многого. Однако Щербак, шагнув к нему, тронул рукой автомат.

— Дай сюда, — уверенно, будто выполняя свою обязанность, сказал он и взял у бойца оружие. На спине у наводчика висел вещмешок с клином, на правом плече — автомат Скварышева, теперь на левое он вскинул еще и автомат Тимошкина. Блищинский стоял рядом, отвернувшись от ветра и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

— Вот так, против ветра держать. Ветер — наш ориентир, — с привычной самоуверенностью сказал писарь.

Снова они пошли полем, низко нагнув головы от ветра. И снова Тимошкин начал понемногу отставать, а Щербак, Блищинский и Здобудька тусклыми тенями шевелились впереди в снежных сумерках. Хорошо, что на земле оставался их след и Тимошкину не очень нужно было всматриваться, чтобы не потерять направления.

Измученный ходьбой, он не сразу заметил, что впереди что-то случилось. Кажется, кто-то испуганно вскрикнул, затем совсем близко протрещала пулеметная очередь, с ней сразу же слилась другая, и серую тьму над головами прорезали зеленые молнии. Это произошло так неожиданно и так близко, что, еще не поняв, в чем дело, Тимошкин распластался на снегу. И тотчас совсем рядом в заснеженном небе рассыпался огненный букет ракеты. Ее близкий дрожащий свет, недолго продержавшись в снежной выси, ярко осветил поле и три метнувшиеся в сторону фигуры. По зеленоватому дрожащему снегу они быстро бежали куда-то в разорванную тьму ночи. Как только ракета догорела и в небе сомкнулась тьма, Тимошкин вскочил и рванулся за товарищами.

Несколько пулеметных очередей разрезало ночь зелеными линиями трассирующих пуль, вспыхнула вторая ракета. Из-под ног бойца испуганно метнулась его тень. Он упал, потом в сполохах догоравшей ракеты вскочил, оглянулся, — кажется, за ним не гнались.

Какое-то время пулеметы еще били в ночь, но это было теперь в стороне — бойцы уже успели немного отбежать. Тимошкин понял, что стреляли из танков, звуки были глухие и гулкие, словно отдавались в бочке. Потом как-то неожиданно все смолкло, — видно, пулеметы расстреляли по ленте и утихли. Позади опять вспыхнула ракета, потом две сразу, но это уже было далеко. В небе белыми мотыльками носились снежинки. Впереди замелькали тени, и боец присел, вглядываясь в просветлевшую тьму. Когда ракеты погасли, стало совсем темно, и ослеп-

ленный ими Тимошкин, с трудом переставляя ноги, побежал туда, где показались люди.

Он долго бежал, а товарищей все не было, и Тимошкин уже начал тревожиться. Но вот из темноты послышалось приглушенное «эй!». Тимошкин вгляделся — впереди чернел голый полевой куст и возле него стоял человек. Тимошкин двинулся туда. Это был Щербак; он ждал товарища, отдал ему автомат и спросил:

— Здобудьки не видел?

Под самым кустом, в голых ветвях которого ветер высвистывал свой бесприютный мотив, сидел на снегу Блищинский. Тимошкин ответил, что Здобудьки не видел, потому что, когда раздались выстрелы, ездовой шел впереди с ними.

Пока Щербак вглядывался в ночь, Тимошкин подошел к кусту и повалился в снег. Усталость окончательно сковала все его тело, не хотелось ни думать, ни даже шевелиться. Рядом, опустив голову и тяжело дыша, сидел Блищинский.

— Понимаешь, чуть не в самые лапы угодили! — прерывисто заговорил он. — Хорошо, что этот обозник крикнул. Вот черт побери! Не хватало вчерашнего.

Щербак, всматриваясь в темноту, на несколько шагов отошел от куста и тихонько позвал:

— Эй, Здобудька!

— Напрасно! — сказал из-под куста Блищинский. — Не услышит.

Тогда Щербак крикнул громче.

— Ты что, сдурел?! — вдруг злобно зашипел писарь и вскочил на ноги. — А ну, замолчи!

Он бросился к наводчику, но тот, не обращая на него внимания, смотрел в ночную тьму и слушал. Тимошкин, конечно, понимал друга, — как было идти, оставив ездового под носом у немцев? Однако и ему от этого крика стало не по себе здесь, вблизи от врага. Правда, все думалось, что Здобудька вот-вот догонит и они пойдут вместе.

Но время шло, а ездового все не было. Ребята понемногу отдышались. Щербак с Блищинским, стоя, всматривались и ждали, Тимошкин же сидел под кустом.

— Ну, хватит! — нетерпеливо сказал Блищинский. — Дорога каждая минута. Пошли!

Почувствовав себя командиром, он забросил за плечо автомат и ступал в снег, полагая, что остальные двинут-

ся за ним. Тимошкин нерешительно поднялся, но Щербак по-прежнему смотрел, слушал и не трогался с места.

— Пошли, пошли! Чего стоять? Может, его уже в плен взяли? Слышь? — настаивал Блищинский.

— Да иди ты! — сердито бросил Щербак. — Иди! Кто тебя держит? — Он ловко поддал плечом автомат и пошел во тьму, туда, где их застигла стрельба.

Блищинский нерешительно потоптался на месте и выругался. Тимошкин, еще не пришедший в себя от испуга и усталости, начал застывать на ветру и мелко дрожал.

— Надо было ему идти! — с нескрываемой досадой в голосе заговорил писарь, от холода притопывая на месте. — Глупо погибнет, и только. Разве найдешь в таком буране?

От этих слов у Тимошкина снова защемило внутри. Конечно, погибнуть было очень просто, а найти ездового вряд ли удастся. Но все же старый Здобудька для них — свой, батареец, как-никак третий человек из взвода, уцелевший в этом разгроме. Как же было бросать его на гибель в тылу врага?

— А может, он там лежит раненый? — недружелюбно сказал Тимошкин. Блищинский удивленно остановился, перестав мять сапогами снег.

— Ну и что же? Ты его понесешь, раненого?

— А что ж, бросить?

— Ну конечно, бросить — плохо. Некрасиво, понимаешь, неэтично, — раздраженно замахал руками земляк. — Но ведь другого выхода нет. Будем беречь одного — все погибнем. Надо же логично смотреть на вещи.

Циничная откровенность Блищинского хоть и не была новой для Тимошкина, все же своим бесстыдством поразила бойца. Он знал, что никто у них в расчете никогда не сказал бы таких слов, все они в трудную минуту помогали друг другу. Так всегда было в бою, этого требовал воинский долг. Блищинский же говорил нечто совсем другое.

— Тут простая арифметика, — продолжал Блищинский. — Либо погибать четверым, либо одному. Что выгодней?

— Подлость это, а не арифметика! — сказал Тимошкин и сел в снег.

— Ну и дурак! — объявил Блищинский. — Как пробка! Был таким и таким остался. Жизнь тебя, понимаешь, ничему не научила.

— Ты мудрец! Привык за чужие спины прятаться.

— Что? — Писарь круто повернулся к бойцу. — Где я за чужие спины прятался? Понимаешь, где? Ты что думаешь, в штабе так себе, одни хаханьки? Там люди не гибнут? Каждому свое, брат. Вон и я майора Андреева тащил. Но ведь был смысл! Мертвого же я не потащу. При всем моем уважении к майору. Понимаешь?

Чувствуя безвыходность положения, Тимошкин замолчал. Блищинский потоптался еще возле куста, а потом нехотя снял автомат и сел чуть поодаль. Может, с позиции своей собственной логики он был и прав, только Тимошкин не признавал такой логики. Здобудька не был его другом (этот ездовой вообще мало что значил в их взводе), но Тимошкин тоже не бросил бы его под носом у немцев. Не логика, а элементарное чувство товарищества руководило им, и даже если бы пришлось погибнуть и тому, кто спасал Здобудьку, такая арифметика все равно не убеждала.

Так, окоченевшие, они сидели в темноте, в напряженном ожидании вестей из ночи. Блищинский повернулся на бок и задумался. Тимошкин изредка взглядывал на него, не чувствуя в себе ни дружеского расположения к земляку, ни вражды — одно усталое безразличие владело им, будто Блищинского и не было рядом. Если бы даже что-то и случилось, земляк, пожалуй, и не понадобился бы Тимошкину, который никогда не надеялся на его помощь. Неизвестно, что чувствовал Блищинский по отношению к нему (видимо, то же самое), но внешне оба они были сдержанно спокойны. Все же их объединяла одна беда, из которой им приходилось выбираться вместе.

У них не было часов, и они не знали, сколько времени шли и давно ли исчез во мраке Щербак, только, казалось, просидели они на снегу немало. Сильно продрогнув, Тимошкин встал и начал греться, размахивая рукой. У него мерзли ноги в отсыревших сапогах, а раненая рука совсем омертвела. Блищинский более терпеливо переносил холод и, поеживаясь, все поглядывал в ту сторону, куда ушел Щербак.

Снег не переставая падал и падал с неба, медленно тянулось время, а Щербака со Здобудькой все не было. Тимошкин уже вытоптал стежку под этим колючим кустом, проглядел все глаза, но никто так и не появлялся. В голову полезли разные дурные догадки: не попал ли

в западню и Щербак? Не нарвался ли где на засаду? А вдруг несет раненого Здобудьку? Иль заблудился? Может, надо идти искать его или ждать здесь? Все это тревожило Тимошкина, и он не знал, что делать.

Блищинский сидел и молчал, но, видно, наконец и его проняла стужа. Вскочив, он попрыгал на месте и заговорил недовольно и ворчливо:

— Ну вот, не послушался меня и теперь где-то влип. Пошли дурного, а за ним другого. Теперь замерзай тут!

Тимошкин молчал, поглядывая по сторонам, и все слушал, а тот продолжал свое:

— Факт, попался где-то. Или заблудился.

Тимошкин не отвечал. Ему не хотелось спорить с земляком, он уже знал, что тот скажет дальше. Но Блищинский сказал неожиданное:

— А что, если они поодиночке к своим рванули? А? По одному, конечно, сподручнее...

— Ты что?.. Спятил?

Блищинский постучал каблуком о каблук и с уверенностью, которая никогда не оставляла его, рассудительно пояснил:

— Всегда выходит по-моему. Понимаешь? Я говорил ему: не ходи. Он пошел. Теперь одно из двух: либо у немцев, либо драпанул, а нас бросил. Третьего не дано. Соображаешь?

— Что соображать? Он же — не ты.

Блищинский притворно засмеялся, потом оборвал смех и сказал:

— Наивная уверенность. А может, он затем и пошел, чтоб в плен сдаться.

— Что ты плетешь? Ты бы подумал сперва, что говоришь.

Тимошкин возражал писарю, однако тревожная подозрительность Блищинского уже заронила в бойце беспокойство. Конечно, он, даже умирая здесь, не подумал бы, что Щербак пошел сдаться в плен или нарочно оставил их. Но ведь мог он и заблудиться в такой темноте и пройти мимо куста. В самом деле, сколько же можно ждать его здесь и как помочь ему и себе?

А Блищинский, кажется, решил доконать земляка:

— Ты послушай: если мы до утра не выберемся, то завтра нам крышка. Понимаешь?

Тимошкин чувствовал себя неуверенно и не знал, что предпринять. Где-то рядом были немцы, неизвестно, где

проходил фронт, нигде ни выстрелов, ни ракет, все вокруг погрузилось в темень, затихло, только ветер сыпал и сыпал снег. Его уже навалило много, по щиколотку, под ним скрылась трава, а он все не переставал идти.

Тревога костлявыми пальцами сжимала душу бойца, не давала стоять на месте. Что еще можно было придумать? Блищинский тоже заметно нервничал, и Тимошкин начал понимать, что получится, видно, так, как утверждал писарь: и Щербака они не дождутся, и себя погубят.

Наконец Блищинский поддал плечом автомат.

— Ну, ты как хочешь. Я пошел.

И быстро зашагал по снегу прочь от земляка, в снежную темноту ночи.

На какое-то время Тимошкин растерялся, прикусил губу, у него не хватало решимости остановить сержанта, упрашивать же его он не хотел и остался один.

Это было скверно — оказаться совсем одному. Но он все же подождал немного, с болью, тоской и отчаянной надеждой всматриваясь туда, где пропали Щербак и Здобудька. Всеми силами своей души парень жаждал, чтобы друг появился, отозвался, хоть чем-нибудь напомнил о себе. Но время шло, а никто так и не появлялся. Тогда, мысленно ругаясь, проклиная немцев, метель и своего земляка и то и дело оглядываясь, Тимошкин пошел по едва заметному на снегу следу Блищинского.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Одиноко ковыляя в этой снежной ночной круговерти, Тимошкин с особой силой почувствовал, что Щербак — его самая большая утрата сегодня. Еще недавно, едва только утих бой, ему казалось, что страшное уже позади. Хотя их и осталось всего трое, но среди них был Щербак — как всегда молчаливый, строгий, решительный. Он смотрел, он вел, он думал за всех. Теперь же Тимошшин оказался один: ни Здобудьки, ни славного, хорошего Ивана. Блищинский же не был нужен ему — ушел, и боец не жалел о том.

И все же он шел по следу писаря — шел, так как знал, что тот хитер и всегда найдет выход из всякой беды. К тому же на сумке у Блищинского был компас.

Следы едва проступали из-под снега и вели через

огромное поле, пересекли заснеженный проселок, едва заметный возле телефонных столбов с гудящими на ветру проводами. Затем, задыхаясь, Тимошкин перешел небольшой пригорок, миновал несколько соломенных скирд и снова поплелся полем.

Ветер ослабевал, снежинки понемногу редели, — казалось, метель утихала. Стали заметны одинокие деревья, кое-где в поле проглянули полоски виноградников с натыканными для лозы колышками; какие-то строения он обошел издали — так вели осторожные шаги Блищинского. И все это время его не покидали мысли о Щербаке.

Месяц назад возле дунайской переправы погиб заместитель командира батальона капитан Батов. Хоть и не принято о покойнике думать плохо, но он действительно был чрезмерно криклив и не всегда справедлив, этот офицер. Однажды, еще в Трансильвании, батальон задержали две немецкие самоходки, замаскированные на окраине деревни. Не жалея снарядов, прямой наводкой они с полчаса расстреливали нашу пехоту. До деревни было километра полтора, подбить самоходки из сорокапяток нечего было и думать, а другой артиллерии вблизи не было. Роты залегли за насыпью вдоль железной дороги, наступление приостановилось, ждали, что решат командиры.

И тогда Батов вызвал взводного, лейтенанта Пищука, и приказал ему: на рысях выскочить с пушкой из-за насыпи, подъехать к груше, одиноко стоявшей в поле как раз посредине между деревней и дорогой, и прямой наводкой расстрелять самоходки. Пищук был молод и неопытен, спорить с начальством не умел, козырнул и побежал к пушкам.

Когда он объявил расчету задачу, бойцы повесили носы. Глянув в поле, каждый из них понял, что жить осталось недолго. Легко было Батову приказывать расстрелять самоходки, а как сделать это, если до груши добрых восемьсот метров, — попробуй доберись до нее под прицелом двух самоходок. Лейтенант объявил приказ и по настроению бойцов понял, что надеяться на успех нечего.

И тогда Иван Щербак скинул шинель, подхватил автомат, взял у Кеклидзе противотанковую гранату и полез в трубу, под насыпь. На той стороне, по канаве, он прошмыгнул к борозде в пахоте и по ней торопливо пополз к деревне.

Весь батальон следил из-за насыпи за этой отчаянной вылазкой. Щербак полз долго, почти не останавливаясь и не отдыхая. Из деревни, к счастью, его не заметили, самоходки изредка били по насыпи, а его не трогали. Хорошо еще, что немецкой пехоты в деревне не оказалось, и он, добравшись до околицы, скрылся за белыми, увешанными связками красного перца домами.

Какое-то время Иван не подавал признаков жизни. Самоходки изредка били по дороге, ранили командира шестой роты, одного связиста. Хлопцы начали было уже думать, что пропал их Щербак, как в деревне вдруг громыхнуло и над домами заклубился дым. Одна самоходка загорелась, а другая, почуяв опасность, взревела мотором и подалась прочь. Бойцы выскочили на дорогу и напрямик через поле бросились к строениям. Сорокапятчики прицепили к передкам пушки и тоже понеслись туда. Подкатили они огородами к небольшому садику, где дымилась самоходка, и видят: на погребке, в котором венгры держат вино, сидит Щербак, перевязывает себе руку и ругает немца, который, удирая на самоходке, все же царапнул его пулей.

Вот такой был Щербак.

О прежней жизни его Тимошкин знал мало. Щербак не любил говорить о себе, больше молчал да слушал других. А поговорить в расчете были мастера, каждый старался рассказать что-нибудь, и все при этом обращались к наводчику. Слушатель из него был отменный: делает что-нибудь или сидит на станине, курит и с привычной серьезностью слушает того, другого или всех сразу. (Может, еще и за эту способность терпеливо выслушивать их батарейцы уважали наводчика.) Из его прошлого было известно, что парень он городской, учился на фрезеровщика, имел четвертый разряд и очень дорожил этой специальностью. В начале войны он ушел в армию вместе со старшим братом, который погиб в первом же бою. Возможно, именно по этой причине Щербак стал не по годам строг, редко смеялся и относился ко всему с неюношеской серьезностью.

Он не очень любил книжную науку, окончил всего шесть классов, но в работе и в людях разбирался неплохо. Если он копал огневую, то никто рядом с ним не хитрил, не волынил — все заражались его трудолюбием. А если кто и начинал подлениваться, то Иван подзывал его и говорил: «Подпрягайся. Полечу тебя, лодыря. Я вы-

брасывать — а ты подбирать». Тут уже лентяю приходилось попотеть!...

И вот как-то нелепо Тимошкин потерял его. Невозможно было думать, что он погиб, скорее всего пошел другой дорогой, но боец не мог примириться с тем, что друга не будет рядом. Через каждые пять минут он оглядывался, прислушивался, думал: а вдруг где-нибудь покажется в темени крутоплечая фигура Ивана. Тимошкин уже начал жалеть, что послушался Блищинского и не пошел по следу Щербака: может быть, отыскал бы его. Правда, след быстро занесло снегом, а в то время, когда он еще был виден, теплилась надежда, что Иван скоро вернется.

Снег все редел, редел и незаметно совсем перестал сыпать. На заснеженной земле стало очень светло, во все стороны широко раскинулся спокойный зимний простор, словно напоказ выставив в ночи все черные пятна земли, бурьян, виноградники, одинокие силуэты деревьев. И только даль на горизонте под темным нависшим небом терялась во мраке. Мороз крепчал, ветер рвал полы шинели, и колени мерзли от стужи. Лица своего Тимошкин, кажется, не чувствовал, может быть, отморозил щеки, здоровую руку прятал за пазуху, раненая же застыла и мучительно ныла.

Следы шагов Блищинского стали заметнее. Они привели бойца к какому-то земляному валу, белевшему на равнине невысокой крутой хребтовиной. Блищинский, как это видно было по следам, взобрался на вал, очевидно, осмотрелся и уже потом, спустившись, пошел вдоль него. Тимошкин на вал не полез, а тихо побрел в ту сторону, куда повернул земляк.

Он шел, пока вдалеке не появились деревья, там была дорога. Опасаясь попасть в беду, Тимошкин приготовил автомат и не спеша вышел из-за вала, который тут обрывался. Кругом было тихо — глубокая зимняя ночь белесой пеленой укрывала землю. Возле дороги в канаве лежал на боку перевернутый автомобиль, какой-то груз густыми пятнами чернел на снегу рядом. Ничего подозрительного там, кажется, не было, и боец, осторожно поглядывая вокруг, двинулся к дороге.

Он уже подходил к автомобилю, как вдруг ему показалось, что там кто-то есть. Тимошкин остановился, всмотрелся: действительно, из-за машины торчал короткий ствол автомата. Но вот ствол дрогнул, опустился,

и на снег ступил человек, который потом злобно плюнул и закинул за плечо автомат. Это был, разумеется, Блищинский.

— Ну что, дождался? Так где же дружок твой?

Тимошкин уже не думал догнать его, увидеть снова; но одиночество, пожалуй, хуже врага. И боец в тот момент невольно обрадовался: хоть и никудышный он человек, его земляк, но казалось, вдвоем будет легче. Тимошкин не ответил ему (о чем было говорить!), и Блищинский, очевидно, понял это как молчаливое признание им своей ошибки.

— Слушал бы меня. А то уперся, — сказал он, выйдя из-за машины.

И тут Тимошкин увидел возле кабины труп в длиннополой шинели. Писарь нагнулся, деловито ухватился за ногу убитого и начал стягивать валенок. Второй, уже снятый валенок стоял рядом, и ветер шевелил брошенную на снегу портянку.

— Примерз, что ли! — говорил Блищинский. — А ну, помоги, что обходишь?

Тимошкин остановился поодаль.

— И не противно тебе? — сказал он.

Валенок, наверно, сидел туго, труп волоком тянулся по земле, шинель на нем подворачивалась. Блищинский уперся в него сапогом.

— Ну уж сказал: противно! На войне ничто не противно. Ноги морозить лучше?

Наконец, едва не упав, он сорвал с ноги валенок, присел на ящик, снял свои кирзовые сапоги и быстро переобулся. Валенки действительно были хорошие, с обшитыми кожей носками и кожаными подошвами. Блищинский довольно притопнул ими и запахнул полы шинели.

— Валеночки первый сорт. Спасибо покойнику, теперь ноги как в печке будут. Понимаешь?

На дороге никого не было. Они перешли ее и снова направились вдоль точно такого же, как прежний, вала. Блищинский, как обычно, держался уверенно, что-то пожевал из бумажки, потом остановился, вынул из-за пазухи немецкую, обшитую войлоком флягу и отвинтил пробку.

— Видишь? Ром. Наверно, французский. — Он коротко хихикнул. — Ин вина веритас. Понимаешь? Да где тебе понять: истина в вине. Запомни.

Потом, запрокинув голову, немного отпил, вытер ладонью губы и, завинчивая флягу, сказал:

— Вот хорошо! Враз селезенка потеплела. Тебе дать? На, глотни. Только немного.

Тимошкин нерешительно взял, отвернул пробку и, поднеся к губам настывшее горлышко, глотнул раза два. Особого наслаждения он не испытал, но ароматная жидкость действительно жаром опалила в груди, сразу стало теплее. Боец отдал фляжку и, чувствуя, как прилив какого-то нового, непривычного чувства наполняет его, зашагал рядом. Ему вдруг с особенной силой стало тоскливо оттого, что в такой беде он впервые остался без друга. «Эх, Ваня, Ваня!» — шептал он, оглядываясь, но сзади никого не было. Ваня, видимо, исчез навсегда. Блищинский широко шагал в новых валенках. Тимошкину было трудновато угнаться за ним, но он, как мог, старался больше не отставать. Разговаривать ему не хотелось, два горячих глотка как-то совсем расслабили бойца. Блищинский, наоборот, сразу оживился и на ходу вплотную приблизился к земляку.

— Чего такой кислый? А? Что дружок пропал? Плюнь ты, какой может быть друг на войне? На день-два. Потом все равно разлука: кто в Могилевскую губернию, кто в госпиталь. Понимаешь?

Тимошкин молчал, он знал, что Блищинскому не понять его переживаний, да боец и не нуждался в этом.

— А вообще ты дурень. Меня бы держался. Я бы тебе не дал пропасть. Что, думаешь, силы мало? Думаешь, какой-то там писарь!.. Как бы не так. Понимаешь? У меня власти не меньше, чем было у майора Андреева. Недавно вот в артмастерской ездовой выбыл. Шепнул бы Борьке Павловичу из строевой части, сразу переписал бы тебя — и концы в воду. Небось не тащился б теперь черт знает где. Понимаешь?

Тимошкин неприязненно огрызнулся:

— Почему же ты тащишься? Умник такой...

— Я? Это дело случая. Понимаешь? Что я, не соображаю? Думаешь, ради какой-то медали на глупость пойду? Дудки. Плевал я на медаль. Мне жизнь дороже медали. И если бы не случай, я теперь бы да-а-леко был. И немцам не дался бы.

— Что же тебя удержало?

— Что, что? Гриценку — ординарца Андреева — позавчера подстрелили. Понимаешь? И надо же было ему,

дураку, налететь на пулю. Так майор Андреев утром заходит в землянку, говорит: «Пойдем проветримся, а то ты тут дымом провонял». Ну что, думаю, пойду. Надо же и мне иногда в войсках показаться. Может, за полдня ничего и не случится. Пошли в третий батальон, и вот тебе на — как раз прорыв. Майору две пули в живот — и взятки гладки. А я влип. Вот так, понимаешь?

Он быстро хмелел. Движения его стали порывисты, суетливы, левая рука широко отмахивала в такт шагам. Осторожности, однако, он не терял и, разговаривая, бросал быстрые, короткие взгляды по сторонам. Кажется, молчаливость земляка пробуждала в писаре желание исповедоваться, и, видимо потому, что здесь не было свидетелей, он перестал скрытничать и дал волю словам.

— Мы же с тобой земляки, должны понимать друг друга, — говорил он, на ходу что-то жуя. — Правда, когда-то не того... Не слишком ладили. Но пустяки — известно, мальцы были. А теперь? Надо же трезво смотреть на все. Главное — выжить. Ты не думай, что я сержант, так мало что смыслю. Хе, черта с два! Соображать надо. Под танк бросаться действительно немного ума надо. Отдать концы — дело нехитрое. Но штарб цур рехтен цайт *, как писал Ницше. Понимаешь? В этом вся соль.

Сволочной человек! Он заслуживал того, чтобы дать ему по морде, но Тимошкин, сжав зубы, терпел и слушал. Бойцу захотелось узнать земляка до конца, чувствовалось: он разболтался и должен открыться.

— В полку что? В полку, хоть бы и в штабе, не сладко. Не пули, так снаряды, бомбы. Вот бы в корпус затесаться. Это дело! Понимаешь? Была у меня мыслишка... Если бы не этот проклятый прорыв. Но ничего. Может, даже и лучше. Ты мотай на ус: выйдем — на передке не задерживаться. Главное—поглубже в тыл. А там—присмотреться. Ты вообще возле меня держись, я все устрою. Не пропадешь! Понимаешь?

— Что, в тыловые части лезть? — с издевкой спросил Тимошкин. Но Блищинский только удивился:

— Ну и что ж? Полезем. Подумаешь! Рапортичку напишем: так, мол, и так, полк разбили, одни остались. Стояли насмерть, дрались до конца...

— Эх ты! — сказал Тимошкин, уже не скрывая своего презрения.

---

* Умей умереть вовремя *(нем.)*.

— Что? Что я?

— Сволочь ты, вот что!

Блищинский фальшиво заржал и окинул бойца холодным, почти ненавидящим взглядом.

— Ах, вот как! Может, донесешь, когда выйдем? А? Плевал я на это! А свидетели где? Кто слышал? Если на то пойдет, я сказану не такое. Скажу, что ты у немцев в плену был и давал показания о наших войсках. Ну? Что? А-а, не нравится? Вот так! — Он засмеялся и уже добрее добавил: — А впрочем, я пошутил. Чтобы тебя прощупать, каким духом живешь? Проявил бдительность. И ты не обижайся: проверка! Как полагается.

И он снова заржал, оскаливая большие передние зубы. Тимошкин внимательно и несколько удивленно посмотрел на него — действительно, как знать, где у него была правда, у этого человека. Он мог ее, эту правду, подать так, что она выглядела как ложь, и наоборот, ложь у него могла показаться правдивее всякой правды.

И вдруг писарь умолк, замедлил шаг — впереди вал обрывался и из-за него показались изгородь, какие-то строения, дома, деревья. Бойцы осторожно вышли из-за вала — перед ними была окраина какого-то городка или деревни. Все кругом покойно дремало, только где-то вдали, буксуя, натужно ворчала машина.

Блищинский остановился, прислушался, — его хмельная самоуверенность сразу сменилась пугливой настороженностью.

— Пошли потихоньку, — сказал Тимошкин. — Что же стоять?

Сержант молчаливо согласился, и они, минуя занесенные снегом окраинные домики, подались в обход селения. В одном дворе вдруг всполошилась собака, царапая когтями доски, бросилась к забору, хорошо, что забор был сплошной и высокий. Блищинский попятился, вскинув автомат. Вскоре они свернули за угол, и собака утихла.

Оглядываясь, с полчаса крались вдоль стен и заборов, пока неожиданный окрик не заставил их прижаться к дощатой стене какого-то сарайчика. Впереди, за близкими деревьями, виднелась дорога, и оттуда донеслись голоса. В предрассветной темноте отчетливо вырисовывались силуэты автомобилей, длинных приземистых транспортеров, между ними ярко сверкнул длинный пучок света, что-то звякнуло, потом свет погас.

Бойцы замерли и прислушались, самый первый вопрос был — кто: свои или немцы? Разговор на дороге был очень тихим, его нельзя было разобрать, но Блищинский каким-то одному ему известным способом определил:

— Немцы.

Оба с минуту молчали, обдумывая, как избежать встречи, потом сержант прошептал:

— Надо смываться отсюда. Давай в обход!

— В какой, к черту, обход! — возразил Тимошкин.

Действительно, в обход было нельзя. Увидев их в поле, немцы сразу насторожились бы, окликнули, тут бы они и попались. Лучше было пробираться вдоль домов, держаться поближе к машинам и затем перебежать между ними дорогу.

Поняв это, Блищинский после короткого колебания ступил в снег, и они, прижимаясь к заборам и глухим стенам строений, подошли совсем близко к улице. Крайним тут был серый с верандами особняк, за сетчатой изгородью которого густо разросся кустарник. Бойцы притаились у проволочной изгороди и всмотрелись в дорогу.

Теперь уже хорошо стало видно, что на дороге вытянулась колонна крытых брезентовых машин. Людей там, однако, не слышно было, только глухо стукнула дверца кабины, и, тихо шагая по дороге, кто-то сошел на обочину. Будто всматриваясь во что-то, он постоял возле дерева, потом запахнул полы шинели и вернулся к машине.

Они долго сидели под проволокой. Блищинский, видно, струхнул, это чувствовалось по его напряженной, ссутулившейся фигуре, по злому шепоту в ответ на всякое неосторожное движение земляка. Хотя и Тимошкину было не очень весело, но он знал, что бояться и не уметь скрыть этого — по меньшей мере наивно для фронтовика.

— Ну и западня! — озабоченно шипел Блищинский. — Что же делать?

Он напряженно искал выхода, стремясь придумать, как бы выкарабкаться из непривычно опасного положения. Тимошкин не очень-то и старался что-либо найти, он знал, что ничего, кроме как переходить дорогу, они не придумают. От того, удастся им это или нет, будет зависеть все остальное.

— Что? Надо переходить, — сказал Тимошкин, ожидая согласия товарища. Но Блищинский все еще не мог решиться на это и молчал, всматриваясь в ночь.

— Ладно. Только вот что, — не совсем уверенно начал он. — Пусть кто-нибудь сначала один — в разведку. А потом второй. Чтобы не обоим сразу. Понимаешь? Давай ты первый.

Тимошкина это возмутило, однако он сдержался, стараясь подавить в себе это первое и, может быть, неверное чувство.

— А почему я?

— Ты что, испугался? — зашептал Блищинский. — Ну не ходи, коли боишься. Подумаешь, я пойду. Только... У меня сумка, документы, понимаешь? Мне нельзя.

Как всегда в подобных обстоятельствах, у него мгновенно появились причины, дающие ему право остаться в стороне от самого трудного. Так он делал некогда еще на выгоне, когда они вместе пасли гусей. Гуси то и дело забирались в посевы, а ребята играли в овражке и поочередно бегали заворачивать их. Но когда подходила очередь Блищинского, он сейчас же находил причину: то у него болела нога или живот, то не его гуси забегали в рожь первыми. Теперь было то же самое. Но тут медлить было нельзя, и Тимошкин, не удержавшись, подхватил автомат.

— Если так — пусть!

Конечно, он поступил опрометчиво, — такая горячка (сам понимал) была неуместна тут, в двадцати шагах от противника. Но боец не хотел, чтобы сержанту показалось, будто он трусит или старается схитрить. Тимошкин рванулся к дороге, не оглядываясь и не думая, что и как будет потом. Впереди чернело тупорылое очертание «мерседеса», за ним в колонне был разрыв шагов на пятнадцать, и боец направился туда. В это время сзади послышался шепот Блищинского:

— Стой, подожди — пошли вместе.

Он нагнал земляка, и они, не останавливаясь, двинулись вдоль забора.

Очертания машины постепенно прояснились, под придорожными деревьями выше стал ее брезентовый кузов. Тимошкин прыгнул через кювет, но не перепрыгнул, провалился в снег и с усилием выбрался из него. Блищинский снова где-то пропал, но боец не оглядывался: писарь теперь стал ему совершенно ненужным, почти ненавистным. Стараясь ступать как можно спокойнее, он вышел на дорогу. В кабине задней машины тускло вспыхнул и погас огонек цигарки. В кузове «мерседеса»

что-то стукнуло, завозилось, и хриплый спросонок голос проворчал под брезентом:

— Руигер ду, Гейдель!

Широким шагом Тимошкин пересек дорогу, снова перескочил кювет, и его сердце, замершее от напряжения, вдруг часто-часто застучало в груди. Хотелось бежать, но он с трудом сдерживал себя, чтобы не привлечь внимания немцев, шел медленно. И тогда сзади послышалось напряженное дыхание Блищинского. Вприпрыжку тот нагнал земляка и, пугливо озираясь, начал быстро опережать его.

— Тише! — зло шепнул Тимошкин. — Видно же...

Блищинский, очевидно, понял, что его торопливость может выдать их, и замедлил шаг. Преодолевая в себе страх, писарь быстро входил в привычную роль начальника. Еще через минуту он закомандовал:

— За мной! Не отставай! Не отставай!

Прижимаясь к каким-то низким хозяйственным постройкам, они уже порядком отошли от дороги. Тимошкин оглянулся и немного успокоился: машины едва чернели вдали. Немцы бойцов не заметили или не обратили на них внимания, возможно приняв за своих. Впереди низко осело в снегу какое-то длинное здание, они забежали за его угол и перевели дыхание. Дорога была все еще близко, но строение укрыло их от противника, и Тимошкин не стал больше сдерживать свой гнев.

— Эх ты! Хвалился только: знаю, понимаю! А пришлось — так за спину прячешься. Трус!

Блищинский нервно повернулся к бойцу.

— Трус? — возбужденно зашипел он. — Это я трус? Ты что болтаешь! У меня сумка майора! Ты знаешь, какие там документы? Знаешь?

— Не знаю и знать не хочу.

— Вот так и скажи. А то — трус! Здесь — секретные документы. Понял? И заткнись!

Блищинский недовольно помолчал, отряхнул снег с полы своей офицерской шинели, но все еще не мог успокоиться и ворчал:

— «Трус»! Надо же головой думать. Понимать, что к чему. Учил, учил немец — и никакого толку. Лезем, как свиньи в плетень. Это как у нас в оккупацию... Помнишь? В сорок втором в Заболотье какой-то дурак убил паршивого немца. Приехали каратели, сожгли деревню,

расстреляли двадцать мужиков. И за что? За одного фрица. Ну, стоило убивать?

— Ага. Знаешь, как в анекдоте, — сказал Тимошкин. — Как же идти на фронт: там могут глаз выбить?

— Дурак! — плюнул Блищинский. — Глуп как пробка.

— Ладно уж. Хорошо, что ты умен.

Писарь замолчал и надулся.

Злясь друг на друга, они долго еще шли молча. По всему было заметно, что близилось утро, сильно донимала усталость, и у бойцов начали слипаться глаза. Изо всех сил боролись они с одолевавшей их сонливостью, но все же дремали на ходу. Однажды, споткнувшись, Тимошкин упал в снег, а когда раскрыл глаза и поднялся, неожиданно обнаружил, что тьма как-то сразу раздвинулась: в чистом поле стали видны редкие стебли бурьяна, кустарник на межах; впереди возвышалась скирда соломы.

Ветер не утихал, по полю стлалась поземка, и над заснеженной тревожной землей постепенно светало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Ну вот и вышли, чертова псина! — с досадой сказал Блищинский.

Они обессиленно прислонились к запорошенной снегом скирде и с отчаянием смотрели на восток, куда лежал их путь и ку́да уже невозможно было податься.

Незаметно совсем рассвело, облачное утреннее небо приподнялось над бескрайним простором. Наискось от скирды лежали ровные ряды виноградника, в полкилометре поперек поля, — наверное, на границе двух земельных владений, — протянулись молодые деревца. Дальним своим концом деревца упирались в небольшой хуторок, который сиротливо ютился среди огромного снежного поля. Несколько поодаль от него и дальше за деревьями, чуть не у самого горизонта, возвышался похожий на курган холмик, и на нем — видно было отсюда — ходили, стояли, копали траншеи немцы. Это было далеко, но бойцы не сомневались, что перед ними противник. Только что с вершины холма спустилась группа людей, наверно командиров. Один из них постоял, размахивая руками, должно быть отдавал указания, потом сел в машину и

покатил по дороге в ту сторону, откуда всю ночь шли земляки.

Блищинский достал из сумки майора артиллерийскую карту и, то и дело оглядываясь, начал водить по ней прокуренным коричневым ногтем в поисках места их нахождения. Вид у него был озабоченный, несколько даже растерянный; от прежней его самоуверенности не осталось и следа.

— Давай вот так пойдем, — сказал Тимошкин, показывая рукой в сторону от холма с немцами. Блищинский оторвал от карты озабоченное лицо, сощурил близорукие щелочки-глазки и посмотрел вдаль.

— Что ты! Не пройдешь... И не высовывайся, не высовывайся так! Садись! — начальнически прикрикнул он, увидев, что боец больше, чем следовало, высунулся из-за скирды.

Тимошкин постоял немного и почувствовал, что снег, виноградники и деревья начинают сливаться в глазах. В пути все-таки легче было бороться со сном, да и не так донимала стужа, теперь же мерзли ноги и все тело наливалось неодолимой усталостью. В голове от слабости и бессонницы тягуче, однообразно гудело, и мысли никак не могли преодолеть какую-то сонливую леность. Хотелось сесть, успокоиться, забыться, и больше, казалось, ничего не надо было. Прислонившись спиной к соломе, Тимошкин сел под скирду и с тупым безразличием ко всему отдался покою.

Скирда была большая, с огромной снеговой шапкой наверху. С той ее стороны, где нашли пристанище бойцы, кто-то раньше дергал солому, и там образовался застрешек, под которым почти не было снега. Шагах в десяти от скирды валялась железная бочка с двумя обручами на ней, рядом, припорошенная снегом, лежала убитая лошадь. Плоская шея лошади прогнулась в снегу, брюхо неимоверным горбом выперло вверх, задняя нога высоко задралась, и на ней свежей ржавчиной краснела подкова.

— Ну и ну! — с тревогой в голосе сказал Блищинский. — Что же делать?

— Ждать. Может, вечером выберемся, — отозвался Тимошкин, чувствуя, что преодолеть усталость уже не в силах.

— Вот так влипли! Теперь уже конец, — упавшим голосом объявил писарь.

Тимошкин, вспомнив ночной разговор, съязвил:

— Вот тебе и тыловые части! Хоть бы к фронтовым прибиться.

— Черт знает что придумать.

— Думай. Ты же умник. Ты вел.

— Ага, я вел! — обозлился Блищинский. — Я вел не к немцам — к своим вел. Не забывай этого.

— Может, скажешь, что ты меня спасал? — уныло спросил Тимошкин, прижимаясь к скирде. Блищинский уставился на него своими маленькими и быстрыми глазками и с полминуты смотрел зло и придирчиво, будто соображая что-то.

— Поросенок! Если бы не я, ты и теперь под кустом лежал бы. Дружка дожидался.

— А ты и теперь под забором сидел бы, — недолго думая, огрызнулся Тимошкин. У парня уже накипело на сердце — и за хвастовство, и за бесстыдство и трусость Блищинского, и вообще за все прежнее, что копилось годами и разделяло этих людей.

— Ты что? В самом деле трусом меня считаешь? — запальчиво заговорил Блищинский. — Думаешь, я за свою жизнь боюсь? Что ж, может, и так. Допустим. Но не забывай: я пушки не бросил, как некоторые... Смелые. А за пушку ты смотри... Стоит узнать начальству и... Понимаешь?

— А что пушка? — откинулся от соломы Тимошкин. — Мы что — немцам ее отдали?

Блищинский смолчал, а Тимошкин подумал, что, видно, писарь не забудет про пушку. Может, еще, выйдя к своим, переврет все и донесет начальству — тогда попробуй докажи, что было не так. Но боец не хотел спорить, — его занимало другое. Он снова подался в застрешек. Блищинский, не на шутку раздраженный новой неудачей, гнусаво скулил:

— Вот влопались, так влопались! Теперь уж капут! Это как пить дать. Если даже и выберемся, мало радости. Теперь мы — окруженцы. Вот чертова история! А?

Тимошкин и сам знал, что это плохо. Правда, до сих пор он об этом не думал. Все казалось, что окружение неглубокое, до утра они выйдут из него, найдут свою дивизию и там все объяснят. Но эта задержка, похожая на западню, встала неодолимой преградой на пути к спасению. Было отчего тревожиться.

— Теперь окруженцы, понимаешь? — говорил Бли-

щинский. — В анкете уже не напишешь, что в плену и окружении не был. Теперь ярлык на всю жизнь. Да еще особый отдел на цугундер возьмет. Понимаешь?

— За что брать? — возразил Тимошкин. — Что мы — преступники, что ли?

— Э-э, преступники! Чудак! — подхватил Блищинский. — Ты, наверно, мало еще видел. А я вот знаю. Преступники или не преступники, а теперь на крючок — и сюда, голубчик. Посадят, и попробуй докажи, что не водовоз.

Черт знает, почему он напоминал об этом, неужели им мало было других забот — усталым, голодным, раненым? У Тимошкина его слова вызвали в душе злую обиду, но все же какой-то трезвой частицей рассудка он не мог не согласиться с сержантом. Боец и сам помнил несколько случаев, когда вышедших из окружения отправляли в тыл и там начинали следствие, составляли протоколы, опрашивали свидетелей. Правда, тогда его не очень задевало это, теперь же он сам оказался в таком вот положении. А впрочем, пусть проверяют, пусть пишут протоколы, думал Тимошкин, мы ничего плохого не сделали, и совесть наша чиста.

И будто в ответ на эти мысли Блищинский уныло сказал:

— Тебе-то что? С тебя немного возьмешь. А у меня вот учеба горит. Понимаешь? Тысячу чертей на их голову! — раздраженно добавил он.

Тимошкин поднял отяжелевшую голову:

— Это какая учеба?

— Какая? На курсы должны были послать. Понимаешь? На курсы младших лейтенантов, — уточнил Блищинский. — А теперь, видно, амба. Не пошлют же окруженца, — говорил он, мрачно вглядываясь в даль и ковыряя в зубах соломинкой.

Тимошкин от удивления раскрыл рот: вот почему писарь так заботился о своей репутации! Ну конечно же, прошлой ночью он говорил правду. Этот человек думал о карьере и на фронте. Неизвестно, удастся ли им унести отсюда ноги, а он уже расстраивается, что не придется попасть на курсы. Хотя оно и понятно: Гришка всегда старался извлечь какую-нибудь выгоду для себя; во вчерашнем бою ему не повезло впервые, и потому он так упрямо выкручивался.

В это утро они находились в одинаковых условиях,

шансы на спасение у них были равные, и погибнуть они могли вместе. Но Тимошкин все же не мог не почувствовать злорадного удовлетворения оттого, что наконец и Блищинского настигла беда. Хоть раз узнает, где раки зимуют, а то просидел полгода в штабе, нацеплял медалей, да еще намеревался стать офицером.

Боец глубже забился в застрешек, прикрыл шинелью руку и, дрожа всем телом, с отвращением глядел на Блищинского. А тот, будто и не чувствуя этого отвращения, уныло посматривал в поле и ворчал:

— Черт его знает, как все глупо обернулось. Все шло нормально. И вот на тебе! Хорошо еще, что в воскресенье заполучил рекомендацию у майора. Теперь уж у покойника не возьмешь.

Тимошкин, уставясь на него, от удивления не мог вымолвить слова. Писарь почувствовал его замешательство и, обернувшись, смерил земляка презрительным взглядом:

— Что рот разинул?

— Куда это рекомендацию?

— Хе, куда! В партию!

— В партию? Ты?

Блищинский повернулся к спутнику:

— Ну а что ж? Чему удивляешься? Ты что, думаешь, не примут? Хе! А ты спроси в штабе, что такое писарь артчасти Блищинский. Тебе скажут. И замполит, и начштаба, и майор Андреев сказал бы. Понимаешь? Что я, дело свое плохо знаю? Или малограмотный? Комсомолец, бывший партизан, активист. Учти, я один в штабе с незаконченным высшим образованием. Понял?

Тимошкин глядел на сержанта и думал, что сегодня, наверно, уж ничем больше не удивит его этот человек. Теперь он окончательно понял, каким стал земляк со времени их службы в запасном полку. Он хорошо знал, что Блищинского уже ничем не смутишь, не вызовешь у него раскаяния, он даже и на оскорбления не реагирует, хотя, кажется, и не считает себя виновным. И все же Тимошкин сказал ему:

— Шкурник ты! Жулик! С таким нутром тебя за сто километров к партии не подпустят.

Писарь выплюнул соломинку и всем телом повернулся к бойцу — в его глазах тлела ироническая улыбка.

— Ого! Как здорово! Даже чересчур. Только почему я жулик? И почему не подпустят? Эх ты, младенец! —

вздохнул он с тихой притворной грустью. — Жизни не знаешь, молокосос.

— Если ты знаешь, то почему на собраниях говоришь не то? Тогда ты небось по газетке шпаришь. Там вон какой — гладенький, тихенький, все одобрял и поддерживал...

Тимошкин весь дрожал — и от стужи, и от ненависти к этому цинику.

— Поддерживал! — передразнил Блищинский. — Что я дурак, на рожон лезть? На собрании я говорю, что все говорят. Что замполит поручит. Я ведь солдат все-таки. Комсомолец и так далее. Да что тебе объяснять, разве ты поймешь?

— Что понимать? Все ясно!

Тимошкину казалось, что он больше, чем кто-либо, знал этого мерзавца, и в то же время понять его до конца было невозможно. Наверное, каждая его мозговая извилина имела свое отношение к миру, свое, отличное от людского, намерение, вся его натура состояла из расчета, фальши и хитрости. Тимошкин никогда не слышал, чтобы он перед кем-нибудь так выворачивал свое нутро; теперь же, неизвестно по какой причине (возможно, потому, что они попали в западню, из которой пока не было выхода), Блищинский разозлился и перестал скрывать свои взгляды на жизнь.

— Черта лысого ты понимаешь! Ты молокосос и недоучка, — говорил сержант. — Что у тебя за плечами? Девять классов. А я философию изучал, мудрость жизни. Мои родители — сам знаешь — мужики. Как жили? В темноте, в недостатке — работа до отупения, пустой суп, лапти. Но то время прошло, и я хочу жить лучше. Вырваться в люди. Пер ангуста ад аугуста — сквозь трудности к высотам, понимаешь? Я ведь никого не убиваю, не ворую, не граблю. Я сам по себе. Что тут удивительного? Теперь вот я говорю тебе это, потому что ты все же земляк, хоть и такой колючий. Опять-таки нас двое, свидетелей нет. А вон немцы. И я не боюсь. Да и сколько таких, как я. Только они не скажут. Они в себе живут и для себя. Думают одно, а говорят другое. Приспосабливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Ха! Детский лепет.

Тимошкину вдруг захотелось ударить его и уйти к другим людям, таким, какие были в их расчете, — к Щербаку, Скварышеву, Кеклидзе... Даже Здобудька те-

перь показался ему простым и надежным дядькой. Но уйти было некуда. Сзади, впереди и по сторонам были немцы. Щербак пропал где-то в снежной ночи. Скварышев, Кеклидзе остались навеки в том узком окопе, на огневой позиции. И только он, этот шкурник, сидел в одном шаге от него и говорил отвратительные по своему цинизму слова. А Тимошкин вынужден был их слушать.

«Эх, Ваня, Ваня! Дорогой друг, — думал он. — Как ты мне сейчас нужен. Мы с тобой похоронили столько наших товарищей, видели смерть каждого и знали, где их могилы. Но что случилось с тобой? И что я напишу твоей матери, если мне посчастливится выбраться к своим? Был бы ты здесь, не оказалось бы у меня стольких тревог, при тебе не стал бы плести невесть что этот выродок. Наверняка прикусил бы язык, потому что ты не стерпел бы такого, а у меня уже нет сил с ним и спорить...»

Блищинский еще некоторое время посидел, потом встал на ноги, слегка пригнувшись, обошел скирду, оглядывая окрестности. Немцы на бугре сновали, как растревоженные муравьи, сзади по дороге неслись автомобили в сторону фронта. В снежном просторе стало еще светлее, но небо сплошь укрывали серые тучи: дул холодный, напористый ветер. Вернувшись на прежнее место, Гришка сел, уперся спиной в солому, поджав под себя ноги, и успокоился. Притерпевшись к боли в руке, Тимошкин закрыл глаза, — в голове пьяно все закружилось, поплыло и как-то сразу затихло...

Он задремал, сам того не заметив, будто провалился в небытие. Правда, спать, кажется, пришлось недолго. Постоянно жившее в нем ощущение опасности вскоре разбудило его. Тимошкин испуганно встрепенулся, озабоченный тем, как бы чего не случилось, и открыл глаза.

Возле скирды было по-прежнему тихо, только скулил да шуршал соломою ветер. Блищинский зябко корчился рядом, уткнув лицо в колени. Поле вокруг лежало пустое, по дороге ползли автомобили, а на пригорке все еще копошились немцы. Вовсю гуляла поземка, снеговые змеи расползались по ровной поверхности, вылизывая, зачищая снежный покров. От оставленной бочки с выштампованной на дне надписью «Wehrmacht» вытянулся изогнутый хребет сугроба. В нем, занесенная снегом, исчезла лошадиная шея, только черные клочья гривы тре-

петно бились на ветру, будто сохранив еще какие-то остатки жизни.

Не то чтобы Тимошкин отдохнул, но спать больше не отважился, потому что надо было смотреть, как бы не попасть в положение еще худшее. Блищинский спал, то и дело вздрагивая, — изнервничался и, видно, впервые по-настоящему почувствовал крушение своих далеко идущих расчетов. Все, говорил он, шло у него так, как хотелось, а тут вот сорвалось.

Надо же было дойти до такой наглости, думал Тимошкин, чтобы полезть даже в партию. Тимошкин всегда считал, что таким, как Блищинский, не место и в комсомоле, что для этого у него нечистые руки и грязная совесть, а он вот — на тебе — добыл рекомендации в партию. И первым рекомендует писаря его непосредственный командир, начальник артиллерии майор Андреев.

Тимошкин мучительно думал, стараясь понять, как все это могло случиться, и тогда в памяти всплыл один давнишний поступок Гришки, который когда-то неприятно поразил его. Это случилось еще в обороне, в Молдавии. Как-то попав в штаб, Тимошкин решил навестить своего земляка-писаря. С пилоткой, полной абрикосов, Блищинский, должно быть, возвращался с хутора, и Тимошкин встретил его между штабных землянок. На Гришку, конечно, набросились штабные ребята — коноводы, шоферы, писари, но он, громко хохоча, отбился от всех их, пробежав мимо земляка, ловко нырнул со своей пилоткой в блиндаж майора Андреева. Сквозь завешенную палаткой дверь Тимошкин услыхал, как майор сначала неловко отказывался, а потом так же неловко благодарил писаря за угощение. Вскоре Блищинский вышел оттуда, довольно улыбаясь, вытряхнул опустевшую пилотку и хитро подмигнул земляку. На передовой кормили скудновато, все больше кукурузой, Гришка знал это, но, как и всех, обошел Тимошкина, неся свой подарок майору. Видно, это было не в первый раз, и, конечно, человеческое сердце — не камень. Блищинский умел лисой подползти к человеку и показать себя совсем не таким, каким был на самом деле. Доказательство тому — вот эта рекомендация.

Тимошкин прикрыл шинелью колени, глубже спрятал в воротник подбородок и сказал себе: ладно, черт с ним. Поживем, что будет дальше — увидим. Хотелось не ду-

мать об этом, забыться, выбросить земляка из головы, но мысли о нем настойчиво будоражили сознание.

И гляди-ка ты, собрался на офицерские курсы! Конечно, расчет тонкий: через несколько месяцев, наверно, война окончится, он это время потолкается где-нибудь в тылу, будет учиться. Он уже теперь обдумывал, как устроится после войны (в том, что выживет, он был уверен), у него все рассчитано на много лет вперед, спланировано, обдумано. А Тимошкину с Щербаком хотелось только одного — дожить до конца войны. Только бы одолеть фашизм, дождаться победы, увидеть хотя бы один мирный день без огня и крови, и больше, кажется, ничего бы не нужно было. Они согласны были бы на любую работу, на самое скромное место в жизни, им всюду был бы желанный рай после того ада, который они пережили на фронте.

Болела и ныла от холода раненая рука, коченели ноги в закаменевших на морозе сапогах; ветер насквозь пронизывал запорошенную снегом шинель. Кругом попрежнему стлалась поземка, в скирде от холода попискивали мыши. Но парень уже привык к стуже, голоду и боли, поднял воротник, сидел и думал. Тишина и этот вот Блищинский разворошил в нем думы-мечты о такой далекой, казалось недосягаемой, послевоенной жизни.

Странно все-таки устроен человек. Их жизнь почти висела на волоске, кругом рыскал враг, нелегко было дожить до вечера, они не знали, как пробиться к своим, а мысли забегали далеко вперед — в то заветное время, когда уже не будет войны. И знал ведь он, что сегодня каждую минуту их могла настигнуть смерть, но все равно думал: будет же когда-нибудь — и, видно, уже скоро — конец войны, придет победа и настанет иная, непохожая на эту, обычная человеческая жизнь. Хотелось уже теперь осмыслить ее, понять, что нужно ему от той жизни и какой он представляет ее для людей и для себя.

Чудесные это, наверное, будут времена, думал Тимошкин. Люди станут между собой, как братья, исчезнет себялюбие, заносчивость, жадность. За годы неимоверных лишений они научились ценить простое человеческое счастье, подчинять свои устремления единой цели, в личном довольствоваться малым. Все же таких, как Блищинский, немного, а миллионы фронтовиков познали на войне священные узы братства — то чудесное и светлое, что приобретали они, не растрачивая, в это лихолетье.

Все это светлое, чистое надо сохранить, сберечь на долгие годы, не дать людям забыть о нем, не позволить его опоганить таким вот трутням войны, как Блищинский.

Будущее представлялось Тимошкину смутно. Если удастся выжить, то, возможно, он будет учиться. Конечно, придется работать, но где и кем — он не знал еще и думал, что, в конце концов, это не так уж и важно. Найдется где-нибудь кусок хлеба, будет рядом товарищ, спокойствие мирного дня — разве этого мало для счастья?

Правда, может случиться — и это очень возможно, — что рядом окажется Блищинский. Но это не страшно. Рано или поздно люди увидят, каков он, поймут и разоблачат его; сейчас же ругаться с ним у Тимошкина не было никакого желания. Противное это дело — ругаться с человеком, да еще с земляком, доносить на него или даже выступать против него на собраниях, тем более что многие могут и не поверить сказанному. Стоит ли так беспокоиться из-за одного выродка, если вокруг столько хороших ребят? Так думал Тимошкин, немного отдохнув и успокоившись.

Еще он думал, что после такой суровой борьбы за жизнь на земле все, и плохое и хорошее в людях, определится и встанет на свое место; раскусят люди и Блищинского. И это уже не зависит ни от его, ни от чьих-либо еще усилий — время и правда возьмут свое, и каждый предстанет перед другими во всей своей истинной сущности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Усталый, он совсем замерз и, кажется, опять уснул.

Неизвестно, сколько продолжался этот сон, но боец вдруг почувствовал, словно кто-то трясет его за плечо, — он вздрогнул и увидел над собой Блищинского. Писарь что-то кричал, но Тимошкин, не понимая, видел только, как беззвучно шевелятся его тонкие губы, тревожно раздуваются ноздри и в округлившихся, пожелтевших глаза леденеет страх.

— Тимошкин, идут!.. Слышь, идут!.. Сюда...

Боец рванулся с соломы, но все еще не мог сообразить, что произошло и что ему надо делать. Потом поднялся на онемевшие, застывшие ноги, схватил автомат

и всмотрелся в снежное поле, куда указывал рукой сержант.

По их утреннему следу шел человек.

Он был еще далеко, и Тимошкин не мог узнать, кто это: свой, немец или, может, мадьяр, ясно только, что направляется он именно к этой скирде. Хорошо, что Блищинский вовремя проснулся и заметил его. Видно было по всему: писарь испугался и лихорадочно шарит глазами по полю. Но податься некуда. Впереди и по сторонам носились по дороге автомобили, на пригорке уже окопались и ждали чего-то немцы. Правда, они находились сравнительно далеко и, наверно, не очень-то оглядывались на свой тыл. Очевидно, все их внимание сейчас направлено в сторону фронта.

Человек подходил все ближе. Блищинский прижался к скирде; дрожа от холода, Тимошкин присел рядом, и они всматривались, стараясь узнать, кто это. И тогда стало видно, что человек идет тяжело, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону, по временам останавливается. Потом им показалось, что он несет на себе что-то большое и тяжелое — и это заставляет его так неровно ступать и сгибаться.

Они долго и пристально вглядывались в пешехода. Было очень холодно. Вокруг мела поземка, ветер трепал солому в скирде, свистел, трубно гудел в бочку, то и дело бешено врываясь под их застрешек. Офицерская шинель Блищинского искрилась, осыпанная блестящей серебристой пылью. Внутри у Тимошкина, кажется, насквозь все промерзло и болезненно, томительно ныло. Спросонок он плохо соображал, но вдруг какое-то непонятное, подспудное чувство охватило его, — он рванулся от скирды, встал. Почудилось — четко, обнадеживающе, радостно, — что это Иван Щербак. Еще не многое можно было рассмотреть в человеке — ничего характерного в осанке, в одежде, а уже хлынула в душу радость: конец одиночеству, теперь они будут вместе. С трудом превозмогая усталость, Тимошкин вскочил и, стоя у скирды, настойчиво твердил себе: это он, Иван, и с ним, наверное, раненый Здобудька.

— Блищинский! — крикнул он земляку. — Это Щербак!

Писарь вздрогнул, притих, нахмурился, подумал и осторожно заметил, всматриваясь в даль:

— Откуда он возьмется?! Это кто-то другой.

— Чудак, посмотри: в ватнике и высокий! И идет гляди как вразвалку. Здобудьку, нашего ездового, несет. Разве нет?

Блищинский еще с минуту всматривался в далекую, грузно ступавшую фигуру, а затем выругался:

— Вот дурак! Какого черта прется сюда! Не было другой дороги, что ли?

— А куда же ему идти! — удивился Тимошкин. — Видит скирду, вот и идет.

— Видит! А того не понимает, что нас выдаст. Еще немцев за собой приведет.

Иван подошел ближе, и Тимошкин уже отчетливо видел и узнавал его короткий с оттопыренными карманами ватник, сильные широкие плечи, на которых лежала какая-то ноша; на груди болтался автомат.

Блищинский тревожным взглядом снова окинул горизонт, но, кажется, никто не следил за ними. Тогда он поставил на предохранитель ППШ и сказал:

— Не мог где-нибудь подождать до ночи. Надо было переться на виду у немцев... И ты это вот что, Тимошкин... Хочешь спастись — держись меня. Понимаешь? Не слушай его. В конце концов, я командир, а не он. Я сержант, понимаешь? А он рядовой.

— Ну, это уж дудки, — сказал воспрянувший духом Тимошкин.

— Как это дудки?

— А так.

Блищинский бросил на него быстрый оценивающий взгляд и умолк; что-то скрытное и злое мелькнуло на его почерневшем от холода, заросшем щетиной лице. Потом он сунул руку за пазуху, достал фляжку, поболтал, но там, кажется, было пусто, и он швырнул ее в бочку. Со звоном ударившись о железо, фляжка отскочила на снег.

— Ну что ж! — сказал Гришка. — Пропадешь — пеняй на себя.

Он явно злился, но Тимошкину было наплевать на его злость. Иван подошел уже совсем близко, он грузно ступал под тяжестью своей ноши, сильно согнувшись под ней. Потом взглянул вперед, заметил стоящих под скирдой людей, остановился и, видимо узнав, зашагал быстрее.

Тимошкин был вне себя от радости, что жив его лучший друг и что они теперь будут вместе, только...

Только кого это он тащит на себе в сизой офицерской шинели? Нет, это не Здобудька! У Здобудьки обычная солдатская шинель, а у этого нестриженая голова, ветер треплет его светлые волосы, и длинные ноги в сапогах свисают почти до снега.

И тут Тимошкин взглянул на своего земляка. Тот, очевидно, тоже рассмотрел эту необычную ношу и насторожился, тревожно прищурив близорукие глазки. Пальцы его рук нервно забегали по груди, будто отыскивая что-то, нащупали ремень сумки и вцепились в него.

Гонимый предчувствием чего-то скверного, Тимошкин не устоял на месте и бросился через сугроб к Ивану. Разбрасывая сапогами снег, он бежал к нему, все время всматриваясь в лицо друга, наконец, встретился с ним глазами и ужаснулся. Страшно было видеть, каким стал Иван! Наверное, от усталости, грязи и пота, который заливал его щеки, лицо, оно казалось диким, а глаза светились каким-то безумным, злым блеском. Радость встречи от этого взгляда сразу омрачилась. Тимошкин понял, что друга настигла беда.

Не промолвив ни слова, боец подхватил за ноги человека и, так помогая Ивану, побрел по снегу к скирде. Добравшись до застрешка, Щербак вместе с ношей боком свалился на солому, а Тимошкин присел рядом и впервые взглянул на неподвижное лицо того, кого он помогал нести.

В окровавленной сизой шинели тихо стонал на соломе бледный, непохожий на себя майор Андреев.

На несколько секунд Тимошкин, кажется, онемел, пораженный тем, что увидел, потом поднял взгляд на Блищинского. Его земляк, прислонясь к скирде, испуганно глядел на майора и кусал губы. Но вскоре, видимо совладев с собой, он с деланной радостью оживился, опустился на колени перед раненым и залепетал по-бабьи быстро и неискренне:

— Товарищ майор! Товарищ майор! Вы живы?

Тогда рядом тяжело задвигался Щербак. Медленно, с трудом преодолевая усталость, он приподнялся на руках, потом на коленях, привстал на одну ногу, на вторую... Его гневное, почерневшее лицо стало еще более страшным — он не спеша поднимался, не сводя с Блищинского взгляда, полного угрозы и ненависти. Тимошкина же он не замечал вовсе, будто его и не было здесь. Чувствуя, что произошло непоправимое, и не понимая, в чем дело, боец виновато стоял рядом.

А Щербак встал на ноги и, сверля взглядом Блищинского, покрасневшей рукой нащупал рукоятку автомата.

— Скидай шинель, волчья душа! — простуженно закричал он на Блищинского. Тот, пошатнувшись, отскочил от майора, потом, поняв, вскинул перед лицом руки с тонкими дрожащими пальцами и заговорил, противно и жалобно:

— Что ты! Что ты!.. Клянусь!..

— Клянешься? Ах ты подлюга, предательская морда!!! Клянешься!.. А майора кто бросил? Кто свою шкуру спасал? Нет, не выйдет, сволочь! Раздевайся!

Он вскинул автомат на Блищинского, но писарь обеими руками тотчас схватился за ствол и, изо всех сил отводя его в сторону, залепетал:

— Стой! Опомнись! За что? За что? Разберись! Что ты!

Несколько долгих секунд они неуклюже боролись. Тимошкин сжался, съежился рядом в ожидании страшной развязки и внутренне желая, чтобы она свершилась скорей. Но Щербак, видимо, ослабел, а писарь слишком хорошо знал, что ему грозит, и боролся со всем упорством. Тяжело дыша, он взглянул на Тимошкина и вскрикнул:

— Володя! Браток! За что?

В этом «за что?» прозвучало такое отчаяние, что прежняя решимость в Тимошкине дрогнула и он шагнул к Щербаку:

— Ладно! Брось его! Вон немцы.

Щербак на мгновение оглянулся и, сильно толкнув Блищинского, выдернул из его рук ствол автомата. Писарь пошатнулся, но не упал и, очевидно, уловив короткое замешательство наводчика, подавив испуг, закричал другим, полным возмущения голосом:

— За что стрелять? В кого стрелять? Разберись, пойми! За что губишь?! Своего человека губишь!!

То ли этот возмущенный крик, то ли слова Тимошкина удержали Щербака от расправы, только он, тяжело дыша, опустил автомат.

— Ах ты собака! — дрожа от гнева, хрипел Иван. — Еще возмущается. Посмотри вон! — показал он на неподвижно лежащего на соломе майора. — Вот что ты наделал, гад! Ну погоди! От меня не уйдешь. Я тебя из-под земли достану! Заруби себе на носу!

— Выйдем — пойдешь в трибунал, — сказал Тимошкин. — Я тебе не защитник, не думай.

— Да что вы? Что вы на меня напали? Я его целый километр тащил. Но ведь он умер! Понял?.. Умер... Я думал. Потому и оставил. Как же нести? Немцы кругом. Сами же знаете, люди вы или нет?

— Мы вот тебе покажем — «люди»! Дай только выбраться отсюда! — грозил Щербак.

Блищинский, однако, понял, что самая большая опасность уже миновала, и даже попытался усмехнуться, наверно, чтобы уверить Щербака в своей невиновности.

Иван, помедлив, поставил на предохранитель автомат и, повернувшись к писарю, захрипел:

— Своего командира, своего начальника раненого бросить! Вот же сволочь, вот негодяй! А что теперь? — Он опустил глаза на майора. — Руки поморожены, ноги, наверно, тоже. Ну что теперь сделаешь?

Тимошкин, присев на колени, склонился к майору — сизая шинель раненого на плечах и груди была в бурых смерзшихся пятнах, побелевшее лицо казалось совсем неподвижным, только под глазом нервно дергалась едва заметная жилка. Майор давно, видно, потерял сознание и тихо стонал во время коротких и частых вздохов.

— Теперь ты его понесешь, волчья душа, — сурово сказал Щербак. — Отсюда и до конца.

Потом вдвоем с Тимошкиным они подтащили Андреева глубже в застрешек, Блищинский услужливо расправил солому, помог укрыть ею ноги майора. Лицо у писаря все еще было настороженным, но во взгляде постепенно появлялась хитроватая уверенность. Щербак гневно и озабоченно хмурился.

— У него вдобавок еще и рука прострелена, крови много вытекло. Смотри, что делается! Как бы что плохое не приключилось. Совсем отморожена.

Рука действительно была неестественно белая и распухшая, таким же безжизненно бледным выглядело и лицо. Страшно было Тимошкину видеть в таком состоянии недавнего своего командира и горько сознавать, что теперь он уже не тот, одно присутствие которого придавало артиллеристам уверенность в бою. Теперь он был слабее ребенка. Но им не нужна была его сила —они хотели только, чтобы он очнулся, заговорил, увидел, в какую беду попали они, и что-нибудь посоветовал.

Щербак какое-то время устало сидел, сдвинув брови,

и о чем-то напряженно думал. Почувствовав, что он несколько отошел в своем гневе и немного передохнул, Тимошкин спросил:

— Здобудьку не нашел?

— Нашел. Убит, прямо в затылок, — сказал Щербак. — Потом я забрел на кукурузное поле. И вот майора подобрал. Этот гад его бросил. Майор сам сказал. Когда еще в сознании был.

— Кабы я знал, а то смотрю — умолк, ну, думаю, умер, — с фальшивой горечью отозвался Блищинский. Он стоял, прислонившись плечом к скирде и, казалось, с неподдельным сожалением глядел на майора. Странно, как быстро исчез у него страх перед бешеной яростью Щербака, теперь он делал вид, будто все произошло по недоразумению. Щербак смерил его угрожающим взглядом:

— Ты молчи... Вот выйдем — я с тобой посчитаюсь. Без пощады! Не думай, что отбоярился.

Они помолчали. Щербак впервые оглядел все вокруг — снежное поле, виноградники, деревья, хутор, разрытый немцами пригород вдали.

— Пройти не пробовали?

— Как пройдешь: немцы кругом.

— А я еле дорогу перешел. С утра сидел. Хорошо, что на лесок напал... — говорил он, несколько успокоившись. И вдруг спохватился: — Надо майора спасать. Тепло ему нужно. Может, операцию какую. Иначе погибнет.

— Конечно. Не очень-то в соломе согреешься, — вставил Блищинский. Он уже держался независимо, только где-то в глубине глаз еще таился пережитый испуг. Щербак ничего не ответил ему.

— Как же это ты нес его такую даль? — спросил Тимошкин.

— Знаешь, не раз уже думал: упаду, издохну. Но тащил. Как же бросать? Свой человек.

Он опять помолчал и уже спокойнее спросил Тимошкина:

— Курить, конечно, нечего?

— Нету, братка.

— Плохо... А я вот у Здобудьки бумаги взял. — Щербак вытянул ногу, вынул из кармана потертую пачку документов. — На, ты же грамотей — отпишешь. Как выйдем.

Тимошкин взял из его рук завернутую в бумажку

красноармейскую книжку, какие-то справки, потертые, помятые листки. Один листок развернул: это было письмо — неровно написанные карандашом строки родным, куда-нибудь за Волынь или Буковину. «Отсылать или уже не надо?» — подумал боец и пробежал глазами первые слова на украинском языке: «Пишу вам усим — жинци та братовий Олени, брату Опанасу и усим родичам, що я попав до артиллерии, воюемо Гитлера из пушки. Мэнэ хотили назначить до коней, та я витказався — як цэ я буду в обози, коли у мэнэ свий рохунок с Гитлером за Миколу. Воюемо ми хорошо, хлопци в нашому расчете смили, командир Скваршев тэж справедливий и видважний, а ще и хороший. По мэнэ не горюйте, а що трапится, то дарма не загину, а покажу цим фрицюкам. Чоботи мои Петро нехай виддасть куму, щоб подбив подошви, вони ще минци, немецького виробу. А за работу, коли приеду писля вийни, в долгу не останусь. А ще сходи к голови сильради, нехай по оций справци зменьшить тоби плату, як красноармейской родини...»

Тимошкин прочитал письмо, и ему показалось, словно он заглянул в душу этого медлительного, нерасторопного солдата. Должно быть, ездовой был способен на большее, чем то, что успел сделать за короткий свой срок на войне. Боец пожалел даже, что до сих пор как-то мало замечал его, всегда молчаливого и невзрачного с виду.

Щербак, привстав на коленях, осматривал местность. Немцы на пригорке не спеша возились в развороченной земле, мимо них по дороге пробегали в сторону фронта автомобили. Небо медленно прояснялось, хотя большая часть его еще была затянута тучами. Дул студеный, пронизывающий ветер.

В это время застонал в соломе майор. По всему видно было, что в нем догорали последние остатки жизни, и Тимошкин подумал: как нелепо после того, что случилось, дать ему погибнуть тут, за несколько, может, часов до спасения. Видно, то же самое встревожило и Щербака. Наводчик устало поднялся, всмотрелся в снежную даль, и взгляд его упал на хуторок из трех домиков, одиноко ютившийся в дальнем конце посадки.

— В хуторе не видели, немцев нет? — спросил Иван.

— Кто их знает, может, и есть.

— Да нет там никого,—отозвался Блищинский.

Непререкаемая уверенность писаря разозлила Тимошкина.

— А ты ходил туда, что-ли? — неприязненно спросил он.

— Не ходил, зато наблюдал весь день. Понимаешь?

Щербак недоверчиво посмотрел на Блищинского, потом на Тимошкина и взял с соломы автомат.

— Я схожу. Может, перенесем майора туда.

— Ваня, постой! — вскочил Тимошкин. — А если там немцы?

— Пусть сходит, — тихо, но твердо сказал Блищинский. — Чего бояться?

— Ваня, не ходи! — запротестовал Тимошкин.

Но разве можно было разубедить Щербака? Таков уж был этот человек, что если загорался чем-либо, то непременно добивался своего.

— Я быстро. Ты погляди тут, — сказал он, поправил шапку и пошел. У Тимошкина что-то больно перевернулось в груди.

— На других выезжаешь? — закричал он на писаря. — Почему сам не сходишь? Опять за чужую спину прячешься!

Они опять остались вдвоем, и опять Блищинский становился прежним — злобно-нагловатым по отношению к Тимошкину. Ничего не отвечая, он по-волчьи, исподлобья поглядел на земляка и начал удобнее устраиваться в соломе. Только окончательно усевшись, многозначительно заметил:

— А клина от пушки у него все же нет...

Тимошкин сначала не понял, а потом, догадавшись, о чем он, удивленно взглянул на сержанта. Тот спокойно, с открытой неприязнью выдержал его взгляд.

— Ну и что? — с ненавистью спросил Тимошкин.

— А ничего. Так. Для памяти.

Что-то он затаил в себе против Щербака, но Тимошкина это уже не интересовало. Его охватила тревога. Он сам не знал почему, но все в нем протестовало против этой вылазки на хутор. Вообще-то опасность там была невелика, немцы находились довольно далеко и в одиноком человеке в поле могли не узнать противника. Но инстинктивно Тимошкин чувствовал, что это шаг к их новой беде. И он притих, подавленный этим предчувствием, умолк и, привстав на коленях, долго смотрел вслед другу.

А Щербак обошел бочку, заснеженный труп лошади и уверенно, споро зашагал в сторону хутора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вверху немного прояснилось. Тучи сползли с небосклона, оставив за собой редкую белесую дымку, которая словно туманной вуалью затянула низкое холодное солнце. Побежденное зимней стихией, оно маленьким желтым пятном беспомощно повисело над горизонтом и медленно пошло на закат.

На всем необъятном просторе, от края до края равнины, мела, гуляла поземка. Неутомимый труженик ветер гнал и гнал куда-то растрепанные космы снега, ровнял, выдувал, по-своему обряжал землю. В немом отчаянии трепетали редкие стебли бурьяна на межах, ветер рвал солому из скирды, подхватив вороха снежной пыли, сердито бросал ее под застрешек. Майор лежал в забытьи. Блищинский прижался к соломе, зарыл в нее ноги, спрятал в рукавах руки и так сидел — молчаливый и унылый. Тимошкин же, забыв о своей неутихающей боли, не чувствуя одубевших ног, стоял на коленях и неотрывно следил за Иваном.

Щербак, чуть опустив правое, с автоматом, плечо, все дальше и дальше уходил от скирды. Ветер вырывал из-под его сапог снежные пряди и расстилал их в поле; сзади тянулась кривая цепочка еле заметных ямок-следов. Тимошкин жадно всматривался в каждый шаг Щербака, в каждое его движение — тяжелое предчувствие камнем давило на сердце. Казалось, вот-вот загремят выстрелы, разорвется мина, и он навсегда потеряет своего последнего и самого верного друга.

Но пока было тихо — ни выстрела, ни звука, только скулил и гудел вокруг ветер. Одно ухо Ивановой шапки прикрывало щеку, а второе оттопырилось в сторону, и тесемка от ветра тревожно металась по плечу. Постепенно, однако, его фигура уменьшилась, и вскоре очертания ее совсем сгладились.

Щербак дошел до молодого лесочка и вдоль него повернул в сторону хутора. Идти там, видимо, было легче, наводчик ускорил шаг и, все отдаляясь, приближался к цели. Тимошкин внимательно всматривался в даль, глаза от напряжения и ветра заплывали слезами. «Хоть бы как-нибудь, хоть бы как-нибудь!..» — билось в его сознании, и всей силой своей измученной души он жаждал, чтобы ничего не случилось.

Невдалеке от хутора, наверно, попался овражек, Иван

вошел в него, на минуту скрылся, затем снова появился уже на той стороне.

И вот он у самого хутора. От болезненного напряжения Тимошкина охватила дрожь, однако он, как и прежде, смотрел, слушал, стыл на ветру, желая одного — удачи товарищу. Но, казалось, беда миновала. Иван быстро приближался к крайнему дому: ни возле него, ни под соседним строением ничего живого или подозрительного, кажется, не было. Вскоре он прошел вдоль длинной кирпичной стены, обошел какой-то чернеющий в снегу выступ и исчез во дворе.

Было по-прежнему тихо. Озябший Тимошкин немного ослабил свое напряжение и вздохнул. «Может, как-нибудь?..» — появилась в нем робкая надежда. Он прислонился спиной к соломе, прикрыл шинелью колени и, посматривая на хутор, ждал.

На какой-то миг боязнь за жизнь друга, страстное желание помочь в беде невольно ослабли, и за это он потом готов был проклинать себя. Может, тем самым он лишил Ивана какой-то поддержки, и тот раньше, чем следовало, утратил осторожность. Боец не знал, как это случилось, — может, даже моргнул в то время, — только увидел вдруг, что прямо по снежному полю с хутора, спасаясь, бежит человек.

Сначала Тимошкину показалось, что это кто-то другой, не Щербак, на секунду он растерялся, не поняв, что произошло, но тотчас на хуторе часто и глухо затрещал автомат.

Немцы выпустили по бегущему длинную очередь. Иван оглянулся и бросился в сторону, потом в другую, — хитрил, чтобы не попасть под пули. У Тимошкина похолодело все внутри, потом горячей волной плеснул в душу испуг. Рядом встревоженно вскочил Блищинский, но боец даже не взглянул на него — его пронизала мысль, что Иван погибнет.

Дальнейшее произошло невероятно быстро и страшно. Два или три автомата с хутора били прерывистыми короткими очередями. Иван упал, перевернулся, выстрелил в ответ, вскочил, побежал и упал снова.

Неудержимое желание помочь другу, спасти его от гибели охватило Тимошкина. Он бросился в поле, — ноги пробили тугой снежный сугроб, ветер из-за скирды резко рванул полы шинели. И тогда сзади испуганно закричал писарь:

— Стой! Куда? Сдурел? Куда тебя несет? Опомнись!

Тимошкин торопливо и зло оглянулся на Блищинского, который горбился под застрешком, и когда снова на бегу нашел взглядом Ивана, тот лежал на снегу в нескольких шагах от овражка и, кажется, больше не двигался.

У Тимошкина подкосились ноги. Споткнувшись, он глотнул что-то нестерпимо горькое, что подкатило к горлу, и с дикой яростью бросился под застрешек.

— А ты что!!! — закричал он на писаря. — Опять ловчишь? Вперед, сволочь! Слышишь? Вперед! — Боец кричал и еще что-то, но побелевший Блищинский, сгорбившись, будто окаменев в выемке, бессмысленно глядел на него. Тимошкин спешил и весь дрожал, потрясенный новой бедой, а писарь жался и жался к скирде, боясь выйти на снег. Тогда Тимошкин рванул рукоятку автомата.

— Гад! Застрелю!!!

Он терял над собой власть, мог бы и убить земляка, и тот, должно быть, понял это. В коричневых глазах писаря шевельнулся испуг, тонкие губы дрогнули, и он, опасливо поглядывая на бойца, несмело ступил от скирды.

— Ну чего ты? Ошалел, что ли? — недоуменно ворчал писарь, но все же зарысил в поле.

— Бегом!!! — кричал Тимошкин и, подхватив под руку автомат, побежал за ним, полный твердой решимости убить Блищинского, если тот не подчинится. В нем будто прорвалась накопленная за годы ненависть к подлой натуре этого человека, к тому же он понимал, что один, с больной рукой не сможет, если понадобится, вынести Ивана. И Блищинский бежал, разинув от усталости рот и с опаской поглядывая то в сторону хутора, то искоса на земляка. Тимошкин же не смотрел вперед: он знал, что их там ожидает, и под дулом автомата гнал туда писаря. Он боялся, как бы немцы раньше их не подбежали к Ивану. Но выстрелы утихли; кажется, никто с хутора так и не показался в поле. Иван с трудом ворочался вдали и, уже не вставая больше, медленно полз к овражку.

Скоро они добрались до молодых посадок.

Тут была межа — узкая, с сухим бурьяном, колюче торчащим из снега между тонкими деревцами акаций. Блищинский, устав, побежал медленнее и наконец перешел на шаг. Тимошкин строго прикрикнул на него —

Гришка послушался и снова неохотно зарысил вперед. Он тяжело дышал, сумка болталась у него на боку, и писарь то и дело отбрасывал ее назад. Кажется, он превозмог страх и молчал, обретая свой прежний хмурый, сердитый вид.

Иван полз. Уже стало видно, как тяжело волочил он по снегу свое тело, оставляя позади широкую борозду — след. Тимошкин изредка прикрикивал на Блищинского, чтобы тот не отставал, и сам бежал, выбиваясь из последних сил.

Они приближались к Ивану. Неглубокий заснеженный овражек был совсем близко, на другой его стороне лежал Щербак. И вдруг с хутора снова простучала длинная очередь. Тоненькая, как птичья лапка, веточка, сбитая пулей, упала с дерева, ветер подхватил ее и быстро погнал по полю. Гришка, проворно перескочив межу, распластался на другой ее стороне, Тимошкин пригнулся и, не желая оставлять писаря, лег у самой межи. В воздухе коротко и злобно посвистывали пули, кусочек мерзлой коры с ближнего деревца отскочил в снег, и ствол его заблестел белым пятном.

— Ползком! — крикнул Тимошкин Блищинскому, шапка которого торчала из-за межи. — Ползком, слышишь?

Очередь снова стеганула по голым ветвям деревьев, опять несколько веток подхватил на лету ветер. Неуклюже орудуя одной рукой, Тимошкин пополз боком, волоча за собой автомат. Блищинский пошевелился и тут же притих. У Тимошкина уже несколько остыла ярость, с которой он поначалу набросился на писаря, и теперь, опасаясь за Ивана, он начал тревожиться, как бы не случилось чего и с Блищинским.

— Ну что? Давай быстрей!

Гришка высунул из-за межи голову и сквозь ветер с отчаянием заговорил:

— Слушай, Володя! Что ты делаешь? Они же сейчас перебьют нас. Куда ты суешься? Может, он убит уже, зачем мы ползем? Кто он тебе, брат или начальство, что ты на рожон лезешь? Давай назад! Мы же свои люди. А он... Давай вернемся.

Тимошкин не ожидал этого. Он думал, что там, у скирды, сержант осознал подлость своего поведения и, если побежал, значит, понял, что иначе поступить нельзя.

Но, видимо, ничего он не понял. Уговаривая вернуться, писарь уже поворачивал назад, медленно отползал, укрываясь от пуль за межой. Снова у Тимошкина закипела злость к этому человеку — было ясно, что погнать его вперед можно, только угрожая оружием.

Подхватив автомат, он перескочил межу и растянулся на снегу рядом с Блищинским. Тот настороженными, полными испуга глазами взглянул на бойца, но не увидел того, что хотел увидеть.

— Вперед! — скрипнув зубами, приказал Тимошкин и одной рукой, как пистолет, наставил на него автомат. — Вперед! — От злости его голос сорвался на крик.

Блищинский медленно отвел от бойца унылый взгляд, что-то проворчал и, неуклюже вихляя задом, пополз вдоль межи. Тимошкин, задыхаясь от снежного вихря, поднятого телом писаря, полз следом. Ползти было тяжело и неловко, хотелось вскочить и бежать, но он не хотел рисковать, тем более что под пулями гнать вперед Блищинского, видно, не удалось бы. И боец изо всех сил старался не отставать от сержанта и, если тот останавливался, автоматом толкал в подошвы его валенок. Писарь, не оглядываясь, понимал, что от него требуется, и неохотно двигался дальше.

Наконец они добрались до овражка. Пока они ползли вдоль межи, Тимошкин не мог видеть Ивана. Теперь он взглянул на друга — тот тоже добрался до оврага и обессиленно шевелился на противоположном его склоне. Рядом с бойцом, вдавленный в снег, лежал автомат.

Блищинский еще полз, весь вывалянный в снегу, а Тимошкин уже не мог удержаться — вскочил и сбежал в овражек. Немцы, кажется, тут не видели их и перестали стрелять. Снег в овражке был глубокий, ноги проваливались в снег до самых колен. Опираясь на автомат, Тимошкин вскарабкался по отлогому склону и, тяжело дыша, подбежал к Ивану.

— Зачем же ты шел, Ваня? — еле переводя дыхание, просипел он.

Щербак хотел приподняться, но только стиснул зубы и, превозмогая боль, тихо сказал:

— Ладно, ничего. Перевяжи как-нибудь...

Одной рукой он прикоснулся к бедру — на ватных штанах возле кармана темнело мокрое пятно, и из рваной дыры торчал окровавленный клок ваты.

Хлопоча возле друга, Тимошкин неосторожно высу-

нулся из овражка, и с хутора снова затрещала очередь. Несколько пуль, ударившись в голый, вылизанный ветром бугор, землей и снегом брызнули в лица бойцов, Тимошкин сплюнул и, пригибаясь, непослушной окоченевшей рукой расстегивал одежду Ивана. Он очень спешил, стараясь сладить с тугими петлями, и его сердце бешено колотилось в груди.

— Блищинский, быстрей! — крикнул Тимошкин писарю, который неуклюже и явно не торопясь выбирался из сугроба в овражке. Наконец он опасливо взобрался на склон.

— Рви рубашку! — крикнул Тимошкин.

Блищинский недоуменно замигал острыми глазками, не понимая, что от него требуется, и тогда Тимошкин, выругавшись, со злостью объяснил ему. Сержант положил автомат, дрожащими руками вытянул из-под шинели край своей нижней рубашки, с треском отодрал от нее полосу снизу. Склонившись над Щербаком, они начали перевязывать его окровавленное бедро. Крови было много, она сочилась и сочилась из раны, заливая одежду, и Тимошкин подумал тогда, что все это добром для них не кончится.

Они перевязали наводчика, хоть и не совсем удачно, так как спешили и очень мерзли руки. Иван, видимо, сильно страдал, но терпел, сжав зубы и затаив в глубине своих всегда серьезных глаз боль и тревогу. Почерневшее, заросшее рыжей щетиной лицо Блищинского было искажено страхом, уголки его губ при виде крови брезгливо морщились.

Надо было спасаться, и теперь спасение Тимошкин видел там, у скирды. Они подхватили Щербака — под мышки и за ноги — и осторожно спустились в овражек. Иван застонал, лицо его вдруг побледнело, но он все же умолк, видимо приготовившись терпеливо выдержать все испытания.

Ступая в глубокие, еще свежие свои следы, они перетащили его на противоположную сторону, — дальше надо было ползти.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Это был нескончаемо долгий путь, он отнял у них последние силы.

Неизвестно, сколько времени они ползли, но, когда

добрались до скирды, зимнее солнце уже сошло с небосвода. Сквозь разорванные тучи, как подтаявшая льдинка, блестел краешек месяца, а они, мокрые от холодного пота, лежали возле скирды и хрипло, обессиленно дышали. Щербак, видимо, очень страдал. Лицо его сильно осунулось, стало серым, глаза запали, он прикрыл их посиневшими веками и тихо стонал. Тимошкин вытянулся рядом, не в силах уже ползти под застрешек и не в состоянии сладить с бешено бьющимся сердцем. В раненой руке со сползшим бинтом что-то нестерпимо дергало, словно нарывало. Измоаренный Блищинский сидел под скирдой и тупо глядел на хутор. Они совершенно не знали, что делать дальше...

В тот момент, когда от усталости мутилось в глазах и все на свете казалось далеким и безразличным, послышался испуганный голос Блищинского:

— Немцы!!!

Это было самое страшное. Но уже столько было перенесено за последние дни, столько выстрадано, что эта страшная весть не испугом, а только щемящей тоской отозвалась в сердце. Тимошкин повернулся и, пересиливая в себе слабость, сел на снегу. Со стороны хутора, вдоль посадки, наверное по их свежим следам, один за другим шли немцы.

Блищинский с неожиданной ловкостью подхватил автомат и спрятался за скирдой. В снегу завозился Щербак. Он приподнялся на руках, прикусил губу и всмотрелся в потемневший простор.

— Володя, за скирду! — страдальчески морщась, сказал он, и Тимошкин почувствовал, что выбора уже не осталось и им предстоит только одно — драться.

Кое-как поднявшись, он подал здоровую руку Ивану и помог ему заползти за угол скирды.

Но, говорят, беда не приходит одна. Не успели они добраться к застрешку, как новая тревога охватила Тимошкина. В засыпанной снегом соломе очень уж отчужденно и безжизненно желтело лицо Андреева. Тимошкин бросился к майору, встряхнул его за плечо, но ни одним движением, ни одним звуком тот не отозвался. Тогда, вырывая пуговицы, Тимошкин расстегнул его шинель, припал ухом к широкой остывшей груди и, не веря себе, понял, что жизнь уже покинула этого человека. Дрогнувшим голосом он сказал об этом Щербаку.

Немцы между тем быстро приближались, — всего их

было двенадцать. Один почему-то отстал, пригнулся, покопался в снегу, потом бегом догнал передних. Сбоку от них, за хутором, кажется безразличное ко всему в этом поле, заходило красное, холодное солнце. Ветер постепенно утихал, и поземка к ночи унималась. Щербак прижался к соломе, все больше бледнея, и, видимо, чтобы сдержать стон, крепко сжимал челюсти. У Блищинского нервно дрожал подбородок, он притих и растерянным взглядом шарил по сторонам.

Надо было готовиться к бою. Щербак, обернувшись, раздраженно прикрикнул:

— Ну, что сбились? Тимошкин — под коня!.. Ты, писарь, по ту сторону. И не спешить!

Блищинский, пригнувшись, молча шмыгнул за скирду. Тимошкин вышел из-под застрешка и начал пристраиваться в снегу, возле конского трупа. Щербак, лежа на соломе, взял автомат.

— Эх, черт!.. Закурить бы! — тихо проговорил он.

Как всегда в минуту приближения опасности, ему хотелось курить. Обычно в такой момент Тимошкин свертывал цигарку, прикуривал и совал ее в зубы товарищу, а тот, не отрываясь от прицела, наводил пушку по пехоте или танкам. Теперь же курева у них не было, и Щербак с досадой выругался.

Они замерли и ждали. Шансов выйти живыми из этого боя у них было мало. Немцы вряд ли будут рваться к скирде, но огня не пожалеют, в этом все трое были уверены. Плохо, что мало было патронов — всего по диску на автомат. Однако другого выхода у них не было. Немцы уже повернули от посадки и, охватывая скирду подковой, начали расходиться по полю. Они еще не стреляли, но, видимо, чувствовали, что предстоит схватка, и, подходя к скирде, взяли оружие на изготовку.

— Подпустим ближе? — сказал Тимошкин.

Щербак кивнул головой. Говорить ему было трудно, он казался совсем измученным. У Тимошкина заскребло на душе.

Стало темнеть. В небе над хутором расплылась лимонная желтизна с багряной полосой у самой земли. Синеватые сумерки быстро закрывали даль, на зимнюю равнину опускалась ночь. На снегу, однако, хорошо были видны фигуры всех двенадцати немцев, хотя лица их уже скрадывал мрак. В середине цепь была реже, а на

флангах заметно сгущалась, — наверно, крайние побаивались и невольно жались к остальным.

И вот, не замедляя шага, кто-то из них дал первую автоматную очередь. В бочке возле скирды гулко звякнула пуля; срикошетив, она сыпанула снегом, и Тимошкин придвинулся ближе к заснеженному трупу лошади. В десяти шагах, сжав автомат, лежал Иван. Ветер вихрил над ним перемешанную с мякиной снежную пыль.

Немцы ударили из автоматов. Очереди гулко затрещали в вечерней тишине, пули беспощадно секли скирду. Соломенная труха густо запорошила с подветренной стороны нетронутый снежный наст. Тимошкин прижался головой к лошадиному брюху и напряженно ждал, когда хоть немного ослабеет этот первый огневой напор.

Но он ослабел не скоро. И только когда немцы, по-видимому расстреляв первые магазины, начали менять их, стало несколько тише. Тимошкин схватился за автомат — гитлеровцы были совсем близко, длинной изогнутой цепью они охватывали скирду. Одни бежали, другие торопливо шагали с подоткнутыми под ремни полами шинелей, в касках или зимних, с длинными козырьками шапках. Тимошкин взглянул на Ивана, — полный терпеливого ожидания, тот лежал под скирдой.

— Рус, сдавайсь! — донесся с поля далекий, чужой, враждебный голос. Сразу же закричали и другие, и с полминуты еще слышалось:

— Рус, сдавайсь!

— Еван!.. Капут!

— Рус капут! Сдавайсь!

Кто знает почему, не так их огонь, как эти злобные выкрики леденящей тоской захлестнули сердце Тимошкина. Ему показалось, что уже нет выхода, что спастись невозможно, и остается только или умереть, или сдаться в плен. Но ведь сколько они уже насмотрелись и наслышались о плене, — он был для бойцов хуже самой мучительной смерти.

И тогда, чтобы разом пресечь отчаяние в себе, Тимошкин, не очень целясь, длинно полоснул по цепи. Потом, уперев магазин в замерзшую лошадиную лопатку, выпустил несколько коротких и частых очередей. Немцы встрепенулись, кто-то рванулся вперед, некоторые попадали в снег, и снова в сплошной трескотне захлебнулись их автоматы.

И все-таки уничтожить бойцов было не так-то легко.

Скирда и небольшие сугробы снега перед ней неплохо защищали от прицельного огня. Немцы же были видны как на ладони, ни один из них не мог где-либо укрыться, и если бы ребята имели больше патронов, то, возможно, им удалось бы отбиться.

Но патронов было ничтожно мало для долгого боя, и через некоторое время Тимошкин испугался, подумав, что магазин вот-вот опустеет. Щербак перестал стрелять еще раньше. Немцы тоже заметно притихли, только каких-нибудь два автомата с их стороны беспорядочно сыпали пулями — в снег, в скирду, в воздух над ними. Запахло дымом. Горело где-то в застрешке, в котором они недавно укрывались, и ветер стлал по земле горький удушливый дым. В этом дыму, кашляя, заворошился Щербак.

— Володька! — позвал он. — Где писарь?

Тимошкин приподнял голову и прислушался, но за скирдой ничего не было слышно — ни движения, ни выстрелов, — кажется, там что-то случилось. У Щербака, видимо, уже поостыла первая злость, и он забеспокоился.

— Ползи туда. Может, ранили, — морщась от боли, сказал он.

Скирда густо дымила, но огня еще не было. Немцы лежали в поле. Двое из них, наверное, раненые, покинув цепь, потянулись к посадке.

Прихватив автомат, Тимошкин пополз за скирду. Тут было несколько тише, и можно было приподняться. В это время что-то дернуло на голове его шапку. Тимошкин оглянулся, сорвал ее с головы — из двух свежих дыр торчала вата. Он снова надвинул ее и пополз дальше.

Но где же Блищинский? Тимошкин заполз за скирду, куда полчаса назад отправился Гришка, огляделся по сторонам, однако нигде не увидел его. Некоторое время он растерянно лежал на снегу, не зная, что и подумать. Но вот совсем близко от скирды он заметил следы. Широкие шаги человека в немецких, подшитых кожею валенках терялись в ближних кустах виноградника.

Вот оно что!

Мгновенно все стало ясным. Тимошкин даже застонал от бессильной ярости. Как это он недосмотрел? Как не предвидел? Почему он не приполз сюда минутой раньше? Если бы хоть издали заметил, как удирал этот гад, то, не глядя на Ивана и на огонь гитлеровцев, бросился

бы догонять его. Но он опоздал, и Блищинского уже не было видно.

За несколько коротких минут, пока Тимошкин лежал здесь под пулями, вереница горестных мыслей пронеслась в его голове.

«Подлый, ничтожный человек! Почему я не застрелил его раньше? Почему столько терпел его, не желая с ним связываться? И вот благодарность за все!.. Хотя чего было ожидать!..»

Обида и боль сжимали сердце бойца от сознания того, что Блищинский так вероломно обманул их и тем обрек на смерть. А теперь он спасется, выживет, дождется светлого дня и клещом вопьется в новую, послевоенную жизнь. На его груди будут висеть боевые медали, в карманах будут лежать документы, которые дадут ему права на привилегии, он будет проповедовать то, во что сам не верит. Будет делать карьеру.

Распластавшись на снегу, Тимошкин страстно жаждал отомстить Блищинскому. Правда, он не знал еще, что сделал бы с писарем: может, застрелил бы его, а может, только избил, ибо — он понимал — жаловаться по закону на этого выродка было не за что. Разве он выполнял с ними боевую задачу или изменил Родине? Он бессовестно бросил их тут, как вчера бросил майора, но он вынесет к своим его сумку с неизвестно какими бумагами, припишет себе какое-нибудь геройство, да еще наклевещет на них, оставивших пушку. Худшего невозможно было себе представить. Все в Тимошкине горело ненавистью, и он поклялся, если только выживет, во что бы то ни стало найти писаря и разоблачить его.

Скирда дымилась, ветер неистово раздувал в ее чреве огромный невидимый пожар. Дым слепил глаза и до кашля раздирал горло.

Ошеломленный новой бедой, Тимошкин вернулся к Ивану.

Щербак повернул к нему хмурое, землистое лицо:

— Ну что?

— Сбежал! — упавшим голосом ответил боец. — Сбежал через виноградник.

Иван не удивился и не испугался, а снова крепко, до белых пятен на щеках, сжал челюсти и напряженно посмотрел вдаль.

— Подлюга! Теперь нам конец!

Тимошкин лег за снежным сугробом и пустил в поле

несколько коротких, скупых очередей. Немцы по одному перебегали, приближаясь к скирде; их автоматы то и дело потрескивали в морозном воздухе, и пули с трех сторон злобно стригли солому.

Теперь конец — это точно, подумал Тимошкин, потому что без патронов недолго продержишься. Возможно, их сожгут, если не убьют раньше, чем разгорится эта скирда, или возьмут в плен и там уничтожат. Значит, конец! Вот как обернулась прежняя его нерешительность, терпимость, нежелание ссориться с Блищинским. Теперь наступает расплата...

Но они были молоды и очень хотели жить. Жить, чтобы дождаться мира, тихих радостных дней, изведать свое скромное человеческое счастье. И еще Тимошкину очень горько было погибать потому, что он выпустил в ту заветную жизнь Блищинского. Ненависть удвоила в парне неуемную жажду жизни. Раненый и измученный, еще полчаса назад, не имевший сил шевельнуться на снегу, он вдруг вскочил на ноги и прохрипел:

— Берись за шею!

— Что ты надумал?

Щербак не понял, удивился, недоуменно взглянул на него, а затем с внезапной надеждой поднял к его плечам свои руки. Тимошкин присел, подставил другу спину, — большие покрасневшие пальцы Ивана цепко сомкнулись на его груди. Тимошкин напрягся, неимоверным усилием поднял товарища и ступил в снег — под автоматный огонь и дым от скирды.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Еще пять шагов... Еще три... Еще немножко... Еще один!» — стучало в его голове. Он совсем изнемог, ноги его заплетались, но он шел. Не раз падал на снег. Руки Ивана под его подбородком тогда расцеплялись, он скатывался с плеч, и Тимошкин судорожно хватал ртом воздух.

Несколько минут он лежал пластом, припав щекой к снежному насту, и обессиленно слушал, как Иван, подняв автомат, лязгал затвором. Немцы все еще преследовали бойцов, и, чтобы как-нибудь задержать их, Иван в перерыве, наскоро прицелясь, стрелял.

Но они все больше слабели. Удлинялись их останов-

ки, все меньше оставалось сил, и таяла надежда спастись. Иван раскрыл диск, пересчитал патроны. Тимошкин молчаливо отсчитывал его выстрелы: это десятый, — значит, у них осталось всего шесть патронов.

Шесть последних патронов — шесть коротких попыток отстоять жизнь.

Хорошо еще, что на землю спустилась ночь. В густой синеве неба роями мерцали звезды, кругом было просторно и пусто, но где-то в этом просторе их подстерегала смерть. Куда бежать и где искать спасения, они не знали и тащились по винограднику в ту сторону, куда их гнали немцы.

А где-то совсем недалеко гремел бой и отчетливо слышались взрывы. Лежа в снегу, Тимошкин хорошо различал знакомое сдвоенное «трах-бах» — это стреляли танки. Ощущение близости своих подбодрило его. Поддерживая себя на руках, он подставил спину Ивану, и тот опять сцепил на его шее свои холодные кисти. Шатаясь, боец поднял страшно тяжелое тело друга, и в ту же секунду ночную даль коротенькой низкой молнией прорезал трассер. Он мелькнул и пропал. С трудом удерживаясь на ногах Тимошкин вгляделся в ночь и увидел второй стремительный блеск навстречу первому. Это было где-то далеко, казалось, на самом горизонте. Внезапная надежда прибавила сил, и он, пригнувшись чуть ли не до самой земли, широко зашагал между кустов. Иван все время молчал за спиной, ноги его, кажется, волоклись по снегу; сжав зубы, он сдерживал в себе стон.

На этот раз Тимошкин одолел не менее тридцати шагов. Тридцать широких шагов к своим, навстречу спасению. Потом упал коленями в снег и, опираясь на руки, всмотрелся в даль.

Там что-то загорелось. Еще раз-другой мелькнули и пропали трассеры, донеслось глухое сдвоенное «трах-бах», и стало видно, как затрепетала, загорелась, замигала на ветру маленькая красная искорка далекого пламени.

Иван тоже приподнялся на локте, увидел огонь и сказал то, от чего у Тимошкина больно защемило в груди:

— Тридцатьчетверка наша.

Да, это горела тридцатьчетверка. Они уже много раз видели, как горят разные танки, и издали, не столько по очертаниям, сколько по огню, могли распознать их. Не-

известно почему, но тридцатьчетверки всегда вспыхивали, как факел, и горели ярким и дружным пламенем. С горечью на сердце бойцы некоторое время всматривались в этот далекий огонек — свежую могилу неизвестных, но до боли родных людей.

— Рус, сдавайсь! — снова закричали немцы, и из темноты прогремела очередь. Пули стеганули по кустам, визгливо срикошетили в темноте. Немцы, кажется, подошли совсем близко и, конечно, давно бы расстреляли обоих, если бы не скрывавший их виноградник.

Иван приподнял ППШ и выстрелил. В ответ прогремело несколько очередей, и хлопцы увидели огоньки при выстрелах из автоматов. Это было не дальше чем в двухстах метрах.

Надо было уходить, но Тимошкин медлил, чувствуя, что силы у него иссякли. Поднять Щербака и бежать он уже не мог, а другого выхода у них не было. Иван понял это, они расползлись в стороны, чтобы не лежать вместе, притаились под кустами виноградной лозы, притихли.

Кажется, наступал конец.

Потеряв их из виду, немцы наугад постреляли по винограднику и умолкли, ожидая, видимо, пока они покажутся снова. Жадно глотая воздух, Тимошкин лежал под густым кустом и ждал выстрелов друга. Он боялся потерять их счет.

В этот момент сдавленным шепотом заговорил Щербак.

— Тимошкин, — тихо позвал он, — ползи!

Парень ждал этих слов и боялся их, зная, что спасения уже не будет.

— Ползи! Я останусь, — сдерживая стон, говорил Щербак.

Тимошкин улыбнулся: «Чудак человек! Разве так можно?»

— Нет!

Щербак помолчал немного, а потом с внезапной напускной злостью начал его гнать:

— Иди, пока не поздно! Ну! Ползи! Слышишь? Потом я...

Он хотел обмануть друга ради его спасения, ценой своей жизни, ибо куда он мог уползти с такой раной?!

— Не пойду, — упрямо сказал Тимошкин.

Возможно, кто-то из них шевельнулся, а может, нем-

цы услышали голоса, только снова совсем рядом ударила очередь. Тимошкин ткнулся подбородком в снег, а Иван тихонько, коротко, но очень тревожно ойкнул.

Недобрая догадка мелькнула в сознании Тимошкина.

— Ваня!!!

— Уходи, — ослабевшим голосом сказал Щербак. — Ползи... Я все...

Привстав на колени, Тимошкин подался к другу, но не дополз каких-нибудь двух шагов, как Иван ткнул в висок автоматом и выстрелил.

Тимошкин чуть не вскрикнул в отчаянии, вскочил на ноги и, уже не прячась, метнулся к товарищу. Иван лежал неподвижно, обмякший, снег возле его головы был мелко обрызган кровью.

Тотчас в винограднике затрещали автоматы, снег между кустов взрыли пули, но Тимошкину уже не было страшно. Он повернул Щербака на спину, потом одной рукой обхватил его лобастую голову и одубевшей своей ладонью попытался зажать висок, из которого лилась горячая липкая кровь. Не сразу сообразил он, что его последний в этой беде товарищ, его лучший фронтовой друг был уже мертв...

Когда совсем рядом в винограднике мелькнуло несколько темных согнутых фигур, он вырвал из остывших рук Щербака его ППШ и выстрелил — раз, второй, третий. Кажется, его выстрелы кого-то настигли — кто-то там вскрикнул, и тотчас несколько очередей яростно прошлись по винограднику. Тимошкин с минуту прижимался к холодеющему телу друга, а потом, поняв наконец все, бросился прочь.

Теперь ему не оставалось ничего больше, как только спасать себя, и он на руках и коленях карабкался по снегу меж виноградных кустов, полз, потом вскочил и побежал. Сзади трещали очереди, пули или, может, кусты хлестали по полам его шинели, — боец падал, потом, отдышавшись, опять вскакивал и бежал, бежал...

Через некоторое время немцы перестали стрелять и уже не преследовали его. Возможно, они нашли мертвое тело Ивана и остановились. Тогда он пошел медленнее, зацепился за что-то, упал и долго бесчувственно лежал на жгучем морозном снегу.

Потом, сообразив, что пришло спасение, он сел и огляделся. Вокруг было тихо, над ним дремала зимняя ночь и сновали в вышине зеленые, белые, синие звезды.

Одна из них, будто упав с неба, красным огоньком ярко блестела на горизонте, и он вспомнил, что это догорает танк. Обрадовавшись его призывному знакомому блеску, Тимошкин поднялся.

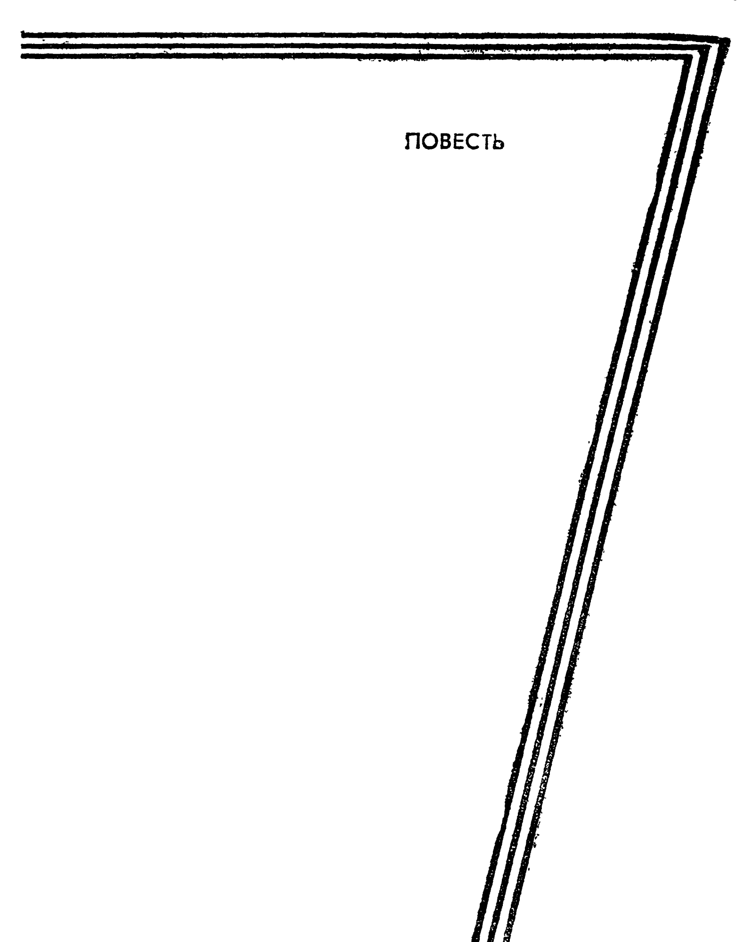
Затем он не спеша шел — один во всем этом широком ночном просторе — и плакал. Давно уже, наверное с детства, не душили его такие жгучие слезы — от безмерной утраты, от одиночества, от горькой боли военной неудачи, от подлой измены Блищинского. Он понимал, что победить этого негодяя будет нелегко, но только бы дойти до своих! С упрямой решимостью жаждал Тимошкин кары ему — ради отмщения и во имя справедливости. Отчаяние и гнев сжимали его горло, когда он вспоминал Скварышева, Кеклидзе, Щербака, и множество других славных ребят, что, засыпанные снегом, навеки остались на широких просторах венгерских равнин.

Сквозь слезы он ничего не видел вокруг, кроме далекого огня, который тихо мерцал на чьей-то безвременной железной могиле.

Огонь и вел его в темноте ночи — от гибели к жизни, туда, к своим.

1960 г.

ТРЕТЬЯ РАКЕТА



ПОВЕСТЬ

1

Я лежу в окопе на разостланной шинели и долго гляжу вверх, в синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо — ни взрыва, ни выстрела, все спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скрылось за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер. Одинокая былинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком чернозема, обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы, важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье.

Аисты часто прилетают сюда в погожую предвечернюю пору и кружатся, наверно высматривая какое-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто, по извечному обычаю, в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у приречных болот, на всех полях и дорогах — люди. Не успевают птицы сколько-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди, высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули, аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат.

Без аистов синее небо становится пустым и скучным, в нем не за что зацепиться взгляду, я прищуриваюсь и дремотно притихаю.

Вдруг на бруствере что-то резко щелкает, будто невидимый хлыст бьет по иссохшей пыльной земле, и я, вздрогнув, пробуждаюсь от сонливой задумчивости. В окопе по-прежнему тихо, все спят, только на ступеньках ерзает что-то Лешка Задорожный, наш заряжающий.

Он в нижней рубашке с незавязанными и разметанными на широкой груди тесемками; голые до локтей, сплошь покрытые татуировкой руки его держат промасленную гимнастерку, на вороте которой болтается непришитый конец подворотничка. Лукавые Лешкины глаза на круглом бровастом лице часто мигают, как это бывает у провинившегося в чем-то человека.

— Собака! — неизвестно к кому обращаясь, говорит Лешка. — Смотри же! Я тебя подразню.

Он кладет на ступеньки гимнастерку с надраенным до блеска гвардейским значком и хватает стоящую рядом лопату. Я не успеваю еще сообразить, что к чему, как Лешка тихонько высовывает из-за бруствера точеный ее черенок.

«Чвик!» — и на бруствере вдребезги разлетается сухой ком земли.

Лешка вздрагивает, но, заметив, что я увидел его проделку, озорно улыбается и уже смелее высовывает из окопа лопату. Где-то в неприятельской стороне слышится выстрел, и одновременно новая пуля откалывает толстую щепку от лопаты.

— Не порть инструмент, — говорю я Лешке. — Нашел занятие!

— Не-ет! Уж я его подразню, собаку!..

Он снова выставляет лопату. В то же мгновение четко слышится: «чвик», «чвик», — и с бруствера брызжет земля.

— О, законно! Позлись, позлись! — довольно говорит Лешка.

Он хочет сказать и еще что-то, но не успевает раскрыть рта, как устоявшаяся над окопом тишина нарушается грохотом крупнокалиберного пулемета. Песок, комья земли и клочья кукурузы разлетаются с бруствера, сыплются на лица, головы, спины спящих в окопе людей. Но очередь короткая, она вдруг утихает, и ветер медленно сдувает с бруствера пыль.

— Что это? Что за безобразие? — кричит из дальнего конца окопа наш командир орудия старший сержант Желтых.

Как и все, он спал, но, очевидно, командирское чутье подсказало ему, что кто-то провинился. Пригнувшись, без ремня, в расстегнутой гимнастерке, на которой позвякивают полдюжины медалей, он перелезает через спящие тела к Лешке.

— Тебе что, тесно в окопе? — со сдержанной злостью спрашивает он заряжающего. Тот сидит внизу, присыпанный землей, и, обнажая свои красивые широкие зубы, нагловато ухмыляется:

— Да вон Ганс! Чуть иголку из пальцев не вышиб, зараза!

— Иголку у него вышиб! Все баловство! Ты что, сосунок? Объяснить тебе, что к чему?

С минуту Желтых зло и неподвижно смотрит сверху вниз на Лешку. Однако тишина больше не нарушается, и старший сержант, успокаиваясь, начинает отряхивать с головы и усов песок. Потом он переводит все еще недовольный взгляд на нас — его подчиненных. Глаза у командира маленькие, неопределенного, будто вылинявшего, цвета, они остро смотрят из-под мохнатых строгих бровей: пожилое, синее, побитое порохом лицо его не предвещает добра.

— Чего разлегся? — вдруг босой ногой он толкает меня. — Не на курорте. А ну, марш наблюдать!

Я не торопясь поднимаюсь с шинели, в душе ругая Лешку за неуместную шутку, а командир стоит и хмуро оглядывает остальных.

— А ты, Одноухий! Нечего притворяться: вижу, не спишь! Подъем! — командует он снарядному Кривенку, который, надвинув пилотку на смуглое, перекошенное шрамом лицо, неподвижно лежит на дне окопа. Но Кривенок не шевелится, и Желтых, наклонившись, дергает его за рукав.

— А ну, подъем!

Солдат нехотя раскрывает сердитые глаза.

— Не понукай! Не запряг!

— Что не запряг: подъем, говорю!

Кривенок лениво встает и, удобнее устраиваясь под стенкой окопа, ворчит:

— Порядочек! Не успеешь вздремнуть — подъем...

Желтых переводит взгляд в угол на остальных, но там уже будить никого не надо. Молчаливый и тощий как жердь Лукьянов тихо сидит на шинели, усердно хлопая глазами и делая вид, что давно уже проснулся. Как всегда, когда командир ругается, в синеватых глазах этого еще молодого, безвременно увядшего человека появляется молчаливая робкая покорность. Уголки его тонких губ вздрагивают, брови смыкаются — он явно не переносит грубости. Остальные давно уже привыкли к

командирскому крику, и им хоть бы что. Уже деловито копошится на коленях наводчик — якут Попов. Он, видно, сразу догадывается, чем все кончится, и, не ожидая приказания, вытаскивает из ниши ящик с недочищенными накануне снарядами. Вид у него несколько надутый, недовольно-заспанный, широкое скуластое лицо сосредоточенно, веки узких глаз припухли.

— Ну, а вы чего смотрите? — покрикивает Желтых на остальных. — Думаете, калач дам? Задорожный, Лукьянов, Кривенок, за работу!

Бойцы не спеша берутся за дело.

Кривенок, тяжело вздохнув, подступает к раскрытому ящику. Через всю его щеку, от рта до уха, ярко краснеет обезображивающий лицо шрам — недавний след минного осколка; на месте начисто срезанного уха лишь небольшое отверстие. Попов с Лукьяновым уже протирают ветошью снаряды. У Попова это получается сноровисто и ловко, натренированные его руки так и мелькают вдоль блестящих латунных гильз. Лукьянов же вял и медлителен, одной рукой поворачивает скользкий снаряд и неуверенно трет его тряпкой, брезгливо сжатой между двумя пальцами; Кривенок пристраивается рядом. Только Задорожный, натянув на круглые плечи тесноватую гимнастерку, проходит по окопу мимо работающих.

— Ерунда! И втроем управятся!

Он садится в конец окопа и принимается за свое любимое занятие: сдвинув пониже, разминает на лодыжках кирзовые голенища новых сапог. Эти с особенным шиком пригнанные сапоги, коротенькая, подрезанная снизу гимнастерка, широченные суконные галифе цвета хаки, а также лихо сдвинутая на самое ухо пилотка заметно выделяют Лешку среди нас. Кажется, он чувствует в этом немалое свое превосходство над остальными, и потому с его подвижного лица не сходит беззаботно-озорная улыбка.

Желтых, явно любуясь в душе его нагловато-щегольской независимостью, беззлобно ворчит про себя:

— Лодырь... Сачок... Ну, смотри мне, футболист!

2

Мы — «сорокапятчики». Еще нас называют ПТО (противотанковое орудие), чаще «пушкари», а то и «прощай, родина». Последнее обижает и злит нас, и мы ука-

зываем тогда на нашего командира старшего сержанта Желтых, который воюет в батарее с сорок первого, и ничего — жив, здоров. Но, видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за три года, обновились оружие и тактика, другими уже стали немецкие танки, появились «тигры», «пантеры», «фердинанды», а сорокапятка у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порою нам бывает несладко, а некоторым и в самом деле приходится прощаться с родиной.

Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лешка, и осторожно высовываю из-за бруствера острый кончик «перископа-разведчика». В маленьком его глазке отражается хорошо знакомая местность — не запаханное с весны, заросшее лебедой и пыреем поле, изрезанное серыми гривами окопов и ходов сообщений. За ними на нейтралке едва заметна в траве извилина пересохшего ручья, возле него ржавеет закопченный, с настежь открытыми люками танк. Дальше горбятся неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них, нам уж не видно, зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади — узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим — упирается в недалекую тыловую деревню. (От деревни, правда, осталось одно название. После недавних боев на месте ее мазанок высятся груды глины, торчат вывороченные обгоревшие бревна, и зарастают травой подворья, на которых бродят голодные кошки. Жители ее ушли куда-то на север.)

Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пушчонку, возле которой вырыт небольшой, в пять шагов, окоп-ровик.

Старший сержант, однако, у нас незлопамятен и вскоре успокаивается. Свернув цигарку почти с крупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы сизого пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтых иногда вечером приносит килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждает Задорожный, что-

бы накуриться нашему командиру, надо свернуть цигарку размером чуть ли не с гаубичный ствол.

— Слушай, Лукьянов, — хитро поглядывая сквозь дым, говорит Желтых. — Ты не парикмахером до войны был?

— Нет, — грустно отвечает Лукьянов. — Я в архитектурном учился.

— А-а... А я думал, парикмахером. Уж очень ты деликатно тряпку держишь, — говорит Желтых и вдруг прикрикивает: — А ну, три сильнее! Не разорвется, не бойся!

Лукьянов смущенно прикусывает губу и начинает тереть быстрее, но смазанный снаряд выскальзывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке.

— Ну вот, разиня! — машет рукой Желтых. — Тоже, архитектор... Иди сюда, другую работу дам.

Солдат вытирает снаряд, потом о подол гимнастерки — руки, а Желтых расстегивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую карточку ПТО.

— Вот что... На, нарисуй как следует. А то приходят, спрашивают, почему неаккуратная. В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет грамотеев: футболист, архитектор, учитель вон, — не забывает он намекнуть и на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. — Только лодыри все: лишь бы дрыхнуть.

Лукьянов заметно оживляется: новая работа ему по душе. Поджав под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движения его тонких пальцев обретают уверенность, лицо проясняется, только в уголках бледных губ все еще таится тихая скорбь. Желтых сидит напротив и с затаенным любопытством следит за движениями его карандаша.

— Вот тут, вижу, ты мастер. И куст как раз двойной, будто спаренный... И танк — вылитый «тигр». Хорошо!

Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка: ничего особенного, обыкновенный чертеж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить. Хоть он и командует расчетом, но образование у него, кажется, не то два, не то три класса, и мы никогда не видели, чтобы Желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчета

(именной список, карточку ПТО, отчет по снарядам), ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову, Попову или мне, а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный — испытанный авторитет по части разных наук. Даже Задорожный, который вообще не признает никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин, сколько лет Большому театру в Москве, кому перед войной проиграл московский «Спартак», или кто такая Мария Стюарт. Лукьянов обычно сдержанно выслушивает вопрос, потом, вздохнув, коротко ответит, но всем нам ясно, что знает он еще множество куда более значительных и сложных вещей.

На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен, многое пережил и теперь какой-то надломленный, обиженный, но, кажется, неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало.

Куда понятнее нам Лешка Задорожный, хитрец, лежебока и ловкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а все треплется да охорашивает себя. Но Задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. Правда, он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь и тогда больше всех перепадает тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный, к кому Лешка относится с некоторым уважением (после командира, конечно), — это якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нем следует сказать отдельно.

Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик. Все наши неудачи происходили по разным причинам, но все успехи — подбитые в последних боях два танка, сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы — дело ловких рук и зорких глаз Попова. Глаза у него действительно очень зоркие, других таких на батарее нет. Такие же особенные у него пальцы — ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он все время мастерит что-нибудь: то футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звездочкой. И все у него выходит настолько добротно и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен, даже въедлив в мелочах, особенно ког-

да ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас и себя, и мы злимся в душе на такую его чрезмерную усердность.

Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит Попова, а чаще всего меня, или Лукьянова, либо Лешку, если, конечно, тот не отговорится.

Вот так и живем мы, небольшой орудийный расчет, шесть человек, валяемся долгие дни в узком окопе-ровике и с нетерпением ждем вечера с его несколько иными, чем днем, заботами.

3

Прежде всего: голод — не тетка.

К вечеру мы все так голодны, что не помогают ни курево, ни увесистые головы подсолнуха с мягкими, еще не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга — каша, которую поев, мы все дружно охаиваем, — кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб — черствый, колючий, пополам с кукурузной мукой. Вот и теперь в нише на верхнем снарядном ящике лежит высохший остаток чьей-то недоеденной пайки, и каждый из нас время от времени поглядывает туда. Первым, конечно, не выдерживает Лукьянов. Перестав на минуту чертить, он испачканными пальцами как-то стыдливо тянется к хлебу и, не глядя ни на кого, спрашивает:

— Никто пожевать не хочет?

Коротко взглянув на него, мы все молчим.

— Так я съем, — тихо говорит Лукьянов.

И он жует этот кусок, с усилием двигая челюстями под тонкой кожей худых щек, а мы глотаем слюну и отводим взгляды в сторону.

Лукьянов только недавно вылез из-под шинели — дважды в день, утром и вечером, его трясет малярия, и только к ночи он немного приходит в себя. Мы молча прощаем ему эту несдержанность, понимая, что в плену ему пришлось хлебнуть горя. Хлеб он съедает до последней крошки и поглядывает на небо, еще полное золотистого отсвета заходящего солнца. На стене же окопа и на бруствере уже нет ни одного лучика — все внизу за-

стлано тенью. Откуда-то тянет прохладой, медленно наступает вечер.

Все мы нетерпеливо ждем того часа, когда на землю опустится ночь. Ждет его и Желтых — ночью он ходит к начальству или в пехоту, где у него много друзей и знакомых, ведь старший сержант — ветеран полка. Ждет вечера и Попов. Сразу, как только стемнеет, он вылезает из окопа и начинает хлопотать возле пушки — протирает запыленный казенник, прицел, вытряхивает чехлы и обновляет маскировку. Лешка вечером, словно молодой медведь, валяется на траве или бродит возле огневой в поисках мелких приключений. При удобном случае он не преминет улизнуть в деревню, где ему удается иногда раздобыть вина и закуски. Лукьянов, как только приносят ужин, наедается и тихонько пристраивается подле окопа, уйдя в свои затаенные думы. Я тоже жду того часа, когда можно посидеть в тишине на бруствере и вслушаться в ночь, всегда полную далеких и близких, явных и загадочных звуков. Но в их бесконечном множестве я стараюсь уловить шаги — легкое шуршание по знакомой тыловой тропке. Я жду их долгие, мучительные сутки, жду, сам не зная почему, наперекор своей воле...

Между тем быстро темнеет. Вечер гасит в небе золотисто-опаловый свет, с востока наплывает и ширится глухая синевато-сизая тень, окоп погружается в сумерки. В снарядной нише и под палаткой, которой накрыт дальний конец нашего убежища, уже ничего не видно, значит, пора вылезать. Желтых, встав на колени, подпоясывается широким румынским ремнем со множеством дырочек, небрежно одергивает гимнастерку и глуховато командует:

— А ну, собирайсь за ужином! Пойдут сегодня... — На момент он замолкает, оглядывает нас. — Пойдет Лукьянов и...

Желтых секунду раздумывает, кого назначить вторым, но рядом вскакивает Лешка:

— И я, командир!

— Чего это ты такой быстрый? — удивляется старший сержант.

Лешка горделиво выпячивает крутую широкую грудь, большими пальцами ловко сдвигает под пряжкой сборки: воротник его франтовато расстегнут и белеет свежей полоской марли.

— Нужно, — улыбается Лешка и подмигивает одним глазом.

— А-а-а, — догадывается Желтых. — Известно... Ну что ж, дело молодое. Не то что нам, старикам...

«Черт бы его взял, этого хвата Лешку, — думаю я, — всегда он первый». Сегодня на батальонной кухне дежурит Люся, санинструктор, младший сержант медицинской службы — та самая наша Синеглазка, которую так жду и я и которую первым увидит Лешка. Сразу становится скучным весь этот долгожданный вечер, не радует и предстоящий ужин.

— А что же, законно! — повторяет Лешка свое любимое словцо и, бесцеремонно расталкивая нас, пробирается к выходу.

Мы вылезаем из окопа. Сумерки уже плотно застлали землю, вблизи еще видны кукурузные кучки и кое-где черные глазницы воронок, но вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато-сумеречном тумане, и в небе загораются первые одинокие звезды. Удивительно, как хорошо тут — привольно и широко, как много воздуха! И я думаю, как мало надо человеку, чтобы почувствовать незамысловатую прелесть жизни, коротенькую, на несколько минут, радость. Потом эта радость исчезнет, человек слишком быстро привыкает к хорошему и перестает ощущать его.

Пехота тоже задвигалась. Кто-то зовет какого-то Солода, в сумерках брящает оружие, слышится приглушенный топот ног. Собрав котелки, Задорожный с Лукьяновым уходят по тропке к полоске подсолнуха в тыл.

Скоро ужин. Я ложусь на закиданный кукурузой бруствер и гляжу вверх. В высоком и еще прозрачном небе горят россыпи звезд, но их как-то мало, совсем не то что зимой. Широко и раздольно поблескивает ковш Большой Медведицы. По давней школьной привычке я провожу от его края прямую и нахожу Полярную в хвосте Малой Медведицы. Там, далеко на севере, в стороне от отрогов Карпат, что в похожий день синеватой дымкой выступают на горизонте, лежит мой край, моя истерзанная Беларусь. Скоро исполнится год, как я оставил ее. Беспомощного, спеленатого бинтами, с перебитым бедром, самолет перенес меня в тыл, добрые люди выходили, я снова взял в руки оружие, но там остались мои земляки, мои старенькие родители, остались в лесах партизаны родного отряда «Мститель». Я не попал к ним

обратно — военная судьба забросила меня на фланг огромного фронта в Румынию, но — что поделаешь — моя душа там, в далекой лесной стороне. Как аист, кружит она над ее полями, перелесками, большими и малыми дорогами, над соломенными стрехами ее деревень. Днем и ночью стоят перед моими глазами синеокие озера нашего края, шумливые дремучие боры, полные всякого зверья и птиц, поживы в ягодную, летнюю и осеннюю грибную пору, столь памятные загадочными детскими страхами. Но то было давно, в полузабытое и непостижимо беззаботное время, когда на земле был мир. Теперь все изменилось. Теперь в черной тоске молчат деревеньки, пустуют поля, а на западе над борами еще катится голосистое эхо партизанских боев. Другой, суровой и беспокойной жизнью живет теперь моя Беларусь, непокоренная, героическая, славная многотрудными делами тысяч своих сражающихся и павших сынов и дочерей. И я всегда ношу в себе молчаливую гордость за них, скромных моих земляков, и знаю, что я в большом неоплатном долгу перед моей землей и моим многострадальным народом. Но я только солдат, — видимо, час не пробил еще, и я жду, терпеливо и долго.

Рядом на жесткие стебли маскировки опускается Кривенок. Он не ложится, как я, а молча сидит и вглядывается в ночь. Мне снизу хорошо видна его настороженная и какая-то чутко-нервная худая фигура; голова у Кривенка большая, лобастая, пилотка надета поперек. Парень он с норовом, молчун и, как говорит Лешка, совершенно без чувства юмора, поэтому они принципиальные противники. Меня также не очень располагает его характер, но мы тут самые молодые с ним, это невольно и без слов дружески связывает нас. И еще: с самого начала войны наши сердца глухи к слову «почта». Мы не бросаемся, как все, к солдату, который приносит из штаба письма, никто никогда не прислал нам ни одного треугольника. Мои родители в оккупации, у Кривенка их нет совсем.

Но вообще он неплохой товарищ, хоть и упрямый. Правда, из-за своего упрямства Кривенок уже не раз был наказан. Как-то, возвращаясь из санбата, где ему залечили рассеченное лицо, он встретил разведчиков с двумя немцами. То были «языки», за которыми ребята несколько ночей подряд ползали в тыл к врагу и теперь, довольные удачей, вели пленных в штаб. Но где Кри-

венку было разбираться в этом, если еще болела щека и жажда мести распирала его душу. Он набросился на пленных. Взбешенные хлопцы едва спасли «языков» и вместе с ними привели в штаб Кривенка, под глазом которого расплывался багровый синяк.

В штабе его долго ругали разведчики, начальники служб и, наконец, для окончательного разговора привели к командиру дивизии. Тот так же, не щадя, отчитал солдата, но Кривенок не промолвил ни слова в свое оправдание, все молчал, и полковнику, наверное, показалось, что он раскаивается. Вдоволь покричав, командир спросил:

— Ну, ты понял? Будешь еще самоуправничать?

Солдат, насупив изувеченное лицо, молчал.

— Я спрашиваю! Отвечай!

— Попадутся, все равно поубиваю, — мрачно пообещал Кривенок.

Этот ответ и решил судьбу упрямого солдата. Кривенок попал в штрафную роту, где ему, однако, посчастливилось — провоевал три долгих месяца и даже не был ни разу ранен. Потом на бесчисленных дорогах войны он все-таки отыскал свою часть и однажды с трофейным пулеметом на плече заявился на батарею. Желтых ворчливо пожурил хлопца и зачислил его в пулеметчики, разумеется, по совместительству с обязанностями орудийного номера.

— Слушай, Кривенок, — спрашиваю я, — откуда ты родом?

— А ниоткуда.

— Как это?

— А так. Родился под Смоленском. А потом, когда мать умерла, где только не побывал. Все детдома обошел.

— Плохо все же так... без родного угла.

— А на черта мне угол. Тебе много пользы от него?

— Много, — говорю я, подумав.

— А мне плевать. Гадов бить всюду одинаково, — ворчит Кривенок. Голос у него раздраженный, отрывистый.

— Чего это ты нервный такой? — как можно добродушнее спрашиваю я.

Но Кривенок только ругается:

— А ты не будешь нервный?.. Расписать тебе морду так — небось занервничаешь.

— Люди с разными лицами живут.

— Живут! — Он ерзает на комьях и глядит в сторону, опершись на локоть. — Знаю, как живут. Каждому от тебя отвернуться хочется.

— Это ты напрасно. Девок же у нас нет. Чего стыдиться?

— Девок, девок! — едва слышно ворчит Кривенок. — Плевать мне на девок.

Однако он заметно нервничает, швыряет в темноту ком земли, вытягивается на бруствере и снова садится.

— Да и тут... Люська эта ходит...

Так вот в чем дело! Это правда, она всегда меняется, становится более сдержанной и мрачнеет, когда встречается взглядом с Кривенком, хотя ведет себя с ним, как и со всеми. Да и Кривенок, кажется, старается быть подальше от нее и никогда не заговорит, не поздоровается. И вдруг меня осеняет догадка, от которой холодеет на сердце. Неужели? Но, видимо, так. И Кривенок будто в подтверждение моей мысли говорит:

— Как к малому или больному ко мне... Раньше такая не была.

«Ну вот! Так оно и есть. И ему она не дает покоя в жизни», — думаю я. Теперь понятно, отчего он такой нервный и грубый, особенно когда появляется Люся.

Затаив дыхание, я жду, что еще скажет он, но Кривенок молчит, и я тоже умолкаю. Что я могу сказать ему? Сказать, что и мне она снилась дважды, что и я вот теперь лежу и думаю: придет ли? Так хочется видеть ее, слышать, чем-нибудь угодить ей. Необыкновенная, непонятная и никогда прежде не испытанная нежность к этой девушке наполняет меня.

Эх, Люся, Люся! Когда я пришел в полк, она была на батарее санитарным инструктором. Я видел девушек-санинструкторов и в других подразделениях; они, казалось мне, несколько свысока относились к нашему брату — солдату и больше тянулись к офицерам. Это было понятно, но это и отталкивало нас. Синеглазка же была простая, удивительно общительная и ко всему еще очень красивая девушка. Невысокая, подвижная, с виду совсем еще девчонка лет шестнадцати, она вела себя так, будто не знала, какая на самом деле хорошая. У нас она пользовалась всеобщим уважением: и у бойцов, и у командиров, молодых и постарше. Мы чуть ли не наперебой старались сделать ей что-либо приятное, как-нибудь

облегчить нелегкую ее фронтовую жизнь. Правда, она не из тех, кто принимает ухаживания и заботы. Усердная в службе, Синеглазка сама задавала нам немало хлопот своими заботами о нашем здоровье, быте, гигиене. Видно, потому, а может, по какой-нибудь другой причине начальство и решило забрать ее в полковую санчасть. Ее перевели от нас, но никем не заменили, а девушка не забывает своей батареи, почти каждую ночь прибегает к нам, и, наверное, половина из нас тайком влюблена в нее. А она будто и не замечает того — по-прежнему со всеми одинаково весела и, как всегда, заботится о нашей окопной жизни. И все же порою кажется мне, что это не совсем так, что кто-то приворожил ее сердце, иначе не присохла бы она так к нашему расчету.

Мы молчим и терпеливо ждем, сторожко вслушиваясь в неясные звуки ночи, — только тех, привычных и желанных нам звуков не слышно.

— Да... Ну что же, — отвечает Кривенок на какие-то свои мысли. — Поздно уже.

У меня ноет, щемит сердце, и все думается, что сегодня Люся уже не придет.

4

Но она все же приходит.

Приходит, когда мы уже почти теряем надежду увидеть ее и молча, уныло сидим на бруствере. Рядом на огневой лязгает затвором Попов. Желтых стоит на площадке между станин и по-стариковски глухо покашливает. Мы ждем наших ребят с ужином и наконец слышим в сумерках знакомые голоса. Полные котелки теперь уже не брякают, бойцы мягко ступают резиновыми подошвами своих кирзачей, все явственнее доносится их говор, и мы вслушиваемся. Что-то невнятное тихо произносит один голос, — наверное, Лукьянов, потом отзывается второй, погромче, — это Задорожный, и вдруг слышится тоненький девичий смех. Кривенок вздрагивает и напряженно вглядывается в темноту.

— Ужин идет, — как всегда глуховато, но с заметной живинкой в голосе объявляет Желтых. — А ну, давай тяни палатку! — И вынимает из кармана ножик с деревянным черенком.

Этим ножом старший сержант, как отец в большой семье, режет для нас хлеб, открывает консервы, колет сахар.

Пока Кривенок отряхивает запыленную за день плащ-палатку, они подходят втроем. Лешка весело зубоскалит, явно адресуясь к Люсе, и она приглушенно, радостно смеется.

— Полундра! — еще издали шутливо кричит Задорожный. — Ложки к бою, гвардейцы!

— Добрый вечер, мальчики, — доносится из темноты такой необычный тут своей задушевностью девичий голос. Мы разноголосо здороваемся:

— Здрасте!

— Добрый вечер!

— Законно! Вечер на пять! — развязно объявляет Задорожный. — Вот ужин. А вот Люсик. Отведать, проведать и так далее.

Он ставит на землю котелки с супом и чаем. Лукьянов вынимает зажатую под мышкой буханку и кладет на разостланную Кривенком палатку. Но мы уже забыли, что проголодались, сидим и смотрим на нашу долгожданную гостью. А она тут как дома, опускается на колени рядом с Желтых, снимает и расстегивает свою толстенькую медицинскую сумку.

— Молодец, Люська, — довольно говорит Желтых. — Не забываешь старых друзей.

— Ну как же я могу забыть вас, — улыбается Люся. — Вот мазь принесла. У нас не было, так попросила, привезли из медсанбата... Мазать три раза в день. И бинт, пожалуйста, новенький, для перевязки.

— Ну, спасибо. Но ведь сколько я этих мазей уже перемазал...

Желтых рад ее заботе, довольно сопит и сует баночку в карман. У командира на ноге экзема, которая особенно беспокоит его в жаркие дни. Люся настойчиво лечит Желтых уже не одну неделю.

— То была так себе. А эта новая... — уверяет Люся. — Только не лениться, мазать, три раза в день... Вот еще, забыла: комиссия в четверг, так что, может, отпуск получите.

— Ого! — не выдерживает Лешка. — Вот это да! На Кубань. К Дарье Емельяновне! Возьми меня в адъютанты. А, командир?

— Ладно!.. Рано еще ржать, — говорит Желтых и, позванивая медалями, принимается за хлеб. — Думаешь, комиссуют? В медсанбат положат да мази пропишут.

— О, тоже неплохо! Медсанбат! Сестрички-лисички.

Не хуже Емельяновны, — паясничает Лешка. Примерившись, он норовит выхватить из-под ножа командира горбушку, но Желтых бьет его по руке.

— А ну погоди! Порядка не знаешь.

Возле Люси, несмело переминаясь с ноги на ногу, стоит Попов.

— Товарищ Луся. Сильно тебя просить хочу, — говорит он и смолкает.

— Ну что, Попов, говорите.

— Жена письма не слал. Почему не слал — не знай Попов. Надо штаб документ пиши. Бумага печатку ставь.

— Послать запрос? — догадывается Люся.

— Вот, вот, запрос...

— Хорошо. Попрошу завтра в штабе. Скажите мне адрес.

Попов чешет затылок и вздыхает.

— Якутия. Район Оймякон...

— Боится, чтобы жена к шаману не перебежала... Пока он тут кукурузу ест, — подтрунивает Лешка.

Люся с обидой упрекает его:

— Ну что вы, Задорожный. Все с шутками.

— Жена нету ходи шаман. Шаман нету Якутия, — серьезно говорит Попов, делая ударение в слове «Якутия» на «и».

— Не слушайте его, Попов. Я все сделаю завтра, — просто обещает Люся и закрывает сумку.

— Ну, дочка, садись ближе, поужинай с нами, — приглашает ее командир. Однако Люся поднимается с земли.

— Нет, нет, вы ешьте. Я уже... — Она берется за сумку, и мне вдруг становится нестерпимо грустно оттого, что Люся вот-вот уйдет и я останусь в ожидании нового далекого вечера. Девушка спешит и старается на ходу закончить свои дела.

— Лукьянов, вы все болеете? А как у вас с акрихином? Весь выпили?

— Еще на два приема, максимум, — тихо и тоже с затаенной грустью отвечает Лукьянов.

— Этого мало. Возьмите еще немного. Только принимать регулярно. А то некоторые выплевывают...

— Ого! Из таких ручек выплевывать? — притворно удивляется Лешка. — Вот никакая холера не берет! А то из твоих, Синеглазка, ручек по килограмму этой отравы съедал бы. Ей-богу! Чтоб я сдох!

— Ох и весельчак же вы, Задорожный! Насмешник! — улыбается в темноте Люся.

Желтых тем временем раскладывает на палатке шесть ровных солдатских паек и, видя, что мы медлим, привычно покрикивает:

— Ну, чего ждете? Калача? А ну, хватай, живо!

Задорожный огромной пятерней хватает горбушку, сразу надкусывает ее и, по-восточному скрестив ноги, усаживается возле палатки. Степенно берут по пайке Попов и Лукьянов, поудобнее устраивается на земле командир. Только мы с Кривенком неподвижно сидим на бруствере.

— Нечего дремать — суп остыл. Налегай, гвардия! Синеглазка, пожалуйста, ко мне, будем на пару, так сказать, есть и так далее, — с легкостью провинциального ухажера обращается Лешка к девушке.

Люся, однако, пробует его обойти.

— Нет. Вы ешьте, а мне еще в другой расчет, к Степанову нужно.

— Без тебя? Ни в жисть, — вскакивает и преграждает ей путь Лешка. — Ну хоть пробу снять. Одну ложечку...

Люсе, видно, совсем не хочется есть, но попробуй отвяжись от этого Лешки. Кривенок неподвижно сидит на бруствере и безучастно глядит, как распинается Задорожный. Мне тоже почему-то неприятно и уже хочется, чтобы Люся не послушалась Лешки и ушла. Но она не уходит. Лешка деликатно и уверенно берет девушку за узенькие плечи и подводит к своему месту возле палатки. Мне кажется, что она оттолкнет его нахальные руки, я уже хочу крикнуть: «Отвяжись, нахал!» — но Люся вдруг послушно и легко садится с ним рядом. Лешка доволен, он добился своего и, враз сменив притворно ласковый голос на грубый, кричит в нашу сторону:

— Эй, Кривенок! Не ешь — дай ложку!

— Иди к черту, — бросает Кривенок и вытягивается на земле.

Я вынимаю из-за голенища ложку и протягиваю ее Люсе. Люсе она, конечно, не достается — Задорожный вырывает ложку из моих рук, а свою с нагловатой услужливостью сует девушке.

— Ну, я только попробовать, — смеясь и, кажется, довольная его вниманием, говорит Люся. — Раз вы такие гостеприимные...

— Мы? Го-го! Мы и самого румынского короля кукурузой накормили бы. Котелок бы облизал! — хвастает Задорожный. Люся зачерпывает суп. Какое-то время все молчат, работая ложками, потом Желтых объявляет:

— А кулеш как будто ничего: есть можно... Ну, что там слышно в ваших медицинских тылах? — спрашивает он девушку. — Скоро ли нам, дармоедам, в наступление? А то всю румынскую кукурузу поедим.

— Ерунда! Куда спешить?! От кукурузы это не зависит, — говорит Задорожный.

Но Желтых не терпит, когда ему возражают:

— Много ты понимаешь: не зависит! А ну скажи, Лукьянов, зависит ли наступление от харчей?

— Безусловно, — тихо отвечает Лукьянов. — Харч — экономический фактор, составной элемент, так сказать, всех действующих на войне сил...

Люся слушает их разговор, съедает несколько ложек супу и, взглянув в нашу сторону, говорит:

— Что же это: я ем, а хлопцы голодные.

— Не помрут, потерпят! — бросает Лешка.

— Ну как же! Идите кушать, ребята, — зовет Люся.

— Сиди, говорю! Они не голодные. Лозняк, ты голоден, что ль?

— Сыт! — кусая губы, зло говорю я.

— Ну вот видишь: он сыт!

— Ой, неправда. Притворяется, — говорит Люся, оглядываясь.

Я молчу.

— Павлик, а ты чего заупрямился сегодня? — ласково говорит она Кривенку.

— А ничего.

— Иди кушать.

— Ладно, отстань.

— Ну, что это вы такие, мальчики? Тогда это оставьте им.

Люся решительно забирает с палатки хлеб, котелок с остатками каши и идет к нам.

— Ешьте, — просто говорит она, подавая мне котелок, хлеб и ложку.

Кривенок что-то хмыкает и начинает закуривать. Курить открыто нельзя, но парень, видимо, забывает об этом и ярким огоньком раздувает цигарку.

— А ну, осторожней там! — строго прикрикивает Желтых. — Закочегарил!

— Будем есть? — тихо говорю я Кривенку, но он не отвечает, а все курит, курит.

«Вот тебе и радость, — думаю я. — Вот и дождались...»

С болью и досадой я поглядываю на тусклую в сумерках фигуру Люси, с ненавистью — на Задорожного и не могу понять, как это она не видит его наглости, не замечает пошловатых шуток, относится к нему так, будто он тут лучший среди нас, и мне даже кажется, что ей хорошо вот так сидеть с ним рядом и есть суп.

— Ну, вот что! Поужинали — дай бог позавтракать, — говорит Желтых, вытирая усы, и принимается за второй котелок. — Теперь будем пить чаек...

Но попить чаю ему не удается. Не успевает он снять крышку, как вверху неожиданно и визгливо звучит: «И-у-у... И-у-у!»

«Тр-рах! Тр-рах! Тр-рах!» — гремят в темноте вокруг нас взрывы. Горячие волны бьют в спины, в лица, обдают землей. Близкое пламя на мгновенье вырывает из темноты испуганные лица, ослепляет. И снова в воздухе: «И-у-у... И-у-у!»

— Ложись! — властно кричит Желтых. — В окоп!

Я переваливаюсь через бруствер и падаю вместе со всеми в черную тьму окопа. Кто-то наваливается на меня, больно ударив каблуком в спину. Земля под нами рвется, вздрагивает раз, второй, третий... По головам, согнутым спинам ударяют комья земли, и снова все утихает.

— Собаки! — говорит в напряженной тишине Желтых. Расталкивая нас в темноте, он начинает вставать. — Засекли или наугад?

За командиром шевелятся остальные, кажется, все целы.

— О господи! И напугалась же я, — вдруг совсем рядом отзывается Люся, и я вздрагиваю — ее теплое, слегка дрожащее тело только что прижималось к моей спине. С непонятной неловкостью я отстраняюсь и, обрушивая землю в окопе, даю место девушке.

Мы все встаем, вслед за Желтых начинаем вылезать на поверхность. А возле плащ-палатки, будто ничего не было, спокойно доедая свой суп, сидит Лешка.

— Ну и быстры же на подъем! — язвит он. — Трах-

бах — и уже в траншее. Вояки! Одним лаптем семерых убьешь.

Ему никто не отвечает. Желтых стоит, вслушиваясь в тревожную тишину. Впереди над холмами взлетает первая за сегодняшний вечер ракета. Теряя огневые капли, она разгорается, полминуты мигает далеким дрожащим огнем и гаснет.

— А ты не очень-то! — говорит Желтых. — Гляди, кабы боком не вылезло. Дошутишься.

— Ха! Двум костлявым не бывать — одной не миновать. Подумаешь!..

Ребята снова усаживаются вокруг палатки, опасливо поглядывая в сторону немцев, а Люся, видно еще не успокоившись, стоит на выходе из окопа.

— Ой, неужели вы не боитесь? — спрашивает она Задорожного.

— А чего бояться?

— Завидую смелым, — говорит Люся и вздыхает. — А я все не привыкну... Трусиха такая, ужас...

И тут я вижу Кривенка: он сосредоточенно и молчаливо сидит на прежнем месте и курит из кулака. Однако его безрассудная храбрость, кажется, остается никем не замеченной.

Задорожный тем временем, с аппетитом облизав ложку, встает во весь рост, потягивается и снова обращается к Люсе:

— Смелее, Люсик! С нами не пропадешь! Идем провожу тебя до второго расчета.

— Нет, спасибо, я сама, — отвечает Люся. — Где-то моя сумка? Не помню, куда и бросила.

— Здесь сумка, — каким-то приглушенным голосом впервые отзывается Кривенок. Лешка, однако, выхватывает из его рук сумку и подает Люсе. Она надевает ее через плечо и обходит огневую, чтобы выйти на тропку, ведущую во второй батальон. Рядом идет Задорожный.

— Спасибо за ужин, мальчики. До свиданья.

— Ауфвидерзей, — развязно бросает нам Задорожный. — Я на секунду.

— Приходи почаще, — говорит Желтых Люсе. — Не забывай нас!

Я подхожу к Кривенку, поднимаю с земли опрокинутый котелок. Потом сажусь рядом и начинаю медленно жевать сухую горбушку хлеба.

5

К полуночи всходит луна.

Она как-то незаметно выползает из-за горизонта и, взбираясь все выше, начинает свой неторопливый путь по светловатому июльскому небу. Небо так и не потемнеет до утра, оно все светится каким-то неярким внутренним светом, едва притушенным дымчатой синевой ночи. Теплый южный ветерок несет с собой неясные шорохи, непонятные, похожие на человечьи вздохи, отголоски далекого гула, будто где-то грохочет танк или надрывается на подъеме машина. Далеко, видно, по ту сторону Прута, в небо взлетают тоненькие пунктиры трассирующей очереди и гаснут один за другим, будто скрываются за невидимую тучку.

Вслушиваясь в ночь, мы сидим возле запорошенной песком плащ-палатки, на которой уже не осталось ни крошки пищи. Желтых, откинувшись на бок, сладко затягивается из пригоршни цигаркой, рядом опускается на землю Попов. Лукьянов остатками чая моет котелки — сегодня его очередь. Лешка, вернувшись из недалеких проводов, валяется на земле, сопит и стонет от избытка силы и какого-то душевного довольства. Один только Кривенок не подходит к нам и молча сидит на отшибе, на краю бруствера.

— Любота! — говорит Желтых с удовлетворением в голосе. — Теперь у нас на Кубани ой как жарко! От зари до зари, бывало, в степи вкалываешь до седьмого пота, а тут лежи... спи. Поел и на боковую. Так и от войны отвыкнешь. Правда, Лозняк? Ты сколько в госпитале провалялся?

— Девять месяцев без трех дней.

— Крепко, видно, тебя тюкнуло. В ногу?

— В бедро, — говорю я.

— Та-а-ак, — неопределенно вздыхает Желтых и, подумав, добавляет: — А вообще, пропади она пропадом, война. В японскую у меня деда убило. В ту германскую — отца. Японцы под Халкиным-Голом...

— Халхин-Голом, — поправляет Лешка.

— Что? А черт его выговорит... Да. Так там брата Степана покалечило. Пришел без руки, с одним глазом. Теперь — я... Хотя тут уж ничего не скажешь. Уж тут надо. Или Гитлер тебя, или ты его. Только мне все думается: неужели и моим детям без отца расти?

— Слушай! — приподнимается Лешка. — Вот ты говоришь, война, война! Гитлер! А ты подумал, кто ты до войны был? Ну кто? Рядовой колхозник! Быкам хвосты крутил, кизяки голыми ногами месил. Точно? Ну?

— Ну и что? — настораживается Желтых.

— А то. Был ты ничто. А теперь? Погляди кем тебя война сделала. Старший сержант. Командир орудия. Кавалер ордена Отечественной войны, трех медалей «За отвагу», член партии.

— Вот сказал! — язвительно удивлялся Желтых. — Кавалер! Знаешь ли ты — у моего отца крестов было больше, чем у меня медалей, и что? А то — кавалер! — зло кряхтит на бруствере Желтых.

— Ерунда! — объявляет Лешка, беззаботно потягиваясь на траве. — Моя правда!

— Правда! Я все медали отдал бы, только б детей сберечь. А то если до нового года война не кончится — старший мой, Дмитрий, пойдет. Восемнадцать лет парню. Попадет в пехоту, и что думаешь? Молодое, зеленое — в первом же бою и сложит голову. Не пожив, не познав. А ты — «медали»! Хорошо тебе, холостяку, ни кола ни двора, сам себе голова. А тут четверо дома!

Лешка молчит, а командир вздыхает и молча глядит в темноту.

— Только и радости, как подумаешь: эта война уже последняя. Довоюем, и баста. Второй такой не будет. Не должно быть! Сам я готов на все. Но чтобы в последний раз. Чтобы детям не пришлось хлебать все то же хлебово.

— А что, пусть повоюют, — не то всерьез, не то в шутку возражает Задорожный. — Умнее будут. Война, говорят, академия.

— Академия! Сам вот сперва пройди эту академию, а потом говори.

— Ерунда! Воюют же хлопцы. И девки даже. Вон Люська, например. Чем она хуже?

— Ну и что же? Думаешь, правильно это? Легко ей, девчонке, среди таких вот, как ты... бугаев?

— А что?

— Ничего! Правда, Люся хорошая, — говорит Желтых. — Довоевать бы, и дай ей бог счастья. Она стоит...

Мы все молчаливо соглашаемся. Кто из нас скажет хоть слово против Люси? Желтых затягивается, розовый огонек загорается и гаснет в его кулаке.

— В трудной жизни выросла. В нелегкий час. А это уж так: если жизнь в молодости перетрет хорошенько — будет человек, а заласкает — пропал ни за понюшку.

— Ну, это ты загибаешь, — говорит снизу Лешка. — При чем тут жизнь? Угождает она тебе, Люська, потому за нее и тянешь.

— Угождает! — злится Желтых. — Эх ты, голова еловая! Не знаешь ты ее. А я знаю. Откуда у нее это возьмется? У нее такого и в крови не было. Отец ее вон какой герой был! Орел! Революцию у нас на Кубани делал. Восемнадцать ран имел. Рано умер. А она у чужих людей росла. Думаешь, сладко было? Потому и такая... справедливая.

Задорожный, однако, из озорства или из упрямства не соглашается.

— Тебя тогда на Буге выручила, так уж и справедливая.

— А что ж, и выручила. Спасла. Молодец. Если бы не она, расстреляли бы ни за что. Дурное дело — не хитрое. Шпокнули бы — и все. Разве мало дураков еще есть? А так вот живу. Что значит вовремя вмешаться.

Луна потихоньку ползет в небе, на истоптанной земле шевелятся наши короткие тени; пахнет травой, разрытой землей, росистой свежестью дышит сонный простор.

— Такое не забудется. Долго будет помниться. До гроба, — прочувствованно продолжает Желтых. — Но и мы однажды ее выручили. Тут, видно, не все знают. Кто помоложе — не был. Кто с той поры остался? — оглядывая нас, спрашивает командир. — Попов — раз, ну Кривенок, остальные новички. Как-то под вечер нас перебросили на фланг, — затянувшись, говорит Желтых и гасит о землю цигарку. — Стояли в вишеннике, я, помню, присел переобуться. Ребята окоп роют. Грязи — на каждом сапоге полпуда. И тут прибегает солдатик — так и так, мол: в хуторе немцы раненых окружили. Двадцать солдат и одна девка. Отбиваются, помогите. А до хутора километр с гаком. Слышим, стрельба усилилась. Не докопали мы окопа, бросили лопаты, автоматы в руки — и туда. А Попов зарядил орудие и давай палить. Один. А ловко так, брат, палил! Бежали мы и радовались.

— Снаряд туда стрелял, снаряд сюда стрелял, хату не задевал, — довольно усмехается в сумерках Попов.

— Ага, ладно приловчился. Около часа мы карабка-

лись на бугор, а Попов все не допускал немцев. Подбежали, ударили, немцев отбросили и — в хату. А там пехотинцы, саперы и, глядим, Люся, раненная в ногу. Повытаскивали всех, потом кто как мог из-под огня выбирался. Люсю Кривенок выносил. Обхватила она его за шею, так и волок он девку через все поле. А минометы лупили — думал, пропадут оба. Но обошлось. Только я неделю боялся — а ну, думаю, комбат снаряды проверит. Попов чуть не все расстрелял. Хорошо, что танки нас тогда не потревожили.

— Было законно! — подтверждает Лешка и бесцеремонно врывается в наше приглушенное, по-ночному задумчивое настроение. — Вот у меня такое было, что ахнешь! В госпитале. Как родная стала, даже больше. Вот история...

И он со всеми подробностями начинает рассказывать нам «полтавскую историю» о том, как встретилась ему «изюминка-сестренка», и как доставала обмундирование, и как он, переодевшись, перелезал через забор и бежал к ней на окраину, и обо всем, что было дальше. Мы молча слушаем. От всех этих приключений отдает пошлятиной, хочется остановить его: «Неправда! Врешь ведь!» Но никто не перебивает Задорожного, все со скрытым любопытством слушают до конца.

Когда он на минуту умолкает, Желтых неопределенно покряхтывает, приподнимается на колени и всматривается в сторону неприятеля.

— Что-то очень тихо сегодня у фрицев, — говорит он. — И ракет нет. Сменяются, что ли?

Действительно, почему-то сегодня они не пускают ракет. Это немного тревожит нас. Правда, пока все спокойно, очень мирно, и нам не хочется и думать о скверном.

Но вот вдали, со стороны траншеи, появляются люди. Кажется, их двое, и идут они не по тропке, а напрямик, полем. Еще через какое-то время мы различаем знакомый голос, от которого сразу умолкает Лешка, и все вдруг теряют интерес к его сказкам.

— Ну и что, артиллеристы? — звучит из темноты надтреснутый баритон нашего командира батальона капитана Процкого. — Дружно спите?

— Никак нет, товарищ капитан, — говорит Желтых и не торопясь, с достоинством поднимается навстречу.

Мы сидим, где сидели, только поворачиваемся к ком-

бату и настораживаемся, знаем: так просто капитан не придет. И действительно, Процкий приближается к площадке огневой позиции и с обычной своей строгостью обращается к Желтых:

— Почему часового нет?

— Так мы все тут. Никто не спит, товарищ капитан, — поясняет командир.

Но это объяснение и особенно обращение «товарищ капитан» звучит как оправдание.

— Ага, все тут. А кто наблюдает за противником?

— Да вот все и наблюдаем...

— Гм!..

Капитан идет дальше вдоль окопа, рядом топает притихший Желтых, сзади следует молчаливый связной с автоматом, прижатым к груди. Возле пушки Процкий останавливается, о чем-то думает и спрашивает Желтых:

— Сколько вы тут сидите, на этой огневой?

Желтых переступает с ноги на ногу:

— На этой огневой? На этой мы, товарищ капитан, так с десятого или с двенадцатого — четыре дня, значит.

— И за четыре дня, старший сержант, вы не могли вырыть укрытия для орудия?

— Могли.

— Почему же не выкопали?

— Так приказа не было, товарищ капитан. Думали, еще куда перебросят. Все время перемещаются, перебрасывают.

— «Перемещаются»! — сердится капитан. — Вы что, первый день на войне?

Желтых молчит.

— Вы мне завтра уничтожьте пулемет, тот вон, крупнокалиберный, — Процкий тычет пальцем во тьму. — Десять снарядов вам на это и десять минут времени.

— Отсюда? — спрашивает Желтых.

— Откуда же еще?

— Отсюда нельзя. Тут нас накроют, товарищ капитан.

— Возможно. Если не опокаетесь как следует, могут и накрыть.

— Как тут окопаешься, если для блиндажа ни одного бревна нет, — начинает злиться старший сержант. — Все на соплях.

— Ищите.

— Что тут найдешь? — удивляется Желтых и, поду-

мав, спрашивает: — А что, с закрытой позиции нельзя? Вон гаубичники, дармоеды, ни разу за неделю не выстрелили... Вот им и дать бы задачу...

Но Процкий не такой командир, чтобы позволить уговорить себя и отказаться от принятого решения. Мы уже знаем его повадки, этого самого строгого из всех командиров в полку.

— Вы поняли задачу? — спрашивает Процкий.

Однако Желтых тоже с характером и, если разозлится, может показать свое упрямство даже перед высоким начальником.

— Что тут понимать! Досиделись!.. Пулемет вон три дня лупит оттуда. А так и пулемет не уничтожишь, и орудие погубишь. Тут же под самым носом. Надо подготовиться.

— Готовьтесь!

— Ага... Надо огневую сменить, окопаться как следует. Это не шутка. За ночь не сделаешь.

— Вот что! — обрывает его капитан уже категорическим тоном. — Мы не на базаре, товарищ старший сержант. В три ноль-ноль доложить о готовности.

Комбат поворачивается и уходит с огневой. За ним как тень следует связной, а Желтых молча стоит и смотрит им вслед. Рядом так же молча топчемся мы. Первым не выдерживает Задорожный, со злостью плюет в траву.

— Черт бы их там побрал, командиров этих. Попробуй стрельни! Немец тебе задаст такого, что за день трупы не пооткапываешь...

— Главная опасность — минометы, — в гнетущей тишине вздыхает Лукьянов. — На водоразделе у них корректировочный пункт.

Желтых молчит, вслушивается в темноту, напряженно стараясь что-то понять и ни на кого не обращая внимания, будто не слышит, что говорят хлопцы. Потом, выругавшись, лезет в окоп, полминуты копается там и появляется с полевой сумкой на боку и автоматом на груди.

— Я быстро, — говорит Желтых. — Попов, остаешься старшим. Кривенок, за мной!

Кривенок неторопливо встает, берет карабин и бредет за командиром. Вдвоем они постепенно скрываются в лунном полумраке.

— К начарту пошел! — говорит Лешка. — Да что толку?

Начальник артиллерии давний знакомый Желтых, он

уважает старшего сержанта и всегда считается с его мнением. Но кто знает, удастся ли на этот раз старшему сержанту добиться, чтобы отменили приказ командира батальона?

Хлопцы тоже забеспокоились, притихли и садятся на бруствере, как всегда в предчувствии беды, поближе друг к другу. Теперь все мы добреем и как будто взрослеем. Лешка Задорожный и тот кажется в эту минуту вовсе не плохим парнем. Сразу отступает в прошлое все, что полчаса назад отравляло жизнь. Теперь мы чувствуем, что главное в нашей судьбе — завтрашнее испытание, и это незримой силой сплачивает нас.

— Ему-то что! — зло говорит Задорожный. — Ему лишь бы приказать, а мы тут свои головы положим подурацки!

— Зачем так говоришь? Нехорошо говоришь! — отзывается из темноты Попов. — Мы приданы пехоте... Должны стрелять.

— Ерунда! Приданы не приданы, а будешь выполнять все, что им вздумается, так и неделю головы не проносишь. Нет мозгов — потеряешь! — убежденно говорит хать!

— Почему не проносишь? В голове мозги есть — проносишь. Нет мозгов — потеряешь! — убежденно говорит Попов.

Лукьянов, кутаясь в шинель, задумчиво говорит:

— Что же поделаешь? Приказ есть приказ! Надо.

Задорожного, однако, не переубеждают никакие доводы, он поворачивается к Лукьянову и злобно возражает:

— Хе, приказ! Если приказ правильный, так я нутром его понимаю. А если нет, так ты мне ничем не докажешь, как ни крути.

— Зачем доказывать? — пожимает плечами Лукьянов. — Война — не юриспруденция. Тут важен результат.

— Ох какой ты умный! — злится Задорожный. — Пруденция! Ты сказал бы это Процкому. Может, он тебя командиром поставил бы.

Лукьянов замолкает, видно прикидывая, стоит ли продолжать разговор, а затем невесело вздыхает:

— Что с вами спорить не по существу!

— Подумаешь, нашелся мне по существу. Умник какой! Думаешь, я глупее тебя? Я, брат, хоть институтов не кончал, но и в плен не сдавался, как ты!

И в сумерках заметно, как, словно от боли, дергается бледное лицо Лукьянова, руки его беспомощно падают на колени, и он умолкает. Теперь уж надолго.

— Сволочь ты, Задорожный! — коротко, едва сдерживаясь, говорю я.

— Что? Сами вы сволочи.

Лешка откидывается на локоть и отворачивается: видно, наше к нему отношение не очень трогает его. И тогда с бруствера вскакивает Попов.

— Зачем так говорил? Нехорошо говорил, Лошка. (Он всегда зовет так Задорожного.) Лукьянов правильно говорил. Ты плохой товарищ.

Задорожный сопит и ругается:

— Пошли вы все к черту! Хорошо, нехорошо! Что я, извиняться должен? Вот поглядим, что завтра будет — хорошо или нехорошо.

— Дурной Лошка! Недобрый Лошка! Эх ты! — качает головой Попов.

Наконец-таки обозлившись, Задорожный вскакивает с бруствера, отходит в сторону и садится поодаль. Мы молчим, едва сдерживая неприязнь к нему, но забота поважнее отнимает у нас охоту сводить с ним мелочные счеты.

В это время из-за вражеских холмов доносится глухой, будто подземный гул, словно где-то взбирается на крутизну танк. Прогудит — и утихнет. Потом начинает снова. И так несколько раз.

Хлопцы невольно вслушиваются, мысленно стараются проникнуть в ночную даль и разгадать причину этого непонятного гула.

— Лозняк! — зовет меня Попов. — Часовой надо. Слушай надо. Сегодня что-то плохо там.

6

Повесив на плечо автомат, я хожу по огневой и всматриваюсь в сумеречное пространство поля. Луна взбирается все выше. Она уже неплохо светит своим несколько приплюснутым с одной стороны глазом: покойно мигают вверху редкие летние звезды. Не велика забота, если рядом не спят, ходить часовым и слушать, где что делается, да еще в такую лунную ночь, когда вокруг видно на добрых сто метров. Но вскоре новая обязанность начинает тяготить меня. Хочется присесть вместе со всеми на еще

теплый с вечера бруствер и помолчать. Только потеряв это право, я начинаю чувствовать, как хорошо лежать на траве и смотреть в небо на звезды и, отогнав прочь дурные предчувствия, думать о другой, прошлой жизни, о своей далекой родине, на которую теперь так же трепетно глядят из ночной бездны те же самые звезды...

Завтра нас ждет нелегкое. Хлопцы немного обленились за эту спокойную неделю, отвыкли от фронтовых невзгод и вот только теперь встревожились. Немного боязно и мне, немного тревожно. Оно и понятно. Хорошо, когда тихо вокруг, не надо напрягаться и ждать самого худшего из всего, что может произойти на войне. Только мне желать покоя нельзя. У меня особый счет к этим гадам, фашистам.

Уже второй год живет во мне неутихающая боль, она пересиливает обычную человеческую боязливость на войне и невыносимо жжет сердце. Я не знаю, что это — злость, ненависть или неутолимая жажда мести, только чувствую я, что не будет мне облегчения и покоя, пока не уймется та горячая боль в груди. И я уже не в силах искать чего-то легкого в жизни, я буду идти навстречу испытаниям и терпеть все до конца.

Случилось все это в осеннее утро на родной, далекой отсюда земле, возле небольшой витебской деревеньки, осевшей вдоль прифронтовой дороги.

Дорога была обычная, каких тысячи на земле: не очень ровная, не очень гладкая, но она вела на станцию, которую почему-то выбрали для своих разбойничьих дел немцы. Там разгружались эшелоны, и время от времени длинные колонны грузовиков, вездеходов и броневиков тянулись к фронту. Была распутица. Шли нудные осенние дожди, и вражеские колеса прорезали на дороге две длинные и глубокие, до колен, колеи...

По этим колеям мы, шестеро разведчиков, глухой октябрьской ночью пришли в деревню.

Зачем? О том знал наш командир Колька Буйневич, который и привел нас к одной хате. Пока он чем-то занимался там, мы стояли в охране за хлевом и на огороде под мокрой рябиной. Немцев в ту ночь в деревне, казалось, не было, большая колонна их под вечер проследовала к фронту. Было ветрено, холодно. Сырость пронизывала до костей. Деревня спала. И все же нашлись подлые люди, выследили, донесли. Мы обнаружили это поздно.

Начало светать. Отстреливаясь, мы бежали огородами, затем по дороге, ползли по глубоким, как раны, колеям. Гнались за нами с полсотни полицейских и немцев. Многие из них полегли еще в деревне, но перепало и нам. Остался в колее Вася Шумский, тяжело ранили Колю Буйневича, всадили пулю в бедро и мне. Хлопцы вытащили нас на пригорок, и мы притаились под огромным валуном в стороне от дороги. Думали, он станет нашим последним пристанищем. Но враги почему-то не побежали дальше, а, постреляв, вернулись в деревню.

У нас кончались патроны, а идти дальше днем было невозможно. Вокруг простиралось открытое поле, до леса далеко. Мы лежали под камнем в ожидании сумерек.

В полдень деревня встревожилась. Немцы начали выгонять жителей на дорогу. Выгоняли всех: мужиков, женщин, детей. На окраине их выстроили в две длинные редкие шеренги. Затем скомандовали лечь в колеи. Люди ложились в грязь, в воду. А на другом конце деревни вытянулась и ждала колонна бронетранспортеров и вездеходов.

Потом машины двинулись по дороге. По тем самым колеям, в которых лежали люди.

Того, что вскоре началось, забыть нельзя. Мы то прикладывали к плечу, то снова убирали свои автоматы: было далеко, да и что мы могли сделать с полусотней патронов. Мы только смотрели. Рядом умирал Колька Буйневич, истекала кровью моя наспех перевязанная нога. Моросил мелкий дождь...

Затем горела деревня. Ревели коровы, кудахтали куры, визжали свиньи. Вокруг пожарищ бегали обезумевшие овцы и трещали автоматные очереди.

Вечером ребята перенесли нас через поле, и мы добрались до леса. Буйневича там закопали.

Я думал, что сойду с ума от боли и бессильной ярости. Зубами я рвал ночью ватник в лагерном госпитале, днем ругался с доктором Фрумкиным, который хотел мне отрезать ногу. Ни за что обижал сестру и товарищей. Хотел вскочить, взять автомат, но сил было мало, а нестерпимая боль в ноге не утихала. Тогда я решил умереть, и как можно скорее. Я не ел, выплевывал лекарства, не давался делать уколы. Доктор, видно, испугался за ногу, а еще больше за мой рассудок и отправил меня на аэродром.

В тихом тыловом госпитале мне стало лучше. Ногу

не отняли, врачи обращались со мной душевно, будто понимали мои переживания. Постепенно заживала рана, и я обрел надежду вернуться на фронт. Я стал самым послушным больным, делал все, что мне предписывала медицина, принимал все лекарства, даже витамины, тренировал ногу, регулярно занимался лечебной гимнастикой. Мне надо было вернуть силы и рассчитаться с врагом. Будто дразня меня, в госпитальной палате висел плакат с многозначительной надписью: «А ты отомстил врагу?»

И вот я на фронте. Правда, вскоре после того как я попал в часть, войска заняли оборону, жизнь на передовой стала скучной и однообразной. Но я не терял надежды, терпеливо ждал, верил, что мое время придет...

Кажется, от передовой кто-то движется — неясная тень мелькает в одном месте тропинки, потом в другом. Вглядевшись, я различаю человека, он быстро, чуть ли не бегом, направляется к нам.

— Стой! Кто идет? — привычно, с фронтовой настороженностью окликаю я, когда человек приближается, и жду.

— Свои, свои, мальчики! — слышится из лунного света, и от этого у меня снова прежней мучительно-радостной болью заходится сердце. Я поправляю ремень, пряжка которого вместе с диском сползла набок, набираю в грудь воздух, чуточку на правое ухо, как у Лешки, сдвигаю пилотку, и мои мысли направляются уже по иному пути.

Легкой, бесшумной походкой, будто ночная птица, Люся вскоре появляется возле огневой, минует окоп. Ребята вдруг оживляются. Лешка вскакивает и бросается навстречу.

— Люсик! Уже управилась? Молодчина! А мы тут ждали, ждали да все жданки съели, — радостной болтовней встречает он девушку. — Иди ко мне. Посиди немного, помечтаем о том о сем.

— Нет, мальчики, пойду, некогда. Спокойной вам ночи, — говорит она, и все во мне немо и настоятельно просит: «Останься, побудь». И в то же время я знаю, что не будет мне радости, если исполнится мое желание, но все равно я очень хочу, чтобы она осталась.

— Пойдешь? Отлично! Я провожу, — находит новую уловку Лешка и форсисто подсовывает под Люсин локоть руку. Но Люся отводит свою в сторону. — Если не

против, конечно, и так далее. Не против же? Ну скажи правду?

— Не против, — смеется Люся. — Только без рук.

— Конечно! — с готовностью соглашается Лешка, но все же тихонько берет ее за плечи, и они по тропке идут в тыл.

Тогда с бруствера вскакивает Попов:

— Кто позволял? Товарищ Задорожный! Почему без разрешения?

— Ерунда, чего там! Пять минут, — слышится издалека.

Попов, видно не зная, что предпринять, неподвижно стоит на бруствере. Поодаль, за кукурузными кучками, слышится сдержанный смех Люси.

Этот смех острой завистью пронизывает меня. Я понимаю, что Задорожный плохой солдат, что нельзя так, как он, не слушаться командиров, хотя бы и временных, таких, как Попов. Но мне начинает казаться, что это непослушание делает его более сильным, самостоятельным и смелым, чем я. И мне невольно хочется стать непослушным, как Лешка, обрести его независимость, его, пусть даже и не всегда разумную, решительность. Я подозреваю в Лешке какую-то властную силу над женщинами, и теперь, думается мне, все, о чем рассказывал Лешка, так именно и было. И еще кажется, что он нравится Люсе, и нравится именно тем, чего не хватает мне или Кривенку, — грубоватой самоуверенностью и, конечно, мужской силой. И я завидую ему. Я знаю Лешкину жизнь (он никогда ничего не таит от других), знаю, что он бывший футболист, человек заносчивый и не совсем честный. Ему всегда по-своему везло в жизни, может, и не очень, но, во всяком случае, больше, чем мне или Кривенку. Беды обычно обходили его стороной. Однажды, рассказывал он, еще до войны в Новороссийске компания таких же, как он, сорванцов с цементного завода поймала моряка и здорово избила его широким флотским ремнем с бляхой. Бил Лешка, но когда моряки в отместку «сцапали» их в парке, то больше других влетело не Лешке, а его дружку Федьке.

Везло ему и потом, на войне. Попав под Воронежем на фронт, он, однако, не дошел до передовой, а каким-то случаем оказался в охране штабного генерала. Генерал не был строевым командиром и не очень любил разъезжать по передовой, поэтому Задорожному вместе

с пятью остальными, находившимися при нем, — двумя ординарцами, шофером, поваром и парикмахером, оставалось думать только о бытовых удобствах и безопасности начальника. Это везение продолжалось до того несчастливого утра, когда генеральская машина случайно наскочила на противотанковую мину, оставленную немцами на обочине дороги. Одних похоронили, генерала отправили в Москву, а контуженый Лешка, прослонявшись недели две в тыловом госпитале, попал в стрелковый полк. Тут он для солидности назвался танкистом, но, поскольку танков в полку не было, его послали в противотанковую батарею. Чтобы таскать пушки, нужна сила, а Задорожный поднакопил ее на генеральских харчах. Сначала он немного задавался, не очень слушался Желтых, вовсе не признавал Попова, любил вспоминать: «мы с генералом ехали» или «мы с генералом беседовали», но мало-помалу обломался, стал тише. Тем более что Желтых не очень обращал внимания на его «генеральское» прошлое.

Молчаливая и тревожная ночь плывет над затаившейся, притихшей землей. Время, видно, уже переступило за полночь, ковш Большой Медведицы повернулся на хвост, луна забралась в самую высь и светит в полную силу. Под кукурузными кучками тихо лежат четкие тени. Порой кажется, будто что-то двигается там от кучки к кучке, взгляд невольно напрягается, но я знаю, сколько ни всматривайся, ничего не увидишь. Немцы молчат. Темные горбатые холмы, словно хребтовины распростертых на земле чудовищ, едва сереют на горизонте. Моторный гул незаметно утихает или, может, отдаляется, и ночную тишину нарушают лишь редкие случайные звуки.

Попов идет в окоп и, стуча там, что-то ищет. Лукьянов молчит с того времени, как ему нагрубил Лешка, и неподвижно сидит на бруствере.

Я не спеша хожу возле огневой и думаю о Люсе.

Вот она пошла с Лешкой, ей, видно, хорошо и весело с ним, иначе бы не смеялась она так озорно и счастливо, и этот ее смех непонятной болью вонзается в мою душу. Но я знаю: Люся очень хорошая девушка. Она так внимательна, деликатна и ласкова со всеми — и знакомыми и незнакомыми, молодыми и старыми, — что от всего этого заметно добреют наши давно огрубевшие души. И хотя она одинакова со всеми, но теплота ее ясных глаз

как-то вселяет в меня надежду, что не очень уж плох и я, замковый Лозняк, что она мой друг, и для чего-то большего между нами недостает разве что пустяка, не высказанного еще. Все время кажется мне, что стоит только найти это невысказанное, определить его нужным словом, как все встанет на свое место. Но у меня не хватает решимости. И еще трезво поразмыслив, я понимаю, что все же мало у меня того, что пришлось бы по душе этой девушке. Вот если б я был такой, как Задорожный... Так я рассуждаю в тиши, и вдруг раскатистая очередь где-то в первой траншее пробуждает ночь. Стремительный пучок искристых трассеров резко мелькает над нейтралкой возле подбитого танка; несколько пуль рикошетом отскакивают от земли и молниями разлетаются в стороны. Над передовой взмывает ракета, доносится короткий выстрел, и в ослепительном свете возникают контуры брустверов, остова танка... Мне не видно отсюда, что там заметили пехотинцы, но их пулеметы начинают бить в ночь, к ним присоединяются автоматы, редко и солидно бахают винтовки.

Я подбегаю к Лукьянову. Из окопа выскакивает Попов, он насторожен, но, кажется, спокоен. Над передовой снова загораются две ракеты. Трассеры веером снуют над нейтральной полосой, скрещиваются и разлетаются в стороны. Немцы молчат, не отзываются ни единым выстрелом, и это еще более непонятно и странно.

— Надо идти в окоп. Не надо сидеть тут, — говорит Попов.

Мы с Лукьяновым неохотно подчиняемся. В окопе я задерживаюсь на ступеньках. Попов становится к оружию, мы слушаем, смотрим и ждем.

— Может, прикрывают разведку, — говорит Лукьянов. Его голос слегка дрожит, как при ознобе, хотя ночь теплая и тихая.

— Если бы своя разведка, не пускали бы ракет, — возражаю я.

Попов молчит. Он идет в угол, где лежат наши снаряды, вынимает нижний ящик и ставит ближе к станине. Я знаю, это он подготовил картечь.

Но переполох на передовой через некоторое время утихает, доносится чей-то голос, видно команда, и умолкают последние выстрелы. Ракеты еще взлетают в небо, и их далекий свет тусклыми отблесками блуждает по серому пространству разрытого поля.

— Поганый сволочь! — ругается Попов. — Гитлер в разведку ходил.

Мы втроем сходимся на площадке возле орудия. Лукьянов садится на станину, а мы с Поповым пристально всматриваемся в ночь.

Тут нас и застают Желтых и Кривенок.

7

Наш командир прибегает на огневую запыхавшийся и, кажется, расстроенный. Из первых же его слов мы чувствуем, что произошло нечто недоброе. Еще не добежав до орудия, он раздраженно и сипло кричит:

— Ну что! Где лопаты? Лозняк, ты? Давай сюда все лопаты, копать будем. Живо! Слышите?

Схватив со ступенек первую попавшуюся лопату, командир в стороне от орудия начинает раскапывать землю.

— Лукьянов! Меряй отсюда восемь шагов и начинай. Где Задорожный?

— Задорожный пошел с Луся. Приказ не выполнял.

— Как пошел? Куда пошел? Ну, пусть придет! Разгильдяй! Бродяга! — командир сердито сопит, разравнивая бруствер. — Лозняк! — снова зовет он меня. — Убери кукурузу. В сторону ее.

— А что, все же стрелять будем? — с затаенной тревогой спрашивает Лукьянов.

Желтых удивляется:

— А то как же? Слышали, что делается? Немец проходы разминирует. Понял?

Лукьянов настороженно выпрямляется; притихает Попов. Удивленные, мы смотрим на нашего командира и ждем объяснений.

— Ну что рты разинули? — прикрикивает Желтых и перестает копать. — Непонятно? Завтра поймете. Слышали — гудело?

— Слышали, — говорю я.

— Ну вот! Зря не гудит — запомните! — бросает Желтых и снова с яростью вгоняет в землю лопату. Он спешит прокопать широкую траншею — укрытие для пушки.

На какое-то время мы замираем в предчувствии беды, которая подступает все ближе. Но переживать не-

когда. Попов первый молча берет лопату. Беремся за дело и мы.

Дружно налегая на лопаты, мы во все стороны выбрасываем из ямы землю, времени до утра осталось мало, а выкопать надо много. Теперь мы понимаем, что завтра достанется всем: и пехоте, и гаубичникам, и нам, — делить тут нечего.

— Значит, так! — сопя и откашливаясь, говорит командир. Он втыкает в бруствер лопату, снимает сумку, распоясывается и откидывает свое снаряжение дальше, к орудию. — Значит, так. Завтра перво-наперво на рассвете уничтожаем пулемет. Во что бы то ни стало! Командир полка приказал. Так что надо постараться.

Желтых плюет на ладони и снова яростно берется за работу. Рядом копает Лукьянов. Он как-то бережно ковыряет землю лопатой, подгребает и не спеша выносит на бруствер. После нескольких бросков земли лопатой отдыхает. Такая работа когда-то раздражала нас, Задорожный даже ругался, но потом мы присмотрелись и поняли, что этот слабосильный, болезненный человек иначе не может. Теперь мы привыкли к нему и не обращаем на это внимания. Попов, как всегда, делает самое сложное — ровняет скос в окопе, по которому завтра придется закатывать орудие в укрытие. Он делает это старательно и хлопотливо, все копается и копается, согнувшись в темноте. Кривенок бросает землю рывками: то очень часто, с тупой яростью, то медленно, порой останавливается, вроде задумывается, и все оглядывается назад, в наш тыл. Я догадываюсь, что беспокоит его, но молчу. Но вот Кривенок выпрямляется и поворачивается ко мне:

— Слышишь? Давно была?

— С час назад, видно, — отвечаю я, понимая его с полуслова.

— Долго?

— Нет. Сразу пошла, и он за ней.

Кривенок умолкает и тоскливо поглядывает на тропку. Наш разговор, видно, слышит Лукьянов. Осторожно управляясь с лопатой, он говорит:

— Распустили его... Такого хлюста воспитывать надо. А у нас он на полной независимости.

— Ага, воспитаешь его! — глухо и устало отзывается Желтых. — Он всем воспитателям пальцы поотгрызает.

Вот ушел — и нет! Ну, пусть только придет, дармоед, футболист чертов! Он у меня попомнит.

— Лошка сильный — хорошо! — скрежеща по дну лопатой, говорит Попов. — Лошка хитрый, Лошка упрямый — нехорошо. Морал читай многа — не надо. Так я думай.

— Я ему дам «морал», — сопит Желтых, — пусть только придет. Правда? — спрашивает он Кривенка.

— Не грозился б, а давно бы дал.

— Вот не выпадало. А тут не спущу! Ишь, прилип к девке! И Люська, гляди ты, не отошьет его.

— Люся ничего, — говорит Лукьянов. — Себя в обиду не даст. Она умная.

— Умная! — ядовито передразнивает Желтых. — При чем тут ум? Он вон какой бугай — на это гляди. А то — умная.

— Мне кажется, ничего особенного, — перестает копать Лукьянов. — Они люди разных уровней. А это, безусловно, сдерживающий фактор.

Желтых неопределенно хмыкает, сморкается, потом выпрямляется и тут же прислоняется к стене укрытия.

— Ну и скажешь — фактор! Знаешь, у нас было дело на Кубани. Фельдшерица одна в станице жила, молодая, ничего себе с виду, образованная, конечно. И что ты думаешь? Приспичило девке замуж — и выскочила за нашего хохла. Тоже ничего был парень. А потом возгордился, как же — жена фельдшерица! Разбаловался, пить начал. И бил. Сколько она натерпелась от него! Извелась. Но что сделаешь. Дети по рукам и ногам связали. Вот тебе и фактор.

— Это, конечно, возможно, — подумав, говорит Лукьянов, — но нетипично. Женщина тоже выбирает. И куда более пристрастно, чем это делает мужчина. Особенно такой, как Задорожный.

Через час укрытие почти готово, остается только подчистить откос да прорезать узкую щель для ствола. В это время на огневой появляется Лешка. Он неслышно подходит к нам ленивым, медленным шагом и устало садится на свежий, только что выброшенный из ямы суглинок. Я первый замечаю его крутоплечую сильную фигуру, посеребренную лунным светом, и что-то недоброе, мстительное загорается во мне.

— Все же копаем? — спрашивает Задорожный с издевкой. — Ну и ну!

Ребята поворачиваются к нему и молчат, перестав копать. Один только Попов продолжает прорезать щель.

— Пришел, дармоед? — угрожающе начинает Желтых. — Где шлялся? Кто тебе разрешил? Мы что, ишаки, чтоб на тебя работать?

Но Задорожный не отвечает и не удивляется такой встрече: он улыбается, мне вблизи видно, как матово поблескивают при луне его широкие чистые зубы.

— Эхма! Ну что кричите? Что вы понимаете в высоких материях? — с невозмутимой иронией говорит он.

— Гляди ты! — почти кричит командир. — Он еще нас упрекает! А ну марш копать! Я тебе покажу бродяжничать всю ночь! Война тебе тут или погулянки?

Задорожный, однако, вовсе не обращает внимания на командирский крик, будто и не слышит его.

— Все ерунда, братцы! — каким-то убеждающим, спокойным тоном объявляет он. — Капитуляция. Была Люська — и накрылась. Законно!

Я не понял, что он сказал, но рядом вздрагивает Кривенок, настораживается и зорко вглядывается в Лешку Лукьянов, даже Желтых и тот перестает кричать.

— Капитуляция! — смеется Задорожный, заметив наше удивление. — Гитлер капут и так далее! А деваха первый сорт. Свеженинка! Побрыкалась!.. Да!..

— Подлец! — сипло бросает Желтых, и я мертвею, только теперь поняв смысл хвастовства Задорожного. Обида, злость и ненависть к нему охватывают меня. Пораженный, я стою с лопатой, не зная, что делать, кажется, кто-то из нас должен свернуть Задорожному шею. Но никто даже не двигается с места.

— Бери лопату и копай, негодяй! — с остатками затухающей злости приказывает Желтых.

Оттого, что он так быстро остыл и уже забыл о своих недавних угрозах, я готов возненавидеть его, я жажду Задорожному кары. Но тому хоть бы что. Он не спешит выполнить приказ, сидит на бруствере, лениво раздвинув колени, и луна тускло высвечивает его крутой лоб.

— Вот платочек на память, смотри! — бесстыже хвалится он. — Завтра опять придет. Специально. Ко мне. Хоть женись. Законно! Хе-хе!

Во мне вдруг вспыхивает какое-то слепое бешенство. Черная волна гнева будто выбрасывает меня из ямы. Я подскакиваю к Задорожному и со всего размаху бью кулаками в лицо — раз, второй, третий.

— Ух! — вскрикивает Лешка и с удивительной ловкостью вскакивает на ноги. Пригнув по-бычьи голову, он сразу бросается на меня, ударяет головой в грудь, сбивает с ног и наваливается всем своим тяжелым здоровенным телом. У меня перехватывает дыхание, но бешенство придает силы, выкручиваясь, я стараюсь вырваться и еще садануть в эту самодовольную, сытую морду.

— Стойте! Стойте! — кричит над нами Желтых. — Взбесились, дурни!

Я изо всех сил пытаюсь вырваться, но Задорожный сильнее, он заламывает мне руки и бьет затылком о бруствер. Напрягшись, я в бешенстве вскидываю ногами, дергаюсь, и мы оба скатываемся с бруствера в укрытие. Он снова набрасывается на меня, но я успеваю вскочить и встречаю его кулаками.

Нас тут же разнимают. Желтых, Попов и Кривенок хватают Задорожного сзади, отрывают от меня.

Запыхавшись и едва сдерживая бешено бьющееся сердце в груди, я выхожу на площадку и прислоняюсь к пушке.

— Драться! Сопляк! Сволочь! Салага! Я из тебя бифштекс сделаю! — также запыхавшись, гремит Задорожный, вырываясь из рук ребят. Его уговаривает Попов:

— Лошка! Лошка! Не надо! Лошка! Зачем так?

— Какого дьявола! — с нарочитой строгостью в голосе сипит Желтых, стоя перед ним. — Ошалел, дурак! Опомнись!

Лукьянов, притихший и, кажется, удивленный, стоит в углу с лопатой в руках. В таких схватках он, конечно, не участвует.

Я, отдышавшись, молчу, едва превозмогая в себе обиду оттого, что мне больше, чем ему, перепало в этой драке. Потом начинаю работать. Подбираю со дна землю и думаю, что Задорожный это еще не самое худшее. Во мне начинает расти-разрастаться жгучая ненависть к Люсе. Конечно, ничем она не обязана нам и вольна в своих поступках, но я убежден, что по отношению ко всем нам она поступила подло и достойна презрения. Она обманула самое светлое в нас, опозорила что-то дорогое в себе. И я не хочу теперь никому верить, хочу только кричать в ночь гадкие слова. Я ненавижу и его и ее: оба они встают передо мной одинаково мерзкие, гадкие и низкие.

8

Наконец укрытие готово. Попов тоже заканчивает свою работу. Мы выходим на площадку и сбрасываем в кучу лопаты. Желтых вынимает из кармана трофейные швейцарские часы, бережно застегивает на руке браслет и всматривается в зеленоватые цифры на черном циферблате.

— Так... Лозняк, Лукьянов, марш за завтраком. И живо! Скоро рассвет.

Лукьянов послушно собирает котелки, я навешиваю на себя автомат, и по узкой тропинке в траве мы идем в молчаливые тревожные сумерки.

Ночь на исходе.

Луна, опустившись, начинает меркнуть; белесая кисея облака, что с вечера висело на небосклоне, куда-то уплывает из просветлевшей сини; звезды вверху блестят несколько острее. Синеватые сумерки над холмами помалу сгущаются, восточная окраина хоть еще и темна, но уже брезжут на ней робкие отсветы далекого солнца, одна за другой гаснут низкие звезды. По земле блуждают, шевелятся неясные тени; полосы, пятна лунного света сонливо лежат вокруг на травянистом поле.

Я шагаю впереди по тропинке и со странным облегчением ощущаю в себе щемящую пустоту от чего-то потерянного, пережитого, что уже отступило и не волнует, только еще холодит внутри. У меня уже нет ни прежней зависти к Лешке, ни мучительного стремления к Люсе, через все это я уже перешагнул и, кажется, повзрослел, а может, и поумнел за одну эту ночь.

Мы идем молча. Тихонько поскрипывает дужка котелка. Лукьянов, как всегда, задумчивый и замкнутый. Я припоминаю, как недавно Лешка оскорбил его напоминанием о плене, а он смолчал, стерпел, перенес все в себе.

— Что вы ему по морде не дали тогда? — спрашиваю я, оглянувшись. — Стоило.

Лукьянов вздыхает, потом спокойно отвечает:

— Вряд ли стоило. Не он первый, не он последний. Я уже привык.

— Ну и напрасно. Так он и будет цепляться, тиранить. Если сдачи не дать. Он такой.

— Никто человека не тиранит больше, чем он самого себя.

— Это если у человека совесть есть. А у Задорожного она и не ночевала.

— Нет, почему? — подумав, отвечает Лукьянов. — По-своему он прав. Относительно, конечно. Да ведь в мире все относительно.

Мы снова молчим, не спеша идем и вслушиваемся в ночь.

Тропинка приводит нас к полоске подсолнуха, который серой неподвижной стеной дремлет в ночи. По ту сторону его, на дороге, слышатся солдатские голоса, где-то дальше, на тропинке, коротко вспыхивает искра от цигарки; оттуда доносится приглушенный смех. Хоть и война, всюду опасность, но, пока тихо, жизнь идет своим чередом.

Лукьянов плетется сзади, и в созерцательно-спокойном настроении его я угадываю тихий отзвук пережитых страданий, заметный душевный надлом. Это теперь мне близко и понятно, и я спрашиваю:

— Скажите, а как вы в плен попали?

Лукьянов с полминуты молчит, что-то думает, затем говорит:

— Очень просто. Под Харьковом, в сорок втором. Ранило. Потерял сознание, очнулся — кругом немцы. Ну, лагерь и все...

Я думаю, что Лукьянов скажет еще что-то, но он умолкает.

В одном месте мы натыкаемся на небольшую минную воронку. Лунный свет слабо высвечивает на тропке ее черное пятно со стабилизатором, торчащим в середине. Хотя мина уже и не опасна, но не хочется ступать в эту зловещую черноту. Я перескакиваю воронку. Лукьянов обходит ее стороной.

— Таково было начало моего конца, — вздыхает Лукьянов.

— Начало конца! — повторяю я, впервые пораженный парадоксальным смыслом этих двух обыкновенных, если их взять в отдельности, слов. — А потом что?

— Потом? Потом начался ад. Все лето закапывали противотанковые рвы на Украине. В сорок первом их накопали тысячи километров. А мы закапывали. Никому это не нужно было, но, видно, иной работы для нас не нашлось...

— Вы, кажется, до плена офицером были?

— Лейтенантом. Командиром саперного взвода.

— Ну, а потом?

— А потом вот рядовой, — грустно улыбается Лукьянов.

Я не спрашиваю больше, понимаю, что его наказали, хотя не могу понять, почему человек, который столько перенес, должен еще и у нас нести наказание.

— Это, брат, так, — говорит он, идя рядом. — В войну мне страшно не повезло. Во всех отношениях.

Лукьянов замедляет шаг, вглядывается в сумеречную даль и озабоченно продолжает:

— Понимаете, что получилось? Отец мой Герой Советского Союза. А я вот неудачник, стыдно признаться.

Я настораживаюсь, слушаю. Он замечает это и доверительно объясняет:

— Отец — командир бригады. Между прочим, после плена я так и не написал ему. Не осмелился. Да и что напишешь? Правда, он мягкой души человек. Мать тоже. Ни денег, ни ласки не жалели. Кажется, и я неплохой был. Слушался, учился. В сорок первом из дому вместе пошли. Отец — на фронт, я — в училище. Мечтал о подвигах, об орденах. И вот как все дико обернулось.

— Да, это плохо. Война все!

— Война, конечно. Но не в одной войне дело, — возражает он. — Что-то и во мне сфальшивило. Я-то знаю...

Его беда чем-то подкупает, я верю, искренне сочувствую ему и хочу успокоить.

— Ну ничего. Еще не поздно. Может, звание восстановят. Быть бы живым. А на обиды вы не обращайте внимания. Не все же в армии такие, как... Задорожный.

— Так-то оно так... Но я не о звании... Кстати, вы не очень верьте этому Задорожному, — переходит на другое Лукьянов. — Он трепло. Набрешет с три короба, а на деле ничего и не было. Таких много среди нашего брата.

Эти слова сначала удивляют, а потом вдруг нежданно обнадеживают меня. Я даже останавливаюсь, и у меня невольно вырывается:

— Правда?

— Ну а вы как думали? Люся отличная девушка. Не может она... И вообще много наших бед оттого, что мы не доверяем женщине. Мало уважаем ее. А ведь в ней — святость материнства. Мудрость веков. Она антагонист бесчеловечности, потому что она мать. Она много выстра-

дала. Страдания выкристаллизовали ее душу. И правильно сказал Желтых: жизнь, муки и терзания делают человека человеком. Человек не перестрадавший — трава.

Навстречу молча бредут пехотинцы, неся на передовую ранний завтрак. Часом позже тут уже не пройдешь, кто опоздает, будет голодать до вечера. Мы всматриваемся в их невыразительные при луне лица, но знакомых нет.

— Мы не опоздали, хлопцы? — спрашиваю я.

— Нет. Только давать начали. Мы вот первые, — охотно отвечает пехотинец с термосом на спине.

Мы сворачиваем на траву и расходимся. Лукьянов идет рядом со мной. Видно, я своим любопытством задел в нем какую-то давно молчавшую струну, которая зазвучала теперь искренне и надолго.

— Страдания, переживания... — в раздумье говорит он и с внезапным оживлением продолжает: — Я вам скажу. Я долго ошибался, кое-чего не понимал. Плен научил меня многому. В плену человек сразу сбрасывает с себя все наносное. Остается только его сущность — вера, совесть, человечность. А если у человека не было этого, в плену он становится животным. Я насмотрелся всего. Когда-то думал: они, немцы, дали человечеству Баха, Гёте, Шиллера, Энгельса. На их земле вырос Маркс. И вдруг — Гитлер! Гитлер сделал немцев подлецами. Это страшно: без веры или из-за корысти продать свою душу дьяволу. Это хуже гибели. В лагере у нас был Курт из батальона охраны. Мы иногда беседовали с ним. Он ненавидел Гитлера. Но он боялся. И больше всего — фронта. И вот этот человек, ненавидя фашизм, покорно служил ему. Стрелял. Бил. Кричал. Потом, правда, повесился. В туалете. На ремне от карабина.

— Чего уж ждать от фашистов, — говорю я, — если вот и наши... Сколько набралось власовцев, полицейских...

— Трусость и корысть не могут не погубить, — с необычным для него запалом говорит Лукьянов. — Не победив в себе раба и труса, не победишь врага. Да-да. Это вопрос жизни и вопрос истории!

Помолчав немного, он уже веселее добавляет:

— А за Люсю не переживай. Она славная девушка. Так мне кажется. Эх, если бы не война!

И я вдруг чувствую, что, как никогда, верю ему. Он сбрасывает с меня невидимый груз страданий и приоткрывает светлую желанную надежду. Странно даже, ка-

кой силой обладают обыкновенные дружеские слова, сказанные вовремя. Почему-то не могу сообразить теперь, как я не понимал этого с самого начала, как мог так легко поверить этому болтуну Лешке. Мне вдруг становится легко и светло на душе.

— Да, Люся славная. Он болтун, — соглашаюсь я, и мне мучительно больно от мысли, что еще совсем недавно я готов был оскорбить эту ни в чем не повинную девушку.

— Давай, брат, быстрее, кабы не опоздать! Светает, — повеселев, говорю я, и мы, ускорив шаг, идем вдоль подсолнуха к деревне, куда ночью приезжает наша батальонная кухня.

9

Светает. На небосклоне все шире разливается зеленоватый отблеск далекого солнца, быстро гаснут и без того редкие звезды. Луна в вышине окончательно меркнет и сиротливо висит над посветлевшим простором.

На земле исчезают резкие тени, не спеша, но уверенно выступают из сумерек серые окрестности — травянистое, перекопанное войной поле, столбы на дороге, узкая полоска подсолнуха.

Торопливо и молча завтракаем.

Мы чувствуем, что это последние спокойные минуты, и стараемся подольше растянуть их: выскребываем котелки и тщательно облизываем ложки. Но все же внутри каждого из нас неотвратимо поднимается дрожащая, как озноб, тревога.

Один только Желтых не медлит. Он первый доедает приправленную тушенкой мамалыгу, засовывает в карман оставшийся кусок хлеба и, даже не закурив, начинает собираться к комбату. Вид у него при этом настолько буднично-обычный, что кажется, будто этот колхозный дядька и не подозревает, что может постичь нас через несколько минут. Дожевывая завтрак, он вешает на шею бинокль, привычно закидывает за плечо автомат, глубже надвигает на голову помятую, выбеленную солнцем пилотку, которая всегда приплюснуто сидит на нем от уха до уха.

Обмундировка у командира далеко не новая, обычная БУ, зато все остальное, что определяет в нем артиллериста, досмотрено, прилажено и носится даже с не-

которым шиком. Узенький ремешок старенького, с выщербленным окуляром бинокля подтянут на шее петелькой. К сержантской полевой сумке с наставлениями, Дисциплинарным уставом, бритвой и разной солдатской мелочью, как и надлежит начальству, приторочен за ушки компас. Под утро Желтых обычно надевает свой промасленный видавший виды бушлат с помятыми погонами и блестящей самоделкой на рукаве — перекрещенными стволами орудий. Это — эмблема истребителей танков. Сапог он никогда не носит, говорит, что в них душно ногам, и ходит в ботинках с обмотками. Накручивает он их низенько — на ладонь от ботинок.

— Кривенок, разбуди Попова, — приказывает старший сержант. — Я к комбату.

Кривенок, кажется, безразличный ко всему, что ждет нас, расслабленно встает и развалистой походкой идет будить наводчика, которого Желтых перед рассветом уложил спать. Попов, конечно, не выспался за этот час. Разбуженный, он минуту сидит на земле и, позевывая, невидящими глазами смотрит перед собой.

Из-за вражеских холмов снова доносится зловещий гул танков. На этот раз гудит ближе, начинает даже казаться, что танки идут сюда, прямо на нас. Мы встревоженно всматриваемся в сторону врага, но увидеть там еще ничего нельзя. Этот гул, видимо, окончательно пробуждает Попова. Наводчик встает на колени, подпоясывается, берет свой котелок с завтраком и, поглядывая на сумеречные холмы, идет к пушке.

— Все же что-то они готовят сегодня, — говорит Лукьянов и берется за автомат.

Мы с Кривенком также берем оружие и занимаем свои боевые места. Возле разостланной палатки с остатками завтрака остается один Задорожный.

Какое-то время мы молча сидим на станинах, и по мере того как светлеет, выплывает из сумерек знакомое пространство, усиливается и наше волнение. Кривенок свертывает неровную, толстую в середине цигарку и прикуривает от зажигалки. Лукьянов надевает шинель и спокойно пристраивается на снарядном ящике. Как всегда, на рассвете его начинает трясти малярия. На его худом, увядшем лице с глубокими морщинами вокруг рта — выражение терпеливой покорности. Лешка, злой и безразличный ко всему, сидит не шевелясь, и эта не свойственная ему сосредоточенность выдает его тревогу. Один толь-

ко Попов, еще сонный, без всяких признаков беспокойства, старательно выскребает из котелка кашу и узкими глазами на приплюснутом лице то и дело поглядывает вдаль.

Мы полны тревожного ожидания. Каждый сосредоточен, говорить не хочется, слова теперь потеряли свое значение. Бойцы насторожились и ждут того самого часа, когда для каждого из нас может решиться все. И тут каким-то очень обыденным и потому странным голосом отзывается Попов:

— Соли мало.

— Что?

Все поворачиваются к наводчику, удивленные его словами, а тот по-прежнему невозмутимо бросает:

— Каше мало соли.

Никто ему не отвечает: до соли ль теперь!

И вот в поле появляется наш командир. Он бежит от КП напрямик, и то, что он спешит, еще больше настораживает нас. Я становлюсь за щитом на колени и делаю первое, что мне нужно сделать перед стрельбой, — открываю затвор. Поворот туговатой рукоятки, и клин опускается, можно заряжать. (Правда, заряжать еще рано, но мне невтерпеж бездействие.)

Желтых, наверное, издали замечает нашу гнетущую настороженность и, чтобы рассеять ее, кричит:

— Ну, мальцы-удальцы! Пальнем сейчас! С первого снаряда — цель, и спать до вечера!

— Как раз! — бросает Лешка и вскакивает. — Поспишь тут! — Он выходит на площадку, как-то бережно неся перед собой большие коричневые от загара руки. Желтых соскакивает с невысокого бруствера, занимает свое боевое место слева, позади пушки, в широком орудийном укрытии.

— Ничего. Не впервой! Держитесь за землю-матушку, она выручит, — спокойно говорит он и вскидывает бинокль. — Так!.. Нет, еще немножко подождем. А ну, садись!

Встав на колени, мы занимаем свои места: Попов у прицела, я справа от него, за щитом. Меж станин устраивается Задорожный, за ним, возле снарядных ящиков, — Кривенок и Лукьянов.

Желтых время от времени смотрит в бинокль, одним глазом прижимается к прицелу Попов... Мы понимаем, что вступаем в поединок, исход которого будет решаться

тем, кто опередит. Если чуть замешкаемся и немцы засекут нас на открытой позиции, придется туго.

— Попов, наводить под нижний обрез, — распоряжается Желтых, уже не отрываясь от бинокля. —Та-ак... Зарядить! — спокойно, с чуть-чуть излишней строгостью командует он. Задорожный натренированным рывком вгоняет в патронник снаряд. Затвор, коротко лязгнув, закрывается. Попов прилипает к прицелу. Мы ждем, затаив дыхание.

Последние минуты утренней тишины. Восточная половина неба за нашими спинами наливается отсветом невидимого, но уже близкого солнца. Эти мгновения перед открытием огня особенно нестерпимы, ноют напряженные нервы — скорее, скорее! Но Желтых медлит, он спокоен и лучше нас знает, когда следует подать команду.

— А почему без каски? Где каска? — неожиданно раздается в тишине его строгий голос. Это он Попову, который сутулится за прицелом в сдвинутой на затылок пилотке. — Кривенок, каску!

Кривенок приносит из окопа видавшую виды, исцарапанную каску и нахлобучивает на голову наводчика. И вдруг, не успевает он отойти на свое место, где-то далеко, с немецкой стороны, раздается знакомое, прерывистое «та-та-та-та». Одновременно что-то лязгает по краю щита, взвизгивает над головами и проносится дальше. Рядом на бруствере взлетает облачко пыли. Я инстинктивно пригибаюсь к казеннику. «Опоздали! Прозевали!» — мелькает мысль. Оглядываюсь: сзади низко склоняется Лешка, а за ним, как-то боком, опершись на локоть, опускается на землю Лукьянов. Из-под его пилотки на воротник распахнутой шинели и на дощатый снарядный ящик что-то часто каплет. Лукьянов хватается рукой за голову и удивленно рассматривает ладонь — на ней кровь.

— Сволочи! — ругается Лешка.

К Лукьянову бросается Кривенок. Довольно спокойно он спрашивает:

— У кого пакет?

У меня в кармане перевязочный пакет, я бросаю его Кривенку и хочу сам подбежать туда, но команда Желтых останавливает меня.

— Стой, тихо! Прицел шесть, один снаряд, огонь!

Пули бьют по брустверу, брызжет в стороны земля, я передвигаю по линейке указатель отката, пригибаюсь. Тут, за казенником, немного спокойнее, чем на открытой

площадке. Вся наша огневая курится пылью, разлетаются в стороны кукурузные стебли, лязгают по щиту пули. Что и говорить: неудача.

«Бах!!!!» — неожиданно и резко бьет в уши выстрел. Пушка отскакивает назад, казенник выкидывает в песок горячую гильзу. Из ее узкой шейки струится дымок.

Я не вижу за щитом разрыва, но слышу далекое раскатистое «ках-х-х». В стволе уже новый снаряд, и Попов аккуратно и спокойно подкручивает маховики.

«Фить-фить! Чвик!..» — проносится рядом новая очередь.

«Быстрее! Быстрее!» — бьет в виски мысль. Я оглядываюсь. Лукьянов лежит на боку, и Кривенок, неумело раскручивая бинт, обвязывает его голову. Сквозь повязку проступает и расползается бурое пятно крови.

«Бах!!!» — снова бьет наше орудие, и правое ухо глохнет, будто его заткнули ватой. Я торопливо вглядываюсь в указатель, откат как будто нормальный.

— Прицел семь! — с яростью командует Желтых.

Значит, недолет, надо еще пристреливать. Пулемет бьет длинными очередями, и это, видно, спасает нас, только первые пули попадают в огневую, остальные рассеиваются вокруг. Все мы жмемся к земле. Лешка лежит на боку, прижимая к груди снаряд, взгляды наши встречаются, и в его глазах я не нахожу враждебности. Мне тоже теперь не до злости — Люся и все, что связано с ней, отступает в давнее, далекое вчера.

Попов работает ловко и четко. Огневую сотрясает уже третий выстрел, и тотчас сзади кричит Желтых:

— Отметиться по разрыву!

Это излюбленный прием нашего командира. Есть определенные правила пристрелки прямой наводкой, но Желтых почти всегда пользуется только одним — отметкой по разрыву, этот способ еще ни разу не подвел нас. Попов, согнувшись, едва-едва, одними ладонями, касается маховичков наводки и нажимает кнопку спуска. Я выглядываю из-за щита: снаряд, подняв перед стволом пыль, уходит вдаль и рвется на холме.

— Верно! — радостно и сипло, что есть силы кричит Желтых. — Три снаряда, беглый огонь!

«Слава богу!» Спадает в душе тревожное напряжение. Попали, теперь — добить.

«Бах!» — гремит выстрел, пушка дергается, из казенника со звоном вылетает гильза. Лешка, встав на коле-

ни, досылает следующий снаряд, и через десять секунд снова: «Бах!»

На огневой — кисловатый пороховой смрад, пыль. Шестая гильза звонко лязгает о предыдущие, и тут же жела́нная команда:

— В укрытие!

«Есть! Кажется, удачно! Еще немножко, еще...»

Мы все хватаемся за пушку. Я переползаю через станину, вырываю из оси стопор, кто-то сзади выдергивает из земли сошник. Желтых хватается за левую станину. Припав к самой земле, налегаю на колесо, пушка трогается с места. Попов, однако, опаздывает толкнуть левое колесо, орудие перекашивается на площадке, и Желтых зло кричит:

— Попов! Не зевай! Такую твою!..

На Попова командир кричит редко. Только в бою под огнем — тут он никого не щадит. Попов не обижается, как не обижается никто из нас. В надвинутой на глаза каске он упирается коленями в землю, плечом в колесо, пушка трогается с места и, тяжело покачиваясь, идет в укрытие.

«Та-та-та-та!..» — стучит издалека пулемет, но мы уже свернули станины. Я напрягаюсь так, что кажется, разрывается от натуги грудь, и толкаю колесо обеими руками, пока пушка не начинает постепенно катиться сама. Бойцы и Желтых управляют станинами, и последним, стоя на коленях, вцепившись в прави́ло, толкает сошники сразу похудевший, с окровавленной щекой Лукьянов.

10

И вот мы сидим в нашем узеньком обжитом окопчике и, довольные тем, что все обошлось, сдерживаем в груди бешено бьющиеся сердца. Несколько пулеметов постреливают по нашей позиции, сбивают с бруствера комья, и песок сыплется нам на головы. Над огневой в чистом утреннем воздухе космами висит пыль. Но крупнокалиберный пулемет молчит, а остальные нам тут не очень страшны.

— Хватились! — говорит Желтых и довольно смеется, наморщив заросшее за ночь щетиной лицо. — Все же одурачили — знай наших!

Потом, посерьезнев, командир спрашивает:

— Ну, как ты, Лукьянов? Терпеть можешь?

Лукьянов, склонив перевязанную голову, зябко кутается в шинель. Рана у него, видно, не очень страшная, он не стонет, не жалуется, только дрожит от малярии.

— Потерплю, — тихо говорит Лукьянов. — В санчасть же не выбраться.

— Не выбраться, — подтверждает командир. — Жди вечера.

Мы усаживаемся друг возле друга и внимательно вслушиваемся, что делается наверху. На нижней ступеньке Лешка, в руках у него перископ, и он то и дело тихонько высовывает его из-за бруствера. Пулеметы нам тут не страшны, но вот если ударят минометы, тогда придется плохо.

Но вскоре умолкают и пулеметы. Устанавливается тишина — ни звука, ни выстрела. Уже совсем рассвело, всходит солнце, и синева южного неба ярко сияет в потоках света. Первые солнечные лучи кладут свои еще холодные лапы на пыльные комья бруствера. Обманутый тишиной, где-то в вышине заявляет о себе жаворонок. Как нечто далекое и не сразу осмысленное, сыплется сверху его извечная песня, а затем и сам он трепетным комочком появляется над нашим окопом. Желтых первый задирает голову, натянув сухую кожу на небритой шее, прищуривает немолодые глаза и искренне удивляется:

— Ого! Гляди ты — запел! И не боится! Вот же малявка...

Мы все смотрим вверх, молчим, и за эти несколько минут в наши сердца, наполненные столькими заботами и страхами, властно вторгается полузабытое ощущение природы и обычной человеческой жизни, далеко отодвинутое этим беспокойным утром. Так оно и остается в памяти — это никогда не дремлющее солдатское чувство близкой тревоги и дыхание мирной, уже позабытой жизни.

Об этом мы не говорим, но это чувствует каждый, разве что кроме Попова. Как только утихает стрельба, он начинает томиться без дела, потом снимает гимнастерку и принимается подстраивать жестяные полоски под погоны. Недавно ему присвоили звание ефрейтора, и Попов несколько дней все охорашивает свои лычки, из красного немецкого кабеля сделал канты, теперь принялся за металлические полоски-вкладыши. Желтых заметно добреет и с горделивым чувством поглядывает на нас. Лешка по-прежнему невесел. Кривенок, склонив голову, возится со своим пулеметом.

— Комбат сказал — к награде представит всех. За пулемет. Получим по медальке, — говорит Желтых.

Получить медаль всегда приятно солдату (особенно тому, у кого еще ничего нет), только Желтых вряд ли мечтает об этом — вон у него сколько их на груди. Кривенку да мне было бы весьма кстати по какой-нибудь награде на наши ничем не отмеченные гимнастерки, как, впрочем, и Лешке, который, кроме гвардейского знака, также ничего не имеет. Только Лешка недовольно поворачивает к командиру свою лобастую голову и говорит:

— Ерунда! Тут пока медали дождешься, пять раз закопают.

— Почему? — добродушно возражает Желтых. — Теперь оборона, это быстро делается. Командир дивизии подпишет, и готово. Даром только ругался вчера: ишь как здорово получилось, — и насмешливо добавляет: — Придет на свидание Люська, а ты уже награжден. Жених!

От этих слов командира у меня вдруг начинает тоскливо щемить в груди.

«Если он так говорит Лешке, то, видно, считает именно его достойным нашего санинструктора. Не сказал же он этого мне или Кривенку, а именно Лешке. Значит, все же если ничего и не было, то могло быть у него с Люсей, неспроста такие намеки», — снова печально думаю я. Но Задорожный недовольно хмыкает:

— Нужна мне Люська... как собаке пятая лапа. Не таких видали.

Я не знаю, что и думать. Не поймешь сразу, то ли он притворяется, то ли говорит правду. Снова появляются вчерашние подозрения, противные и мучительные. Я стараюсь подавить их в своей душе.

— Хе, Люся! — иронически хмыкает Лешка. — Мы тут головы под пули подставляем, а она с тыловиками милуется. Тоже медаль зарабатывает. Капитан этот... Как его звали? Мелешкин. Давно она с ним крутит. Знаю я...

Капитан Мелешкин! Это такой красивый чернявый весельчак с усиками. Действительно, однажды на марше я видел, как он ехал верхом на лошади возле санитарной повозки и все угощал чем-то девчат и Люсю тоже, а она уж очень счастливо улыбалась.

Уныние и раздраженность окончательно овладевают мной. Становится досадно на себя и на все на свете. Но

где-то в глубине сама собой живет, не соглашается упрямая мысль: нет, не может она быть плохой, не может. Она не такая. А время идет. В окоп заглядывает солнце и начинает припекать. Плечи и туловище еще в тени, а голове жарко. Желтых, по-стариковски кряхтя, пересаживается к противоположной стене, в тень.

— Гляди ты: молчат! Ни одной мины. Удивительно! — говорит он. — Ну, до вечера досидим, а там на новое место.

Попов надевает гимнастерку и любуется своей сегодняшней обновкой — погонами. Вся одежда на нем подогнана, пуговицы застегнуты, над правым карманчиком три узкие полоски-нашивки за ранения. Эти нашивки мало кто носит из нас, хотя многие были ранены, но у Попова они на месте. Как раз под ними рубиновой звездой краснеет орден. На одном зубчике эмаль выкрошилась, и он побелел, но привинчен орден заботливо — на красной суконной подкладке. Наводчик выглядит аккуратистом, сразу заметна склонность к военной службе, только вот звание маловато — ефрейтор. Но будь он сержантом, думается, его подчиненным пришлось бы несладко — характер у Попова тихий, но упрямый и въедливый. Особенно в мелочах.

— Ты, брат, теперь, как генерал, — усмехается Желтых. — Знаешь что? Сделай и мне такие погончики. А? А то эти — будто из них черти веревки вили. После войны расплачусь. Приглашу тебя в гости из твоей Колымы...

— Зачем Колымы? Якутии! — чуть обиженно поправляет Попов.

— Ну из Якутии. У вас мерзлота, а у нас на Кубани фруктов, дынь, арбузов — завались. Накроем стол в садике, самовар раздуем. Поллитровку, конечно... Ну и остальное. Моя Дарья Емельяновна гостей любит! Всю жизнь бы принимала. Такой характер... Раздавим бутылочку, вспомянем, как под Яссами кукурузу ели, в окопах сидели... Кстати, надо бы написать Дарьке, — вдруг вспоминает Желтых. — С самого Кировограда, пока фрицев до Молдавии не догнали, так Дарьке и не написал. Хлопцы, у кого газетка?

Бумаги у нас нет. В наступлении-то ее бывает много — разные там фрицевские блокнотики, записные книжечки с пружинками-скрепками по корешку, а теперь,

кроме газеты, ничего — ни на курево, ни на письмо. Попов вынимает из кармана аккуратно сложенный номер нашей дивизионки, и старший сержант начинает выбирать краешек с полем пошире. Попов дает ему химический карандаш, который Желтых старательно слюнявит и начинает что-то выводить, пристроившись на одном колене.

— Так и напишем: Дарька, я жив, чего и тебе желаю. Маркел Иванович Желтых.

Он отрывает от газеты полоску и, видя наши любопытные взгляды, поясняет:

— А зачем много писать? Главное: жив. Остальное бабе неинтересно. Я вообще несколько раз собирался написать больше, да все некогда. Известна наша солдатская доля. Только карандаш послюнявишь — посыльный от комбата: «Желтых, пулемет уничтожить!» Пальнешь по пулемету — транспортер отогнать! Там немецкая пехота чуть не за грудки наших стрелков хватает. В нее пошлешь десяток снарядов. А еще танки. Сколько мороки с ними! Процкий мне говорил однажды: «Ты — мой командующий артиллерией. И помни, чтобы никакой задержки у пехоты». Говорю: «Если я командующий, то почему не генерал?» — «А за генерала ты справился бы?» — спрашивает он. «Ого, еще как. Если командиром орудия справляюсь, то генералом и подавно. Было бы чем командовать!» — с затаенной гордостью хвалится Желтых и прячет в пилотку свое рекордное по краткости письмо.

Нам хорошо тут. Уходит в прошлое тревожная ночь, постепенно рассеивается страх. Кажется, все обошлось...

И именно в такой момент, когда расслабляется наше внимание, во вражеской стороне что-то утробно и страшно взвывает. Я еще не понимаю, что это, и только замечаю, как вздрагивает под шинелью Лукьянов. Маленькие глаза командира удивленно округляются, загораются и вдруг гаснут. Со ступеньки вниз на дно окопа падает Лешка, и тогда до сознания доходит смысл этого жуткого звука. Это где-то там, за вражескими холмами разряжаются «скрипуны» — шестиствольные немецкие минометы. Едва только утихает их протяжный зловещий скрип, как из поднебесья обрушивается на нас пронзительный визг мин. Кажется, какая-то невидимая страшная сила низвергается на дрожащую землю. Я тычусь головой в колени Кривенка. Он падает на бок, сверху сыплется в окоп

земля, бьет в уши — взрыв, второй, два сразу, три... Мы глохнем, задыхаемся в пыли, в песке и земле; пальцы хватаются за что-то в поисках опоры. Земля будто разверзается от грозового урагана взрывов и дергается, стонет, дрожит, отчаянно сопротивляясь страшной силе разрушения.

Так мучительно медленно тянется время, все вокруг рвется, разлетается вдребезги; утро темнеет, будто на землю опять надвинулась ночь. Во рту, в глазах, ушах — песок и земля. Тело болезненно ноет от неослабного напряжения и каждого близкого взрыва. Все существо с ужасом, ждет: конец, конец! Вот-вот... этот! Нет... этот! Вверху воет, скулит, падает. Земля перемешивается с небом, все вокруг во власти безвольного оцепенения. И вдруг сбоку слышится крик:

— Попов! Прицел, так твою!..

Это Желтых. Кто-то, больно наскочив на мои ноги, вылетает в конец окопа. Я открываю глаза — на орудийной площадке в дыму мелькает согнутая спина Попова. Возле меня шевелится в земле Лешка. Кричит и ругается Желтых, но взрывы и визг заглушают его. Еще вспышка — удар! На нас снова обрушивается земля. Желтых падает. В облаках пыли кто-то опять переваливается через меня — Попов! Под его неподпоясанной гимнастеркой прицел, наводчик придерживает его рукой. В ту же минуту раздается еще один взрыв по другую сторону окопа. В лицо бьет пороховым смрадом и комьями земли. Я падаю на чьи-то засыпанные по шею плечи и напрягаюсь, чтобы выдержать...

Неизвестно, сколько мы лежим так, заваленные землей, оглушенные...

Но вот немцы переносят огонь дальше, становятся глуше взрывы, и первым с сиплой бранью выкарабкивается из земли Желтых. Вверху, однако, по-прежнему скулит и воет. «Скрипуны» за холмами, задыхаясь, бешено ревут, земля разрывается; небо над нами почернело от пыли и дыма. Но разрывы постепенно отдаляются, и тугие комья перестают молотить наши спины.

«Выжили! Уцелели!» — вспыхивает слабенькая, готовая вот-вот погаснуть радость. Отплевываясь и моргая, я выгребаюсь из-под земли. Потный, страшный, серый от пыли Желтых долго не может выбраться из окопа, затем встает на колени. Слабо шевелится в углу Лукьянов, отряхивается рядом Кривенок. Кажется, все целы —

нам повезло. И в то мгновение, когда я думаю об этом, рядом с диким испугом вскрикивает Лешка:

— Командир! Танки!!!

11

— Т-т-танки! Т-т-танки! Гляди! — заикаясь, кричит Лешка, то высовываясь из окопа, то снова приседая.

Смысл этой тревожной вести будто кинжалом пронзает сознание. Я вскакиваю, выглядываю из-за развороченного бруствера — по склону холма вниз, в дымном грохоте, быстро катится косяк рыжевато-серых немецких танков.

Рядом со мной, часто моргая запорошенными песком глазами, на мгновение замирает Желтых. Будто не веря, приоткрыв рот, он несколько секунд смотрит на танки и выбегает из окопа. За ним по ступенькам вылетает Попов, потом я. Сзади бегут остальные.

Пригнувшись, через взрытую минами площадку мы бросаемся к пушке.

Я цепляюсь за станины, сошники хватает Кривенок. Желтых с Поповым упираются в колеса. Пушка движется, но укрытие завалено комьями земли, и она идет боком. Желтых ругается:

— А ну, поворачивай! Станину поворачивай!.. Лозняк! Такую твою...

Я и сам знаю, что надо поворачивать, и напрягаюсь изо всех сил, но спешу, и все получается невпопад. Кое-как мы все же вытаскиваем пушку на площадку, заносим станины. Желтых, пригнувшись, кричит, командует, помогает затолкать пушку на место. Низко склоненное усатое лицо его в поту и грязи.

Танки бьют по пехоте, бьют, почти не останавливаясь. В воздухе гремит и грохочет, поднебесье стонет, тяжелый железный гул ползет по земле. Мы бросаем станины. Я хватаюсь за стопоры, Задорожный сзади так рвет правило, что чуть не сбивает меня с ног. Левой рукой я открываю затвор, а Желтых вгоняет в ствол бронебойный.

Танки на передней траншее. Я быстро выглядываю из-за щита. Один горит, видно подожженный пехотой, другой мчится почему-то вдоль траншеи. Несколько пехотинцев бегут, согнувшись, по полю в тыл. Желтых что-то кричит. Попов впивается в прицел, и вскоре резкий выстрел бронебойным глушит нас. Пушка подскакивает,

больно толкает в плечо, я падаю: ребята не успели упереть в землю станины.

— Сошники! — кричит Желтых, низко пригнувшись за наводчиком, и кулаком толкает в спину Кривенка. Тот хватает сошник и начинает его загонять в ямку. Второй сошник, стоя на коленях, втискивает в землю ослабевший Лукьянов. Крикливая властность Желтых, как ни странно, успокаивает. Кажется, если командир здесь, нам — только повиноваться.

«Трах!» — бьет второй выстрел. Еле заметный красный огонек трассера мелькает возле танка, щелкает о броню и отскакивает высоко в сторону.

— Огонь! Огонь! Не медли, огонь!

«Гах!.. Гах!.. Гах!..» — бьет пушка, подпрыгивая на колесах. Трассеры не все заметны — некоторые снаряды бесследно исчезают вдали. Танки от первой траншеи, направляясь вдоль дороги, один за другим ползут по нашей обороне. На их бортах видны черно-белые кресты. Поднимая тучи пыли, машины тяжело переваливаются через брустверы. Длинные их пушки угрожающе покачиваются, грохочут выстрелами.

— Огонь! — ревет Желтых. — Наводить лучше!

Попов молодчина, наш хороший Попов! Он, пожалуй, единственный тут, кому чужды и страх, и волнение. Он не спешит, не дрожит, теперь он ничего на свете не знает, кроме танка.

«Гах! Гах!» — дергается пушечка.

«Так, держись, Лозняк! Кажется, наступает твой час, — говорю я себе. — Ну, идите же, гады, идите! Ближе! Еще ближе!»

Да, они идут. Уже позади траншеи пехоты... Но что это? Среди сплошного грохота с бессильной злостью снова кричит Желтых.

— Не берет! Дьявол им в глотку! Бей по гусеницам, по гусеницам огонь!

Не берет. Я тоже чувствую это.

«Гах!» — подпрыгивает пушечка, стремительная искорка трассера гибкой стрелой мелькает вдали, бьет в башню танка и отскакивает в сторону. Не берет! Немцы, видно, пустили на нас тяжелые танки. Может, это их «тигры»?

Пехота наша рассеяна, вслед за танками идут немцы. Наши уходят. Недалеко от огневой, низко пригнувшись к земле, обессиленно бредет сержант с потным

красным лицом. Одной рукой он тащит пулемет, другая, будто палка, свисает до самой земли. За ним, то и дело оглядываясь, бежит невысокий боец с патронными ящиками в руках. Кажется, это тот наш ночной знакомый с термосом.

— Стойте! — кричит им Желтых. — Стой, куда удираешь, сволочь! Расстреляю! Стой!

Сержант кричит что-то в ответ, но нам ничего не слышно, тогда он, присев, тычет рукой в сторону дороги. Желтых оглядывается, приседает от неожиданности и ругает уже неизвестно кого.

— Станины влево! — командует он.

Танки прорвались, обходят и быстро несутся вдоль дороги к деревне, в наш тыл...

Мы заносим станины в сторону. Попов обеими руками подкручивает маховики наводки. «Гах! Гах!» — гремят частые наши выстрелы, и коротко позванивают под ногами пустые гильзы. Хлопцы притихли, прижались к земле. Это плохо! Держись! Как-нибудь держись, заставляю я себя. У тебя нет права бояться, трусить. У тебя один выход — драться!

— Ага! — наконец злорадно вскрикивает Желтых. — Один есть! Огонь! Попов! Огонь!

Не выдержав, я выглядываю из-за щита, и мгновенная радость охватывает меня. Вот стоит он, уронив ствол орудия, в борту торчит откинутая крышка люка. Рядом останавливается второй. Он чуть медлит, потом поворачивается в нашу сторону, и я понимаю — заметил! «Заметил, теперь достанется!» — мелькает в сознании, и сразу же перед огневой сверкает черная молния. Пыль и смрад накрывают огневую. Тотчас раздается встревоженный крик Попова:

— Кукуруз!.. Командир, кукуруз!..

Танк за кукурузной кучей, она мешает стрелять. Надо разбросать ее, но тут снова удар... Тугая пробка забивает уши... Легкие задыхаются от тротиловой горечи и пыльного удушья.

— Так. Ничего, — глухо успокаивает кого-то командир.

Чувство реальности обострено. Внимание предельное. Мысль работает быстро и четко. Я понимаю, что надо бежать навстречу танку, но неподвластная мне тяжесть свинцом наливает ноги. Ненавидя себя, я медленно при-

поднимаюсь из-за щита, а танк, крутнувшись на одной гусенице, сворачивает с дороги и вдруг направляется сюда, покачивая перед собой длиннющим хоботом пушки. Сейчас она снова выстрелит... Сейчас! Сейчас! Во мне все напрягается — переждать выстрел, затем... Но в это время сзади раздается команда:

— Лукьянов, убрать!

Лукьянов! Сразу спадает напряжение. Пойдет Лукьянов. Конечно, командиру лучше видно, кого выбрать. Назад ему уже возврата не будет.

Вобрав голову в плечи, я жду. Лукьянов в расстегнутой шинели встает из-за ящика, почему-то оглядывается. В его глазах такая тоска, что кажется, струсит, откажется. Но он не отказывается, только несколько медлит, а потом влезает на бруствер и, пригнувшись, расслабленно бежит к куче. Там он хватает с земли охапку, затем вторую, разбрасывает кукурузу в стороны. Куча уменьшается, но танк — вот он, рядом!..

И тут — трах!

Пыль, песок бьют в глаза, в ушах звон, острая короткая боль...

Через мгновение я вскакиваю. Сквозь редкие клубы пыли, словно ослепленный, почему-то медленно, наклонившись и спотыкаясь, бредет Лукьянов. В десяти шагах от него горячо курится воронка...

— Огонь! — басовито ревет сзади Желтых, а во мне все холодеет. Какая-то полуосознанная вина перед Лукьяновым заставляет меня вскочить на бруствер. Будто издали долетает строгий крик командира: «Стой! Назад!» — но я в три прыжка подбегаю к Лукьянову и хватаю его под мышки.

Задыхаясь, я волоку к огневой тяжелое тело друга. Навстречу, пахнув в грудь горячей тугой волной, бьет по танку Попов. В тот же момент где-то совсем рядом черный огненный блеск и — удар! Я падаю, больно ударившись плечом о землю. Не знаю, цел или ранен, вскакиваю и снова хватаю Лукьянова. Танк — вот он! Тяжеленная его громадина ползет все быстрее. Прогибается, дрожит земля, бешено мелькают траки, неудержимо надвигается на нас его широкая стальная грудь.

Разгребая сапогами песок, я переваливаю через бруствер Лукьянова и вместе с ним падаю под колеса пушки. Несколько пуль вдогонку хлестко щелкают в щит и рикошетом отлетают в стороны. В окопе строчит пуле-

мет — это Кривенок бьет по пехоте. Командир с Задорожным лежат меж станин. Возле прицела один Попов... Но почему смолк Желтых? Почему не командует, не двигается? Привалился плечом к станине и молчит. На коленях я бросаюсь к нему. Сзади гахает выстрел. Пушка, словно живая, вздрагивает, по спине больно бьет гильза. Хватаю командира за плечо, он сползает со станины наземь. Струя теплой крови откуда-то из горла брызжет мне в лицо, фонтаном обдает спину Задорожного. Я припадаю к земле, нащупываю и зажимаю под расстегнутым воротником Желтых небольшую ранку. Но кровь все равно прорывается и брызжет вокруг. Побледневшие веки Желтых непрерывно вздрагивают, взгляд тухнет, и зрачки закатываются. Он не узнает меня.

— Командир! — слышится рядом хриплый запоздавший голос Задорожного. — Хлопцы, командира убило...

Этот истошный выкрик потрясает и меня. Несколько секунд я лежу на земле, всем телом ощущая ее непрерывную дрожь... Танка я не вижу, но чувствую, он в нескольких шагах от нас. Я в оцепенении жду: сейчас все будет кончено. И тогда, оторвавшись от прицела, оборачивается к нам Попов.

— Заряжай, Лешка! Собака, заряжай!

Пушка молчит. В окопе трещит, захлебывается пулемет Кривенка. Задорожный гребет пальцами землю и жмется под бруствер. В бешенстве от предчувствия неотвратимой гибели я толкаю Задорожного сапогом в бок, кричу:

— Заряжай, сволочь!

Он боком медленно переползает к ящикам. Я, оторвавшись от командира, сам хватаю снаряд и окровавленными руками загоняю его в ствол. Из шеи Желтых снова вырывается тонкая струя, но тут же ослабевает и, когда я снова подползаю к командиру, пропадает совсем.

Остекленевшие глаза Желтых останавливаются...

Кажется, все! Конец!

Я бросаюсь к снарядам — танк в пятидесяти шагах, не больше. Одной гусеницей он подминает под себя остатки кукурузной кучи и взмахивает в воздухе длиннющим стволом. Из-под его днища упруго бьют в землю струи дыма и пыли. Попов секунду медлит и вдруг снова вскакивает со станины. Грохает выстрел.

— В окоп... Быстро!

Сквозь пыль я успеваю заметить, как танк однобоко дергается вперед. Будто споткнувшись, с разгона клюет стволом в землю и замирает. Впереди острыми зубцами торчит направляющее колесо; гусеницы на нем нет. Танк стоит к нам бортом.

Подбили!

Но орудие его вдруг оживает. Скрипнув, описывает полукруг башня, и огромный танковый ствол направляется в нас. Попов, не целясь, крутит маховички наводки, и наш накаленный, короткий стволик с самоотверженной готовностью спешит навстречу.

«Быстрее! Быстрей!!» — бьется во мне отчаянный крик. Ползком я пробираюсь к ящикам. Головами мы сталкиваемся в пыли с Лешкой. Стукнувшись, разлетаемся в стороны. К моим коленям падает его пилотка, в дрожащих его руках — снаряд. Сразу же лязгает клин.

— Иди! — вскрикивает Попов. — Убегай!

С завидной ловкостью через меня в окоп кувыркается Лешка. Дульный тормоз танкового орудия, как-то судорожно дергаясь, опускается ниже, ниже... Это последнее, что я успеваю заметить, и на коленях, вниз головой бросаюсь за Лешкой.

Выстрел и взрыв гремят одновременно. Огромная глыба со стены нашего окопа обрушивается на мои плечи. Что-то колючим градом обдает затылок. Я, кажется, глохну на несколько секунд и мертвею, полузакопанный...

Вдруг все умолкает. Становится неестественно тихо. Громовой грохот прекращается. Куда-то пропадают взрывы, лишь издали доносится гул танков и по-прежнему мелко дрожит земля. Я выгребаюсь из земли и выскакиваю из обрушенного, разбитого окопа...

12

«Пропало все! Навсегда! Безвозвратно!..»

Первое, что бросается в глаза, — глубокая яма на краю нашей площадки. В эту яму одним колесом провалилось перекошенное орудие. Между станин неподвижно лежит засыпанный землей Желтых. Рядом — также весь в земле и пыли — сползает на лопатках с бруствера, очевидно, отброшенный туда взрывом Попов. Ни каски, ни пилотки на нем нет, грудь чем-то залита. Невидящим, бездумным взглядом наводчик смотрит в ту

сторону, откуда полз на нас танк... Но почему же так тихо и где танк?

Я оглядываюсь и столбенею от странно смешавшегося во мне чувства радости, страха и удивления. Огромная пятнистая громадина танка, почти вперев в нас длинный ствол, неподвижно застыла на кукурузной куче, и густые языки пламени шипят и чадят над ее приземистой, круглой, свернутой набок башней.

Попов склоняется, стонет, поднимает руку, на ней вместо пальцев месиво кровянистой грязи. Он торопливо прижимает руку к груди, тихо, сквозь зубы мычит от боли и пробует остановить кровь, которая льется на колени, штаны, в сухую, жадную к влаге землю.

Я кладу на землю гранаты и хочу помочь ему, но Попов уже сам заматывает руку подолом гимнастерки и раздраженно приказывает мне:

— Лозняк, огонь! Огонь!

Ага! Они идут все дальше! Позади уже остались траншеи с ходами сообщений, где тянутся в небо три столба черного дыма. Рядом бешеным пламенем полыхает четвертый. Остальные вдоль узкой полоски подсолнуха направляются в деревню. То и дело останавливаясь, они бьют по разрушенной деревушке. Все стонет от частых гулких выстрелов. Издали слышно, как с коротким стремительным визгом проносятся болванки.

Я вгоняю в ствол бронебойный и хватаюсь за механизмы наводки. Пушечка вся ободрана осколками, склонилась набок, но еще послушна моим рукам. Я торопливо подвожу угольник прицела под срез какого-то танка и нажимаю спуск. Тугой резиновый наглазник больно бьет в бровь. Я не вижу, куда летит снаряд, и бегу за следующим. Мельком кидаю взгляд на танк: верхний люк уже открыт. Из него высовывается рука в черной перчатке. Она слепо шарит по броне, старается уцепиться за крышку люка, срывается и снова шарит. Из окопа раздается короткая очередь — это Кривенок, но я не вижу, что происходит дальше.

— Огонь! — строго требует Попов. — Прицел — больше два!

Я заряжаю, подкручиваю дистанционный барабанчик прицела, целюсь, стреляю и снова спешу за снарядом. Попов сидит обессиленный, крепко зажав подолом руку. Лицо его черно, глаза запали. Люк в танке попрежнему раскрыт, но в нем уже никого не видно.

— Огонь! Лозняк! Огонь!

И я стреляю. В прицеле еще видны танки. Я с трудом успеваю хватать снаряды. Пот ядовитой солью слепит глаза, каплет с кончика носа на руки — утереться некогда. Я понимаю, что танки несут смерть, и бью в них.

Не знаю, сколько длится это. В моем сознании мелькают прицел, угольничек под танком, гром выстрела, потом гримаса напряжения и боли на упрямом лице Попова, его требовательное «Огонь!» и снаряды в ящиках. Я мечусь, ползаю, глохну от выстрелов и, запыхавшись, часто дышу. Но вот, схватив маховичок наводки, я круто поворачиваю ствол, впиваюсь взглядом в прицел, только напрасно. Танки скрылись в вишенниках, подворьях, за развалинами румынских мазанок...

— Все! — говорю я и опускаю руки... — Все! Прорвались!

Я сажусь меж станин, прислоняюсь к казеннику. От него пышет жаром, но я не отстраняюсь. Я уже обессилел, оглох, в ушах гудит, перед глазами расплываются желтые, оранжевые, черные круги. Высокое солнце безжалостно палит с пропыленного, заволоченного дымом неба. В поле пусто, кое-где видны желтоватые в зеленой траве бугорки — это трупы. Вон лежит, раскинув ноги, лицом вниз, кажется, знакомый солдат-пулеметчик, который недавно бежал за своим командиром. Грудью он придавил патронные ящики, будто и мертвый не хочет выпустить их.

Мощный внезапный взрыв сотрясает землю. Над танком, выбросив в стороны клочья дымного пламени, подскакивает башня, коротко звякает сталь, и орудие дульным тормозом косо врезается в землю. Огонь с остервенелой яростью начинает пожирать резину колес, краску, залитую бензином землю. В воздухе кружат и оседают тлеющие хлопья ветоши.

Из окопа выползает Задорожный, высовывает голову Кривенок. Минуту мы осоловело глядим, как пламя уничтожает танк. Потом Задорожный вскрикивает:

— Сматываться! Давай скорей! Ну!

Вот когда исчезла у него всегдашняя нагловатая самоуверенность, вот и струсил он, этот наш хваленый смельчак. На его гладком лице испуг, глаза бегают, и он даже не пытается овладеть собой.

Мы, однако, молчим. Кривенок вытирает пилоткой лицо и спокойно спрашивает:

— Сколько снарядов у нас?

— Мало, — говорит Попов. — Мало.

Он все сжимает в подоле руку и смотрит на деревню. Мы выжидательно поглядываем на него: теперь он наш командир.

— Ну, что молчите? — нервно выпаливает Лешка. — Попов, командуй, ты же заместитель! Какого черта!..

Я оглядываюсь. Перед нами в окопах уже никого нет, но сзади, на участке соседнего полка, траншеи которого идут по взгорью, еще гремит бой, видно, как густыми черными клубами там рвутся мины.

Из окопа выходит Кривенок, молча склоняется над командиром, расстегивает его окровавленную гимнастерку и, помедлив, за руки оттаскивает в укрытие. Потом берет Лукьянова, тот еще тихо стонет.

— Давай, Лошка, завязывай рука, — говорит Попов и вытаскивает из подпола кисть.

Лешка неохотно откладывает гранаты, берется перевязывать. Все время он оглядывается. Его чистый лоб прорезает изломанная морщина.

— Так давай смываться, — обретая обычный свой тон, говорит Задорожный. — Пока не поздно...

— Нет, — говорит Попов, — приказ нету, не можно ходи.

— Чудак, — запальчиво удивляется Задорожный. — Какой тебе, к черту, приказ. Фронт прорвали...

— Приказ оборона был, приказ отступай не был. Стрелять надо.

— Одурел! Куда стрелять?

— Гитлер стрелять! Не знай, куда стрелять?

— Балда! — плюет Задорожный. — Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами.

— Чего кричишь? — с нескрываемой злостью говорю я ему. — Куда пойдешь?

— Как куда? Куда все!

— А пушка?

— Что «пушка»? Пушка подбита.

— Ну и что ж? Стреляет же...

— Идиоты! — искренне возмущается Лешка. — Голова и два уха — не больше. Что же, по-вашему, сидеть тут до смерти?

В убежище выпрямляется во весь рост Кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости.

— Заткните ему рот! — кричит он. — Заткните! Или пусть идет к чертовой матери! На все четыре стороны! Ну?

Задорожный хмурится, исподлобья окидывает нас ненавидящим взглядом и бьет кулаком о землю.

— Ну, что ж! Пропадайте, черт с вами. Командир еще этот — балда...

Это оскорбление вдруг взрывает всегда спокойного Попова. Темные глаза его загораются злым блеском, весь он подается вперед, пригнувшись, останавливается перед Лешкой:

— Почему Попов балда? Говори, почему балда? Сам балда. Нельзя пушку бросай. Попов присяга давай. Желтых не удирай. Попов не удирай. Сволочь удирай. Молчи, Лошка!

Затем он несколько успокаивается, приказывает нам заровнять на огневой воронку и повернуть орудие стволом к дороге. Согнувшись, на коленях, мы выполняем его команду. Задорожный вытирает потное лицо и больше не затевает разговора об уходе, но все время оглядывается и о чем-то упрямо думает. Попов оставляет его наблюдать возле орудия и зовет меня в укрытие.

Тут возится Кривенок. Он поднимает на Попова недовольные холодные глаза и говорит:

— Командир уже отошел. Лукьянов кончается. Перевязал немного.

— Иди, пулемет гляди, — с гримасой боли на широком лице говорит Попов. И когда тот выползает из укрытия, вздыхает: — Ах, ах, плохо!.. Очень плохо, товарищ командыр! Ай-яй!..

Они лежат рядом на разостланной палатке — Желтых на спине, закинув кверху сухой щетинистый подбородок, Лукьянов с побелевшим лицом, до половины накрытый пропыленной шинелью. Оба они кажутся какими-то маленькими и странными в своей неподвижности. Я опускаюсь над ними.

— Командыр! Командыр! — горюет, присаживаясь рядом, наводчик. — На Днепро говорил погибай — жив оставался. На Мала Горка думай погибай — жив оставался. На деревня Ольховка погибай — жив оставался. Тут погибай, совсем погибай...

Глухой ко всему, старший сержант молчит. И я не

могу себе представить, что никогда больше он ничего не скажет, не закричит, не обругает. Я сижу над ним, и в моей душе зарождается немой укор себе оттого, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Еще начинает казаться, что, может, это он из-за меня вынужден был подставить себя под пулю. Может, если бы он сзади не крикнул и я, вздрогнув, не уклонился, то пуля была б моей. А так вот меня она миновала, а настигла его.

А Лукьянов? Конечно, в его смерти есть косвенная моя вина. Побеги я к кукурузе минутой раньше, не ожидая приказа, он, видно, был бы цел, а то вот умирает на том месте, где мог лежать я. И уже не терзает его никто — ни Лешка, ни трудная его судьба, ни отец. Это странно и страшно — видеть лежащих бок о бок посланного на верную гибель и того, кто послал.

«О великая, слепая сила войны, — думаю я. — Неужели в этом нелепая твоя справедливость?» И тут я вспоминаю Люсю. Эх, Люся, Люся! Где ты теперь и знаешь ли, какая беда стряслась с нами?.. В моих оглохших ушах почему-то начинает явственно звучать ее милое «добрый день, мальчики!». Вот они лежат, ее мальчики, погибли — одни раньше, другие, видно, погибнут позже. А умирать так не хочется!

Горестно съежившись, наводчик сидит возле Желтых. Я вспоминаю, что в пилотке командира его неотправленное короткое письмо, и достаю этот клочок бумаги. «Дарья, я жив, чего и тебе желаю...»

«Сколько же прошло с той поры, как писались эти слова, а как непоправимо все изменилось! Ну вот, командир, остались без отца и твои дети. А в четверг комиссия...» — вспоминая, думаю я и поправляю отброшенную в сторону руку Желтых. Но она снова медленно разгибается, и на запястье, будто в целом мире ничего не изменилось, по-прежнему деловито тикают трофейные швейцарские часы. Лицо командира кажется прежним, только, может, больше посинела пороховая сыпь на щеках да как-то гуще затопорщилась щетина. Веки его наполовину прикрыты, из-под них едва светятся неподвижные белки глаз.

— Закрой ему глаза, — говорит Попов. — Пусть спит...

Бережным прикосновением я закрываю командиру

глаза, и вдруг приступ отчаяния овладевает мной. Что же это? Почему так? Что делать? Но сделать ничего нельзя, я понимаю это и ругаюсь. Потом сижу, глядя в одну точку, и в голове проносится вереница горестных мыслей.

— Ничего! Не надо... — говорит Попов. — Война!..

Да, война. Но она не была неожиданностью в нашей жизни, эта война. Она висела над нами все недолгие годы нашего детства, она зрела, накапливаясь с самой колыбели. Под ее черным крылом качались, росли и учились мы, сыны солдат и сами будущие солдаты. Наши матери думали, что мы — их дети — рождены ими для радости и опоры в старости. А на деле получалось, что недолго мы были их утехой и редко — опорой. Поднявшись на ноги, мы шли в армию, и годы нашего детства были мимолетным перерывом между двумя войнами. Мы чувствовали это, но жили надеждой, что все как-то уладится. Да в детстве война и не казалась нам чем-то ужасным, — наоборот, излюбленными нашими игрушками было оружие, самые интересные книжки были про войну. Наши молодые души еще подсознательно тянулись к захватывающей романтике подвигов, бездумно-красивой храбрости, и литература, не скупясь на примеры, умела подогреть нашу фантазию. Но вот грянула война, которую нам навязали, и все оказалось далеко не так, как представлялось. Своей жестокостью, кровью и пóтом война вышибла у многих из нас книжный романтический пыл. И потому не за посулы, не за награды и не из любви к приключениям приходится нам испытывать все это, а единственно из-за того, что мы хотим жить.

В моей голове сумбур. Глаза застилает туман обиды и горечи. Я бессмысленно кручу в руках письмо Желтых и стараюсь, что-то решить раз и навсегда.

— Попов! — говорю я, глядя на наводчика. — Будем держаться? Да? До конца?

В потемневших глазах Попова коротко мелькает удивление, брови сдвигаются к переносице.

— Зачем так говоришь: конца? Не надо конца. Живи надо! Думаешь, Попов легко? — помолчав, спрашивает наводчик. — Попов плохо! Желтых — командыр. Желтых друг... На Днепро пропадал... Якут Попов целовал русска Желтых. Желтых целовал якут Попов. Говорил: прощай! Плохо, плохо, прощай...

Летнее небо в дымной пелене. Солнце печет, обжигает наши лбы, горький соленый пот разъедает лица. Докучают мухи. Я то и дело отмахиваюсь от них пилоткой. А Попов не очень складно, путая русские и якутские слова, начинает рассказывать мне, как в осеннюю пору форсировали они Днепр, дрались на узком плацдарме, как его рота погибла вся и как фронтовая судьба свела его с Желтых. Они вдвоем отбивались из пушки до вечера, отстреливались из автоматов, потом, потеряв надежду уцелеть, простились. Но в последнюю минуту смерть обошла их, и они спаслись. С тех пор много еще трудных и славных дел свершили два эти солдата, чтоб вот сегодня расстаться навеки.

13

В укрытие заглядывает Лешка. На его голове каска.

— Так сколько же мы тут высидим? Пока в плен не возьмут, что ли? — говорит он злым голосом.

Бой переместился за деревню и теперь гремит там тысячью далеких громов. Где-то над дорогой, вылетая из-за холмов, визжат немецкие мины, но рвутся они далеко, в деревне. Попов все не находит места для своей руки: то прижимает ее к груди, то кладет на колени, то вытягивает в тени под стеной окопа.

— Было бы геройство, — ворчит Задорожный, — а то глупость одна. Поубивают, и никто не узнает. Напишут: пропал без вести. Или еще лучше — в плен сдался.

Попов морщится от этих слов, но опять говорит свое:

— Командыр Желтых не отступал. И Попов не отступай. Трус отступай.

— Желтых, Желтых! Что мне Желтых? Ему теперь все равно. А мы живы еще.

— Эх, Лошка, Лошка! — качает головой Попов. — Плохой твой голова...

— Что голова! — огрызается Задорожный. — Вот гляди: хоть бы ты! Погеройствовал, можно сказать, танк подбил, а толку что? И знать никто не будет. Возьми Лукьянова — герой! Под огонь лез. А его чуть ли не преступником считают.

— Лукьян, да? — спрашивает Попов и почему-то задумывается. Что-то щемящей болью отражается в его наивных глазах. Недолго поразмыслив, он говорит: — Да. Надо идти к комбат. Надо сказать. А кто ходи? Лош-

ка ходи? Лозняк ходи? — спрашивает он и оглядывает нас.

Его вопрос застает меня врасплох. Я понимаю, что нелегко пробраться к своим, но все-таки в этом еще таится какая-то возможность спастись. Однако именно эта возможность и не дает мне решимости вызваться. Мне очень неловко, стыдно оставлять их тут, почти обреченных на гибель, и за их спинами спасать прежде всего свою жизнь. Лешка же, что-то прикинув, решает:

— Я пойду.

— Говори комбату: Желтых погибай, Лукьян — хорош солдат. Не надо его думай плохо. И приказ надо. Пушка есть, как бросай? Попов будет ждать, — встает с места Попов.

Лешка поворачивается, веселеет, глубже надвигает каску и берет автомат.

— Я в обход, Ауфвидерзей! — восклицает он и, пригнувшись, бежит в сторону покинутой пехотной траншеи. Мы остаемся втроем. Попов перебирается на станину и начинает наблюдать вместо Лешки.

— Верно Попов говори? — спрашивает наводчик и сам себе отвечает: — Верно! Лукьян медаль надо. Попов приказ надо.

Я, однако, не слушаю. Что-то будоражит мое сознание, хочется крикнуть, задержать Лешку, но он быстро скрывается в опустевшей траншее. А я так и не могу понять, почему я против этого его ухода. Сзади слышится тихий протяжный стон, это Лукьянов. Поворачиваюсь и тихонько прикасаюсь к его колену.

— Лукьянов?

Он с трудом приподнимает веки.

— Плохо... Душит очень..

— Потерпи немного, — говорю я, — отобьемся — выручим.

— Только не бросайте! — безразличный к моему утешению, просит он. — Добейте лучше. Застрелите...

Я знаю, в таких случаях нельзя кривить душой, уговаривать, обманывать. Человеку в таком состоянии надо говорить правду.

— Ладно, — обещаю я. — Так не бросим.

— Спасибо, — тихо шепчет он и несколько успокаивается.

Да, кажется, ему уже не жить.

А ведь на поверку оказалось, что и Лукьянов не пло-

хой солдат. Тихий, слабосильный, он, видно, прежде не отличался отвагой, но когда пришлось решиться на самое трудное, хоть, может, и боялся, однако не струсил. Но вот не побоялся же и Задорожный, пошел сквозь огонь. И вдруг мне кажется, что Лешка охотно побежал в тыл потому, что там Люся. Возможно, они еще вчера условились и она ждет его, и все, что он говорит о ней, правда. Злость и досада снова охватывают меня.

— Лозняк! — вдруг встревоженно окликает меня Попов.

Я выскакиваю из укрытия. Через бруствер к нам переваливается незнакомый солдат. Приподнявшись на коленях, наводчик удивленно оглядывает его. Видимо, он проворонил, и пехотинец незамеченным подошел к огневой.

— Отвоевався! — говорит солдат каким-то неуместно беззаботным голосом, будто мы где-нибудь на занятиях в тылу.

И тут мы с Поповым настораживаемся и молча смотрим на его испещренное оспой лицо, на котором в странной неподвижности застыли глаза. Но самое худшее даже не в глазах. Правой рукой солдат сжимает левую, которая, будто браслетом, перетянута у запястья узким брючным ремнем. Ниже на каком-то клочке кожи висит почти совсем оторванная, окровавленная, с растопыренными пальцами кисть.

— От, хлопцы, отвоевався! У кого е ножик? — спрашивает солдат и садится на краю площадки.

Мы оторопело всматриваемся в его побелевшее лицо, на котором по-прежнему не дрогнет ни один мускул. Это его спокойствие удивляет нас. Я бросаюсь в убежище, достаю из кармана Желтых нож и возвращаюсь наверх.

— Ой, ой! — говорит Попов. — И не болит?

— Отстал, — невпопад отвечает солдат. — Вси побиглы, а мэнэ як вдарить! Очнулся, гляжу: раненый...

— Ты что, не слышишь? — кричу я ему в лицо. В его затуманенных, полусонных глазах пробивается еле заметное усилие услышать и понять вопрос.

— З шистой роты я, — глуховато отвечает он. — Панасюк. Тэпэр до дому пиду. На ось, отрижать, хлопец.

Я перерезаю клочок кожи. Кисть навсегда отделяется от руки. Солдат берет ее, кладет в ямку под бруствером и ботинком сдвигает на нее песок.

— Поховаты трэба. Стильки поробила. А бинтец е? — снова спрашивает он без какого-либо признака боли. — Тэпэр полечусь и — в Иванівку. А рука нэ бида. Спецыяльнасць у мэнэ пчеляр, и одноруч управлюсь.

Кровь из перебитой руки почти не идет, видно, поясок хорошо перетянул ее, только несколько загустевших капель падают на запыленные башмаки солдата. Но все же надо перевязать, да нечем.

— Дай гимнастерку, — дергаю его за подол. Однако солдат уклоняется.

— Ну, скажешь, вона ж нова. Тильки в травни отримливали. От нижней отдири.

Мы смотрим на него с удивлением. Солдат поворачивается ко мне боком, я отрываю кусок его нижней рубашки и кое-как обертываю руку.

— Отвоевався! — снова сообщает он и озабоченно добавляет: — От тильки медаль згубив. — Действительно, над карманом косо висит засаленная серая ленточка медали «За отвагу», самой медали нет. — Теперича ни с чим и до дому показатысь.

Мы молчим, смотрим на нежданного гостя и не можем его понять.

— Ну ось гарно, — говорит солдат, когда я заканчиваю перевязку, удобнее устраивается под бруствером. Вещмешок он подвигает под локоть. — Спичну трохи и пийду.

— Куда ты пойдешь? Там же немцы! — кричу ему в ухо.

— Да? Винницкий я.

— Тебе что — не больно?

Но Панасюк молчит. Мы переглядываемся с Поповым, а пехотинец устало закрывает глаза и медленно склоняет на плечо голову.

14

Наше удивление прерывает быстро нарастающий гул. Отпрянув от солдата, мы несколько секунд вглядываемся в дорогу, по которой, подняв облако пыли, мчится из-за холмов колонна машин. В их объемистых кузовах плотными рядами сидят немцы.

Попов от неожиданности что-то вскрикивает по-якутски и здоровой рукой хватается за механизм наводки.

— Лозняк, заряжай!

Я хватаю из раскрытого ящика осколочный и толкаю его в ствол. Но получается это у меня неловко: гильза застревает, до конца не доходит, и клин не закрывается. Как это иногда делал Задорожный, я подталкиваю ее рукояткой лопаты и пригибаюсь.

Грузно оседая на скатах, головная машина переползает на объезде минного поля канаву и выбирается на дорогу. Неожиданно звучно грохает выстрел. Пыль застилает огневую. Я не вижу, куда попадает снаряд, и бросаюсь за следующим. Снова меня охватывает азарт боя, до дрожи напрягаются нервы, я хочу отрешиться от всех мыслей, не спускать глаз с врагов. Но где-то внутри начинает канючить надоедливый голос: «Ага, вам конец, а он жив! Он уцелеет и будет с Люсей. Говорил о Лукьянове, а думал о себе, ага!»

Усилием воли я стараюсь заглушить в себе этот голос, сосредоточиваюсь только на деле — ползаю на коленях от казенника к ящикам. Попов часто стреляет, меня обсыпает песком, оглушает, я не знаю, не вижу, где машины, — вся моя воля и силы собраны воедино: не пропустить их в деревню. Я чувствую, что этот наш поединок кончится плохо, в машинах, наверное, пехота. Но теперь уже все равно.

А с Поповым в это время начинает происходить что-то непонятное. Он как-то злорадно оживляется и, согнувшись над прицелом, кричит: «Стой, Гитлер! Назад, Гитлер!» — и еще что-то, но выстрелы заглушают его слова. Я приподнимаюсь на коленях и из-за щита выглядываю в поле. Три машины горят на дороге, несколько, спасаясь от огня, поворачивают в объезд. На плоском смуглом лице Попова отражается детская радость: он загнал их на минное поле.

— Многа-многа давай! Сильно давай! — кричит Попов и наводит орудие.

Чувствуется: в колонне растерянность. Два автомобиля, разнесенные взрывами, грудой железа осели на землю, остальные бросаются в стороны. Хвостовые поворачивают назад к холмам.

— Давай, Лозняк, заряжай! — в необыкновенном азарте подгоняет меня наводчик. Но вот в ящике остаются два последних снаряда, и я, схватив было один, в нерешительности держу его в руках.

После очередного выстрела Попов оглядывается, сра-

зу все понимает и уныло опускает руки. По его почерневшему лицу текут струйки пота, гимнастерка на спине мокрая, темные глаза встревоженно сузились.

— Нехорошо! Ай-ай! — говорит наводчик. — Плохо будет.

Я ползу к ящикам, отбрасываю пустые, их уже много, и всюду на огневой валяются гильзы. Наконец мне попадается что-то тяжелое. За веревочную ручку я подтягиваю его ближе к орудию и раскрываю. Тут десять снарядов картечи. Это последняя наша надежда. Но для стрельбы картечью немцы далеко, и мы начинаем ждать.

— Ой, Лошка! — снова мрачнеет Попов. — Где Лошка. Снаряд мало. Приказ надо...

Мы поглядываем в тыл: нигде никого, вокруг изрытое воронками поле. За деревней не стихает бой, часто рвутся снаряды, грохочут, ревут моторы и беспорядочно рассыпается пулеметная трескотня. Видно, немцев дальше не пустили, это хорошо, но мы не знаем, что делать нам. Ждать ли Лешку? С ним тоже могло случиться всякое, может, лежит где-либо убитый? Но опять же, как уходить? Рядом дорога, по ней, наверное, пойдут немцы, и мы могли бы их задержать, не допустить к деревне. Если бы только были снаряды!..

Немцы не спешат атаковать нас. Они притаились у дороги и чего-то ждут. Панасюк тем временем спокойно сидит, прислонившись спиной к брустверу. Однако голова его как-то неловко склоняется набок.

«Неужели спит?» — думается мне, и я дергаю солдата за ногу:

— Эй, ты! Иди в окоп.

Но он не шевелится. Тогда я поднимаюсь и тормошу его. Голова Панасюка неестественно перекатывается на шее, и я поражаюсь: в прищуренных его глазах смерть.

— Гляди, умер!

Удивленный, я несколько секунд гляжу на него.

— Помирал, — соглашается Попов, сидя на станине. — Давно помирал. Там помирал, — показывает он на пехотную траншею, откуда пришел солдат.

Эта неожиданная и, казалось, беспричинная смерть незнакомого человека потрясает меня. Ведь вот только что он был жив и имел право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть!

— Тащи его яма. Тут не надо ложись, — говорит Попов.

Я беру Панасюка за руки и оттаскиваю в укрытие. Там опускаю у стенки рядом с Лукьяновым. Лукьянов еще дышит. Я дотрагиваюсь до него, но он не шевелится. Несколько минут я молча гляжу на покойников и думаю: «Кто же следующий?»

Вдруг слышится голос Попова:

— Кривен! Огонь! Огонь!.. Нашто молчи? Огонь!

Я выскакиваю из укрытия — так и есть! С дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, воровски перебегают немцы.

— Кривен! — кричит Попов.

Но Кривенок молчит.

На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемет, рядом валяются пустые ленты. Кривенка здесь нет.

Мы молча переглядываемся с Поповым. На его скуластом, буром от пота лице растерянность.

— Немец ходи? Плен ходи?

Я молча пожимаю плечами.

Немцы тем временем скрываются в пшенице. Попов смотрит то на дорогу, то на картечь в ящике. Но ее у нас только десять снарядов. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру.

— Ой, дурной Попов! Нашто послал Лошка?

— Вообще-то да, — говорю я. — Не того послали.

— Ой, Лошка хитрый! Бросай нас Лошка.

Уверенность, с какой говорит эти слова Попов, действует как гипноз. Теперь и мне становится ясно, что Задорожный не вернется. Не за тем пошел! И все же не хочется верить этому. Я отгоняю дурное предчувствие. Все-таки как это он смеет бросить нас? Хочется как-нибудь успокоить Попова, и я говорю:

— Может, все же придет?

— Снаряд мало — плохо. Лошка не идет — плохо. Кривенок пропал — плохо. Три плохо — очень большое плохо.

Кривенок, однако, вскоре является.

Сперва откуда-то из-за бруствера с грохотом падает на огневую тяжелый закрытый ящик. Мы вскакиваем со станин, и сразу же из соседней воронки переваливается к нам Кривенок. Гимнастерка выбилась у него из-под ремня, весь он в земле, грязный и пыльный. В од-

ной руке боец держит моток металлических пулеметных лент, в другой — широкий эсэсовский кинжал.

— Где, зачем ходи? Почему плохо делай? — сразу набрасывается на него Попов.

Кривенок отдувается, привстает на коленях и начинает заправлять гимнастерку, с явной укоризной поглядывая на наводчика.

— Вот, — кивает он на снаряды. — На Степановской огневой взял. И патроны.

— Степанов ходи? А где Степанов? — добреет Попов.

— Они-то укатили. Успели, — говорит Кривенок. Затем берет кинжал с тусклой гравировкой «Deutschland über alles» * и начинает вытирать его о землю. Лезвие и рукоятка в крови. И я вдруг догадываюсь, где он взял ленту.

— Что, на дорогу ходил?

— Где был — там меня уж нет, — огрызается Кривенок.

— А это? — киваю я на кинжал.

Кривенок вгоняет его в черные лаковые ножны и как-то неприязненно посматривает на меня.

— Ну и что? — бросает он. И другим тоном, спокойнее уже сообщает: — Вон пехота пошла, видели?

— Как пошла?

Попов от неожиданности моргает глазами и привстает на коленях. Я также оглядываюсь поверх бруствера. Видно, как вдали по склонам холмов бредут вниз редкие группы людей. Задние несут ПТР, кто-то тащит станковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в ходе сообщения, который ведет в тыл. В первой траншее уже никого не видно.

— Ай-яй! — озабоченно произносит Попов и умолкает. Говорить больше нечего, мы и без слов понимаем, что произошло.

— Ой как нехорошо! Гитлер скоро-скоро иди. Давай земля копай.

С каждой минутой положение наше ухудшается. Только теперь ничего не сделаешь, надо ждать Лешку или счастливого случая и готовиться к бою. Попов остается на огневой, а мы с Кривенком лезем в окоп. Окопчик наш помелел, бруствер разбит. По обеим сторонам густые ос-

---

* Германия превыше всего *(нем.)*.

пины минных воронок, трава пересыпана пылью. Кривенок берет лопату со сломанной рукояткой, я — простреленную, с порванным ремешком каску, и мы начинаем углублять окоп.

Пот, перемешанный с пылью, грязно блестит на наших лицах. Солнце, кажется, уже склоняется к вечеру, но палит нещадно. Очень хочется пить. В голове сумбур, говорить нет никакого желания, дремотная леность овладевает телом.

Я выгребаю из окопа комковатый, с черноземом грунт и высыпаю его на бруствер. Кривенок копает в трех шагах от меня, он какой-то непонятный сегодня, совсем исчезло его сдержанное дружелюбие. Кажется, за весь день парень не сказал ни одного доброго слова и будто невидимой стеною отгородился от меня.

— Слушай, — тихо говорю я. — Ты чувствуешь, что будет? — Он глядит на меня холодными глазами и молча продолжает выбрасывать землю. — Туго, брат, будет.

— Ну и черт с ним! — бросает Кривенок.

Я всматриваюсь в парня: вид у него никудышный, действительно, лучше не приставать к нему с разговорами. Но чего это он такой злой сегодня? Разве мы чем-нибудь обидели его? Я некоторое время думаю, стараясь что-то понять, и одна догадка появляется в моей голове:

— Слушай, Кривенок! Ты чего злишься?

— Ничего я не злюсь, — говорит он и поднимает на меня неласковый взгляд.

— Нет, не скрытничай. Ни к чему.

Кривенок с яростью вымахивает через голову полную лопату земли и тяжело дышит. Но я жду. И вдруг он выпрямляется.

— На Задорожного из-за Люси бросился? Да?

— А тебе что — Задорожного жалко?

— Плевать мне на Задорожного.

Так вот оно что! Теперь уже исчезает догадка, теперь все понятно. Но что я могу сказать ему. Соврать, что Люся тут ни при чем, у меня не поворачивается язык, а сказать правду я не хочу.

Кривенок молчит. У меня также пропадает охота к разговору, и я налегаю на каску.

В конце окопчика торчит из земли помятый рукав, я тяну его — это бушлат Желтых. Странное впечатление производят на меня вещи убитых. Бушлат старенький, густо промаслен и запачкан грязью, один погон на плече

оторван, на другом красная полоска нашивки. Я помню, как Желтых пришивал ее. У него не было тогда иголки, и я дал ему свою с черной ниткой.

Под бушлатом еще и вещевой мешок. Что-то твердое попадается мне в руки, и не без любопытства я развязываю лямки. Чужой вещмешок — что чужая душа. Я нащупываю в нем вафельное полотенце, портянки, наставление по противотанковой пушке, пару кожаных подошв, перчатки мотоциклиста с длинными широкими нарукавниками и на самом дне какую-то замысловатую шкатулку с лаковой крышкой... Эти находки несколько удивляют меня.

«Старый, мудрый Желтых, — думаю я. — Ты был богат своим житейским умом, но разве не видел ты, сколько оставалось в ротах таких вот никому не нужных котомок после удачных и неудачных атак? Знал же, но, видно, не мог преодолеть искушения припрятать, сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел...»

Я выбрасываю за бруствер эту незавязанную, теперь никому не нужную котомку и снова беру каску. Сухая, накаленная солнцем земля, как гравий, противно скрежещет по стали. Мне не видно, что делается на поверхности, но Попов молчит, и в голову лезет всякое.

Мне вспоминается давнишний наш комиссар, который однажды перед атакой тщательно начищал свои хромовые сапоги, только что сшитые сапожником-партизаном, и был убит через час, даже не запачкав как следует тех сапог. Встает перед глазами огрядный старшина Клыбов, известный у нас скупердяй и барахольщик, у которого нельзя было выпросить лоскут на заплатку и который возил с собой три воза разных трофеев. Снаряд ударил как раз в повозку, где сидел старшина, и разбросал по кустам все богатство хозяина вместе с его потрохами. Помню, видел я в госпитале, как хирург оперировал одного солдата и, наверное, около часа ругался. Оказывается, немецкий осколок разбил в кармане этого автоматчика семеро часов, и сотни шестеренок, осей и пружинок вонзились в бедро. Нет, пусть будет проклято барахло, причиняющее лишние заботы людям! До него ли мне нынче, когда стоит только зажмурить глаза, — и вот они, страшные колеи...

Но неужели это так и сойдет в могилу со мной и бесследно исчезнет моя неотмщенная ненависть? Неужели

мы обречены тут на гибель и ничто не сможет выручить нас?

Нет! Я не верю в это. Если есть справедливость на свете и разумный смысл в жизни, то я буду жить. Я должен жить — погибать мне нельзя.

15

— Лошка! — вдруг кричит Попов. — Ребята, Лошка!!!

Мы с Кривенком вскакиваем в окопе. Попов здоровой рукой показывает в поле, туда, где нет ни врагов, ни наших. Действительно, по пологому косогору вдали кто-то бежит.

Человек еще далеко, и видно только, как катится по зеленому полю маленькая его фигурка в зеленовато-желтой, выцветшей на солнце одежде. Несомненно, он направляется к нам.

Человек тем временем исчезает в лощине. Несколько минут мы ждем, не сводя с того места глаз, и он снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз.

— Молодэц Лошка! — довольно, почти радостно говорит Попов.

Это хорошо, что он возвращается, только бы не помешали немцы. Они не так уже далеко и, наверно, заметят одинокого в поле солдата. Я настороженно всматриваюсь в дорогу, но там никого, только чадят, догорая, автомобили; другие, подбитые и брошенные, неподвижно стоят в канаве. Танк все еще курится изнутри, на ветру вьются редкие космы дыма. В воздухе стоит приторный смрад бензина, краски, жженой резины и еще чего-то до тошноты горьковато-сладкого.

Но почему-то умолкает Попов, хмурится сосредоточенный Кривенок. Я ищу в поле маленькую фигурку нашего посыльного и удивляюсь. Начинает казаться, что это не Лешка, и даже не солдат, и не мужчина. Да, конечно, придерживая под мышкой какую-то ношу, бежит женщина в военной форме.

Самый зоркий глаз, однако, у Попова. Он несколько секунд остро всматривается в даль и с радостным удивлением восклицает:

— Луся!

Да, это Люся. Как ни странно, ни нелепо и ни удивительно, но это она. Я сам уже вижу, как часто мель-

кают в траве ее быстрые, в черных сапожках, ноги и развевается на ветру золотистая шапка волос. Под мышкой у нее санитарная сумка. Конечно же, Люся спешит к нам.

Тревожная радость охватывает меня. Зачем бежит она? Может, случилось что с Лешкой? Может, она думает, что он тут, и потому не выдержала, помчалась? Но тогда лучше бы она не показывалась к нам сегодня. А может, это ее послал комбат Процкий с приказом? Но зачем Процкий будет посылать санинструктора, разве не нашлось бы другого солдата в полку? Я все думаю и не могу понять, почему и зачем она бежит сюда.

— Вот молодэц! Ну, молодэц! Ох, Луся! — восхищается Попов, навалившись грудью на бруствер.

На его вспотевшем широком лице блуждает добродушная улыбка. Кривенок же сжимает челюсти и, не сказав ни слова, лезет назад в окоп.

Я уже не могу оторвать глаз от нее. Она бежит! Мелькают на солнце ее загорелые коленки и треплются на ветру волосы. Она перескакивает через обмелевший травянистый ручей и, чуть замедлив бег, поднимается на пригорок, где находимся мы. Тут ее немцы еще не видят. Но скоро она выберется на открытое поле, и тогда, кто знает, как повезет ей. Только бы проскочила, только бы успела!

Занятые Люсей, мы не видим, откуда вдруг по орудийному щиту звонко щелкает пуля. Попов сползает вниз, я плотнее прижимаюсь к земле, и сразу же далекая и короткая очередь бьет по брустверу и пушке.

— Сволочь немец! Подсолнух сидит! — говорит Попов. — Ох, Луся!

Я ложусь на горячую землю под бруствером и то и дело поглядываю туда, где бежит Люся. Последние метры открытого пространства — и она исчезает из нашего поля зрения, но вот-вот должна появиться снова. Попов скорчился под низеньким щитом пушки и кричит на Кривенка:

— Почему ты? Бросай лопат, стреляй! Быстро!

Кривенок оставляет лопату и высовывает из-за бруствера пулемет. Тотчас же длинная очередь бьет по ближайшим стеблям подсолнечника. Склоненные желтые головы его шевелятся, некоторые надламываются и опадают.

И вот Люся показывается. Она выбегает из-за при-

горка, на секунду останавливается, окидывая взглядом поле, и снова бежит уже напрямую. Нам теперь видно ее усталое, раскрасневшееся лицо, заметно, как мельтешит, поблескивает на груди ее медалька. Люся оглядывается по сторонам, смотрит на нас и, кажется мне, улыбается. Только вдруг она падает. Вздрогнув, я высовываюсь из-за бруствера, оглядываюсь: нет, из подсолнечника не стреляют. Уперев приклад в плечо, Кривенок зорко всматривается туда. Ага, это с другой стороны — из траншеи! Несколько очередей приглушенно доносятся оттуда, — значит, и там уже немцы. Но Люся все же вскакивает и, пригнувшись, быстро устремляется вперед.

Кажется, нам придется плохо. Мы понимающе переглядываемся с Поповым, переводим взгляды в поле. Когда немцы с обеих сторон и впереди — дело дрянь. Они явно окружают нас.

Вдвоем мы заносим станины. Попов начинает крутить маховики, потом склоняется к прицелу, и пушечка, грохнув, подскакивает. Картечь сотней пуль разбивает дерн, поднимает на траншейном бруствере облако пыли, и автоматные выстрелы утихают. Я снова заряжаю, но наводчик, поглядывая в прицел, не стреляет.

— Ага, нехорошо! — зло ворчит он.

А Люся — вот она, вот. Последние метры она ползет, ловко изгибается в траве ее узенькая спина. Никогда не видел я, чтобы так ловко ползли даже опытные пехотинцы. Еще несколько шагов, еще!.. Люся минует примятую кукурузную кучу, подползает к брустверу и останавливается. Из-под растрепанных золотистых волос, улыбаясь, поглядывает на нас и тяжело дышит. Я весь напрягаюсь, будто мне, а не ей теперь предстоит самое страшное — преодолеть бруствер, и мысленно шепчу: «Ну быстрей же! Быстрей! Прыгай!»

И вот она вниз головой бросается через бруствер в орудийное укрытие, падает с плеча сумка с красным крестом, и мы бросаемся к девушке. Нет, она, кажется, не ранена, она только прижимается спиной к стене, закидывает голову и часто-часто дышит. Тонкие ноздри ее вздрагивают. Несколько секунд мы молча глядим, как судорожно бьется на ее шее маленькая жилка, как устало и нервно подрагивают на земле перепачканные, в царапинах пальцы, и теплая волна нежности к этой девушке разливается в моей груди. Как это я мог плохо думать

о ней, почему я сомневался, разве не видно, что она самая лучшая, самая чистая на целом свете!

— Ой, мальчики! Мальчики!.. — хочет сказать она что-то еще, но задыхается.

— Молчи, Луся. Мало-мало молчи, — говорит Попов, стоя перед ней на коленях и с благоговением глядя на девушку.

— Вот... приказ принесла... Комбат сказал... расстрелять снаряды и... уходить.

Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ею о землю:

— Зачем прибежала? Что, солдат не было? Куда бежала? Куда теперь, к чертям, пробьешься?

Люся виновато молчит.

Попов, раскрыв свои узкие, с припухшими веками глаза, какое-то время глядит на нее, затем зло сплевывает в песок:

— Правда говори Лозняк. Зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал. Теперь что делай?

— Ладно, мальчики. Не злитесь на меня, — вздыхает Люся. — Как-нибудь выберемся.

Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников. Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице.

— Кто это?

— Один пехотинец, — говорю я. — А там командир и Лукьянов.

— Командыр, Луся, командыр, — вздыхает Попов.

Наморщив переносье, Люся жалобно всматривается в лицо убитого и молчит. Тогда Попов спрашивает:

— Задорожный пропадал?

Она выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбку на ободранных до крови коленях и сообщает:

— Задорожный ранен, вот я и побежала.

Что-то недоброе тревожит меня.

— Что, сильно ранен?

— Да нет, легко, — говорит Люся и прикусывает губу.

Большая и нежданная радость моя быстро меркнет, смысл нового приказа омрачается горечью разочарования. Куда же тут пробьешься теперь? Хоть бы на какой час раньше...

Из окопа длинной очередью бьет пулемет Кривенка.

Попов, пригнувшись, ползет к пушке. Я хватаю автомат и лезу за ним.

Ну конечно, они уже идут сюда. Из подсолнуха их высыпает в поле человек двадцать. На ходу, не целясь, они начинают строчить из автоматов. Пули стегают по брустверу, бешено цокают по металлу пушки, проносятся над огневой. С другой стороны — из пехотинской траншеи также выскакивают и бегут сюда немцы.

Вот оно, кажется, начинается, самое страшное. И Люся!.. Надо же было ей влезть в это пекло! Какого черта летела сюда? Ведь пропадет понапрасну... Кривенок часто бьет из пулемета, бешено брызжут вокруг горячие гильзы. Попов целится в тех, что бегут от траншеи. Я со снарядом в руках гнусь между станин и, напрягшись всем телом, жду первого выстрела. Но Попов медлит, и я знаю — он подпускает ближе. Вблизи им уже спасения не будет. Хорошо, что Кривенок притащил еще ящик, ведь картечи у нас осталось только семь гильз, восьмая у меня в руках, одна в стволе, одну мы уже выпустили...

«Держись, Лозняк, держись! Время твое настало. Помни, помни колеи!» — мысленно говорю я себе, и эти слова придают мне силы.

«Гах!» — бьет и отскакивает назад пушка. Потом еще и еще, и все вокруг утопает в бешенстве громов, молний, пыли и горячих, путаных мыслей...

16

Как-то все же случается, что атаку мы отбиваем и никто из нас не гибнет. В принесенном Кривенком ящике лежат еще три снаряда. Не везет только нашей пушчонке. Ствол ее остается на откате — вперед не идет. Где-то пробило противооткатный механизм, и из-под казенника по земле течет зеленоватый ручеек веретенки. Попов сидит меж станин, раскинув ноги, я на животе лежу возле сошника, мы выплевываем изо рта песок и тяжело дышим. Рядом из укрытия высовывается взлохмаченная ветром голова Люси — ее большие серьезные глаза смотрят на нас. В окопе лязгает металлической лентой Кривенок.

Немцы куда-то исчезли, видно, убрались в подсолнечник и траншеи. В траве прибавилось еще с десяток трупов. Но и мы изнемогли, пот заливает глаза, мучит жажда. Какое-то время мы сидим возле орудия. Попов то ли от усталости, то ли от душевной тоски становится мрач-

ным и долго молчит. Потом смотрит на меня и зло произносит:

— Лозняк, помнить надо! Желтых погибай — помни! Лукьян погибай — помни! Солдат погибай — помни! Гляди — и все помни! Век помни!

Он отворачивается, вытирает лицо рукавом и спокойно добавляет:

— Пушка помирал. Автомат бери, гранат бери, нож бери...

Да, дошла очередь до автоматов, ножей и гранат — я это чувствую. Пушечка послужила нам, и неплохо, но все же кончилась ее служба.

Я сползаю с площадки в укрытие и там выпрямляюсь. Люся сидит над Лукьяновым, сбоку лежит ее автомат. Я берусь за кожух — горячий. Нет, это не от солнца — это она стреляла, а мы в грохоте и громе даже не заметили того. Я вынимаю диск, патроны в нем еще есть, но немного — диск легкий. Автомат этот Желтых, я узнаю его по новенькому кожаному ремню от немецкого карабина. Затем начинаю собирать патроны — из магазинов, подсумков, из карманов убитых. Набирается всего на два диска, не больше. Этого, конечно, мало. Правда, в окопе должны быть еще, там же лежат гранаты. Тем и будем отбиваться.

Торопливо снаряжаю магазин. Патроны в нем надо ставить прямо, но пальцы не слушаются, и патроны рассыпаются в пазах. С тупой злостью я ругаю патроны, конструкторов этого неудобного магазина и с досадой — приказ комбата, который не принес нам спасения. Затем поглядываю на откинутую руку Желтых. Часики его все тикают, красная стрелочка торопливо бежит по черному циферблату — скоро пять. Только еще пять часов, а кажется, с утра прошла целая вечность и пережито столько, что иным хватило бы на весь век.

Мне очень плохо, очень тоскливо и очень трудно. Но все же где-то в глубине души теплится радость, и я знаю — это от Люси. Я чувствую ее тут, если и не вижу, слышу ее дыхание, каждое движение. Только все думаю, убережем ли мы ее?

Люся тем временем возится с Лукьяновым, отстегивает от своего пояса фляжку и подносит к его губам. Вода по грязной шее льется, стекает вниз. Лукьянов оживает, тихонько загребает землю руками и, опираясь на локоть, пробует встать. Запекшиеся губы его шепчут:

— Я сейчас... Сейчас...

— Не надо, лежи. Еще пей... Еще, — говорит ему Люся и наклоняет фляжку. Лукьянов пьет. Кадык на его худой шее судорожно ходит вверх-вниз. Наконец солдат поднимает бледные с просинью веки.

— Спасибо, — произносит он слабым голосом. Затем, помолчав, беспокойно оглядывает бруствер, небо и тихо спрашивает: — Где немцы?

— Лежи, лежи, — горестно успокаивает его Люся. — Все хорошо. Лежи. Не надо о немцах.

Кажется, это настораживает Лукьянова, внимание его сосредоточивается и взгляд останавливается на Люсе.

— Мы не в санчасти? Нет?

— Молчите. Нельзя разговаривать — хуже будет, — будто ребенку, разъясняет Люся.

Лукьянов как-то спокойно опускает веки, прикусывает губы и в настороженном раздумье спрашивает:

— Пожалуй, я умру? Да?

— Ну, что вы? — удивляется Люся. — Зачем так думать? Вот отобьемся, отправим вас в госпиталь, и все будет хорошо.

— Отобьемся... — шепчет Лукьянов, кусает губы и снова пробует встать.

Люся мягко, но настойчиво укладывает его на спину. Вдруг каким-то чужим, натужным голосом он требует:

— Где мой автомат? Дайте автомат!

— Ну лежите же! Что вы такой неспокойный! — уговаривает Люся.

Я заряжаю три автоматных диска. Надо еще перебраться на ту сторону площадки в окоп, поискать наши запасы. Наверху, кажется, становится тише. Грохочет где-то вдали, за деревней, а тут только изредка эхом раскатываются в небе винтовочные выстрелы. Попов из-за колеса наблюдает за полем. Я переползаю площадку и падаю в окоп, в котором одиноко сидит Кривенок. Он бросает на меня неприязненный взгляд и подбирает с прохода ноги.

— Лукьянов пришел в себя, — говорю я. — Может, выживет.

Но Кривенок молчит. Оказывается, от него нелегко добиться слова. Я разрываю в нише землю, выкапываю оставшиеся гранаты, вытягиваю из-под песка тяжелые просмоленные пачки с патронами. Кажется, больше тут ничего нет.

— А у тебя сколько? — спрашиваю я у Кривенка.

Он нехотя кивает на пулемет, из приемника которого свисает наполовину пустая лента.

— Это все?

— Да.

Я оставляю ему лимонку и с остальным боезапасом переползаю площадку. Люся сидит, как сидела, склонившись над Лукьяновым, опершись на руку, а он стонет и часто, прерывисто говорит:

— Ну зачем обманывать?.. Зачем?.. Разве этим поможешь... Человеку правда... нужна. Горькая, сладкая... но правда! Остальное пустяки...

Люся молчит, а он, как-то успокоившись, едва переводя дыхание, произносит:

— Знаю, умру... В груди жжет... Ноги отняло... Да... — сипит Лукьянов, и в груди у него что-то булькает. Люся молчит.

Какой-то болезненный надрыв чувствуется в его голосе, и я настораживаюсь. Бледное лицо Лукьянова покрывается потом.

— Конец, — говорит он и умолкает, будто вдумываясь в смысл этого слова. — Что мне теперь таиться? Зачем? Ведь я — трус несчастный, — тихо, но с каким-то необычным напряжением говорит он. — Всю жизнь боялся. Всех! Всего! И соврал про плен-то...

Чувствую, эти слова адресованы мне, поднимаю на него взгляд и встречаюсь с его глазами. Но он медленно отводит их в сторону.

— Да, дружище. Я соврал. Сам в плен сдался. В окружении. Поднял руки... Не выдержал. Потом понял, да поздно было... И вот все. Конец! Ничего не помогло... — хрипит он.

Это признание ввергает меня в замешательство. Значит, совсем он не тот, за кого выдавал себя. Мало, что он умник, — он трус, существо, достойное презрения на войне. Но почему-то я теперь не презираю его. Может быть, потому, что сегодня на наших глазах он наконец победил что-то в себе? Или, может, от этой его искренности? Однако, понимаю я, теперь, перед кончиной, не нужно ему и сочувствие, как не страшно и осуждение. Кажется, единственно важное, что осталось в этом человеке, — запоздалое стремление к правде, которой, пожалуй, не хватало ему при жизни.

Лукьянов между тем стонет, страдальчески мотает головой. Люся настойчиво сдерживает его.

— Ну ладно, ладно. Лежите тихо. Не надо так.

— Скорее бы. Жжет... Что ж, храбрость — талант. А я, видимо, бесталанный. Кому нужен такой человек-трава...

Он плачет. Крупные, как горошины, слезы текут по грязному лицу. Люся, наморщив переносье, ладонью вытирает их.

— Ну что ж!.. Только не думал... Ужасно и бессмысленно... Три года позади — и зря... — с обидой говорит он. — Эх! А они, сволочи, все опоганили... Дайте мне гранату!

— Зачем вам граната? — говорит Люся. — Вы же не бросите ее.

Лукьянов напрягается, приподнимается на локте, смотрит на меня дрожащим предсмертным взглядом.

— Как же я так?.. Лозняк, дай!.. Может, в последний раз...

Я понимаю, от чего мучительно ему — не только от раны! Во мне шевелится жалость к этому человеку, но куда ему граната? Граната нужнее нам, теперь не до запоздалого мщения — вот в траншее уже появляются каски, скоро хлынут немцы.

— Нет гранаты, — как можно тверже говорю я.

Он снова падает спиной на землю, и несколько слезинок сползают по его грязным щекам.

17

— Лозняк! — встревоженно зовет Попов. — Быстро-быстро сюда!

Я торопливо выползаю из укрытия. Попов напряженно горбится возле прицела, и, приблизившись, я вижу, зачем он позвал меня.

В пехотной траншее немцы. Мелькают над бруствером стволы их винтовок, иногда блеснет на солнце каска. Видимо, они перебегают куда-то, наверное, окружают нас. Но это еще не все. Вдали, на объезде минного поля, снова показываются автомобили: передние уже переезжают канаву. Попов зорко всматривается и, медленно покручивая маховички, наводит ствол на головную машину.

Но ствол сполз назад меж станин, затвор не закрывается, стрелять так нельзя. Ничего другого не придумав,

я хватаю двумя руками казенник, изо всех сил упираюсь сапогами в землю и нечеловеческим напряжением толкаю ствол вперед. Затем заряжаю. Клин, лязгнув, закрывается. Кажется, обошлось. Теперь выстрелит.

В то же время где-то звонко щелкает — осколками и металлической окалиной, будто крупным песком, хлещет меня по щеке. Я хватаю новый снаряд, а Попов, перестав крутить маховики, тихонько наклоняется, будто для того, чтобы выглянуть из-за щита.

— Готово! — коротко бросаю я, однако наводчик медлит. Меня встряхивает от недоброго предчувствия, а Попов, как-то сразу обмякнув, наваливается на механизм наводки и тычется лбом в край щита.

— Ты что?

Я бросаю снаряд, хватаю его за плечи: Попов на глазах бледнеет, последним взглядом скользит по мне и тихо, едва слышно шепчет:

— Лозняк!.. Убили Попов... Убили... Дурной Попов!

— Куда тебя? Куда? Где? — в смятении спрашиваю я, не видя нигде крови. Но он со стоном сползает с моих рук.

— Ой, дурной Попов! Комбат... говори...

— Что говорить комбату... Что? Попов!

Полузакрытые веки его несколько секунд часто-часто вздрагивают и вдруг застывают. Не в силах поверить в то, что случилось, я некоторое время дико вглядываюсь в это потное, застывшее лицо. Затем кричу нелепые ругательства, и все во мне бьется страшным воплем. А машины мчатся и мчатся к деревне.

Готовый реветь в отчаянии, я отстраняю мертвого наводчика и прижимаюсь лбом к горячей резине прицела. Автомобили неудержимо мелькают мимо тоненького волоска в прицеле. Подкрутив поворотный механизм, нажимаю рычаг. Выстрел! Где-то на огневой снова щелкает разрывная или бронебойная. Я соображаю: надо накатить. Сквозь пыль бросаюсь к казеннику, и мои руки встречаются там с горячими, мягкими руками Люси. Лежа на земле, она также упирается в казенник. В едином усилии мы сдвигаем ствол с места. Потом я заряжаю... В ящике остается последний снаряд.

— Ага, горит! Горит! — кричу я, увидев в прицеле, как дымит наклонившаяся набок машина. Замедляя ход, ее объезжают другие. Я снова бью, пушка дергается, что-то металлическое лязгает рядом. И вдруг сквозь еще не

осевшую от выстрела пыль я вижу, что стрельба наша кончилась: сорванный с люльки ствол казенником врезался в бруствер. Побледневшая, испуганная Люся лежит возле станины.

— Ну вот и все. Прошли! Не сдержали!

Машины быстро мчат по дороге к деревне, теперь мы их не остановим. По орудийному щиту бьют пулеметы и автоматы. Пули лязгают по металлу и разлетаются в стороны. Бросив все как есть на площадке, я скатываюсь в укрытие. Туда же отползает Люся.

Мы хватаем автоматы и высовываемся из-за бруствера. Немцы, выскакивая из траншеи, бегут, падают, поднимаются снова. Их человек пятнадцать. Рядом в окопе открывает огонь Кривенок. Я выпускаю первую, вторую очередь, вижу, как в пыльную землю вонзаются пули. Автомат дрожит в руках — несколько немцев падают. Затем я кидаюсь на другую сторону укрытия — к Люсе. Она тоже бьет длинной трескучей очередью, и на меня сыплются ее горячие гильзы. И вдруг она останавливается, приседает возле стены и торопливо дергает за рукоятку. Заело! Я вырываю у нее автомат, сую свой, дважды перезаряжаю. Люся прицеливается, но я дергаю ее за гимнастерку. Она оглядывается.

— Перебегай! Меняй место!

Я впервые обращаюсь к ней на «ты». В напряженном взгляде ее ясных больших глаз коротко вспыхивает немая благодарность. Но теперь это меня не радует, теперь мне уже все равно. Я хочу только сберечь ее, не дать погибнуть прежде, чем погибну сам. Люся переносит автомат на два шага и снова прицеливается. Странно, но кажется, будто она совсем не боится. Лицо ее спокойно, только глаза прищурены и щеки потеряли прежний румянец. У меня же все издрожалось внутри, хотя внешне движения резки и уверенны. Я очень боюсь прозевать что-то, куда-то не успеть и мечусь из конца в конец по укрытию.

Мы ведем бой на обе стороны. Кривенок в окопе вдруг умолкает. Я тревожно вслушиваюсь, но вскоре он начинает грохотать дальше, в самом конце позиции. Ага, это он бьет по дороге. Оттуда, где неподвижно стоят четыре машины, редкой цепью бегут сюда еще десятка два немцев.

Да, час от часу все хуже...

Оставив на бруствере автомат, я наклоняюсь, чтобы взять гранаты. Хватаю все три, а когда выпрямляюсь, мой взгляд снова встречается с затуманенным взглядом

Лукьянова. Солдат дергается, привстает и, вытянув руку, отчаянно требует:

— Дай!

И я бросаю ему лимонку, остальные РГД кладу на край бруствера и хватаю автомат. Я стреляю по тем, что бегут, что лежат, что пытаются переползать. Бью короткими очередями, пока автомат не умолкает. Потом, присев, выбрасываю пустой диск и от волнения долго не могу попасть в паз новым.

— Где они? Где? — стонет Лукьянов, в его поблекших глазах догорает отчаяние.

Я, не отвечая, вскакиваю: «Ага, они не выдержали, снова залегли неподалеку от траншеи». Несколько долговязых фигур бросаются наутек, часть остается лежать в траве. Кривенок густо сыплет из пулемета вдогонку. Те, возле дороги, также залегают, и какое-то время в поле никого не видно. Только рой пуль над нами, брызжет землей бруствер, разлетаются вдребезги разбитые комья земли...

Притаившись под бруствером, мы вслушиваемся, не веря, что снова отбились. Потом Люся первой опускается на дно. И вдруг плечи ее содрогаются от плача. Я пугаюсь, мне кажется, что с ней что-то случилось, хватаю за руки, которыми она, судорожно всхлипывая, прикрывает лицо.

— Люся! Что с тобой? Люсенька! Не надо!

Она умолкает, кротко взглядывает на меня мокрыми от слез глазами и как-то неожиданно вдруг успокаивается.

— Ничего. Все. Прости...

Потом вытирает рукавами глаза, откидывает назад волосы и озабоченно спрашивает:

— Где они?

У меня также несколько спадает напряжение. Только теперь окончательно понимаю, что Попова с нами нет и я командир этой горстки живых людей. Отдышавшись, ползу на площадку, беру наводчика за протертые на щиколотках сапоги и тащу в укрытие. Пропотевшая его гимнастерка подворачивается и оголяет запавший, худой живот с синим шрамом на правом боку. В укрытии управиться с ним мне помогает Люся. Мы бережно кладем убитого на солнцепек возле остальных.

— Ну, вот и четвертый, — шепчу я.

Люся закусывает губы.

Лукьянов тихо стонет и уже не раскрывает глаз. Ру-

ка его, однако, не выпускает гранату. Только, кажется, уже напрасно. В последний раз я смотрю на запястье руки Желтых: часики все тикают, на них половина восьмого.

Нет, надо изо всех сил держаться. В этом я убежден. Упрямая злость напрягает мускулы. Черта с два мы им поддадимся! Может, это и конец, но иначе нельзя. Пусть простит меня Люся, но я буду беспощаден к себе, Кривенку и даже к ней — так надо.

— Люся, бери новый магазин, — говорю я. — Возьми гранаты. Всем по одной, одна в запасе.

Мы готовимся к самому худшему. Пока есть патроны, будем отбиваться, а там... Что ж, не мы первые, не мы последние...

Грудью я прижимаюсь к стене укрытия, прячу за бруствером голову и жду. Солнце палит мне прямо в лицо, и по-прежнему до изнеможения хочется пить. Люся перезаряжает автомат и садится на дно укрытия.

«Главное, что-то решить, — думаю я, — на что-то отважиться, все остальное легче. Самое худшее — неопределенность». И постепенно мне становится легче, исчезает та беспокойная неуверенность в себе, которая донимала с утра.

— Не так просто нас взять! Пусть попробуют, — оглядываясь, говорю я, чтобы подбодрить Люсю, которая вопросительно и с затаенной надеждой смотрит на меня. Девушка молчит и вслушивается в звуки наверху. Лукьянов часто стонет, потом поднимает посиневшие веки и спрашивает, с трудом удерживая в руке гранату:

— Ну, где же они? Где? Почему не идут? Успеть бы...

Какое-то время он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, затем снова открывает их и зовет Люсю.

— Жжет сильно... Душит... Видно, все... Воды бы, сестра!

Люся наклоняется, поднимает с земли его пожелтевшую, с худыми тонкими пальцами кисть.

— Потерпите. Нет воды... И говорить не надо. Нельзя вам.

— Сестра, — зовет он снова. — Чего вы тут? Кто вас послал?

— Сама.

— Зачем, а?

— Так. Жалко вас стало, — просто отвечает Люся.

— Жалко! — шепчет Лукьянов и закрывает глаза. — Это хорошо. Только... Не стоит. Не надо жалеть...

«Ну где же они? Почему не идут?» — начинает и меня жечь нетерпение. От неподвижности ноет тело, гудит в голове и клонит ко сну. Я боюсь уснуть. Стрельба утихла, немцы прячутся, но что будет дальше? Кривенок не отзывается, только шаркает чем-то в земле.

— Люся, вы берегите себя, — сдерживая стон, тихо говорит Лукьянов. — Берегите. Вы красивая. Это много значит!.. А мне уже все. Конец! Как бессмысленно! Эх!.. Хоть бы один день! Один день! Я доказал бы... Эх!

Кажется, он умирает. Глаза его закрываются, щеки ввалились, волосы торчат щеткой, тонкие ноздри едва шевелятся. Около него лежат Желтых, Панасюк, Попов.

Что-то сдавливает горло. Мне хочется выругаться, но рядом Люся, и я до боли в ушах стискиваю зубы...

18

Как адски долго тянется день!

Дожить бы до ночи! Ночью мы, возможно, выбрались бы из этой ямы и пробились к своим. Но очень медленно опускается солнце. Тень в укрытии, однако, постепенно ширится и закрывает лица убитых и съежившийся под стеной комочек — Люсю. Воздух по-прежнему насыщен муторным смрадом жженой резины, краски, пороха; от земли пышет жаром и пылью; нет-нет да потянет тошнотворным запахом крови. Возле станины, там, где лежал Попов, кружатся, жужжат мухи.

«Только бы хватило терпения, — думаю я теперь единственную свою думу. — Только бы выдержать!..» Что-то подсказывает мне, что больше всего надо стараться сохранить ясный рассудок, не сойти с ума, не броситься удирать и не подпустить врага близко. Если не выдержим тут, то наверху нас перебьют за несколько секунд. Надо сидеть, хотя и тяжело и страшно. «Надо держаться за землю-матушку», — говорил Желтых. В ней — наша сила и наша надежда.

— Кривенок! — зову я пулеметчика. — Ты наблюдаешь?

Я присаживаюсь в тени окопа рядом с Люсей. Помахивая кукурузной веткой, она отгоняет мух от вспотевшего лица Лукьянова. В ее глазах тихое, терпеливое ожидание. Видно, она также пережила самое трудное сегодня,

и теперь на ее лице светится что-то осознанно-спокойное и очень дорогое мне. Лукьянов же не шевелится, не стонет, и Люся приподнимает его неподвижную руку. Граната выкатывается на землю.

— Жив?

— Жив еще, — вздыхает она. — Но уже скоро...

Я впервые так близок к Люсе, и впервые нас обоих объединяет общая забота. Рядом лежат убитые, и умирает наш четвертый товарищ, но уже я почему-то не чувствую особой остроты этой потери, — видно, нервы мои притупились. Но вот близкое Люсино соседство какой-то неизведанной волнующей теплотой охватывает меня. Из самых потайных глубин моей души поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то теплое, даже не дружеское, а братское вливается в мое сердце, я очень хочу прикрыть ее, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уж важны их отношения с Лешкой, с капитаном Мелешкиным. Теперь она со мной, только моя, и разлучить нас может разве что смерть.

«Милая, хорошая девчушка! — хочется сказать мне. — Я люблю тебя! Люблю! Навсегда! Навеки... Пусть мы погибнем, пусть пропаду я, все равно я буду любить тебя до последнего мгновения. Как же мне без тебя?»

И мне почему-то становятся слышны эти мои слова. Может, я говорю их вслух? Я гляжу на Люсю: нет, она сидит в задумчивости...

А что, если сказать?

Так вот, как думаю и чувствую — скажу, пусть знает. Что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежат четверо наших товарищей? Наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как признаюсь в этом, я не могу представить себе. Но видно, та необыкновенная значительность, которая наступит после моих слов, и сдерживает мою решимость.

— Люся! Ты побереги себя. Прошу, — говорю я и с затаенной надеждой на то, что она уступит мне, согласится, гляжу на нее. Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ.

— Как? Может, бежать? Бросить раненого?

— Зачем? Бежать некуда... Но все же, — возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего.

— Все же, все же... Думаешь, я зачем примчалась к вам? Оттого, что подлость доняла, вот! Задорожный ведь в санроту прибежал за бумажкой с красной полоской —

в тыл, значит. Я говорю: а как с ребятами? А он: «Что ты о ребятах — им уже крышка. К тому же я ранен», — говорит. А рана у него — царапина одна. Ну, каково? — спрашивает Люся.

Я словно немею. Забыв о немцах, осоловело гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза.

— Этого от Лешки я не ждала. От кого хочешь, но не от него, — нервно продолжает Люся. — Выбежала, смотрю: вы тут бьетесь. Бросила все, полетела. И разрешения не спросила... Только вот... опоздала.

Меня будто ошпаривают кипятком, сами собой сжимаются кулаки.

«Вот гад! Отблагодарил нас — и меня, и Попова, и Кривенка, спрятался за бумажку с красной полоской. И горя ему мало, что мы тут погибаем».

— Сволочь! — вырывается у меня. — Надо было комбату доложить.

— Что докладывать! — говорит Люся. — Все же он ранен, формально прав. Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлет, но...

Да, формально он прав — у него царапина на руке, а тут, пока мы его ждали, погиб Попов, умирает Лукьянов, Люся попала в западню, из которой не видно выхода. Совсем новое, никогда прежде не испытанное чувство гнева охватывает меня. За все долгое время этой страшной войны я не думал об этом, не мог представить себе ничего подобного. С восхищением и завистью я глядел на каждого фронтовика, но вот бывают, видно, и такие. И пусть бы сделал это кто-нибудь из пугливых, хотя бы тот самый Лукьянов, но Задорожный? Почему он поступил так? Гад, за это его надо судить. Хотя как судить, он ведь ранен! Вот и возьми его голыми руками...

19

— Пить!.. Пить!.. — снова начинает стонать и дергаться Лукьянов. Губы его высохли, лицо заострилось, и пожелтевший нос, словно клюв, торчит в предвечернее небо. Люся сидит рядом и медленно, терпеливо гладит его по рукаву.

При напоминании о воде я глотаю слюну, но и слюны уже нет. Язык сухой, в горле тоже все высохло, в глазах какой-то туман. Надо что-то делать, двигаться, иначе

одолеет сон, и мы погибнем. Вдруг из окопа брызжет короткая очередь.

— Что такое? — будто очнувшись, спрашиваю я, но Кривенок молчит. Я прислушиваюсь и снова повторяю вопрос.

— Вон ползет, — нехотя отвечает Кривенок.

Я осторожно выглядываю, — действительно, возле танка что-то ворочается, кажется, ползет человек.

— Стой, погоди, — говорю я. — Может, наш кто?

Мне жалко и одного патрона, жалко тишины, которая — знаю я — будет недолгой. Все же она приближает нас к ночи и оставляет надежду на спасение. Отсюда плохо виден этот человек, но, кажется, он ползет, и Кривенок опять лязгает затвором.

Рядом вскакивает Люся. Она также всматривается через бруствер: наверное, это все-таки немец. Мы видим, как шевелится трава и из нее время от времени показывается темная спина. Кривенок медлит, не стреляет, и тогда издали доносится слабый страдальческий стон:

— Пауль! Пауль!

Раненый немец, это точно. Он и ползет так — судорожно, медленно, пластом прижимаясь к земле. Люся надламывает свои узкие брови и просит Кривенка:

— Не стреляй! Погоди! Может, у него вода...

Я то прячусь за бруствер, то снова выглядываю. Опять рядом брызжет в лицо землей и из подсолнухов доносится выстрел. «Следят, сволочи!» Немец тем временем то ползет, то замирает, слышится его натужное: «Пауль».

«Странно, какого Пауля найдет он в нашем окопе», — злорадно думаю я. Один он нам тут не страшен, но на всякий случай я беру автомат и отвожу рукоятку.

С бруствера скатывается и разбивается сухой ком земли, потом еще два, и затем появляются две страшные, обожженные до красноты руки. Они высовываются из обгоревших рукавов, вгребаются в комья бруствера, и тотчас показывается голова с короткими, опаленными волосами. Немец поднимает ее, и мы с Люсей одновременно ужасаемся. Лицо его, как и руки, сплошь в красно-белых ожогах; возле уха кровянистая масса, веки на глазах слиплись, запали и не раскрываются.

Какое-то время мы неподвижно следим за судорогами этого привидения, потом я строго командую:

— Вниз! Быстро! Шнель!

Но немец, оказывается, не слышит. Он все как бы поглядывает в пустоту и стонет:

— Пауль!

Тогда я хватаю его за плечо, тащу на себя; обрушивая комья, немец переваливается через бруствер и падает в укрытие. Следом бьют несколько пуль, но мимо.

И вот он лежит на дне окопа. Это чуть живой немец-танкист, молодой, видно, наших лет парень. Широко раскинув ноги, он тяжело стонет. Комбинезон его весь в прогалинах. От немца несет смрадом жженой одежды, местами на ней еще курится дым. С чувством гадливости я оглядываю этот живой труп, потом начинаю обшаривать широкие карманы его комбинезона, вынимаю из одного гаечный ключ, круглую из красной пластмассы масленку, клочок пакли. Фляги у немца нет, патронов тоже.

— Ага, припекло, чертов фриц! — говорю я со злостью и поддеваю его сапогом в бок, чтобы отодвинуть подальше. Люся недовольно вскидывает на меня строгие глаза.

— Зачем так? Умирает ведь!

«Черт с ним, что умирает, — думаю я. — А сколько наших умерло — вон Желтых, Панасюк, Попов, умирает Лукьянов; может, кого-то из них убил именно этот фашист. Он и ему подобные залили всю землю кровью, украли у нас молодость, страданием переполнили наши души...»

Люся, однако, с какой-то непонятной мне терпимостью берет немца под мышки, немного оттаскивает и кладет рядом с Поповым.

«Пятый», — отмечаю я мысленно. Не думал, что пятым тут будет враг. А немец стонет и будто в ознобе дрожит. Девушка ловко расстегивает на его груди «молнию», на кармане мундира — черный «железный крест». Этот крест вызывает острую неприязнь к танкисту. Я срываю крест, бросаю за бруствер, потом обшариваю карманы мундира. Там множество разных книжечек, бумажек, несколько потертых писем в узеньких конвертах, сломанная авторучка и расческа в металлическом футляре.

Кажется, я хочу найти какой-то повод, чтобы оправдать свою злость, хочу увидеть в этом танкисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии, хотя в бумажках немного поймешь — одни цифры, номера, немецкие слова, написанные неразборчивой скорописью, и всюду свастика, орлы, синие, красные печати. Но вот завернутые в целлофан снимки. На первом — улица какого-то аккуратного

немецкого городка с островерхими крышами. «Грейфсвальд» — написано внизу. На втором — группа юношей на стадионе, возле переднего на траве футбольный мяч. Наверное, среди них и этот танкист. На третьем — улыбающаяся блондинка с локонами до плеч. Она довольно мила, и, если бы не слишком вздернутый нос, я бы сказал, что она красива. Четвертый снимок заставляет меня задуматься.

На нем, безусловно, этот наш «недогарок». Заложив назад руки, он стоит в мундире, и на выпяченной его груди чернеет, видно, тот самый сорванный мною крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на мое ухо. Рядом в кресле сидит немолодая уже, одетая в траур женщина. Лицо ее грустно, почти заплакано, в глазах боль. Чем-то не нашим, далеким, чужим, но и понятным веет от снимка, и я стараюсь разобрать несколько строк на обороте.

Mein lieber Knabe! Für mich bist du blieben der letzte. Und du sollst daran denken. Sei vorsichtig. Du bist meiner, du gehörst nicht dem Ofizier, nicht dem General oder dem Führer. Sondern mir allein. Du bist meiner, meiner! Deine Mutter. 29/III, 24 *.

Я не большой знаток немецкого языка, но чтобы понять надпись, моих знаний хватает. И эти синими чернилами выведенные слова на минуту вызывают во мне замешательство. Как это просто, но я никогда не думал, что у моего врага вдруг окажется мать, опечаленная, пожилая женщина, которая так неожиданно встанет меж нами. Она любит его, последнего, и, видно, как всякая мать, полна опасений, чтобы не случилось то, самое худшее, что случается на войне. Понятно, она родила его, вырастила, радовалась его первым шагам и первым словам... Заботилась, чтобы он хорошо учился, не имел двоек и чтобы не простуживался, не болел, не попал в беду... Так же, как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова, как миллионы матерей на земле. И может, он хороший сын, и любит ее, и еще любит эту девушку. Так что же выходит? Неужто он добрый, покладистый парень? И убил Попова, Желтых, Панасюка, ранил Лукьянова? Нет! Он фашист!

---

* «Мой милый мальчик! Ты у меня остался последним, и ты должен помнить об этом. Будь осторожен. Ты мой. Ты не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, ни фюреру — только мне. Ты мой!

Твоя мама» *(нем.)*.

Сволочь! Он тоже продал Гитлеру душу. Он враг. Иначе зачем он пришел сюда?

Я хочу быть злым, злость придает силы, но я теряю ее, потому что устал, обалдел и чего-то не могу понять.

Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор? Мне опять хочется закричать, завыть, страшно выругаться...

Но я только глупо смеюсь. Я чувствую, что становлюсь циником.

«Эх ты, муттер, — думаю я. — Чего захотела в такое жестокое время: удержать собственного сына. Хватит того, что ты родила его, взрастила и сдала в солдаты. В стране, где царит дьявол, люди — тоже собственность! Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью и жизнями. Возьми теперь, фрау, своего сына, забирай этого «недогарка».

Но что это? Где-то на западе начинается могучий сплошной гул. Наполняя собой поднебесье, он растекается во всю ширь земли. В тревоге опять сжимается сердце. Конечно, это немецкие самолеты. Они идут на деревню. Идут ровно и тяжело, будто ползут, по-гусиному поджав короткие лапы-колеса. Их много, и я не считаю их. Я вижу только, как трое с хвоста этого каравана ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами, сворачивают на нас...

20

Густой и стремительный, как горный обвал, рев пикировщиков отбрасывает меня от стены укрытия. Всем телом ощущая неотвратимую опасность, я толкаю Люсю в угол, и в тот же момент первая бомба выбивает из-под ног землю. Взрывы обрушивают на нас поднятые из глубины тяжелые глыбы земли. Гаснет солнце. Воздух разрывает тугие пыльные волны. Сплошь песок, огонь и лютый ад взрывов. Обхватив руками голову, я жмусь к углу, как могу, прикрываю Люсю, придерживая меж колен автомат. При каждом взрыве девушка вздрагивает, так же вздрагивает земля, дрожу и я. Видно, нет такой человеческой силы, которая бы устояла перед страшной силой взрыва. Бомбы рвутся по три сразу. «Тр-р-рах! Тр-р-рах!» Кажется, земля вот-вот хряснет всей своей толщей и, как

огромная перезрелая тыква, развалится на две половинки.

Я напрягаюсь, рев приближается, визг — и снова: «Тр-р-рах! Тр-р-рах!»

Девять взрывов подряд. Вокруг еще оседает земля, сверху сыплются тучи песка, поднятого бомбами, в одной стороне рев глохнет, но сразу нарастает в другой. Я не знаю, жива ли Люся, она сжалась за моей спиной. Сквозь пыль не видно самолетов, но кажется, они уже входят в пике. Слышно, как отрываются и с визгом летят на нас бомбы. «Тр-р-рах!» — бьет где-то по окопу Кривенка. «Пропал парень», — мелькает мысль. Сразу же снова визг и — «тр-р-рах!». Второго взрыва почему-то нет, может, бомба не взорвалась? Я жду захода третьего пикировщика. Пока мы живы, но неужели погибнем от последнего взрыва? Должны же у них кончиться, наконец, эти проклятые бомбы.

Третий «лапотник» немного запаздывает, пыль успевает осесть, пока он заходит со стороны солнца. Но вот опять по изрытой огневой стремительно мелькает тень и пронзительно визжат бомбы. Они рвутся где-то в стороне, и у меня появляется надежда — уцелели! Я еще боюсь поверить этому, но гул отдаляется. Теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она вскидывает голову — с ее волос сыплется песок, оба мы по пояс в земле. Убитым также досталось, у Панасюка осколком распорот ботинок, из него вылез клок грязной портянки.

Я стряхиваю песок с автомата и вскакиваю. Бруствера почти нет. Укрытие завалило землей. Подбитая пушка скособочилась, одна станина задралась сошником вверх.

Немцы! Они бегут из подсолнухов в поле, к нам в тыл, к деревне. Видно, как болтаются в воздухе ремни их автоматов. Двое ближних, пригибаясь, опасливо поглядывают в нашу сторону. Я дергаю рукоятку и, быстро прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы бегут. Видно, автоматом их не возьмешь. Но почему молчит пулемет? Неужели?..

— Кривенок! Кривенок! — кричу я. — Огонь! Слышишь, огонь!

Я вижу его: он жив, сидит в конце полузасыпанного, обмелевшего окопа и, черный как цыган, осатанело глядит на меня. Рот его открыт, на лице гримаса отчаяния.

— Огонь! Видишь? Кривенок!

— К черту! Все к черту!!! — вдруг кричит он таким

голосом, от которого у меня содрогается сердце, и вскакивает. Он вытаскивает из земли свои босые, без сапог, ноги и, шатаясь, вылезает из окопа. Пулемета его не видно.

— На кой черт сидеть! Хватит! Прорываться! Слышишь? — кричит и ругается он, вваливаясь в наше разрушенное укрытие. Я не могу понять, что случилось с ним, а парень хватает из-под ног гранаты, Люсин автомат.

— Убираться отсюда! Довольно! Прорываться! Ну? — кричит он и бросается на бруствер.

— Стой.

Я хватаю его за ногу, он сползает вниз, вывертывается, вскакивает на колени и вперяет в меня обезумевший взгляд:

— Ага! И ты! И ты из-за нее? И тебе она люба? Геройство нужно? Геройство? Тот в тылу герой! Ты — тут! Это она все наделала! — размахивая кулаками, кричит он на Люсю; на губах его пена. — Зачем ты прибежала? Кого ты жалеешь? Его? Нас? Ты — мучительница! Гадина ты, вот! Ух, сволочи, гады!

Этого я не ожидал. Это не слабость — это бешенство и глупость. Он сошел с ума. У меня поднимается нестерпимая злость на него и до боли сжимаются кулаки. Но ведь рядом немцы! Я снова выглядываю из окопа, однако немцев в поле уже нет — часть их прорвалась в лощину, в наш тыл, во фланг полка. Тогда я бросаюсь к парню и хватаю его за плечо.

— Замри! — кричу я. — Замолчи! Очумел, дурень!..

Но глаза Кривенка по-прежнему бешеные. Стоя на коленях, он хрипит и наступает на меня:

— Ага! Бить! Бей!! Стреляй!! На, стреляй!! На!

Он рвет ворот гимнастерки, треснув, та расползается донизу. Я хватаю его за грудь, он цепко сжимает мои руки, мы недолго боремся, и он кричит мне в лицо:

— Из-за бабы все! Знаю. Гад ты, Лозняк, подлюга!

— Замолчи! — со злостью кричу я и, собрав все силы, рывком бросаю его на землю. Он падает навзничь, но все еще продолжает кричать:

— Из-за бабы! На друга? Бабский заступник! С ней хочешь?..

Меня взрывает от возмущения и злости на него.

— Дурак ты! Балда! — кричу я. — Ослиная голова! Что ты понимаешь? Зачем ты ее обижаешь? Задорожный сволочь! Он сачканул, чтобы не идти сюда. А она бежала!

Из-за нас! По-хорошему! По-человечески! А ты? Чего ты дуришь? Чего бесишься? Пойми сначала!

Кажется, мои слова удивляют его. Он недоуменно умолкает, недоверчиво смотрит на меня, потом на Люсю и, опершись на землю, погружается в оцепенение. А Люся, с виду далекая от нашей ссоры, будто загнанный зверек, жмется к стене. Она не плачет, но видно, как изо всех сил старается сдержать отчаяние и обиду в себе.

Через минуту Кривенок встает и садится. Черная с взлохмаченными волосами его голова бессильно свисает, как у пьяного. Я гляжу на его босые ноги, на плечи с оторванными погонами. Рукав ниже плеча рассечен осколком, на боку мокрое кровавое пятно. Непонятно, что случилось с парнем, который всегда был тверд и держался как надо? Неужели нервы? Но я не хочу успокаивать, уговаривать его, я знаю, чтобы привести его в чувство, нужна строгость, суровость. Но мне некогда — я боюсь, что к нам близко подойдут немцы, и бросаюсь к брустверу.

Вокруг огневой — пыльное земляное крошево. Травянистый участок перекопан, будто его разрыло стадо огромных диких кабанов, повсюду густая россыпь глубоких и мелких воронок. Немцев, однако, вблизи не видно.

Кривенок с гримасой отчаяния роняет на колени голову и, уткнувшись лицом в рукава, неподвижно сидит несколько минут. Затем, обмякший, но, кажется, успокоенный, медленно поднимает лицо.

— Ладно... Все! Но что делать будем? Пулемета нет.

— А что делать? — как можно хладнокровнее спрашиваю я. — Вылезешь — тут тебя и уложат. Навеки! Опять же — Лукьянов.

— Ну, черт с ним, погибать так погибать, — зло говорит Кривенок. — Только он жить будет. Где же справедливость?

Я молчу. Люся поворачивается к нему и, будто ничего не было, говорит:

— Снимай гимнастерку, перевяжу!

— Зачем? Теперь один черт! — мрачно бросает Кривенок.

Люся больше не навязывается со своей помощью, только неодобрительно смотрит на него.

— Пить!... — опять пробудившись, одними губами шепчет Лукьянов. — Пить...

Люся вздрагивает, сжимает челюсти, на ее грязных

щеках проступают желваки. Будто сговорившись с Лукьяновым, рядом шевелится, приподнимается на локтях немец. Он, кажется, пробует встать, повернуться, но это ему не удается, и он в отчаянии просит:

— Wasser! Ein schlük Wasser! Paul! *

— Пить! Пить!.. — выдыхает Лукьянов и царапает землю пальцами.

Люся круто изламывает на лбу брови, и я понимаю, как горько ей от беспомощности. А немец все еще не умирает, все дрожит и просит:

— Wasser! Wasser!

Это нестерпимо — наблюдать последние страдания людей. Но мы не можем ничем им помочь, и я отворачиваюсь. Пригнувшись за разбитым бруствером, я смотрю в поле.

По траншее идут немцы. Над бруствером мелькают их каски, темные пилотки — они направляются куда-то в тыл, во фланг прорванной обороны. Видно, они махнули рукой на нашу огневую и спокойно обходят ее.

— Огонь! — приказываю я сам себе. — Огонь!

Но из чего огонь? Мой автомат выпускает две очереди и умолкает, затвор в последний раз тупо лязгает и больше уже не взводится. Люся в укрытии ползает на коленях и перебирает магазины, ее автомат тоже без диска. Кривенок безразлично сидит на земле, опустив голову. Что ж, остались гранаты!

Я вытаскиваю из земли РГД и поочередно поворачиваю рукоятки. В прорезях появляются красные метки — гранаты на боевом взводе.

Запихиваю их в карманы. Теперь будем ждать.

— Пи-и-ить... Пи-и-ить... — совсем ослабело стонет Лукьянов.

Я не отрываю взгляда от траншеи, знаю, рано или поздно они все же полезут на нас. Солнце уже на закате, оно слепит глаза, но надо смотреть, не прозевать. Я немного успокаиваюсь, как вдруг тишину взрывает испуганный крик Кривенка:

— Люся!!!

В голосе его такой ужас, что я на секунду мертвею, потом, повернувшись, оглядываюсь, но поздно. На бруствере мелькают подошвы Люсиных сапог, и девушка тотчас

* Воды! Глоток воды! Пауль! *(нем.)*.

исчезает в ближней воронке. Меня бросает в жар от страха. Что она надумала? Чего это она?

— Люся! Ты куда? Люся!

Но она, не отвечая, сразу же выскакивает из воронки, бросается на присыпанную землей траву и быстро-быстро ползет к танку. Вот она уже минует его и ползет, ползет дальше. Я напряженно слежу за ней и только теперь понимаю: это она к ближнему убитому немцу. В руках я сжимаю гранаты, окидываю взглядом простор, кажется, немцев не видно, но кто их знает... Подсолнух в двух сотнях шагов.

Люся подбирается к немцу и какое-то время сидит, склонившись над ним. В руках у нее появляется фляга, еще что-то, и девушка поворачивает назад. Оглядываясь, она быстро и ловко ползет, на мгновение исчезает в воронке, но тотчас показывается. И тогда из подсолнуха бьет первая длинная очередь.

Пули неровной густой цепочкой взбивают пыль на разрытой земле. Люся вздрагивает, на секунду притихает, оглядывается и еще быстрее устремляется вперед. Почуяв недоброе, ко мне на бруствер бросается Кривенок. Я чувствую, как он впивается в землю руками и замирает. У меня самого холодеет сердце. Но что мы можем сделать тут без патронов?

Низко наклонив голову, она упрямо ползет к нам. В одной ее руке обшитая войлоком фляжка (наверное, вода!), в другой какая-то сумка или кобура. Ну, скорее же, скорей! Из подсолнуха снова трещит очередь, и снова замирает мое сердце. Но Люся ползет. Она направляется в окоп, где до сих пор сидел Кривенок, туда ей ближе, чем к нам. Кривенок отскакивает от меня и, пригнувшись, бросается через площадку. Я с гранатами бегу вслед за ним.

Тут несколько глубже и тише. Люся уже близко, она подползает к первым глыбам окопа. Встретив наши испуганные взгляды, она ободряюще улыбается. Эта ее улыбка, кажется, все переворачивает во мне. Я хочу закричать от напряжения и страха за нее. Но Люся уже поднимается на уцелевший в этом месте бруствер. Кривенок, несмотря на опасность, встает во весь рост и тянет навстречу ей руки. Она протягивает к нему свои, приподнимается на коленях и... падает.

Бешеная очередь разрывных щелкает по брустверу, по земле, по траве. Песок и комья хлещут по моему ли-

цу, запорашивает глаза. Инстинктивно я пригибаюсь, и в тот же миг меня пронзает отчаянный вскрик Кривенка.

Сквозь слезы я бросаю взгляд на Люсю — она молча и с бессильной покорностью ложится на бруствер. Рядом, обхватив руками окровавленное лицо, опускается на дно окопа Кривенок.

Вот оно! Вот самое страшное, самое худшее, оно не миновало нас! А из подсолнуха бьет вторая, третья очередь. Пуля сбивает с моей головы пилотку, и я снова прячусь за бруствер.

21

— Люся! Люся! Люся! — неистово кричит в окопе Кривенок, и я, взглянув на него сбоку, невольно ужасаюсь: у парня на иссеченном лице — кровавые пустые глазницы.

— Люся! Где Люся?

— Люся тут, тут Люся, — вдруг потеряв голос, шепчу я. А Люся тихо лежит на бруствере, положив голову на протянутую вперед руку, и на лице ее — милая светлая улыбка, которую, наверное, в последнее мгновение увидел Кривенок, в протянутой руке фляга, в другой — брезентовая кобура с ракетницей; толстой своей рукояткой ракетница высовывается наружу. Опомнившись и отчетливо осознав, что случилось, я беру девушку за тонкие, еще теплые кисти и, обрушивая с бруствера землю, стягиваю ее в окоп. Маленькое гибкое ее тело легко ложится на мои руки.

— Люся! — дико кричит Кривенок и окровавленными пальцами слепо шарит по брустверу.

Я же боюсь отозваться, боюсь сказать правду. Тогда он так же исступленно начинает звать меня.

— Сядь, — говорю я как можно спокойнее, но чужим приглушенным голосом. — Сядь... Сиди...

— Где Люся? Лозняк, где Люся?

— Все. Нет Люси...

Кривенок умолкает, сползает вниз, прикрывает ладонями лицо, потом вскакивает.

— Гады!.. Изверги!.. Сволочи!..

Он снова, как зверь в клетке, мечется по окопу, спотыкается о брошенную на дне лопату и хватает ее.

— Где он? Где тот проклятый фашист?

Кривенок вылезает из окопа, зацепившись за орудий-

ный сошник, падает, снова вскакивает. Он в бешенстве, ничего не видит, а я держу на коленях Люсю и не в силах остановить его, уговорить, успокоить. Пока он отыскивает наше укрытие, из подсолнуха снова бьет очередь, разрывные звучно щелкают вокруг.

— Ага? — услышав выстрелы, обрадованно кричит Кривенок. — Ага! Вот вы где! Сволочи! Гады!..

Босой, в разодранной гимнастерке, с лопатой в руках, он выбирается на бруствер и, широко расставив ноги, слепо направляется туда, в сторону выстрелов. Не выпуская из рук Люсю, я медленно поднимаюсь в окопе, а он широко и невидяще идет и идет, высоко и угрожающе подняв лопату, продолжая ругаться. Через десяток шагов, однако, падает в бомбовую воронку. Это обнадеживает меня, я прихожу в себя и кричу:

— Кривенок, стой! Стой! Не вылазь!

Но он недолго лежит там, встает и снова бросается туда, навстречу врагу. Я знаю, что все пропало, что только мгновения отделяют человека от его гибели. И когда из подсолнуха раздается очередь, я закрываю глаза. Открыв их, Кривенка уже не вижу.

Я снова опускаюсь на дно окопа и тихо, осторожно кладу на землю Люсю.

Теперь я один. Один со своей бедой и своей несчастной любовью. Впервые я так безысходно чувствую нелепую свою беспомощность в этих огромных жерновах войны, что со страшной силой перемалывают тысячи людских жизней и уже дошли до моей...

Я осторожно высвобождаю из тоненьких Люсиных пальцев ремешок фляжки, беру ракетницу — из кожаных ее гнезд торчат три цветные ракеты. Мне уже не хочется ни есть, ни пить и ни жить, пропадает и желание отстаивать эту разрушенную огневую, хочется только умереть, тихо и тут, рядом с Люсей. Однако вспоминаю тех, еще живых, в укрытии и с флягой в руках переползаю площадку. Лукьянов неподвижно лежит, где лежал, и молчит. Мне очень хочется, чтобы он очнулся, чтобы заговорил, взглянул, — страшно погибать одному. Я отвинчиваю флягу, поднимаю его запорошенную землей голову. На веке левого глаза — комок земли, я сбрасываю его, но зубы Лукьянова крепко сжаты. Кажется, он уже умер.

Я оглядываю остальных. Неподвижные, окровавленные тела, омертвевшие, забросанные землей лица...

А красная длинная стрелочка на часах у Желтых попрежнему торопливо бежит и бежит по черному циферблату. Эта ее живучесть возмущает меня — с какой-то суеверной неприязнью я бью по ней флягой, стекло рассыпается, и стрелка останавливается на цифре 11.

Ну, что дальше?

Рядом начинает стонать «недогарок». Живуч! Наши все до одного полегли, а он жив. Во мне загорается желание добить его, но припоминаю, что Люся не дала мне это сделать в самом начале, и я верю ей. Вероятно, она своей женской душой почувствовала что-то такое, что недоступно нам, ослепленным кровью, ненавистью, горячкою боя. Черт с ним! Пусть умирает сам.

Немец дергается, стонет и тихо в бреду просит:

— Пауль! Пауль!.. Вассер!

Пить? Нет, пить ты у меня не получишь. Запрокинув голову, я выливаю себе в рот остатки теплой воды, а флягу швыряю в угол. Больше она мне не понадобится. Потом ползком возвращаюсь в окоп.

Люся лежит на комьях набросанной взрывами земли. Руки ее покоятся вдоль тела, ноги вытянуты. Я сажусь рядом и поправляю на загорелых коленях ее коротенькую юбчонку. Тонкое девичье лицо уже заметно побелело, похудело. Ее последняя улыбка, что взбудоражила наши с Кривенком души, постепенно гаснет, уступая место безучастной, тупой неподвижности. Меня удивляет эта мертвенность всегда такого подвижного, живого Люсиного лица, удивляют и глаза. Они, оказывается, совсем не синие, они серые, и я не могу понять, почему они всегда казались нам синими, как васильки.

Я закрываю их поочередно, левый и правый, — пусть спят...

Что же делать дальше? Выбежать вслед за Кривенком? Застрелиться из ракетницы? Взорвать себя с Люсей?

В углу на земляную труху всползает муравей. Земля мелкая и вместе с муравьем все время осыпается. Муравей выкарабкивается из песчинок и каждый раз начинает ползти сначала. Что значит бездумное упрямство! Я беру его на ладонь и сдуваю на бруствер — пусть идет, спасается. Добра ему тут не будет.

Нет, черта с два! Буду драться! Один за всех — за Желтых, Попова, Лукьянова, Кривенка. За Панасюка. И за Люсю. Иначе мне нельзя. Я раскладываю свой бое-

запас: три РГД, одна лимонка в кармане, три ракеты, — все же не пустые руки.

Кажется, начинает темнеть. Небо еще блестит ярким отсветом низкого солнца, но в окопе уже сумеречно. Бой все грохочет вдали, только не поймешь, в какой стороне. Стонет земля, стоголосое эхо громовыми раскатами сотрясает простор. Тихо разве что на холмах.

И вдруг — знакомая трескотня по брустверу. Песок, комья земли, пыль — на голову. Сыпанет — и утихнет. Через пять секунд снова, потом еще и еще...

Да, начинается...

Держись, мужайся, Лозняк! Кажется, это последний твой бой. За землю держись. И помни. Всех помни. Скоро пойдут! Я чувствую — прежней силой наливается тело. И ловкостью. Каждый мускул напрягается. И нет уже страха. Я пережил, израсходовал его. Биться так биться. Насмерть!

Приподнявшись на ноги, я одним глазом выглядываю из-за бруствера: ползут! Потные, покрасневшие лица, автоматы в руках. Сбоку кто-то падает, кто-то перебегает в воронку. Беру две гранаты, они взведены, прижимаюсь к стене. Жду. Слушаю. Какая-то жила под коленом часто и надоедливо дрожит.

Над бруствером что-то чвякает. Граната. Щелкает запал, затем — громовой взрыв. Снова комья земли, пыль, песок застилают небо.

Размахиваюсь и в одну, другую, третью стороны бросаю свои РГД. Раздаются взрывы — один, второй, третий! Выхватываю из кармана лимонку, но рядом шлепается длинная рукоять немецкой гранаты. С остервенением хватаю ее и бросаю обратно. Сразу же — взрыв, чей-то близкий приглушенный вскрик.

Беру в правую руку лимонку, зубами отгибаю концы чеки. Левой заряжаю ракетницу и взвожу боек.

Сзади, за бруствером, торопливые шаги — я сразу улавливаю их. Вырываю зубами чеку, отпускаю планку и, продержав секунды три, бросаю туда гранату. Взрыв! В тот же момент что-то рвется на бруствере, над моей головой. Удар где-то сзади и — еще взрыв! Одна граната взрывается возле пушки, и тотчас передо мной в облаке пыли встает темная долговязая фигура в каске.

— Хенде хох!

— Скулу в бок! — кричу я и в упор стреляю из ракетницы. Дымная струя бьет из окопа, пышет клубком

искр. Немец хватается за грудь и, подломившись в коленях, падает на спину. Несколько секунд он горит. Ракета рассыпает вокруг пучки искр. Его сапоги свисают в мой окоп. Это ему за Люсю.

Я снова быстро заряжаю ракетницу, высовываюсь и бью в тех, кто поближе. Ракета подскакивает и катится по траве ярко-огненной кометой. Зеленые отблески, догорая, пляшут на комьях бруствера. Наверное, удивленные моим огневым отпором, немцы утихают.

Выбрасываю гильзу и заряжаю опять. Судя по головке, это осветительная, белая. Я жду новой атаки и благодарю Люсю. Мертвая, она спасает меня.

Но немцы молчат. Молчат минуту, две, пять... Что случилось, может, они подползают? И тут откуда-то издалека доносится танковый рев. Озадаченный, я вслушиваюсь, а гул все растет, ширится, приближается. Еще через десять минут уже вовсю дрожит, гудит, под невидимой тяжестью сотрясается земля. Несколько стремительных синеватых трасс мелькают над бруствером. Это уже оттуда, с нашей стороны.

Радостная догадка осеняет меня. Удивленный, я медленно встаю в окопе. Где-то вблизи, в вечернем просторе, заливаются, трещат пулеметы, и оттуда, с нашей стороны, сверкают над землей все новые и новые трассы.

С последней Люсиной ракетой в ракетнице, готовый ко всему, я выскакиваю из окопа.

22

Да, я спасен. Все страшное, адски мучительное позади.

Наискосок, полем, через подсолнух, к дороге, вытянув длиннющие, как бревна, стволы, идут советские САУ-100. За ними бежит, то отстает, то снова догоняет пехота.

Я сижу на бруствере с единственной ракетой в ракетнице и не ощущаю в себе даже намека на радость спасения. У моих ног лежит маленькое тело Люси. Я вынес ее из окопа под открытое небо, на широкий простор, который она уже никогда не увидит. Ни простора земли, ни нашей победы, ни этого вечернего неба, очень похожего теперь на ее серые, некогда сияющие глаза...

Идет время, а я все сижу.

Бой перемещается за неприятельские холмы. По обе стороны от нашей разбитой, никому уже не нужной ог-

невой бегут люди. Молодые, насквозь пропотевшие, с белыми от соли спинами, ребята о чем-то спрашивают меня, что-то кричат, но я не слышу и не отвечаю. Какой-то курносый парень в надетой звездочкой назад пилотке, пробегая ближе других, бросает:

— Дурной или контуженый?

И второй, что рядом бежит с пулеметом, смеется. Им радостно.

А я думаю: кто из нас вчера мог представить себе, что случится сегодня? Все эти долгие месяцы я мечтал об одном: только бы дорваться до немцев! И вот дорвался! Как все это сложно и трудно! На сколько же фронтов надо бороться — и с врагами, и с разной сволочью рядом, наконец, с собой. Сколько побед надо одержать, чтобы они сложились в ту, что будет написана с большой буквы? Как мало одной решимости, добрых намерений и сколько еще надо силы! Земля моя родная, люди мои добрые, дайте мне эту силу! Мне она так нужна теперь, и больше ее просить не у кого.

Темнеет. Сражение катится дальше. Холмы уже наши. По полю идут минометчики. Согнувшись под тяжелыми катушками, бредут связисты... Куда-то мчатся ездовые на передках...

И вдруг из сумерек меж воронок появляется Лешка. Торопливым, уверенным шагом он подходит к огневой. В его здоровой руке два котелка, под мышкой, той, что белеет бинтом, — буханка хлеба. Самоуверенно, с таким видом, будто он только десять минут назад был тут, Лешка здоровается.

— Привет! Ну как? Выдержали? Победили? Порядок.

Опустившись на одно колено, он бережно ставит на неровную землю котелки, кладет хлеб:

— Война войной, а есть надо. Правда? Вот раздобыл, расстарался... А где же хлопцы?

Я молчу, чувствуя, как все в моих глазах закружилось, заколыхалось и поплыло в знойном тумане. Видно, он замечает это и становится серьезнее.

— А меня, знаешь, немного тюкнуло. Пока до санроты добег, перевязался, ну и задержался... Вот еще Люська пропала. Была и пропала. Искали, искали... Так где же хлопцы? Остынет.

Туман предо мной расплывается — воронки, бугры, бруствер и Лешка отчетливо встают перед глазами.

— Иди сюда, гад!

Я поднимаюсь, поворачиваюсь к огневой, и Лешка, предчувствуя что-то, послушно лезет наверх.

— Не там ищешь! Гляди! — кричу я. — Гляди, сволочь!

Несколько секунд он хмурится, осматривает покойников, но сразу же здоровой рукой начинает одергивать свою коротенькую гимнастерку.

— Ну и что? Что смотреть? — зло огрызается он. — Подумаешь! Война! Вон не таких побило. Комбату голову оторвало. Что, я виноват?

— А кто же? Твоя работа! Гад ты! Сволочь! Судить тебя!!!

— Судить? — ярится он. — Пошел ты к черту, молокосос! За что?

— Ах, за что? Ты не знаешь за что? Ты погубил их. Мы ждали тебя, почему не пришел? Свою шкуру спасал?

— Ранило вот! На, смотри! Не веришь? Показать тебе? — Он тычет в мое лицо забинтованной кистью и начинает срывать с нее бинты.

— Ноги ведь у тебя целы, гад ты ползучий! Почему комбату не доложил? Почему Люсе сказал, что нам конец? Почему?

Каждая клетка во мне негодует. Я готов растоптать его, искалечить, смешать с землей. Он же, я вижу, хочет казаться равнодушно-уверенным, но то и дело срывается — злится, кричит, стараясь утопить в этом крике растущую в себе тревогу.

— Если хочешь знать, никакого разрешения не было, вот. Комбат убит, он не приказывал. Я ничего не знаю. Ранен, вот!

— Что-о-о? — кричу я, теряя над собой власть.

— А то! Комбат мне ничего не приказывал. Вот! Я Люсе ничего не говорил. Что вы натворили тут — не моя вина. Я в стороне.

— Ах, так ты, значит, в стороне?! Негодяй! Сволочь!

Не чувствуя себя, я подскакиваю к Задорожному, готовый ринуться в драку, как тогда ночью на этом самом месте.

— Ну, а если нет, — кричит он, — иди докажи! А где свидетели? Может, оживят Процкого, Люсю, спросят их?.. И прочь от меня, сопляк!

Он замахивается на меня натренированной ногой футболиста, но я в беспамятстве от гнева даже не отска-

киваю, я вскидываю ракетницу и огненной струей бью в его ненавистное, искаженное злобой лицо.

Выстрел оглушает, и все внезапно обрывается. Руки мои дрожат, как не дрожали за весь сегодняшний день. Яркое сияние ракеты, все разгораясь, ослепительным светом заливает огневую, станины, скособоченный щит, колесо, труп немца, каждый комок в окопе. За пушкой трепещут, дрожат черные, как деготь, тени. На несколько мгновений на бруствере с необыкновенной яркостью вспыхивает прямая и удивительно маленькая фигурка Люси. Ярко и горячо осветившись, она медленно меркнет, и все поглощает тьма.

Огромная, накопленная за этот адский день злость, вдруг прорвавшись, сразу опадает во мне. Разбитый и опустошенный, я швыряю ракетницу в темноту и, отойдя на другую сторону огневой, ложусь вниз лицом на жесткие комья бруствера.

За холмами медленно утихает бой. Отсветы далеких ракет скупо мерцают на ободранном щите пушки. К ночи начинает источать свои запахи изрытая взрывами, исполосованная танками, иссеченная железом земля. Росистый аромат трав постепенно забивает другие запахи — и пороховой смрад гильз, и бензиновый чад танков. Вверху, в прозрачном летнем небе, высыпают редкие звезды. Обессиленный, я долго не могу пошевелиться и пластом лежу на земле. Все во мне свернулось, сжалось, осело — и только жгучей болью горит в душе моя несчастная любовь и моя неукротимая ненависть.

Я лежу так, пока из темноты не доносятся знакомые голоса. Размеренно звякает валёк, коротко фыркают лошади — это едет расчет Степанова. Видно, ребята ищут нашу огневую, останавливаются, и вскоре наводчик Курбяк, заметив меня на бруствере, кричит:

— Давай сюда! Тут они!

Тогда я встаю с земли. Появление товарищей несет мне облегчение. Правда, я чувствую, что придется многое объяснить и за что-то ответить. Но я не боюсь. Что бы со мной ни случилось, я готов на все, — хуже и страшней, чем сегодня, мне никогда уже не будет.

1961 г.

ПОВЕСТЬ

1

Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что, пока вокруг замешательство, надо куда-то убежать, скрыться, а может, и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно, он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба, по краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперед руку, а другой сжал пистолет; опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно заваливших цех бетонных обломках.

Сзади слышались крики, в другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Черта с два!» — сказал себе Иван, вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму, оттуда перемахнул на косо рухнувший столб простенка. По простенку взобрался выше. Потянуло ветром, пыль постепенно рассеивалась, можно было оглядеться. Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди в трех шагах и ниже было последнее его препятствие — полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто ничего в целом мире не произошло, безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши домов и совсем близко на склоне призывно темнела хвойная чаща леса.

В одно мгновение охватив все это взглядом, он сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, но ему удалось ухватиться за них руками и быстро перемахнуть на ту сторону. Падать, однако, помедлил, на вытянутых руках опустился пониже и потом оторвался. Упал в жесткие колючки бурьяна, вско-

чил, перехватил пистолет и изо всех сил помчался по картофельному участку вдоль проволочной сетки.

Сзади неслись крики и захлебистый лай собак, в нескольких местах протрещали очереди, поодаль взвизгнули пули. Кажется, начиналась погоня, его шансы убывали, но он уже не мог отказаться от ставшего большим, чем жизнь, намерения уйти, перемахнул через сетку ограды и по колючей шлаковой дорожке еще быстрее устремился вверх, к недалекой уже окраине.

Взрыв в цехе, наверно, всполошил население. По дорожке от белого дома во всю прыть мчались к заводу двое мальчишек, передний был с игрушечным ружьем в руках, но за кустарником они не заметили его. Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, несшей полную лейку. Та испуганно вскрикнула и выронила ее. Он молча пробежал мимо, из коротенького проулка выскочил на немощеную окраинную улицу, оглянулся по сторонам — улица была пуста. Иван перебежал ее, продрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди домов уже не было, на огромном крутом косогоре раскинулся некошеный, густо усеянный ромашками луг, у дороги дремотно качались метелки какой-то неведомой ему травы. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним в знойном июльском небе теснились сизые громады Альп.

Сдерживая дыхание, Иван прислушался: сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе, за ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, определяя кратчайший путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других подступавший к городу, туда по крутому склону сбегали сверху редкие елочки. Иван снова вскочил на ноги.

Это оказалось чертовски трудным — все время бежать в гору: тело становилось чрезмерно грузным, от слабости подкашивались ноги. На середине косогора он снова оглянулся — собачий лай, кажется, уже доносился с окраины. Полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал — значит, еще не по нему. По другим! Видно, там разбегались. Это облегчало его положение, надо было торопиться.

Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади как на ладони был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ан-

гары корпуса завода, там и сям чернели развалины — свежие следы бомбежки; длинная ограда в одном месте рухнула, за проломом дыбились искореженные фермы перекрытий — это от их бомбы. Там бегали, суетились люди. Иван пригнулся (его уже начал скрывать пригорок) и вяло побежал к ручью, возле которого наконец с облегчением распрямился. Лес был рядом, на склоне.

Иван замедлил бег, вытер рукавом лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче, меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец изморенный, Иван уже достиг первых разбросанных по склону елочек, когда снова услышал лай собак. Показалось, что они за пригорком, рядом, и он, опять выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи, там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей или, если уж не суждено вырваться, погибнуть не зря.

Но добежать до леса Иван не успел.

Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал с рассыпанной повсюду дресвой, и почти уже достиг еловой опушки, как сзади, будто вынырнув из-за пригорка, совсем близко залилась лаем собака. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви — через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка.

Он понял, что до чащи ему не успеть. Шире расставив ноги, крепче сжал в руке пистолет. Он не знал, сколько в магазине патронов, интересоваться этим было поздно, хотя и понимал, что в патронах — его спасение. На минуту расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее. Надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтоб ударить без промаха.

Собака увидела его, залилась громче, злее и, попарно выбрасывая сложенные лапы, устремилась вверх. Стоя за елью, Иван пригнулся, взглядом отмерил рубеж в какой-нибудь полусотне шагов возле каменного выступа в траве и направил туда пистолет. Овчарка стремительно приближалась, прижав к голове уши, вытянув хвост; уже стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищным оскалом клыков. Иван затаил дыхание, напрягся, стараясь как можно лучше прицелиться, подпустил ее шагов на пятьдесят, выстрелил. И сразу же понял, что промазал. Пистолет дернулся в руке стволом вверх, в нос ударило пороховым смрадом, овчарка зала-

яла сильнее, и он, не целясь, наугад, поспешно выстрелил еще. Тотчас короткая радость блеснула в душе — собака отчаянно взвизгнула, взвилась, со всего маху ударилась о землю и в каких-нибудь двадцати шагах от него задергалась, забилась в траве. Он уже готов был кинуться в лес, но тут увидел: огромный, с рыжими подпалинами на боках волкодав, задыхаясь, выскочил из-за камней. За ним, петляя в траве, тянулся длинный ременный повод.

Иван, не целясь, торопливо вскинул навстречу пистолет, но выстрела не последовало, очевидно, что-то заело. Перезарядить он не успел, лишь ударил по затворной планке ладонью, однако волкодав был уже рядом и прыгнул. Иван как-то увернулся за ель, собака, задев ветки, пронеслась мимо, но, казалось, еще не долетев до земли, перевернулась в воздухе и тут же с раскрытой пастью кинулась снова. Не зная, как защититься, Иван вскинул навстречу руки.

Это был точный и сильный прыжок, пистолет выпал из рук Ивана, сам он не устоял на ногах и вместе с собакой покатился по склону. Казалось, все скоро кончится, но Иван, падая, успел схватить волкодава за ошейник и железным напряжением рук оттянул его от себя. Собака сильно драла когтями, где-то с треском разорвалась одежда. Одной рукой сжимая ошейник, другой Иван поймал переднюю собачью лапу и сильно выкрутил ее в сторону. Задыхаясь в борьбе, они еще раз перекатились друг через друга, потом, чтобы как-то удержаться сверху, Иван выбросил в сторону ноги, изо всех сил стараясь подмять под себя собаку. Наконец это ему удалось, и он, навалившись на пса всем телом, начал его душить. Но волкодав был чертовски силен, и Иван вдруг понял, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, он последним усилием двинул его коленом. Волкодав взвизгнул и резко дернулся, едва не вырвав из руки ошейник. Иван почувствовал, как под коленом будто хрястнуло что-то, и, выламывая пальцы, еще туже затянул ошейник. Но задушить пса у него не хватило силы, волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук.

Иван сжался в ожидании нового прыжка, но собака не прыгнула — распластавшись рядом и вытянув толстую морду с выброшенным набок языком, она часто и сипло дышала, злобно глядя на человека. Натертые ошейником, у Ивана жгуче горели пальцы, от перенапряжения нерв-

но трепетала мышца в предплечье, чуть не выскакивало сердце из груди. Опустив на траву дрожащие руки, он стоял на коленях и почти дикими глазами глядел на собаку.

Они следили один за другим, боясь упустить первую попытку к прыжку, и в то же время Иван опасался, как бы не появились немцы. Через минуту он понял, что волкодав вряд ли бросится первым. Тогда он поднялся на ноги и, отступив в сторону, схватил в траве камень. Хотел им ударить собаку, но тут же раздумал. Волкодав судорожно выгнул хребет, видно, ему досталось не меньше, чем человеку, и он беспомощно, тихо скулил. Иван сделал несколько осторожных шагов назад. Приподнявшись, волкодав тоже немного подвинулся, поводок его скользнул по траве. Но он не вскакивал. Иван, еще больше осмелев, устало побежал вверх, к ели, где уронил пистолет.

Собака завизжала от бессильной ярости, немного проползла по траве и остановилась. А человек поднял с травы браунинг и медленно, задыхаясь, насколько позволял остаток сил, побежал по распадку вверх, в еловую чащу.

2

Минут через пять он уже был в лесу и бежал вдоль стремительного, с необыкновенно прозрачной водой ручья. На склоне стоял чистый, не захламленный валежником лес. Бежать, однако, мешали камни. Подъем становился все круче. Опасаясь новой погони, Иван сунулся было в ручей, чтоб скрыть от овчарок след, но вода ледяным холодом обожгла ноги, и он, пробежав шагов десять, выскочил на берег. Вскарабкался на скалистую кручу, на секунду остановился, чтобы перезарядить пистолет. Затвор выбросил на камни перекошенный патрон. Иван нагнулся за ним и вдруг замер — сквозь говорливое журчание ручья сзади донеслись голоса. Оставив патрон, он торопливо подался вверх, чуть в сторону от ручья, пролез сквозь чащу елового молодняка и, еле справляясь с дыханием, опустился на четвереньки.

Подул ветер, и в небо из-за гор выплыл косматый край тучи. Видимо, надвигался дождь. Иван осмотрелся, окинув взглядом камни под елями. Внизу как будто никого не было. Он уже хотел вскочить на ноги и побежать, как вдруг до его слуха донесся слегка приглушенный, настойчивый оклик:

— Руссо!

Он пригнулся ниже, вобрал в плечи голову — нет, то был не немец, скорее какой-нибудь гефтлинг. Но тут хоть бы выбраться самому. Он знал по собственному опыту, как это трудно, где уж там вести с собой какого-то доходягу. Немцы наверняка уже подняли тревогу. Не так это просто — удрать.

И он изо всех сил побежал дальше, карабкаясь меж камней и елей вверх, наискось по горному лесистому склону, так как лезть прямо уже не хватало сил. Ручей остался где-то в стороне, говор его притих; сильнее и отчетливее стали шуметь ели — свежий ветер настойчиво раскачивал вершины; солнце скрылось, помрачневшее небо все шире заволакивала темная туча. Было душно, куртка на спине промокла от пота. Полосатый берет Иван потерял еще при взрыве и теперь вытирал лицо рукавами, все время озираясь по сторонам и чутко вслушиваясь. Один раз он услышал далекий еще, но стремительно нараставший рев мотоциклов. Тут где-то проходила дорога, и немцы, по-видимому, послали погоню. Охваченный мрачным предчувствием, Иван напряженно обдумывал, как быть дальше, и в то же время по какому-то неясному звуку догадался, что сзади кто-то бежит. Отскочив за мшистый комель ели, он щелкнул предохранителем браунинга. Треск мотоциклов приблизился. «Обкладывают, сволочи!» Иван оглянулся, опустился за елью на одно колено и приподнял сжатый в руке пистолет. Внизу снова раздался приглушенный стук по камням. Иван всмотрелся и уже отчетливо определил в зарослях место, где был человек. Вначале оттуда никто не показывался. Потом ветки закачались, и на прогалину из ельника выскочила легкая полосатая фигурка, метнула взглядом по склону.

— Руссо!

Женщина! Этого еще не хватало! Он чуть не выругался с досады, но приближающийся рев мотоциклов переключил его внимание. Иван крутнулся на земле, не зная, куда податься: меж редких стволов его легко могли увидеть сверху. И он прыгнул в неглубокую выемку-нишу под крутоверхой скалой, весь сжался, готовясь к отпору. Полосатая фигурка внизу на минуту исчезла за краем обрыва. Он теперь не смотрел туда, а напряженно слушал, больше всего остерегаясь мотоциклов. Но вот внизу, в двадцати шагах, из-за камня снова показалась ее фигура в длинной, не по росту, куртке с закатанными ру-

кавами и красным треугольником на груди. Это была девушка. Она быстро огляделась по сторонам, и он заметил, как под черной шапкой волос с нескрываемой радостью блеснули такие же черные, словно две маслины, глаза.

— Чао!

Он слышал уже это слово — так всегда здоровались гефтлинги-итальянцы. Однако теперь, вслушиваясь в треск над головой, он сжался и молчал, ожидая, что она вот-вот юркнет в какое-нибудь укрытие. Но она, кажется вовсе забыв об опасности, снова оглянулась и торопливо заговорила по-немецки, как ему показалось, кого-то прогоняя от себя. Взглянув в подлесок, Иван увидел за камнями еще одного в полосатом, который после окрика девушки сразу же шмыгнул в заросли. Иван хотел было кинуться прочь от этих непрошеных спутников, но девушка легко выскочила из-за обрыва, нагнулась, сунула ноги в колодки, которые до сих пор держала в руках, и, застучав ими, торопливо побежала к нему.

Мотоциклы ревели чуть ли не над их головами, и эта ее нелепая дерзость вызвала у Ивана гнев — их ведь легко могли тут заметить. Пригнувшись, Иван шагнул к девушке и за руку рванул ее под скалу. При этом он тихо, но с неудержимой яростью выругался. Она легко метнулась за ним, как вдруг одна ее колодка сорвалась с ноги и, застучав по камням, отлетела далеко в сторону.

— Ой, клумпес! — приглушенно вскрикнула девушка.

Мотоциклисты один за другим, обдавая их грохотом, проносились совсем близко, но она, казалось не обращая на них внимания, вырвала у него руку и бросилась за своей колодкой. Иван не успел удержать ее, только в гневе стукнул кулаком по камню и скрипнул зубами. Девушка между тем подхватила колодку и кинулась назад. И тогда Иван, встретившись с азартно блеснувшим взглядом девушки, зло ударил ее по лицу.

Удар обжег ей щеку. Она коротко вскрикнула, но не отшатнулась, не побежала, а упала под скалу рядом и из-под локтя кинула на него взгляд, полный не гнева, а скорее озорного удивления.

Гул мотоциклов удалялся, и Иван пожалел, что не сдержал себя. Девушка на минуту сосредоточилась, округлила глаза, прислушалась, вроде только теперь осознав, что им угрожало, и, приподняв ногу в полосатой запачканной штанине, надела на ступню колодку. Потом еще раз взглянула на него и, по-детски неумело выгова-

ривая слова, будто картавя, повторила его ругательство.

Это было так же неожиданно, как и его пощечина, и так необычно, что в нем будто что-то сдвинулось, сместилось — человеческое на минуту ворвалось в его заскорузлую душу, и он впервые за сегодняшний день удивленно и широко раскрыл глаза:

— Ого!

— Ого! — повторила, как бы передразнивая, она, обнаружив тем свою нарочитую обиду, и впервые с заметным любопытством оглядела его. Полные губы ее были капризно поджаты, но в глазах уже появились готовые вот-вот запрыгать озорные смешливые чертики. Казалось, он где-то уже видел их, эти непонятные глаза, на смуглом, сильно исхудавшем лице, и, почувствовав что-то новое в себе, нахмурился. Обжигающая красота девушки, ее необыкновенное бесстрашие в этом их более чем сложном положении вовсе сбили его с толку.

— Ты куда бежишь? — строго спросил он, глядя на ее поджатые, в колодках ноги.

— Вас?

— Вас! Вас! Куда бежишь?

— Руссо бежишь — ихь бежишь.

Нахмурившись, Иван смерил ее исподлобья тяжелым злым взглядом — все ее подвижное, с тонкими чертами лицо выражало желание понять его. Густые черные брови, почти сросшиеся над переносьем, были высоко вскинуты.

—Ты знаешь, куда я бегу? Русланд бегу. Поймают, мне будет пуф, пуф. А тебе это. — Он чиркнул себя пальцем по шее и показал вверх — красноречивый интернациональный жест лагерников.

Она поняла, коротко улыбнулась, даже, показалось ему, фыркнула, мол, что мне виселица! И это ее безрассудное легкомыслие опять разозлило его:

— Расхрабрилась! Ну беги! Только без дураков. Я тебе не помощник.

— Конэчно! — дружелюбно улыбнулась девушка, и Иван подумал, что она не поняла его.

Он попытался было возразить, но в это время в стороне города опять послышались выстрелы, крики и лай собак. «Черт с ней, с этой девкой», — подумал Иван. Надо было пробираться дальше, и он быстро полез по склону.

3

Небо затянула сизая туча. Тревожно качались вершины елей. Лес беспокойно гудел, и первые капли дождя косыми трассами прочертили воздух между деревьями.

Иван, не сбавляя темпа, проворно лез меж стволов и камней, поблескивая голым коленом. Он только теперь заметил порванную собакой штанину и кровь на ноге. Пока стоял под скалой, рана, видимо, немного подсохла, а на ходу открылась и теперь кровоточила. Сбитые о камни, кровоточили на ногах пальцы. О какую-то колючку он больно уколол пятку и стал заметно прихрамывать.

Сзади все умолкло, погони не было слышно, но она должна была появиться. Иван знал, что немцы не оставят беглецов в покое. По-видимому, там уже подняли на ноги охрану, полицию. Это было очень трудно — удрать. Разве что поможет дождь, укроет, приглушит шаги, смоет следы. Острым беспокойным взглядом Иван ощупывал вокруг себя кусты, боясь наскочить на засаду. Временами он слышал за спиной торопливые шаги своей спутницы — она не отставала. Только иногда, уронив с ноги клумпес, девушка на минуту задерживалась, но потом бегом догоняла его. В такие моменты он слышал ее близкое частое дыхание рядом.

Иван старался быть к ней безразличным. Если бы девушка отстала совсем, он, возможно, даже вздохнул бы с облегчением, но все же, пока она была рядом, не мог прогнать ее, чтобы уйти одному. Он только думал: и откуда ее, на беду, прибило к нему, поди ж ты, вырвалась с завода, догнала. Уж на что он быстро бежал в гору, а вот не отстала. Правда, он немало времени потратил на борьбу с собаками — хорошо еще, что задержались, не набежали в ту минуту немцы...

Дождь между тем усилился. Плотнее окутал лесистые склоны теплый туман. Это радовало Ивана, так как в ненастную погоду было легче укрыться в лесу и подальше отойти от города.

Только идти под дождем было не очень удобно. Промокшая до нитки куртка неприятно прилипала к телу, штанины также намокли снизу, и Иван подвернул их, как, бывало, на сенокосе, до самых колен. Он с удовлетворением заметил, что под дождем потемнела полосатая, заметная издали его одежда. Только вот проклятые круги-мишени, выведенные масляной краской, по-прежнему то-

порщились на груди. Они не намокали и стали еще заметнее на потемневшей куртке.

Так прошел час, а может, и больше. Продираясь сквозь мокрый молодой кустарник с натянутой между ветвями паутиной, в которой дрожали мельчайшие капли воды, Иван вдруг увидел дорогу. Гладкая, блестящая от непогоды бетонная полоса ее плавно изгибалась на повороте и исчезала вверху. Он остановился, прислушался — кажется, дорога была пуста. Тогда он оглянулся: девушка, нетерпеливо отстраняя от лица мокрые ветви, пробиралась к нему. Видимо, надо было подождать ее и дорогу перейти вместе, иначе она могла сделать что-то не так и выдать обоих.

Девушка подошла, устало остановилась рядом и, увидев дорогу, уже с большей осмотрительностью, чем недавно, отнеслась к опасности. Иван коротко скользнул взглядом по ее мокрой куртке, которая плотно облегала гибкую и тонкую фигуру, и снова с досадой поморщился — так все это не шло к обстановке, в которой они оказались. Она же, видно, рада была минутной задержке: немного отдышавшись, взялась одной рукой за ствол сосенки, другой вылила из колодок воду и устало вздохнула.

Иван подождал немного, пока она отдышится, потом направился к дороге. Девушка осторожно пошла следом.

Возле дороги он снова огляделся, подбежал к забетонированному кювету, остановился, шепнул ей: «Иди сюда!» — и подал руку. Она без слов ухватилась за его пальцы, глухо стукнув о бетон деревяшками, прыгнула через кювет. Иван коротко бросил: «Снимай!» — девушка послушно скинула клумпесы и подхватила их свободной рукой. Взявшись за руки, они выбежали на мокрые бетонные плиты дороги. Дождик сыпал уже часто и тотчас смывал их следы. Беглецы благополучно перебрались на другую сторону. Он выпустил ее руку. За кюветом она наколола ногу о щебенку, тихонько ойкнула, потом сунула ступни в колодки и быстро полезла за ним вверх по склону.

Склон тут был крутой, со стремнинами обрывов, поросший чахлыми кривыми сосенками, сквозь вершины которых виднелась внизу блестящая дуга дороги. Иван теперь уж не очень старался выдерживать темп: устал сам, да и девушка — он это чувствовал — уже на пределе своих, по-видимому, не слишком больших сил. На крутом

подъеме, который он, превозмогая усталость, одолел первым, Иван остановился, наблюдая из-под развесистой суковатой сосны за тем, как карабкается вверх его спутница. Одна колодка у нее свалилась с ноги и по камням быстро покатилась вниз. Она растерянно вскрикнула: «Санта мадонна!» — оглянулась и устало села, по всей вероятности, не решаясь спускаться за ней. Но вскоре все же полезла вниз, прихрамывая на одну ногу, подобрала колодку и снизу взглянула на Ивана. В ее взгляде теплилась молчаливая благодарность за то, что он не ушел без нее. Он спокойно опустился на сухую колючую землю между извилистыми корнями, поджидая, пока девушка вылезет из-под кручи. Добравшись до него, она в изнеможении упала рядом.

— Брось ты их к черту! — сказал он, имея в виду колодки.

Она подняла на него черные широкие глаза. Он показал на ее клумпесы и махнул рукой — брось, мол. Она, очевидно, поняла и отрицательно покачала головой, пошевелив при этом своей маленькой мокрой и, как показалось ему, слишком нежной стопой. Он сразу понял нелепость своего совета, так же как и то, что немало еще хлопот причинят ей эти непомерно большие деревяшки.

Его ноги, исколотые на камнях и валежнике, тоже горели и саднили. Особенно донимала при ходьбе левая пятка. Теперь, невольно затягивая минуту передышки, он решил посмотреть, что там, и, поджав руками ногу, взглянул на влажную стопу.

— Руссо очень, очень фурьёзо *. Как это дойч?.. Бёзе! * — вдруг сказала она.

Иван за год пребывания в плену немного научился по-немецки и понял, что сказала она, но ответил не сразу. В пятке была заноза, которую он попробовал вытащить, но, как ни старался, не мог ухватить пальцами ее крохотный кончик.

— Бёзе! Доведут, так будешь и бёзе! — сердито проворчал он и добавил уже добрее: — А вообще я гут.

— Гут?

Она усмехнулась, обеими руками пригладила мокрые, блестящие волосы и, вытерев о штаны ладони, придвинулась к нему:

— О, дай!

* Фурьёзо (*итал.*), бёзе (*нем.*) — сердитый, злой.

Он никак не мог взяться за конец занозы, и она легонько и удивительно просто холодными тонкими пальцами обхватила его большую ступню, поковыряла там и, нагнув голову, зубами больно ущипнула подошву. Он нерешительно дернул ногу, но она удержала, нащупала кончик, и, когда выпрямилась, в ровных ее зубах торчала маленькая колючка.

Иван не удивился и не поблагодарил, а, подтянув ногу, взглянул на пятку, потер, попробовал наступить — стало, кажется, легче. Тогда он уже с большей приязнью, чем до сих пор, посмотрел на девушку, на ее мокрое, смуглое, похорошевшее лицо. Она не отвела улыбчивого взгляда, пальцами взяла из зубов занозу и кинула ее на ветер.

— Ловкая, да, — сдержанно, будто неохотно признавая ее достоинства, сказал он.

— Лёф-ка-я, — повторила она и спросила: — Что есть лёф-ка-я?

Должно быть, впервые за этот день он слегка улыбнулся и потеребил пятерней стриженый мокрый затылок:

— Как тебе сказать? Ну, в общем, гут.

— Гут?

— Я. Гут.

— Ду гут, ихь гут *, — радостно сказала она и засмеялась. А он, будто что-то припоминая или оценивая, дольше, чем прежде, посмотрел на нее. Она сразу спохватилась, зябко повела плечами, и он подумал: надо идти. Ему не хотелось вылезать из-под этой сухой развесистой сосны, и все же он вынужден был встать. Дождь не переставал. С унылым однообразием шумел лес — видно, непогода сорвала облаву. Неизвестно, сколько узников прорвалось в горы, но, может, хоть кому-нибудь посчастливится уйти. Иван вспомнил третьего гефтлинга, который бежал за ними, и, прежде чем выйти из-под сосны, повернулся к девушке, вытряхивавшей сор из своих колодок.

— Это кто еще бежал за тобой?

— Бежаль, да? Тама? Гефтлинг. Тэдэско гефтлинг **.

— Что, знакомый? Товарищ?

— Нон товарищ. Кранк гефтлинг. Больной, — тоненьким пальчиком она прикоснулась к своему виску.

— А, сумасшедший?

— Я, я.

---

* Ты хороший, я хорошая *(нем.)*.

** Немец-узник *(итало-нем.)*.

«Гляди ты, а с ней можно разговаривать!» — с удовлетворением подумал Иван и отвел в сторону взгляд. Почему-то по-прежнему неловко было смотреть в ее черные, глубокие, широко раскрытые глаза, в которых так изменчиво отражались разнообразные чувства.

— Ладно. Черт с ним. Пошли.

Кажется, они порядком уже отошли от лагеря. Немцы, видно, упустили их. Душевное напряжение спало, и Иван, будто издалека, впервые мысленно оглянулся на то, что произошло в этот адски мучительный день.

4

С утра они, пятеро военнопленных, в полуразрушенном во время ночной бомбежки цехе откапывали невзорвавшуюся бомбу.

У них уже не осталось ни малейшей надежды выжить в этом чудовищном комбинате смерти, и сегодня они решили в последний раз попытаться добыть свободу, или, как говорил маленький чернявый острослов по кличке Жук, если уж оставлять этот свет, так прежде громыхнуть дверью.

Небезопасная и нелегкая их работа приближалась к концу.

Подвешивая бомбу ломами, они наконец освободили ее от завала и, придерживая за покореженный стабилизатор, осторожно положили на дно ямы. Дальше было самое рискованное и самое важное. Пока другие, затаив дыхание, замерли по сторонам, длиннорукий узник в полосатой, как и у всех, куртке с цветными кругами на груди и на спине, бывший черноморский моряк Голодай, накинул на взрыватель ключ и надавил на него всем телом. На его голых до локтей, мускулистых руках вздулись жилы, проступили вены на шее, и взрыватель слегка подался. Голодай еще раза два с усилием повернул ключ, а затем присел на корточки и начал быстро выкручивать взрыватель руками. Сильно деформировавшись при ударе о землю, взрыватель, конечно, был неисправен и в таком состоянии не годился для бомбы, минувшей ночью сброшенной с американского Б-29 или английского «москито» на этот зажатый горными кряжами Альп австрийский городок. Но при дефектном взрывателе бомба была исправная и продолжала хранить в себе пятьсот килограммов тротила. На это и рассчитывали пятеро

смертников. Как только отверстие в бомбе освободилось, Жук достал из-под куртки новенький взрыватель, добытый вчера от испорченной, с отбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервными пальцами начал ввинчивать его вместо прежнего.

Парень спешил, не попадал в резьбу, железо лязгало, и Иван, чтобы кто-нибудь не набрел на них, приподнявшись, выглянул из ямы.

Поблизости, кажется, все было тихо. Над ними свисали покореженные балки. Из многочисленных проломов в крыше косо цедились на землю дымчатые лучи света. Было душно и пыльно. За рядом бетонных опор посреди цеха в освещенной солнцем пыли с редкими возгласами и глухим гомоном шевелились, сновали десятки людей, растаскивавших завалы и убиравших хлам. Там же теперь были и эсэсманы, которые предпочитали излишне не любопытствовать, когда обезвреживались бомбы, и обычно держались поодаль.

— Ну, сволочи, теперь ждите! — тихо, сдерживая гнев, сказал Жук.

Голодай, выпрямляясь над бомбой, буркнул:

— Помолчи. Скажешь гоп, когда перепрыгнешь.

— Ничего, братцы, ничего! — вытирая вспотевший лоб, проговорил в углу Янушка, бывший колхозный бригадир, а теперь одноглазый гефтлинг. По натуре он был скорее оптимистом, если только ими могли быть пленные в лагере. Несмотря на вытекший глаз и отбитую селезенку, он всегда и всех обнадеживал — и когда подбивал людей на побег, и когда в изодранной овчарками одежде под конвоем с немногими уцелевшими возвращался в лагерь.

Так высказали они свое отношение к задуманному, кроме разве Сребникова, который, беспрерывно кашляя, стоял у стены, да еще Ивана. Сребников с самого начала всю эту затею воспринял без энтузиазма, так как ему мало радости принесла бы даже удача — быстрее, чем лагерный режим и побои, его добивала чахотка. А Иван Терешка был просто молчун и не любил зря говорить, если и без того все было ясно.

Голодай вытер ладони о полосатые штаны и взглянул на людей: конечно, главным заводилой был он.

— Кто ударит?

Все на секунду притихли, опустили глаза, напряженно ощупывая ими длинный корпус бомбы с разбегающи-

мися царапинами на зеленых боках. Сосредоточился невеселый, с седой щетиной на запавших щеках Янушка; погасла нервная решимость в быстрых глазах Жука; Средников даже кашлять перестал, опустил вдоль плоского тела руки — взгляд его стал невыносимо скорбным. Видно было, что вопрос этот беспокоил их с самого начала; все молчали, мучительно каждый про себя решая самое важное.

Крупное лицо Голодая выражало нетерпение и суровую решимость довести все до конца.

— Добровольцев нет! — мрачно констатировал он. — Тогда потянем.

— Ага. Так лучше, — встрепенулся и подступил ближе к нему Жук.

— Что ж, потянем. По справедливости чтоб, — согласился Янушка.

Сдержанно и, кажется, с облегчением кашлянул Сребников. Терешка молча, одним ударом вогнал в землю конец ломика. Но Голодай, хлопнув себя по бедру, выругался:

— Потянешь тут. Ни спички, ни соломинки.

Нетерпеливо оглянувшись, он схватил лежавшую в углу ямы тяжелую с длинной рукояткой кувалду.

— Значит, так... Бери выше.

И присел, обхватив ручку у самого основания. Остальные подались к нему, нагнулись, сдвинув над кувалдой головы. Выше Голодая взялся рукой Жук, еще выше сцепились узловатые пальцы Янушки, затем ручку охватила ладонь Сребникова, за ней — широкая пятерня Терешки, потом опять Голодая, Жука, Янушки. И когда над сплетением рук остался маленький кончик черенка, его медленно коснулась дрожащая потная рука Сребникова.

Все невольно с облегчением вздохнули, поднялись и, постояв у стены, с полминуты старались не глядеть друг на друга. Голодай решительным жестом протянул кувалду тому, кто должен был с нею умереть.

— Так что по справедливости. Без обмана, — по-прежнему грубовато, но с едва заметной ноткой сочувствия сказал он.

Сребников почему-то перестал кашлять, пошатнулся, взял ручку кувалды, молча повернул ее в руках, попробовал переставить и опустил. Его полные неуемной тоски глаза остановились на товарищах.

— Не разобью я, — тихо, тоном обреченного сказал он. — Не осилю.

Все снова притихли. Голодай гневно сверкнул глазами на смертника:

— Ты что?!

— Не разобью. Силы уже... мало, — уныло объяснил Сребников и тяжело, надрывно закашлялся.

Голодай посмотрел на него и вдруг зло выругался.

— Ну и ну! — язвительно проговорил Жук. — Вили-вили веревочку...

— Что ж... Ясное дело, где ему разбить. Ослабел, — готов был согласиться с происшедшим Янушка.

У Терешки внутри будто перевернулось что-то — хотя он и понимал, что Сребников не притворяется, но такая неожиданность вызвала у него гнев. С минуту он тяжело, исподлобья смотрел на больного, что-то решал про себя. Умирать он, конечно, не стремился. Как и все, хотел жить. Трижды пытался вырваться на волю (однажды дошел почти до Житомира). И тем не менее в жизни, оказывается, бывает момент, когда надо решиться закончить все одним взмахом.

И он шагнул к Сребникову:

— Дай сюда.

Сребников удивленно моргнул скорбными глазами, послушно разнял пальцы. Терешка переставил кувалду к себе и немного смущенно скомандовал:

— Ну, что стали? Берем. Чего ждать?

Суровый Голодай, нервный Жук, озабоченный Янушка с недоумением взглянули на него и, оживившись вдруг, подступили к бомбе.

— Взяли! Жук — веревку. Лаги давайте. Куда лаги девали? — с неестественной бодростью распоряжался Терешка и в поисках заранее припасенных палок выглянул из ямы. Но тут же он вздрогнул, остальные замерли рядом. Предчувствуя беду, Терешка медленно выпрямился во весь рост.

Невдалеке от ямы в пыльном потоке косых лучей стоял командофюрер Зандлер. Он сразу увидел Ивана, их взгляды встретились, и Зандлер кивнул головой:

— Ком!

Терешка выругался про себя, отставил к стене кувалду и быстро (медлить в таком случае было нельзя) по откосу вылез на раскиданную вокруг ямы землю. Сзади, настороженные, притихли, притаились товарищи.

В пыльном, пустом с этого конца цехе (боясь взрыва бомбы, немцы повытаскивали отсюда станки) было душно, повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные лучи полуденного солнца. В другом, разрушенном конце огромного, как ангар, сооружения, где разбирала завал команда женщин из сектора «С», сновали десятки людей с носилками; по настланным на землю доскам женщины гоняли груженные щебенкой тачки.

Зандлер стоял в проходе под рядом опор, сбоку от большого пятна света на бетонном полу, и, заложив за спину руки, ждал. Терешка быстро сбежал с кучи земли, деревяшки его громко простучали и стихли. Хмуря широкие русые брови, он остановился в пяти шагах от Зандлера, как раз на освещенном квадрате пола. Эсэсовец, вынеся из-за спины одну руку, пальцами дернул широкий козырек фуражки:

— Ви ист мит дер бомбе? *

— Скоро. Глейх **, — сдержанно сказал Иван.

— Шнеллер хинаустраген! ***

Зандлер подозрительно поглядел в сторону ямы, из которой торчали головы четырех пленных, потом испытующе — на Ивана; тот стоял по-солдатски собранный, готовый ко всему. Острым взглядом он впился в бритое, загорелое лицо немца. Оно было преисполнено сознания власти и достоинства. В то же время Иван настороженно следил за каждым движением его правой руки. Неподалеку от них, на другой половине цеха, две женщины в полосатой одежде опустили на землю носилки и, пересиливая страх, с любопытством ждали, что будет дальше. Немец, скользнув взглядом по плечистой фигуре гефтлинга, внешне выражавшей только готовность к действию, понял это по-своему. Ступив ближе, он протянул к нему ногу в запыленном сапоге.

— Чисто́! — спутав ударение, кивнул он на сапог.

Иван, разумеется, понял, что от него требовалось (это не было тут в новинку), но на мгновение растерялся от неожиданности (только что он подготовился совсем к другому) и несколько секунд помедлил. Зандлер

* Ну как там бомба? *(нем.)*.
** Сейчас *(нем.)*.
*** Быстрей выносите! *(нем.)*.

ждал с угрозой на жестком скуластом лице. Дольше медлить было нельзя, и парень опустился возле его ног. Это унижало, бесило, и Иван внутренне сжался, подавляя свой непокорный, такой неуместный тут гнев.

Согнувшись, он чистил сапог натянутыми рукавами куртки. Сапоги были новые, аккуратно чищенные по утрам, и вскоре носок первого стал ярко отражать солнце. Потом заблестели голенища и задник, только в ранту еще осталось немного пыли да на самом носке никак не затиралась свежая царапина. Командофюрер тем временем, щелкнув зажигалкой, прикурил, спрятал в карман портсигар. На Ивана дохнуло запахом сигареты — это мучительно раздражало обоняние. Затем немец, кажется, стряхнул пепел. На стриженую голову Ивана посыпались искры, какая-то недогоревшая соринка больно обожгла шею. Гнев с большей силой вспыхнул в нем, и он еле сдерживал себя — так хотелось вскочить, ударить, сбить с ног, растоптать этого поганца. Но он чистил сапог, борясь с собой и стараясь как можно скорее отвязаться от немца. Тот, однако, не очень спешил, держал сапог до тех пор, пока он не заблестел от носка до колена. Потом отставил ногу назад, чтобы подставить вторую.

Иван немного выпрямился и в краткий миг этой передышки взглянул туда, где остановились, наблюдая за ними, несколько гефтлингов-женщин. Взглянул бегло, почти без всякого внимания, но вдруг что-то заставило его спохватиться. Тогда он посмотрел внимательнее, стараясь понять, в чем дело. Но лучше бы ему провалиться сквозь землю, чем встречаться с таким уничтожающим презрением в этих женских глазах. Почему-то он не успел заметить ничего другого, не понял даже, было это молодое или, может, пожилое лицо, — взгляд этот будто кипятком плеснул в его душу нестерпимой болью укора. Между тем к его коленям придвинулся второй запыленный сапог с большим белым пятном на голенище. Немец нетерпеливо буркнул два слова и носком пнул пленного в грудь. Иван помедлил, что-то, еще позволявшее контролировать себя, вдруг оборвалось в нем. Его пальцы отпустили рукав и мертвой хваткой впились ногтями в ладонь. Подхваченный гневной силой, от которой неудержимой тяжестью налились кулаки, он вскочил на ноги и бешено ударил

немца в челюсть. Это случилось так быстро, что Иван сам даже удивился, увидев Зандлера лежащим на бетонном полу. Поодаль, подпрыгивая, катилась его фуражка.

Все еще не до конца осознав смысл происшедшего, Иван, вобрав голову в плечи и широко расставив ноги, с туго сжатыми кулаками стоял над немцем. Он ждал, что Зандлер сразу же вскочит и бросится на него. До слуха откуда-то издалека донеслись возбужденные разноязыкие восклицания, только он не соображал уже, осуждали они или предупреждали. Эсэсман, однако, не бросился на пленного, а неторопливо, будто преодолевая боль, повернулся на бок, сел, медленно поднял с пола фуражку, несколькими щелчками сбил с нее пыль. Кажется, он не спешил вставать. Сидел, широко раскинув ноги в одном блестящем и другом нечищеном сапоге, будто безразличный ко всему, пригладил рукой волосы, надел фуражку. Только после этого поднял на взбешенного и заметно растерявшегося пленного тяжелый угрожающий взгляд и тут же решительно рванул на ремне кожаный язычок кобуры.

В голове Ивана молнией сверкнула мысль: «Все кончено!» Щелкнул затвор пистолета, и немец с внезапной стремительностью вскочил на ноги. Это сразу вывело Ивана из оцепенения, и, чтобы умереть недаром, он ринулся головой на врага.

Ударить, однако, он не успел: земля вдруг вздрогнула, подскочила, внезапный громовой взрыв подбросил его, оглушил и кинул в черную пропасть. Немца и все вокруг накрыло облаком коричневой едкой пыли.

Через секунду Иван почувствовал, что уже лежит на полу, а кругом что-то падает, сыплется, что-то дымно, зловонно шипит, жаром горит спина; почему-то с опозданием рядом упал и вдребезги разлетелся кирпич. Иван огляделся — по бетонному полу беспомощно скреб знакомый, с царапиной на носке сапог, в клубах пыли дергалась, пытаясь куда-то отползти, фигура врага. Иван схватил из-под бока тяжелый кусок бетона и с размаху ударил им немца в спину. Зандлер ахнул, мотнул в воздухе рукой. Этот жест напомнил Ивану о пистолете. На коленях он перевалился через эсэсмана, рванул из его полуразжатых пальцев пистолет и с бешеным стуком в груди бросился в вихревое облако пыли...

5

Мрачная, бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшем кривым сосняком ущелье, что, постепенно суживаясь, полого подымалось вверх.

Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням, изредка останавливаясь, чтобы подождать девушку, которая из последних сил упорно продвигалась за ним. Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там, наверху, наверно, был реже мрак, который густым туманом начал заполнять ущелье. Но у него уже не хватало на это ни решимости, ни силы. Вместе с тем очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок след беглецов. Изнемогая, Иван все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было уйти от погони, а внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть.

Проклятые горы! Иван был благодарен им за их недоступность для немецких охранников и мотоциклистов, но он уже начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, вконец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии: там легко было ночью шагать по полям и лугам — звезды в светлом небе указывали путь на родину. Они шли тогда небольшой группой. Тайно пробираясь в немецкие села и фольварки бауэров, добывали кое-что из съестного — главным образом овощи, а также молоко из бидонов, подготовленных у калиток для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарнике. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц, оборванные, небритые, страшные, пробирались они к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда: вырвавшись из рук эсэсовцев, он попал в руки таких же сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят, — такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на понятном языке, одетые в поношенные крестьянские свитки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только

у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин...

А теперь вот горы, Лахтальские Альпы — неведомый, загадочный, никогда не виданный край, и снова — маленькая, упрямая надежда обрести свободу.

Иван очень устал, и, когда начал присматриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся — его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание. Уже смеркалось. Сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождь. Вокруг тускло серели громады камней. Беспорядочными космами чернели вверху сосны. Отяжеленное непогодой и мраком, низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила, и влажную спину — стоило только остановиться — сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки — она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась, села, не открывая глаз, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь.

Иван осмотрелся — с одной стороны круто вверх поднималось нагромождение скал и камней, а с другой склон терялся внизу в сумеречной чаще леса. Оттуда полз и полз густой, промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, только где-то далеко, в сизой парной тишине, монотонно клокотал ручей.

Терешка тронул девушку за плечо: дескать, подожди тут, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак — в одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать не приходилось.

Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад.

Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки, ее смелость перед мотоциклистами — она выглядела теперь мокрой, усталой птицей, нелепой судьбой заброшенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на

ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек.

— Пошли, передохнем, — сказал он. — Отдохнем, понимаешь? Ну, шлауфен, или, как тебе сказать...

На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой! Сиди тут, привереда этакая!» И ушел под скалу. Только теперь почувствовал он, как ослабел. Уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул.

Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон: уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны.

Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой военный разгром. И хотя переживания потеряли свою остроту, заслонились другими большими и малыми бедами, но во сне они с новой силой терзали его.

Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено: «Хоз. Алексеева» — и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще наступала на Змиев в обход Харькова. Теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи — не было бензина, — разбрасывали по полю разобранные орудийные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого совещания появился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрыть отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп-ровик.

Это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь, в тревожном сне, почему-то тот полковник носился по двору с планшетом в руках и ругал Голодая, черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков. Неизвестно почему с ним, сержантом Терешкой, в окопе си-

дел не Абдурахманов, боец из их разбитой батареи, который почти ни слова не понимал по-русски, а флюгпункт Сребников. Вместо того чтобы готовить к бою свой пулемет, этот доходяга немецким тесаком лихорадочно соскребает с гимнастерки свои флюгпунктовские мишени и все бурчит про себя: «Ни шагу назад! Ни шагу назад!..» И вместе с тем вполне реальная картина того далекого утра: ясное весеннее небо, наискось через дорогу пролегшая синеватая прохладная тень от мазанки, под плетнем вздрагивающая крапива и так же часто вдрагивающий надетый на кол кувшин. А за околицей по большаку в село идут танки. Они вот-вот должны появиться из-за угла этой мазанки, а Иван Терешка никак не может вставить в гранату запал. Изо всех сил он запихивает его пальцами, но маленький латунный цилиндрик, будто став толще, чем надо, никак не лезет в отверстие. Терешка нервничает, спешит, бьет по нему кулаком, а когда спохватывается, то видит, что в окопе он один, что все уже отошли назад. И тогда приходит понимание того, что он не слышал команды об отходе. Иван бросается грудью на бруствер, обрушивая землю, старается вылезть из окопа, но налитое непонятной тяжестью тело не слушается его и он сползает назад.

А танки уже рядом.

Вспугнутая их грохотом, из огородов в воздух взмывает огромная, в полнеба стая воробьев. В стремительном полете она дружно сворачивает в одну сторону, потом вся вместе — в другую, и тотчас из-за хаты, взрыхлив на повороте землю, высовывается первый танк.

Иван понимает, что убежать не удастся, бессильно размахивается и бросает на дорогу гранату. Она почему-то не взрывается, а подскакивает и шипит, и танк вот-вот объедет ее. В это время из танка замечают окоп под стеной, танк сворачивает, и тогда невыразимый ужас пронизывает Терешку — это тридцатьчетверка.

На секунду Иван теряет самообладание от страха: что он натворил! Он бросается назад и тут почти натыкается лицом на широкий ножевой штык, занесенный над ним: немец делает короткий выпад, и штык мягко и неслышно, будто в чужую, вонзается в его грудь. Иван знает, что это конец, что он убит, и захлебывается от отчаяния, хотя боли почему-то не чувствует...

Обычно в этот момент он в страхе просыпается, но сейчас сознание его действует как бы отдельно, где-то

в стороне, оно ободряет, давая знать, что это еще не все, что впереди еще плен, побеги и потому он не может погибнуть, даже будучи проткнут штыком.

Сновидения путаются, меняются, и вот он уже оказывается в деревне, в своих Терешках, на древней земле кривичей, и будто все это происходит еще до войны, даже до его призыва в армию. По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда — он это знает — пригнали со связанными руками Голодая и с ним еще нескольких знакомых гефтлингов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен — не проступок их, а несчастье, что не они сдались в плен — их взяли, а некоторых даже сдали, предали — было и такое.

Но он не добегает до амбара. Босые ноги его увязают в грязи, он едва переставляет их. Немеют руки, все тело. Он бежит, как в воде, — медленно и трудно. Выбирая дорогу, сворачивает к изгороди и вдруг видит на ней чьи-то голенастые босые ноги. Он вскидывает голову: на верхней жерди сидит незнакомка — девушка с черными, высоко вскинутыми бровями, в белоснежном, сверкающем на солнце платье. Она лучисто улыбается ему черными, как созревшие сливы, глазами и говорит:

— Чао, Иван!

И он останавливается, вдруг забыв о Голодае, обо всем на свете. Он рад, счастлив, смущен встречей с ней. Она вдруг кажется ему давно знакомой, близкой, такой, что всю жизнь подсознательно жила в его мечтах. Сияя от радости, он подступает к изгороди, к девушке, но тут же, взглянув на себя, спохватывается — ведь он прибежал с поля, от трактора, на нем старые, залатанные на коленях штаны, вылинявшая на плечах рубашка и запачканные мазутом руки. Смущенный, он останавливается, мрачнеет. Она тоже сгоняет со своего необыкновенно солнечного лица светлую улыбку. Внезапно меркнет яркая белизна ее платья, и постепенно девушка исчезает, как привидение.

Тогда он бросается к изгороди, хватается за жерди, за переплетенные лозой колья, но тут перед ним возникает его мать. Положив на верхнюю жердь руки, она стоит по ту сторону изгороди в картофельной ботве и скорбно говорит:

— Фашистка она, сынок. Хлопцев твоих немцам выдала...

«Где она? Где?» — хочется закричать ему, но он не может этого сделать, так как у него на шее веревка — черный шелковый шнурок, на котором под барабанный бой вешали заключенных в лагере. Веревка захлестывается, натягивается, другой конец ее, как поводок, тянется за недобитой им в распадке овчаркой. Овчарка сильно дергает поводок. Иван падает, хочет закричать, но у него нет голоса, и тут от какого-то внутреннего толчка он просыпается...

6

— Ха-ха-ха! — раздается над ним звонкий девичий смех.

Он вскидывает голову, ощупывает шею, широко раскрывает заспанные глаза, и первое, что видит перед собой, — это яркую, бездонную голубизну неба и белозубую девушку с веселой улыбкой.

— Конец шляуфен! Марш-марш надо!

Сразу же тело его, будто под током, содрогнулось от холода. Еще не избавившись от мучительных сновидений, он промолчал, с трудом переключаясь в реальный, со всеми его заботами, мир, взглянул на девушку, не разделяя ее веселости. А она, опершись на руку, сидела рядом и грызла стебелек травы, которым, видимо, пощекотала его. От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа.

— Марш, говоришь? Ну поглядим.

— Глядим, глядим, — согласилась она, с лукавыми смешинками в глазах всматриваясь в его лицо.

А он, еще раз передернув плечами, быстро вскочил, часто замахал руками, начал выбрасывать в стороны ноги и приседать — испытанный солдатский прием, если хочешь согреться. Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги-брови, потом вдруг засмеялась, коротко, но так громко, что он испуганно шикнул:

— Тише ты!

Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась. В ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго, с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело по-

немногу наливалось теплом. Она вновь беззаботно-насмешливо прыснула:

— То гимнастик?

— Ну, гимнастика. А что, лучше мерзнуть?

Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее, нервно подернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу.

По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно уже рассвело. Солнце, правда, еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны. Всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная сторона ущелья — серые скалы, сосны, широкие крутые расселины и высоченные утесы. Эта же сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи.

— Горы карашо! — увидев, что он всматривается в окружающее, сказала она. — Как ето?.. Эстетико!

Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе. Как и каждое утро в плену, вместе с пробуждением все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты — обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть было нечего и теперь. Где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, он проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил:

— Ты куда пойдешь?

Она, не поняв, подняла брови.

— Марш-марш куда? — казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях: — Туда или туда? Куда бежала?

— О, Остфронт! Рус фронт бежаль.

Он удивленно взглянул на нее.

— Си, си *, — подтвердила она, видя его недоверие. — Синьорина карашо тэдэски ** пуф-пуф.

---

* Да, да *(итал.)*.

** Немцев *(итал.)*.

Вот это здорово! Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо: не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила, вполне серьезно высказала свое намерение и теперь, ожидая, что скажет Иван, бездонными глазами взглянула на него.

— Какое пуф-пуф? Глупости, — сказал он, плотнее закутываясь полами куртки.

— Вас? Что ест глупост? Руссо учит синьорина руски шпрехен?

— Посмотрим.

— Посмотрим ест карашо. Согласие, я? — шутливо допытывалась она. Но он не ответил — вздрогнул, ощутив на спине холодноватую влажность куртки, взглянул на нелепые круги-мишени на груди: надо позаботиться и об одежде; в этом полосатом одеянии не очень-то далеко уйдешь. И он, подцепив пальцами, с треском сорвал с куртки винкель и номер; она по его примеру сразу же принялась сдирать свои. Но ноготки ее тонких пальцев были слишком нежны, а нитки не настолько слабы, чтоб легко поддаться. Тогда она шагнула к нему и, по-детски оттопырив полную нижнюю губу, повела плечом:

— Дай.

— Не дай, а на, — сказал он и повернулся к ней. Острые бугорки под влажной мешковиной куртки заставили его нахмуриться и сжать губы; она, заметив это, поспешно сгребла на груди складки и оттянула ее. После короткого колебания Иван взялся за уголок винкеля и сильно рванул его. Чтобы не оставлять следов, смял тряпки и сунул в щель под камнем.

— Грацие! Спасибо.

— Ты где по-русски училась? — спросил он.

— Италия, Рома училь. Лягер русска синьорина Маруся училь. Карашо русска шпрехен, я?

— Хорошо, — равнодушно согласился он.

— Понималь отшень люнше карашо, — похвасталась она, и Иван внутренне улыбнулся этой ее наивности. Он, правда, думал о другом.

— Где Триест, знаешь?

— О, Триесте! Горы, — живо отозвалась она.

— Знаю, что горы. А где, в какой стороне?

Она взглянула в одну сторону, в другую и уверенно махнула рукой туда, откуда поднималось над горами еще невидимое здесь солнце.

— Туда дорога Триесте.

«Дорога!» — невесело подумал Иван. Ничего себе дорога — через горный массив Альп, через теснины и реки, а главное — через густонаселенные долины и оживленные автострады. Не так уж близок этот партизанский Триест, о котором он столько наслышался в лагере. Но выбор у них был небольшой, и если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы теперь дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке.

И потому надо идти. Идти, лезть, бежать! Не раскисать, собраться с силами, использовать весь опыт, все способности, перейти главный хребет, найти партизан — югославских, итальянских — все равно каких, только бы встать в строй, взять в руки оружие. В этом видел Иван теперь смысл жизни, наивысшее свое призвание и награду за все страдания и позор, пережитые им за год плена.

В сыром мрачном распадке было холодно. Остывшее за ночь тело донимала дрожь. Хотелось скорее к теплу, на солнце. Отыскав подходящее место на склоне, они полезли между камнями вверх. На этот раз, впервые с момента их встречи, впереди лезла она, а он, немного отстав, карабкался следом, и это было похоже на первое взаимное доверие между ними.

Каменистый склон тут был довольно крут, колодки скользили и падали с ее ног. Девушка наконец сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь другой за колючие, твердые, как проволока, стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, прыгала с камня на камень.

— Руссо, — не останавливаясь, сказала она, — ты ест официр?

— Никакой я не офицер. Пленный.

— Пленни, пленни. Я понималь. Кто до войны биль?

Иван помедлил с ответом. То, что она начала допрашивать, ему не понравилось (вот еще мне особый отдел!), и он сдержанно буркнул:

— Колхозник.

— Что ест колхозник?

— Не понимаешь, а спрашиваешь, — грубовато упрекнул он. — Ну вроде бауэра, ферштейн?

— А, понималь: ляндвиршафт? *

— Вот-вот. Колхоз.

* Сельское хозяйство *(нем.)*.

— О, я отшен люблу кольхоз! — вдруг оживленно заговорила она. — Кольхоз карашо. Ля вораре* компания. Отдых — компания. Тутто** компания. Карашо компания. Руссо кольхоз карашо экономико. Правилна я понималь? — спросила она и оглянулась.

Он не успел ответить. Сдвинутые ее ногами, вниз покатились камни, щебенка, разная мелочь — он едва успел отскочить в сторону. Она сверху озорно засмеялась и боком припала к склону. Иван со злостью прикрикнул:

— Тише ты!

Она снова спохватилась, закрыла рукой рот и оглянулась:

— Пардон.

— Пардон, пардон! Тихо надо. Чего разошлась?

Ее беззаботность злила, но, видно, прикрикнул он чересчур грубо, она метнула на него обиженный взгляд и поджала губы.

— Мой имя ест Джулия. Синьорина Джулия, — сказала она.

Он строго оглядел ее, заметив про себя: «Ну и что? Синьорина!» Для него это ровным счетом ничего не значило, особенно деликатничать с ней он не собирался. А она, кажется, обиделась, замолчала и торопливо полезла вверх. Иван немного отстал. Низко пригибаясь к земле, он широко ступал на шершавые холодные камни, исподлобья бросал короткие взгляды на ее подвижную полосатую фигуру и думал: кто она? Какая-нибудь девица легкого поведения — «гурен», как их называют немцы, бездомная бродяжка суетливых итальянских городов, беспечная ночная бабочка, опаленная огнем войны? Это казалось наиболее вероятным, судя по ее озорному и, видимо, падкому на приключения характеру. Правда, винкель у нее был красный, политический, она что-то там говорила о своей ненависти к немцам, но Иван не очень верил в то, что ее враждебность к фашистам имеет серьезные основания. Возможно, кто-либо из них обидел ее, потом, конечно, хлебнула горя в лагере, но такие вряд ли долго помнят обиды. Впрочем, он почти не знал ее, хотя уже не раз был свидетелем ее легкомыслия во многом, от чего зависела теперь судьба их побега. Но он понимал, что в таком положении надо быть особенно бдительным и больше полагаться на самого себя.

---

* Трудиться *(итал.)*.

** Все *(итал.)*.

7

Когда они выбрались на край каменистого обрыва и остановились, чтобы перевести дыхание, их взгляду открылся огромный пологий косогор, поросший кривыми горными соснами. После сырого мрачного ущелья тут казалось необыкновенно тепло и просторно. Внизу широко раскинулась долина, за ней в бледно-сиреневой дымке тянулись вдаль соседние хребты гор.

— Раухен! * — запыхавшись, сказала она. — Немножко раухен!

Иван молча опустился на край каменной плиты, торчавшей из земли. Джулия бегло глянула вверх, в сплошное нагромождение скал, потом вниз, на лесистый склон с частыми пятнами коричневой земли между соснами. И он, глядя на нее снизу, почувствовал, как она, будто зацепившись за что-то взглядом, замерла, поджав одну ногу и даже забыв надеть на нее колодку. Он тогда вскочил. Далеко внизу между соснами поблескивала тропинка. Джулия, не оборачиваясь, схватила его за рукав:

— Руссо, мэнш! Человек!

Он и сам уже видел — по тропинке вверх торопливо шел человек.

Они присели. Джулия, кажется забыв уже о своей обиде, глубокими темными зрачками испытующе заглянула в его глаза. Он же отвел в сторону насупленный взгляд и достал из-за пазухи браунинг. Девушка поняла его намерение. Иван, ничего не объясняя, тронул ее за плечо — мол, сиди тут, — а сам, пригнувшись, шмыгнул в сосняк и, раздвигая на пути нижние ветки, быстро пошел по склону, надеясь выбраться на тропинку.

Выбирая места, где сосняк был погуще, он далеко отошел от ущелья и подумал, что не следовало оставлять девушку одну.

В воздухе густо пахло смолой. Каменистая, засыпанная хвоей земля беспощадно колола его и без того исколотые ступни. Вскоре из-за ближней громады гор скользнули лучи утреннего солнца, стало заметно припекать. Вспомнив о вчерашней погоне, он щелкнул пистолетом и вытащил из пластмассовой рукоятки магазин — там оказалось пять патронов, шестой был в стволе. Это немного

---

* Стоп! *(нем.)*.

обнадеживало. Он подумал, что, возможно, им удастся раздобыть какую-нибудь одежду, обувь, а может, и пищу. По-прежнему невыносимо хотелось есть. При мысли о еде во рту собиралась слюна, которую он едва успевал глотать.

Между соснами в десяти шагах впереди внезапно показалась тропинка. Он остановился, глянув вниз, вверх — нигде никого. Постояв, вслушался: с ближней, причудливо изогнутой сосенки вспорхнула маленькая куцехвостая птичка, неподалеку упала на землю старая шишка, и снова стало тихо-тихо. Он поискал взглядом какое-нибудь укрытие и, пройдя немного, опустился на колючую, поросшую реденькой травкой землю за обомшелым обломком скалы.

Лежа лицом вниз, он ждал, часто поглядывая туда, где между сосновыми вершинами поблескивала тропинка, и думал, что́ сделать с человеком. Он не сомневался, что по тропе идет не военный, что одежду он отдаст без сопротивления (все-таки пистолет), вот только как быть дальше — убивать безоружного не позволяла совесть, оставлять же его тут было равносильно самоубийству. Но сколько он ни напрягал свой не очень подвластный ему теперь разум, ничего не мог придумать и чувствовал, что эта неопределенность к добру не приведет. Однако было бесспорно и то, что главный хребет в таком состоянии, в котором они находились сейчас, им не одолеть.

Человек показался ближе, чем Иван предполагал. На тропинке внизу вдруг появилась его согбенная под тяжелой ношей фигура, но он почему-то не шел, а почти бежал, задыхаясь от усталости, и все шарил глазами по сосняку, то и дело оглядываясь. Неужели он увидел их? Иван напрягся, сжался за камнем, стараясь скрыть свою полосатую одежду, и с неожиданной злостью выругался, ясно осознав, как мерзко и подло то, что он вынужден теперь сделать.

Но так было нужно.

Он позволил человеку подойти поближе, сам осторожно, поджав ноги, поворачивался за камнем. В рукаве шевелился, словно крапивой обжигал плечо, муравей. Австриец устало тащил на плечах тяжелый брезентовый мешок. Торопливо ступая грубыми, на толстой подошве башмаками, он уже проходил мимо, когда Иван в три прыжка выскочил на тропу. Прохожий, услышав шум

сзади, оглянулся. Это был неуклюжий, пожилой толстяк в короткой кожаной тужурке, тирольской шляпе с голубой кисточкой за шнурком и поношенных, пузырящихся на коленях штанах. От неожиданности он заморгал глазами, что-то быстро-быстро заговорил по-немецки, замахал руками и двинулся на парня. Иван приподнял пистолет.

— Герр гефтлинг!.. Герр гефтлинг! — лопотал австриец. — Воцу ди пистоле! Эсэс!.. *

Иван сразу весь подобрался. Он понял, но никак не хотел поверить, что снова нависает над ними беда. Проклятый муравей разгуливал уже между лопатками, но парень не шевельнулся, чтобы стряхнуть его, — суровым, беспощадным взглядом он впился в австрийца.

— Эсэс! Дорт эсэс! Штрейфе **, — беспокойно говорил человек. Он был взволнован, пот ручьями лился по его немолодому, обрюзгшему лицу; в его груди, словно гармонь, удушливо скрипело и свистело на все голоса. Иван оглянулся и прикусил губы.

— Где эсэс?

— Дорт! Дорт! Ихь мэхтэ инен гутмахен ***, — махал рукой австриец.

— Ду найн люгэн? ****

— О найн, найн! Ихь бин гутэр мэнш! ***** — горячо говорил он и, сменив тон, на ломаном русском языке произнес: — Я биль плен Сибирь.

В его встревоженных глазах мелькнуло что-то теплое, как воспоминание, и Иван понял: он не обманывал. Надо было спешить. Их вот-вот могли тут обнаружить. Но с этим человеком уходила последняя надежда заполучить хотя бы кусочек хлеба.

— Ду вэр? Варум хир? ****** — строго спросил Иван и за рукав тужурки бесцеремонно дернул австрийца с тропинки.

— Ихь бин вальдгютер. Дорт ист майн форстей *******.

---

* Господин пленный!.. Господин пленный! Не нужно пистолета! Эсэс!.. *(нем.)*.

** Эсэс! Там эсэс! Облава! *(нем.)*.

*** Там! Там! Я желаю вам добра *(нем.)*.

**** Ты не врешь? *(нем.)*.

***** О нет, нет! Я честный человек! *(нем.)*.

****** Ты кто? Почему здесь? *(нем.)*.

******* Я лесник. Там мой дом *(нем.)*.

Иван взглянул вверх, куда показывал человек, но никакого дома не увидел, зато заметил, как из чащи выскочила Джулия. Вероятно, она слышала их разговор и закричала:

— Руссо! Руссо! Бежаль! Руссо!..

Не обращая внимания на ее предостерегающий крик, Иван еще раз дернул австрийца за плечо и вырвал у него из рук мешок:

— Эссен? *

— О я, я, — подтвердил тот. — Брот **.

Австриец, видимо, все понял, оглянулся, быстро опустился на колени и дрожащими пальцами расстегнул «молнию» своего мешка. Иван выхватил оттуда небольшую черствую буханочку хлеба. Австриец не протестовал, только как-то обмяк, сразу утратив недавнюю свою живость, и на мгновение в душе Ивана шевельнулся упрек. Но он тут же подавил его, отпрянув под сосну, бросил взгляд вверх, на серые снежные вершины, и оглянулся. Австриец застегивал мешок, пальцы его никак не могли справиться с «молнией», тогда Иван бросил подскочившей Джулии хлеб, а сам снова шагнул к человеку.

— Снимай!

Он забыл, как назвать по-немецки тужурку. Австриец не понял, и парень выразительно ухватил его за рукав. Но австриец почему-то не спешил отдавать одежду; на старческом, красноватом от склеротических прожилок лице скользнула растерянность. Иван крикнул:

— Шнеллер! — и дернул настойчивее.

— Шнеллер! Шнеллер, руссо! — приглушенно, но очень тревожно звала его из сосняка Джулия, и австриец с какой-то безнадежностью, вдруг расслабившей все его существо, снял с себя тужурку. Иван почти вырвал ее у него из рук и в последний раз взглянул в глаза этому человеку. Иван понимал: это была черная неблагодарность, но иначе поступить не мог.

Он побежал в сосняк, где мелькнула полосатая куртка Джулии, и, уже отдалившись, оглянулся: австриец стоял на прежнем месте в синих подтяжках поверх светлой сорочки и, опустив руки, смотрел им вслед. Что было в том взгляде, Иван так никогда и не узнал.

---

* Кушать? *(нем.)*.

** О да, да. Хлеб *(нем.)*.

8

Они изо всех сил бежали вверх.

Уже через четверть часа их лица взмокли от пота, шаги стали короче — беглецы изнемогали. Сосняк кончился. Они выбрались на пологий травянистый косогор. Тут, очевидно, проходила верхняя граница леса, и дальше высились голые, обросшие мхом скалы, глыбы камней, да высоко, в самом небе, был виден серый, будто крыло куропатки, присыпанный снегом хребет. Подъем становился все круче и упирался впереди в отвесную скалистую стену, приблизившись к которой Иван понял, что взобраться наверх тут не удастся. Тогда он свернул и побежал вдоль этой гигантской преграды в поисках удобного для укрытия места. Все время его точило сомнение — от австрийца теперь можно было ждать всякого. «Только бы не собаки, только бы не собаки», — думал Иван, с безысходной ясностью сознавая, что, если немцы пустят собак, им уже не уйти.

Продолжая бежать по косогору, он то и дело поглядывал вниз. Там словно на ладони раскинулся весь этот лесистый склон: широкое ущелье, где они провели ночь, сосняк, на краю которого приютился дом с высоким каменным фронтоном и длинной деревянной галереей вдоль стен — видимо, усадьба лесника. С минуты на минуту он ждал, что там появятся немцы, но те почему-то опаздывали, и возле усадьбы было глухо и пусто. Не видно было и лесника, наверно, он еще не поднялся снизу. В эти несколько напряженных минут Иван ожесточенно проклинал тех, по чьей воле он вынужден был пойти на такое дело. Разве он разбойник с большой дороги или грабитель? Зачем ему останавливать этого мирного толстяка, угрожать ему пистолетом и тем более грабить, если б не война, не плен, не бесчеловечные издевательства и унижения, не то, наконец, на что он решился ради своей жизни, ради Джулии, ради этого австрийца тоже?

Обходя огромные камни на травянистом лугу, они увидели узкую щель расселины, которая вела куда-то в глубь каменных недр. Ивана это обрадовало. Он подумал, что там, возможно, есть ручеек, который позволит запутать следы, да и самим — чувствовал он — надо было куда-то прятаться, так как каждую секунду могли появиться немцы. Иван из последних сил бежал по тра-

ве, за ним, изнемогая, но терпеливо перенося усталость, бежала Джулия.

Ободрав в колючих рододендроновых зарослях ноги, они вскоре пробрались в расселину, но ручья, к сожалению, в ней не оказалось. Это было глухое, дикое место, где царил сырой душный мрак, с крутых каменных стен свисал колючий кустарник, в щелях между камнями пробивались пряди жесткой травы. Внизу валялись старые кости; вспугнутая людьми, со свистом шарахнулась в глубь расселины какая-то ночная птица. Очень неприветливым показалось им это место, но то, что они все же успели добежать сюда и спрятаться, несколько успокоило Ивана. Он замедлил шаг, взобрался на обомшелую каменную плиту и подождал Джулию. Взмахивая для равновесия рукой, девушка по камням бежала к нему, ее короткие черные волосы спутались, лицо горело от бега и усталости, а в глазах, когда она взглянула на Ивана, вместо обычной для нее игривости блеснул страх.

— Санта мадонна! Ми уходиль, да? — спросила Джулия.

Он нетерпеливо бросил:

— Давай быстрей!

— Что ест бистрей? — не поняла девушка.

Иван не ответил. Тяжело дыша, Джулия подбежала ближе, и они по камням двинулись дальше.

— Много карашо фатер! Комунисто фатер! — с радостью сказала она.

— Какой там коммунист! — с досадой отозвался Иван. — Человек просто.

— Си, си, человек. Бене * человек, — согласилась девушка, пробираясь вперед. Он в это время вслушивался в звуки снизу и не мог оторвать взгляда от зажатой у нее под мышкой буханки. Джулия инстинктивно почувствовала его взгляд и обернулась:

— Эссен? Хляб, да?

Она быстро отломила от буханки краешек корки и протянула Ивану. Он не колеблясь взял, жадно откусил раза два и проглотил. Надо было торопиться. Сзади вот-вот могли появиться немцы, но он уже не мог не думать о хлебе, стал угрюм и медлителен. И Джулия, поняв, остановилась, присела, прижав буханку к груди, быстры-

---

* Хороший *(итал.)*.

ми пальцами отломила от нее большой кусок, который услужливо сунула Ивану в его широкие, огрубевшие ладони. Крошки, осыпавшиеся на полу куртки, тщательно собрала в горсть и бросила себе в рот.

Иван, бережно взяв хлеба, повертел его в руках, будто рассматривая, исподлобья тайком взглянул на буханку и начал старательно разламывать кусок на две части. Затем, как бы взвесив на ладонях, одну половину протянул ей. Она не отказалась, усмехнулась и быстро взяла:

— Данке. Нон, грацие — спасибо!

Жадно жуя, он не ответил на ее благодарность.

Они полезли дальше. Девушка также молча начала есть, но хлеба было очень мало, крохотные кусочки его лишь раздразнили их аппетит, и вскоре Джулия резко обернулась к своему спутнику:

— Руссо! Давай все-все манджаре! * Си?

Глаза ее в веселом прищуре загорелись прежней озорной живостью, пальцы впились в начатую буханку, готовые разломать ее, и Иван испугался, почувствовав, что она действительно раскрошит этот их более чем скудный запас. Он схватил ее за руку:

— Дай сюда!

Джулия удивленно повела бровями, а Иван выхватил у нее хлеб и быстро завернул в тужурку. Девушка сперва смутилась, а потом вдруг рассмеялась. Он недоумевающе посмотрел на нее:

— Ты что?

— Руссо правилно! Джулия нон верит хляб. Слово верит, любов верит. Хляб нон верит Джулия. Джусто — правилно, руссо!

Смеясь, она подошла сзади к Ивану и легонько коснулась ладонью его лопатки. Ощутив ее неожиданную ласку, он неловко повел плечами.

— Ладно, — буркнул Иван, намереваясь идти дальше, но в это время раскатисто прогремел далекий винтовочный выстрел. Они оглянулись и застыли на камне — снизу, откуда-то со стороны усадьбы, донеслись крики, сразу же затрещали «шмайссеры» — над ущельем загремело, загрохотало эхо. Иван сжался — он напряженно вслушивался, не прорвется ли оттуда знакомый, ненавистный лай. Но лая не было. Пули в расселину не залетали, очереди трещали почему-то далеко в стороне, и это

---

* Кушать *(итал.)*.

немного удивило Ивана. С полминуты послушав, он бросил тужурку на камни и по выступам и трещинам в скале, цепляясь за кусты, полез наверх, чтобы взглянуть из расселины.

Очереди трещали, гремели, вверху со свистом проносились пули, в грохоте пальбы уже был слышен далекий треск мотоциклов. Джулия, запрокинув голову, напряженно слушала и следила за Иваном, который добрался почти до середины крутой стены. Оглянувшись на выход из расселины, он пролез еще немного и, вобрав голову в плечи, замер, увидев вдали усадьбу и мотоциклистов. Подхватив тужурку, Джулия скинула клумпесы, что-то крикнула, но он будто прилип к скале и не мог оторваться от зрелища, краешек которого приоткрылся ему с высоты.

В редком ельнике перед усадьбой метались в траве три мотоцикла, пулеметы которых торопливо били куда-то вверх. Где-то, видно пробуя прорваться выше, трещали еще несколько мотоциклов, но их не было видно из-за выступа скалы. Было ясно, что огонь и все свое внимание немцы направили в сторону от этой расселины: темп стрельбы свидетельствовал о том, что они видели цель.

Поведение немцев вызвало смутную догадку. Иван подвинулся немного в сторону, прячась за выступ в скале, взобрался выше и вдруг хорошо увидел все, что там происходило.

Снизу что-то кричала Джулия, но он не слышал ее. Вцепившись пальцами в каменный выступ, он смотрел, как по склону к скалистой стене, широко раскидывая длинные ноги, бежала фигура в полосатом. Вокруг нее вспархивали клубочки пыли — это ложились пули. Гефтлинг падал, но тотчас вскакивал и бежал, чтобы через несколько секунд снова упасть. За ним, правда в отдалении, оставив мотоциклы возле усадьбы, бежали вверх трое немцев, в то время как остальные с места, через их головы, били из пулеметов. Огонь был очень густой и дружный, и все же гефтлинг бежал. Иногда он оглядывался и, казалось, даже что-то кричал, потом падал, и Иван каждый раз думал: не встанет! Но нет! Как только ослабевал огонь, бедняга вскакивал и бежал вверх.

— Руссо! Руссо! Что смотришь? Руссо! — нетерпеливо притопывая на камне, спрашивала Джулия.

Иван молча следил за беглецом, боясь шевельнуться на скале и считая, что судьба того уже решена. И действительно, вскоре он еще раз упал почти у самой скалы, больше его не стало видно, и стрельба сразу стихла.

У Ивана будто что-то оборвалось внутри. Он быстро соскользнул по скале вниз, затаив тихую благодарность судьбе, пославшей им укрытие в этой расселине. С тяжелым чувством на душе, соскочив на землю, он коротко бросил Джулии:

— Капут.

— Капут? — широко раскрыв глаза, не поняла девушка.

— Компание твой — капут.

— Кранк гефтлинг?

— Да.

— Ой, ой!

Он взял у ошеломленной Джулии тужурку, девушка проворно подобрала колодки, и оба они начали взбираться по камням вверх.

9

Все же они не сумели пройти незаметно, обнаружили себя, позади остался свидетель, и прежнее беспокойство с новой силой охватило Ивана: выдаст австриец или нет?

Опыт всех его побегов подсказывал, что именно такие вот обстоятельства чаще всего оказывались для беглецов роковыми. Нигде: ни в поле, ни в горах, ни на дороге — не подвергали они себя такому риску, как во время захода в деревни, усадьбы, на хутора, во время встреч с людьми. Именно там поджидала опасность очень осмотрительных и даже сверхосторожных. Там часто кончались безмерно трудные пути на волю и начинались другие, еще более мучительные — снова в плен. Но и вовсе избежать людей было невозможно — надо было питаться, узнать дорогу, переодеться. Беглецы часто надеялись на авось, на счастливый случай, на человечность. Нередко им везло, но далеко не всегда.

Год назад Иван тоже надеялся, что все как-нибудь обойдется, как обошлось в предыдущие тридцать два дня. Втроем они довольно удачно миновали засады, переплывали реки, обходили деревни, избегали встреч с полицейскими; дважды удирали от погони — раз, правда,

потеряли четвертого, ленинградца танкиста Валерия. Остальные же добрались до родной земли, до Волыни. Кругом лежали украинские села, в поле на лошадях и волах пахали свои полоски крестьяне; становилось тепло — уже можно было ночевать в лесах и без лишней нужды не соваться в деревни. Если бы только не еда, из-за которой они то и дело должны были заходить в селения.

В то утро, оставив друзей на опушке, в село направился Иван. Накануне ходили другие, теперь была его очередь.

Он немного опоздал выйти из леса, через который извилистой дорогой они шли ночью. Уже начинало светать, но ему не хотелось забиваться куда-нибудь в глушь с пустым желудком. Внимательно всмотревшись с опушки в село, Иван ничего подозрительного там не заметил. Большой дороги поблизости, кажется, не было, и он через болотце, держась ближе к кустам, двинулся к крайней хате. Под полой у него был немецкий автомат с двенадцатью патронами в магазине, добытый под Краковом, армейские сапоги на ногах и на плечах какая-то немудреная крестьянская свитка. Внешне он напоминал обычного сельского парубка, такого, как и все тут, без задержки дошел до огородов, потом от гумна по стежке, что вела меж плетней, свернул к ближней хате. К несчастью, хата стояла на противоположной стороне улицы, он оглянулся — вблизи никого не было, только где-то во дворе скрипнула дверь и замычала корова, — должно быть, хозяйка шла доить ее. Не успел он перебежать покропленную росой дорогу, как из соседнего двора кто-то вышел на улицу. Иван даже не взглянул на него, только почувствовал, что тот заметил его. За углом Иван оглянулся — человека на улице не было, а возле дома напротив высился огромный брезентовый кузов машины. Это было так некстати, тем более что во дворе уже встревоженно крикнули. Деваться Ивану было некуда (за хатой лежал широкий заборонованный огород), и он кинулся к раскрытым в сени дверям. В дверях стоял небритый средних лет крестьянин. Он, наверно, все понял без слов, только побледнел немного, так как, видно, услышал окрик, взглянул на Ивана, у которого заметно оттопыривалась пола, и отступил на шаг, пропуская в хату. Иван без единого слова вскочил в чистенькие, прибранные сени с разбросанным на полу аиром, метнулся туда-сюда, ища какого-нибудь укрытия,

и, не найдя ничего подходящего, сквозь раскрытые двери кинулся в другую комнату, где была печь. Там он увидел черную пасть подпечья, припал на колени, быстро выглянул в окно, возле которого на топчане из-за полосатого самотканого одеяла высовывались три пары коротеньких детских ног. Дурное предчувствие охватило его — нет, попал не туда.

Но было уже поздно: во дворе затопали сапоги, и он, обдирая бока, протиснулся в смрадную узкую дыру подпечья, сжался за выступом. В сени входили люди. Только успел затаить дыхание, как сразу донеслись чужие голоса: то были немцы, двое или больше. Хозяин не понимал их или, может, не хотел понимать. Иван все слышал, переводчик ему не был нужен.

— Вэр ист? Вэр лауфт? * — крикнул немец.

— Ин дизем аугенблик. Их хабе гезеен! ** — настаивал второй.

— Паночки, нэ розумию. У мэнэ никого нэма. Що вы!

У Ивана враз спало напряжение, — значит, хозяин не выдаст, слава богу, хоть в этом повезло. Может, теперь не найдут. И он прижался к стенке плотнее, скорчившись в три погибели и почти не дыша. Немцы закричали громче, выругались, заплакал ребенок в углу, откуда-то, видно с печи спрыгнув на пол, к нему бросилась женщина, начала успокаивать. Один из немцев, лязгнув затвором винтовки, вбежал в хату — возле печи мелькнула тень. Громче закричали дети, загремели топчаном: немцы разбрасывали их постели. Иван ждал, держа руку на рукоятке автомата, хоть и не знал, как в таком положении стрелять. Немцы, громко топая сапогами, заглянули на печь, звякнули заслонкой, и сразу же луч фонарика метнулся по задней стенке подпечья. Иван сразу зажмурился, ожидая крика: «Ферраускрихен!» *** Но лучик был слабый (видно, разрядилась батарейка), немцы ничего не увидели, и сапоги застучали дальше. Вскоре шаги притихли — видимо, немцы искали уже в сенях. Тогда он, не шевелясь, выдохнул и опять медленно вдохнул воздух, не веря случившемуся, — неужто пронесло? И действительно, шаги совсем стихли, только всхлипывали возле печи дети, и мать,

* Кто такой? Кто бежал? *(нем.)*.

** Только что. Я сам видел! *(нем.)*.

*** Вылезай! *(нем.)*.

стуча босыми ногами, кидалась, наверно, к окнам — немецкая речь слышалась уже со двора. Там что-то говорил хозяин, по-видимому направляя солдат подальше от хаты. И в самом деле, уже все успокоилось. Хозяин, должно быть, вошел в сени, к нему подбежала жена, она что-то быстро-быстро затараторила, в смятении чуть не плача, но хозяин строго прикрикнул на нее: «Хватит! Замолчи!» Женщина умолкла, вернулась в хату и занялась детьми.

Иван хотел уже было вылезти, чтобы перебраться куда-нибудь в более надежное место, как хозяйка испуганно запричитала:

— Пэтро! Пэтро! Ой лышэнько, Грыць идэ...

Иван снова притих, хозяин вышел, с минуту его не было слышно, потом во дворе раздалось язвительно-учтивое: «Добры день, герр Пэтро!» Хозяин сдержанно ответил на приветствие. Что-то щелкнуло, будто ударили кнутом по голенищу, и тот же голос буднично, словно разговор шел о пустяке, произнес:

— Кого ховаэшь? А ну, давай его сюды!

— Никого я нэ ховаю, кум Грыць! Перехрысться, що вы!

— Ага! Никого. Що ж, провирымо! Ганна! — крикнул Грыц.

— Я тута, кум, — отозвалась с порога хозяйка.

— Кого Пэтро ховае, признувайся!

— Ой, хиба ж я ведаю! Никого ж вин нэ ховае, кум Грыць.

— Не ховае! А ну, Настуся, скажи: де татко ховае бандыта?

— Нэ видаю, — ответил боязливый детский голосок.

— Нэ видаешь! Побачымо, — многозначительным спокойным тоном прогнусавил Грыц.

У Ивана в подпечье от злости на этого выродка даже онемели скулы — так захотелось выскочить и всадить ему в брюхо десяток пуль. Но он не знал, сколько еще там подручных, и снова недоброе предчувствие завладело им: он понял, что этот — не немец, свое дело он знает отменно.

— Глух, нэси солому. Ты, Жупан, тэж. Зараз мы дознаемось, дэ вин ховается. Мы його подсмажэмо.

Во дворе затопали шаги, стукнули где-то поблизости двери — видно, люди побежали в сарайчик. Иван догадался, что задумал этот, не дожить ему до воскре-

сенья, Гриц. «Неужели он решится поджечь, неужели так поступит со своим человеком, который этого негодяя еще называет кумом?» — мучительно думал Иван.

Под окнами что-то зашуршало, свет в подпечье померк. «Наверное, положили солому», — заметил про себя Иван. Потом все притихли, не стало слышно ни шагов, ни разговора. И вдруг отчаянно и дико закричала женщина, можно было подумать, будто жгут ее самое, а не хату. За ней заголосили дети, сразу же зачадило дымом. Иван понял, что все пропало, что сгорит сам и еще загубит детей. Надо было вылезать, пристрелить этого мерзавца, но у него все еще теплилась надежда — может, не подожгут, только попугают. Опять же дать загореться хате, а уж потом вылезти, — не слишком ли велика кара для него и для этой семьи! Иван не знал, что делать, хоть и понимал, что надо в считанные секунды на что-то решиться.

Видно, он все же выскочил бы из подпечья (он уже был готов к этому), как вдруг с причитаниями и проклятиями в хату кинулась хозяйка. Прежде чем он успел догадаться зачем, она затопала возле печи и, согнувшись, сквозь слезы закричала:

— Вылазь! Вылазь! Хату палять з-за тэбэ, проклятый! Душегуб, звидкиля тэбэ принесло? Вылазь!

Иван с облегчением вздохнул: вот и кончилось все (хотя такого конца он не ждал), сунул автомат под мусор в углу и вылез. Злости на эту женщину у него не было, стало только обидно и жалко, что так глупо оборвался такой долгий и такой трудный путь...

Он ступил на порог — отрешенный от всего и спокойный. Во вдоре на него по-волчьи уставились четверо мужиков, среди которых особенно выделялся один — здоровенный верзила в светлых кортовых штанах и с голубой повязкой на рукаве. Это, видно, и был Гриц. В руках он держал немецкий карабин на взводе. Иван определил это по затвору и подумал, что убить его тут они не посмеют — передадут немцам.

Так оно и случилось.

10

Непрестанно ощущая в себе тревогу, Иван оглядывался и вслушивался, боясь, чтобы немцы не пустили собак, но время шло, а кругом было тихо. Тогда при-

шла уверенность, что австриец их все же не выдал, а мотоциклисты их следов не нашли и пока оставили беглецов в покое. К тому же, видимо, они забрали труп сумасшедшего — было с чем возвратиться в лагерь. От таких мыслей тревожное возбуждение постепенно улеглось, уступив место другим заботам и помыслам.

Расселина, напоминавшая глубокий кривой коридор, постепенно сужаясь, вела и вела их вверх. Почти не останавливаясь, они лезли по ее дну часа четыре, если не больше. Стало холодно, и, наверное, от высоты слегка закладывало уши. Солнце так ни разу и не заглянуло сюда; наконец исчезла за облаками и сияющая голубизна неба — сизые клочья тумана, цепляясь за острые вершины утесов, быстро неслись над расселиной. Откуда-то подул, все больше усиливаясь, порывистый ветер, похолодало так, что не согревала и ходьба. Они не могли увидеть отсюда, как далеко отошли от города, но Иван чувствовал, что взобрались высоко, иначе не пробирала бы так стужа. И все же тужурку с завернутым в нее хлебом Иван не надевал. Он понимал, что главное еще впереди, что похолодает сильнее, возможно, придется идти по снегу. Правда, о себе Иван не очень беспокоился, он мог бы идти и быстрее. Хоть и устал и болели сбитые на камнях ноги, но он был еще способен на большее — в который раз выручали его природная сила, нетребовательность к условиям жизни и, конечно, суровая армейская закалка. Не раз, бывало, в плену, когда другие выбивались из сил, ослабевали и падали от голода, усталости и бессонницы, он все выдерживал. Он начал уже думать, что и сейчас как-нибудь выдюжит, перейдет хребет (не может того быть, чтоб не перешел), лишь бы только жить, вынесет, стерпит все, на свободе — не в лагере.

Вот только Джулия...

Девушка с заметным усердием лезла за ним и теперь почти не отставала, но он, часто останавливаясь, испытующе и настороженно поглядывал на нее. Чувствуя его внимание, Джулия каждый раз старалась улыбнуться в ответ, сделать вид, что все хорошо, что она ничего не боится и у нее еще не иссякли силы. Однако несвойственная ее порывистой натуре замедленность движений красноречивее всего свидетельствовала об усталости.

И вот, выйдя из-за поворота, они увидели, что прию-

тившая их расселина оборвалась, упершись в крутую скалу. Как ни хотелось, все же надо было вылезать наверх — на голые, открытые ветру скалы.

Иван повернул на крутой склон, вскарабкался почти до самого верха и, опустившись на одно колено, подождал Джулию. Она лезла несколько медленнее, опустив голову; Иван оперся ногой о выступ, подал ей руку. Девушка вцепилась в нее своими мягкими холодными пальцами, и он потащил ее вверх.

Они выбрались на голый, крутой каменистый гребень, но ничего вокруг не успели увидеть. Сразу им в грудь ударил упругий ветер, сверху нахлынули, обволокли все вокруг рваные клочья тумана, стремительная промозглая мокрядь закрыла небо, словно холодным паром окутала их. Правда, туман не был сплошным — в редких его разрывах там и сям мелькали мрачные скалы, далекие синеватые просветы, но рассмотреть местность было нельзя. Тогда они остановились. Джулия прислонилась плечом к выступу скалы. Ветер рвал ее одежду, трепал ее волосы. Стало еще холоднее. Иван развернул на земле потертую, из желтой кожи тужурку, вынул из нее хлеб и шагнул к Джулии.

— О нон... Нет! Я тепло, — сверкнула она на него оживившимися вдруг глазами и вскинула навстречу руку. Иван молча накинул ей на плечи куртку. Девушка, закутавшись в нее, съежилась, вобрала в воротник голову. Он присел рядом.

— Иль панэ — хляб! — поняв его намерение, сказала она и проглотила слюну. Он сперва осмотрел буханку, прикинул на руке, будто определяя вес и ту самую минимальную норму, которую они могли позволить себе в этот раз съесть, и вздохнул: уж очень мизерной оказалась она. Боясь раскрошить буханку, Иван не стал отламывать от нее, а поднял острый обломок камня и, примерившись, начал осторожно отрезать кусочек. Девушка с каким-то радостным умилением в глазах покорно следила за движениями его пальцев, глядя, как он режет и как делит отрезанное пополам, отламывая от одной половины и прибавляя к другой.

— Хорошо?

— Си, си. Карашо.

Снова будто не стало ни стужи, ни усталости. Джулия засияла глазами, с нетерпением ожидая, когда будет разрешено съесть эту пайку. Но Иван с завидной

выдержкой еще раз подровнял куски и лишь тогда сказал девушке:

— А ну, отвернись.

Она поняла, не вынимая из-под тужурки рук, быстро повернулась, и он прикоснулся пальцем к кусочку с добавкой:

— Кому?

— Руссо! — с готовностью сказала она и обернулась.

Иван бережно взял маленький кусочек, чуть быстрее схватила второй она.

— Гра... Спасибо, руссо.

— Не за что! — сказал Иван.

— Руссо! — торопливо жуя и кутаясь в тужурку, позвала Джулия. — Как имеется твое имья? Иван, да?

— Иван, — слегка удивившись, подтвердил он.

Она заметила его удивление и, откинув голову, засмеялась:

— Иван! Джулия угодаль! Как ето угодаль?

— Нетрудно угадать.

— Все, все руссо — Иван? Правда?

— Не все. Но есть. Много.

Она оборвала смех, устало вздохнула, крепче запахнула тужурку и украдкой взглянула на остаток буханки. Иван, медленно доедая свой кусок, заметил этот ее красноречивый взгляд и взял буханку, чтобы сунуть ее за пазуху. Но не успел он расстегнуть куртку, как Джулия вдруг ойкнула и в изумлении застыла на месте. Почуяв неладное, он глянул на девушку и увидел на ее лице испуг — широко раскрытыми глазами она уставилась на что-то поверх его головы. Так, с хлебом в руке, Иван обернулся и сразу увидел то, что испугало Джулию.

Поодаль в прогалине, опершись на расставленные руки, сидел на скале страшный гефтлинг. Лысый череп его на тонкой шее торчал из широкого воротника полосатой куртки, на которой чернел номер, а темные глазницы-провалы, будто загипнотизированные, неотрывно глядели на них. Увидев в руках Ивана хлеб, он встрепенулся и, подпрыгивая на месте, начал хрипло выкрикивать:

— Брот! Брот! Брот!

Потом вдруг оборвал крик, поежился и уже совсем человеческим, полным отчаяния голосом потребовал:

— Гиб брот!

— Ге, чего захотел! — саркастически усмехнулся

Иван, глядя на него. Сумасшедший несколько секунд выждал и с неожиданной злобой начал кричать:

— Гиб брот! Ихь бешайне гестапо! Гиб брот! *

— Ах, гестапо! — Иван поднялся на ноги. — А ну марш отсюда! Ну живо!

Он угрожающе двинулся к безумцу, но не успел сделать и нескольких шагов, как тот соскочил со скалы и с удивительной ловкостью отбежал вниз.

— Гиб брот — никс гестапо! Никс брот — гестапо! **

— Ах ты собака! — угрожающе закричал Иван. Его охватил гнев, появилось желание догнать гефтлинга, но тот из предосторожности отбежал еще дальше. Заметив, что Иван остановился, он тоже стал.

— Гиб брот!..

Иван сунул руку за пазуху. Немец застыл, ожидая. Иван выхватил пистолет и щелкнул курком.

— Пистоле!! — в испуге крикнул сумасшедший и бросился назад.

Иван прикусил губу; сзади к нему подскочила Джулия.

— Дать он хляб! Дать хляб! — испуганно заговорила она.

Сумасшедший между тем отбежал, приостановился и, оглядываясь, быстро зашагал вниз.

— Иван дать хляб! Дать хляб! Нон гестапо! — тревожно требовала девушка.

«Продажная шкура, — думал Иван, злобно глядя на покачивающуюся фигуру немца. — Конечно, с ним шутки плохи — наделает крику и выдаст эсэсманам: что возьмешь с дурака! И убить жалко, и отвязаться невозможно. Придут с собаками, нападут на след — считай, все пропало».

— Эй! — крикнул Иван. — На брот!

Сумасшедший, ухватившись за скалу, остановился, оглянулся, и вскоре сквозь ветер донесся его голос:

— Никт... Ду шиссен! Ихь бешайне гестапо!

И снова подался вниз.

— Пошел к черту! Никс шиссен! На вот... на!

Иван действительно отломил от буханки кусок и поднял его в руке, чтобы сумасшедший увидел. Джулия, стоя рядом, дрожала от стужи и с беспокойством

---

* Дай хлеба! Я донесу в гестапо! Дай хлеба! *(нем.)*.

** Дай хлеба — не буду гестапо! Не дашь — гестапо! *(нем.)*.

поглядывала на гефтлинга. А тот помедлил немного и опустился на выступ скалы. К ним он подходить боялся.

— Ах ты собака! — снова закричал Иван, теряя терпение. — Ну и черт с тобой! Иди в гестапо. Иди!

— Иван, нон гестапо! Нон, Иван! — затормошила его за рукав Джулия. — Дать немножко хляб! Нон гестапо!..

— Черта с два ему хлеб! Пускай идет!

— Он плохо гефтлинг. Он кранк. Он скажет гестапо...

Иван не ответил, положил за пазуху половину буханки, пистолет и пошел на прежнее место, вверх. Джулия молча шла рядом. Он чувствовал, что так обращаться с этим сумасшедшим было опасно, но теперь уже не мог уступить — злобная вспышка оказалась сильнее благоразумия. Джулия изредка оглядывалась, но на них налетела мгла, кроме серого нагромождения скал, кругом ничего не стало видно — внизу и по сторонам стремительно несся, клубился, рвался промозглый туман. Неизвестно было, остался ли гефтлинг на месте или, может, действительно повернул обратно. Заметив на лице девушки тревогу, Иван бросил:

— Никуда он не пойдет. Пугает.

Он успокаивал ее, но сам уверенности в этом не испытывал. Черт знает от каких только мерзавцев зависит жизнь человека! Вот ведь больной, а выжил, прорвался в горы, ускользнул от облавы, убежал из-под пуль. Разве удалось бы это кому-нибудь стоящему? А этот жив и еще замахивается на жизнь других. Просто хотелось заскрежетать зубами от бессильной ярости, вспомнив, сколько самых лучших ребят разных национальностей полегло в лагерях. Но к чему скрежет, надо перетерпеть, перенести все, иначе — смерть!

Они уже двинулись было в обход огромного слоистого выступа, когда Иван оглянулся и сунул руку за пазуху. Джулия также посмотрела назад, но сумасшедшего нигде не было видно. И все же Иван достал кусок хлеба, вернулся и, поискав удобное место, положил его на камень, у которого они недавно сидели.

— Ладно! Пусть подавится! — будто оправдываясь, проговорил он.

Джулия согласно кивнула. Видно, она слишком хорошо знала, что такое предательство.

11

Ветер гнал и гнал бесконечные космы тумана. Куртка на Иване отсырела, дрожь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться, найдет ли сумасшедший оставленный хлеб. Появилось даже желание вернуться, забрать этот кусок и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше.

Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небе, взобрались выше. Вдруг туманное облако перед ними разорвалось, и беглецы увидели впереди голый каменистый склон и взбегавшую на него тропку. Некруто петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал, но все же они сразу увидели ее и обрадовались.

Иван первым ступил на нее, оглянулся назад — там, среди прядей тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывали сизые облака. Вверху, в высоком затуманенном небе, горел освещенный солнцем пятнистый, густо заснеженный хребет. Правда, внимательнее присмотревшись, Иван обнаружил, что хребтов там два: дальний — могучий и широкий, похожий на огромную неподвижную медвежью спину, и ближний — зубчатый, чуть присыпанный снегом, который казался выше всех гор и почти в самое небо упирался крайней своей вершиной. Эта вершина выглядела отсюда самой большой, но Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин кажется и самой высокой. Видно, все же главным тут был тот дальний — Медвежий — хребет, и думалось, что за ним находится желанная цель их побега — партизанский Триест.

Задрав голову, Иван с минуту всматривался вверх, в этот порог на их пути в будущее, страстно надеясь, что погони больше не будет, что самое страшное они преодолели, что люди не встретятся на их пути — теперь им противостояла только природа, для борьбы с которой нужны были лишь сила и выносливость. Затем взглянул на притихшую спутницу, которая, будто зачарованная суровым великолепием гор, также вглядывалась в снежные хребты. И тогда, пожалуй, впервые у него появилась тихая радость оттого, что перед гроз-

ной неизвестностью природы он не одинок, что рядом есть человек. Почувствовав душевное удовлетворение, он с легким сердцем произнес любимое с детства слово:

— Айда!

Вряд ли она знала это слово, но теперь настолько созвучны были их чувства, что она поняла его и подхватила:

— Айда!

И они пошли по тропке, что опоясывала голый скалистый косогор. Вверху, в разрывах тумана, неудержимо ярко блеснуло низкое солнце; под его лучами клочья облаков преобразились и ослепительной белизной засияли на склонах гор; по склонам и безднам быстро помчались черные лоскутья теней и, чередуясь с ними, яркие пятна света. Ветер, не утихая, рвал Иванову куртку, надувал штаны. Джулия подняла кожаный воротник тужурки. Они взобрались выше. Освещенные солнцем, отчетливо стали видны черная щель расселины, каменные косогоры, на одном из которых, отбросив длинную тень, стала видна торчащая ребристая скала.

Иван взглянул вниз и остановился: на том месте, где они сидели недавно, топтался безумный гефтлинг.

— Гляди ты — привязался.

— Трачико человек, — сказала Джулия. — Пекато — жалко!

— Чего жалеть? Сволочь он.

— Он хочет руссо идет. Но руссо бёзе. Он бояться.

— И правильно делает, — коротко заметил Иван. Он двинулся дальше, мысленно отмахнувшись от сумасшедшего, хотя иметь сзади такой хвост было не очень приятно. Но что поделаешь с больным — и отогнать не отгонишь, и убежать некуда. Придется, видно, потерпеть так до ночи.

— Иван, — сказала девушка, делая ударьние на «и». — Ты не имель зло Джулия?

— А чего мне злиться?

— Ты нон бёзе?

— Можешь не бояться.

— Нон бояться, да? — улыбнулась она.

— Да.

Однако улыбка скоро сбежала с ее усталого лица, которое стало сосредоточенным, видимо отразив невеселый ход ее мыслей.

— Джулия руссо не бояться. Джулия снег бояться.

Иван, идя впереди, вздохнул: в самом деле, снег и такой скудный запас хлеба все больше начинали беспокоить его. Он подумал уже, что надо было у лесника прихватить еще что-нибудь и обязательно обувь — ведь с голыми ногами было более чем глупо лезть в такой снег. Хотя, как всегда, хорошие мысли появлялись слишком поздно. Вначале они, конечно, не думали, что доберутся до снежных вершин, тогда счастьем казалось ускользнуть от облавы. И так спасибо австрийцу — если бы не он, хлеба у них не было бы. Иван быстро шел по тропке, сбоку по косогору волочились, мелькали две длинные, до самого низа, тени. Утешать, уговаривать спутницу он не хотел, только сказал:

— Куртка у тебя есть. Чего бояться? Манто не жди.

Девушка вздохнула и, помолчав, вспомнила с грустью:

— Рома Джулия много манто имел. Фир манто — черно, бело...

Он насторожился и замедлил шаг:

— Что, четыре манто?

— Я. Фир манто. Четыре, — уточнила она по-русски.

— Ты что, богатая?

Она засмеялась:

— О, нон богата. Бедна. Политише гефтлинг.

— Ну не ты — отец. Отец твой кто?

— Отэц?

— Ну да, фатер. Кто он?

— А, иль падре! — поняла она. — Иль падре — коммерсанто. Директоре фирма.

Он тихо присвистнул — ну и ну! «Не хватало еще, чтобы этот фатер оказался фашистом, вот была бы прогулочка по Альпам!» — подумал он и резко обернулся:

— Фатер фашист?

— Си, фашисто, — просто ответила Джулия, живо взглянув в его посуровевшие глаза. — Командир милито.

— Еще лучше! Черт знает что делается на свете! Как говорил Жук — бросишь палку в собаку, попадешь в фашиста.

Он сошел на край тропинки, дал девушке поравняться с собой и впервые с пробудившимся интересом оглядел ее стройную, складную, хотя и неказисто одетую фигурку. Но, странное дело, эта полосатая, с чужого плеча одежда всей своей нелепостью не могла обезобразить

ее врожденного девичьего обаяния, которое проглядывало во всем: и в гибкости и точности движений, и в ласковой приятности лица, и в манере улыбаться — заразительно и радостно. Она покорно и преданно посматривала на него, руки держала сцепленными в рукавах тужурки и привычно постукивала по тропке своими неуклюжими клумпесами.

— А ты что ж... Тоже, может, фашистка? — с внутренней настороженностью спросил Иван.

Девушка, наверно, почувствовала плохо скрытое подозрение и кольнула его глазами.

— Джулия фашиста? Джулия — коммуниста! — объявила она с упреком и с чувством достоинства.

— Ты?

— Я!

— Врешь! — после паузы недоверчиво сказал он. — Какая ты коммунистка?

— Коммуниста. Си. Джулия коммуниста.

— Что, вступила? И билет был?

— О нон. Нон тэсарэ. Формально нон. Моральмэндэ коммуниста.

— А, морально!.. Морально не считается.

— Почему?

Он промолчал. Что можно было ответить на этот наивный вопрос? Если бы каждого, кто назовет себя коммунистом, так и считать им, сколько б набралось таких! Да еще буржуйка, кто ее примет в партию? Болтает просто. Несколько приглушив свой интерес, Иван пошел быстрее.

— У нас тогда считается, когда билет дадут.

— А, Русланд? Русланд иначе. Я понимайт. Русланд Советика.

— Ну конечно. У нас не то что у вас, буржуев.

— Советика очэн карашо. Эмансипацио. Либерта. Братство. Да?

— Ну.

— Это очэн, очэн карашо, — проникновенно говорила она. — Джулия очэн, очэн уважаль Русланд. Нон фашизм. Нон гестапо. Очэн карашо. Иван счастлив свой страна, да? — Она по тропке подбежала к нему и обеими руками обхватила его руку выше локтя. — Иван, как до война жиль? Какой твой дэрэвня? Слюшай, тебя синьорина, девушка любиль? — вдруг спросила она, испытующе заглядывая ему в глаза. Иван безразлич-

но отвел глаза, но руки не отнял — от ее ласковой близости у него вдруг непривычно защемило внутри.

— Какая там девушка? Не до девчат было.

— Почему?

— Так. Жизнь не позволяла.

— Что, плёхо жиль? Почему?

Он вовремя спохватился, что сказал не то. О своей жизни он не хотел говорить, тем более что у нее было, видимо, свое представление о его стране.

— Так. Всякое бывало.

— Ой, неправдо, неправдо, — она хитро скосила на него быстрые глаза. — Любиль много синьорино.

— Куда там!

— Какой твой провинция? Какой место ты жиль? Москва? Киев?

— Беларусь.

— Беларусь? Это провинция такой?

— Республика.

— Республика? Это карашо. Италия монархия. Монтэ — горы ест твой республика?

— Нет. У нас большие леса. Пущи. Реки, озера. Озера самые красивые, — невольно отдаваясь воспоминаниям, заговорил он. — Моя деревня Терешки как раз возле двух озер. Когда в тихий вечер взглянешь — не шелохнутся. Словно зеркало. И лес висит вниз вершинами. Ну как нарисованный. Только рыба плещется. Щука — во! Что эти горы!..

Он выпалил сразу слишком много, сам почувствовал это и умолк. Но растревоженные воспоминанием мысли упрямо цеплялись за далекий край, и теперь, в этом диком нагромождении скал, ему стало так невыносимо тоскливо, как давно уже не было в плену. Она, видно, почувствовала это и, когда он умолк, попросила:

— Говори еще. Говори твой Беларусь.

Солнце к тому времени опять скрылось за серыми облаками. На гладкий косогор надвинулась стремительная тень, дымчатые влажные клочья быстро понеслись поперек склона.

Сначала не очень охотно, часто прерываясь, будто заново переживая давние впечатления, он как о чем-то далеком, дорогом и необыкновенном начал рассказывать ей об усыпанных желудями дубравах, о бобровых хатках на озерах, о прохладном березовом соке и целых рощах ароматной черемухи в мае. Давно он не был таким

говорливым, давно так не раскрывалась его душа, как сейчас, — он просто не узнавал себя. Да и она с ее неподдельным интересом ко всему родному для него сразу стала ближе, будто они были давно знакомы и только сейчас встретились после долгой нелегкой разлуки.

Наконец он замолчал. Она медленно высвободила его руку и свободнее взяла за шершавые пальцы. Спокойно спросила:

— Иван, твой мама карашо?

— Мама? Хорошая.

— А иль падре — отэц?

Она мечтательно поглядывала на склон и не заметила, как дрогнуло его мгновенно помрачневшее лицо.

— Не помню.

— Почему? — удивилась она и даже приостановилась. Он не захотел останавливаться, сцепленные их руки вытянулись.

— Умер отец. Я еще малый был.

— Марто? Умиор? Почему умиор?

— Так. Жизнь сломала.

Она деликатно выпустила его руки, зашла сбоку, ожидая, что он скажет что-то важное, разъяснит то, что она не поняла, но он уже не хотел ни о чем говорить. Через несколько шагов она спросила:

— Иван, обида? Да?

— Какая обида?..

— Ты счастливо, Иван! — не дождавшись его ответа и, видно, поняв это по-своему, серьезно заговорила Джулия. — Твой большой фатерлянд! Такой колоссаль война побеждат. Это болшой, болшой счастье. Обида — есть маленко обида. Не надо, Иван...

Он не ответил, только вздохнул, уклоняясь от этого разговора. Действительно, зачем ей знать о том трудном и сложном, что было в его жизни?

12

Так думал он, карабкаясь по крутой тропе вверх, уверенный, что поступает правильно. В самом деле, кто она, эта красотка, нелепой случайностью войны заброшенная в фашистский концлагерь? Кто она, чтобы выкладывать ей то трудное, что в свое время отняло столько душевных сил у него? Примет ли ее, пусть и чуткая, честная душа суровую правду его страны, в которой дай

бог разобраться самому? Разве что посочувствует. Но сочувствие ему ни к чему, за двадцать пять лет жизни он привык обходиться без него. Поэтому пусть лучше все будет для него хорошим, именно таким, каким она это себе представляет. И он смолчал.

Отдавшись раздумью, Иван тем не менее шел быстро и не замечал времени. Джулия, поняв, что задела слишком чувствительную струну в его душе, тоже умолкла, немного приотстала, и они долго молча взбирались по склону. Между тем на величественные громады гор спустился тревожный ветреный вечер. Горы начали быстро темнеть, сузились и без того сжатые тучами дали; исчез серебристый блеск хребта — туманное марево без остатка поглотило его. На фоне чуть светлого неба чернели гигантские близнецы ближней вершины, а за ней — другая, пониже. В седловине, вероятно, был перевал, туда и вела тропа.

Обычно вечер угнетающе действовал на Ивана. Ни днем, ни ночью, ни утром не было так тоскливо, так бесприютно, тревожно и тягостно, как при наступлении сумерек. Со всей остротой он почувствовал это в годы войны, да еще в плену, на чужой земле — в неволе, в голоде и стуже. Вечерами особенно остро донимало одиночество, чувство беззащитности, зависимости от злой и неумолимой вражеской силы. И нестерпимо хотелось мира, покоя, родной и доброй души рядом.

— Иван!.. — неожиданно позвала сзади Джулия. — Иван!

Как всегда, она сделала ударение на «и», это было непривычно, вначале даже пугало, будто поблизости появился еще кто-то, кроме них двоих. Иван вздрогнул и остановился.

Ничего больше не говоря, Джулия молча плелась между камнями, и он без слов понял, в чем дело. Сразу видно было, как она устала, да и сам он чувствовал, что необходимо отдохнуть. Но в этой заоблачной выси стало нестерпимо холодно, бушевал, рвал одежду, гудел в расщелинах ошалелый ветер. Зябли руки, а ноги совсем окоченели от стужи. Холод все крепчал, усиливался к ночи и ветер. Всей своей жестокой, слепой силой природа обрушивалась на беглецов. Иван спешил, хорошо понимая, что ночевать тут нельзя, что спасение только в движении, и если они в эту ночь не одолеют перевала, то завтра уже будет поздно.

— Иван, — сказала, подойдя, Джулия, — очэн, очэн уставаль.

Он переступил с ноги на ногу — ступни болели, саднили, но теперь он старался не замечать этого и озабоченно посмотрел на Джулию.

— Давай как-нибудь... Видишь, хмурится.

Из-за ближних вершин переваливалась, оседая на склонах, густая темная туча. Небо постепенно гасило свой блеск, тускло померцала и исчезла в черной мгле крошечная одинокая звезда; все вокруг — скальные громады, косогоры, ущелья и долины — заволокла серая наволочь облаков.

— Почему нон переваль? Где ест переваль?

— Скоро будет. Скоро, — обнадеживал девушку Иван, сам не зная, как долго еще добираться до седловины.

Они снова двинулись по едва приметной в каменистом грунте тропинке. Иван боялся теперь потерять спутницу и, прислушиваясь к привычному стуку ее колодок, шел несколько медленнее. На крутых местах он останавливался, ждал девушку, подавал ей руку и втаскивал наверх, сам при этом еле удерживая в груди сердце. А ветер бешено трепал одежду, тугими толчками бил их то в спину, то в грудь, затрудняя дыхание, свистел в камнях, часто меняя направление — даже не понять было, откуда он дует.

Вскоре совсем стемнело, громады скал слились в одну непроглядную массу, черное, беспросветное небо сомкнулось с горами. Стало так темно, что Иван то и дело оступался, натыкался на камни, несколько раз больно ушиб ногу, и тогда впервые им овладело беспокойство — где тропа? Он согнулся, внимательно вгляделися, попробовал нащупать тропу ногами, но кругом были одни камни, и он понял, что они заблудились.

Выпрямившись, он отвернулся от ветра и стал ждать, пока подойдет девушка. Когда та доковыляла до него, Иван бросил: «Постой тут!» — а сам пошел в сторону. Джулия восприняла это молча, почти равнодушно, сразу опустилась на камень и скорчилась от холода. Он же, сдерживая в душе тревогу, отошел еще дальше, всматриваясь под ноги и время от времени ощупывая землю ногами, — тропы не было. Но вот в воздухе что-то замерцало, он протянул руку и понял: это пошел снег. Мелкая редкая крупа косо неслась из ветреной черной

мглы, понемногу собираясь в ямках и щелях. Иван стоял, вглядываясь в темноту, и напряженно думал, что делать дальше. Снег сгустился, внизу постепенно светлело, и вдруг он увидел неподалеку извилину потерянной тропы.

— Эй, Джулия! — тихо позвал он.

Девушка почему-то не откликнулась. Он, продрогнув, с растущей досадой в душе ждал. «Что она там, заснула? Вот еще дал бог попутчицу! По бульварам с такой прогуливаться», — сердился он. А ветер по-прежнему люто бился о скалы, снежная крупа густо сыпала с неба, шуршала по камням; вконец зашлись от холода ноги. Руки он спрятал в рукава; за пазухой жег тело настывший пистолет.

— Эй, Джулия!

Она не ответила, и он, выругавшись про себя, с неохотой, ступая на мокрые холодные камни, пошел туда, где оставил ее.

Джулия сидела на камне, скорчившись в три погибели, прикрыв колени тужуркой. Она не отозвалась, не поднялась при его приближении, и он, предчувствуя недоброе, остановился напротив.

— Финита, Иван! * — тихо проговорила она, не поднимая головы.

Он промолчал.

— Как это финита? А ну вставай!

— Нон вставай. Нет вставай.

— Ты что, шутишь?

Молчание.

— А ну поднимайся! Еще немного — и перевал. А вниз ноги сами побегут.

Молчание.

— Ну, ты слышишь?

— Финита. Нон Джулия марш. Нон.

— Понимаешь, нельзя тут оставаться. Закоченеем. Видишь, снег.

Однако слова его на девушку не производили никакого впечатления. Иван видел, что она изнемогла, и начал понимать бесполезность своих доводов. Но как заставить ее идти? Подумав немного, он достал из-за пазухи помятую краюшку хлеба и, отвернувшись от ветра, бережно отломил кусочек мякиша.

---

* Все, Иван! *(итал.)*.

— На вот хлеба.

— Хляб?

Джулия встрепенулась, сразу подняла голову. Он сунул ей в руки кусочек, и она быстро съела его.

— Еще хляб!

— Нет, больше не дам.

— Малё, малё хляб. Дай хляб! — как дитя, жалобно попросила она.

— На перевале получишь.

Она сразу замкнулась и съежилась.

— Нон перевал!

— Какой черт «нон»?! — вдруг закричал Иван, стоя напротив. — А ну вставай! Ты что надумала? Замерзнуть? Кому ты этим зло сделаешь? Немцам? Или ты захотела им помочь: в лагерь вернуться? Ага, они там тебя давно ждут! — кричал он, захлебываясь от ветра.

Она, не меняя положения, вскинула голову:

— Нон лагерь!

— Не пойдешь в лагерь? Куда же ты тогда денешься?

Она замолчала и снова поникла, сжалась в маленький живой комочек.

— Замерзнешь же! Чудачка! Загнешься к утру, — смягчившись, сказал он.

Ветер сыпал снежной крупой, крутил вверху и между камнями. Хотя снег был мелкий, все вокруг постепенно светлело, стала заметна тропа, и проглядывались изломы камней. Без движения, однако, тело быстро остывало и содрогалось от стужи, переносить которую становилось уже невмоготу.

— А ну вставай! — Иван рванул ее за тужурку и по-армейски сурово скомандовал: — Встать!

Джулия, помедлив, поднялась и тихо поплелась за ним, хватаясь за камни, чтобы не упасть. Иван, насупившись, медленно шел к тропе. Он уже начал думать, что все как-нибудь обойдется, что самое худшее в таком состоянии сбиться с ритма, хотя бы присесть, и тогда потребуется значительно больше усилий, чтобы встать. Вдруг уже возле самой тропы сильный порыв ветра стеганул по лицам снежной крупой и так ударил в грудь, что они задохнулись. Джулия упала.

Иван попытался помочь ей подняться, взял девушку за руку, но она не вставала, закашлялась и долго не

могла отдышаться. Наконец, сев на камень, тихо, но твердо, как об окончательно решенном, сказала:

— Джулия финита. Аллес! Иван Триесто. Джулия нон Триесто.

— И не подумаю.

Иван отошел в сторону и тоже сел на выступ скалы.

— А еще говорила, что коммунистка, — упрекнул он. — Паникер ты!

— Джулия нон паникор! — загорячилась девушка. — Джулия партиджано.

Иван уловил нотки обиды в ее голосе и ухватился за них. «Может быть, это растревожит ее», — подумал он.

— Трусиха, кто же ты еще?

— Нон трусиха, нон паникор. Силы малё.

— А ты через силу, — уже мягче сказал он. — Знаешь, как однажды на фронте было? На Остфронте, куда ты собиралась. Окружили нас немцы в хате. Не выйти. Бьют из автоматов в окна. Кричат: «Рус, сдавайсь!» Ну, комвзвод наш Петренко тоже говорит: «Аллес капут». Взял пистолет и бах себе в лоб. Ну и мы тоже хотели. Вдруг ротный Белошеев говорит: «Стой, хлопцы! Застрелиться и дурак сумеет. Не для того нам Родина оружие дала. А ну, — говорит, — на прорыв!» Выскочили мы все в дверь, да как ударили из автоматов и кто куда — под забор, в огороды, за угол. И что думаешь: вырвались. Пятеро, правда, погибли. Белошеев тоже. И все же четверо спаслись. А послушались бы Петренко, только бы на руку немцам сыграли: никого и стрелять не надо, бери и закапывай.

Джулия молчала.

— Так что, пошли?

— Нон.

— Ну какого черта! — весь дрожа от холода, начал терять терпение Иван. — Замерзнешь же, глупая. Стоило убегать, столько лезть под самое небо?

Она продолжала молчать.

— На кой черт тогда они себя подорвали! — сказал он, вспомнив погибших товарищей. — Надо, чтоб хоть кто-нибудь уцелел. А ты уже и скисла.

Он вскочил, чувствуя, что насквозь промерз на ветру, зашагал по тропе — на сером снегу отпечатались темные следы его босых ног. Хорошо еще, что не было мороза, иначе им тут верная смерть. Минуту спустя он решительно остановился напротив Джулии.

— Так не пойдешь?

— Нон, Иван.

— Ну, как хочешь. Пропадай, — сказал он и тут же потребовал: — Снимай тужурку.

Она слабо зашевелилась, сняла с себя тужурку, положила ее на камень. Потом сбросила с ног колодки и поставила их перед ним. Иван застывшей ногой отодвинул колодки в сторону:

— Оставь себе... В лагерь бежать.

А сам напялил на широкие плечи тужурку, запахнулся, сразу стало теплей. Он чувствовал, что между ними что-то навсегда рушится, что нельзя так относиться к женщине, но у него теперь прорвалась злость к ней, казалось, будто она в чем-то обманула его, и потому невольно хотелось наказать ее. Мысленно выругавшись, он, однако, почувствовал, как нелегко уйти, расставание оказалось до нелепости грубым, хотя он старался заглушить все это злостью. И все же он не мог не понимать, что Джулии было очень трудно и что она по-своему была права, так же как в чем-то был несправедлив он, — Иван чувствовал это, и его злость невольно утихала.

Он сделал шага два по тропинке и обернулся.

— Чао! — сжавшись на камне, тихо и, похоже, совсем безразлично сказала она. Это слово сразу напомнило ему их вчерашнюю встречу, и тот радостный блеск в ее сверкающих глазах, удививший его в лесу, и ее безрассудную смелость под носом у немцев, и Ивану стало не по себе. Это не было ни жалостью, ни сочувствием — что-то незнакомое защемило в груди, хотя вряд ли он мог в чем-нибудь упрекнуть себя и, пожалуй, ничем не был обязан ей. «Нет, нет! — сказал он себе, заглушая эту раздвоенность. — Так лучше!» Одному легче уйти, это он знал с самого начала. Ему вообще не надо было связываться с ней, теперь у него на плечах тужурка, немного хлеба — на одного этого хватит дольше, он будет экономить — съедать по сто граммов в день. Один он все стерпит, перейдет хребет, если бы даже пришлось ползти по пояс в снегу. Он доберется в Триест, к партизанам. Зачем связываться с этой девчонкой? Кто она ему?

Он торопливо взбежал на крутизну, будто спеша отрешиться от мыслей о ней, брошенной там, внизу, но совладать со смятением своих чувств так и не смог. Что-то

подспудное в нем жило иной логикой, ноги сами замедлили шаг, он оглянулся раз, другой... Джулия едва заметным пятном темнела на склоне. И ее покорная беспомощность перед явной гибелью вдруг сломала недавнее его намерение. Иван, сам того не желая, обернулся и, не преодолев чего-то в себе, побежал вниз. Джулия, услышав его, вздрогнула и испуганно вскинула голову:

— Иван?

— Я.

Видимо догадываясь о чем-то, она насторожилась:

— Почему?..

— Давай клумпес!

Она покорно вынула из колодок ноги, и он быстро надел на свои застывшие ступни эту немудреную обувь, в которой еще таилось ее тепло. Затем скинул с себя тужурку:

— На. Надевай.

Все еще не вставая с места, она быстро запахнулась в тужурку, он, помогая, придерживал рукава и, когда она оделась, взял девушку за локоть:

— Иди сюда.

Она упрямо отшатнулась, вырвав локоть, и застыла, уклонившись от его рук. Из-под бровей испытующе взглянула ему в лицо.

— Иди сюда.

— Нон.

— Вот мне еще «нон»...

Одним рывком он схватил ее, вскинул на плечо, она рванулась, как птица, затрепетала, забилась в его руках, что-то заговорила, а он, не обращая на это внимания, передвинул ее за спину и руками ухватил под колени. Она вдруг перестала биться, притихла, чтоб не упасть, торопливо обвила его шею руками, и он ощутил на щеке ее теплое дыхание и горячую каплю, которая, защекотав, покатилась ему за воротник.

— Ну ладно. Ладно... Как-нибудь...

Неожиданно обмякнув, она прильнула к его широкой спине и задохнулась. Он и сам задохнулся, но не от ветра — от того незнакомого, повелительно-кроткого, величавого и удивительно беспомощного, что захлестнуло его, хлынув из неизведанных глубин души. Недавнее намерение бросить ее теперь испугало Ивана, и он, тяжело погромыхивая колодками, полез к перевалу.

13

Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни. Деревяшки скользили по ним на очень крутых местах, и, чтобы не упасть с ношей, Иван старался идти боком, как лыжник при подъеме на склон. Сначала он не чувствовал тяжести ее маленького тела — слегка поддерживая ее за ноги и согнувшись, упорно лез вверх. Но скоро порыв его все же ослабел, появилось желание остановиться, выпрямиться, вздохнуть — в груди не хватало воздуха. Правда, он согрелся, разгоряченному телу нипочем стал горный ветер, внутри тоже горело, от удушья раздирало легкие.

Перевал, пожалуй, был близко — подъем постепенно выравнивался, тропинка уже не петляла по заснеженному скалистому взлобью. Справа возвышалось что-то серое, очевидно громада другой горы. Значит, они уже добрались до седловины. Ветер по-прежнему безумствовал в своей неуемной ярости, вокруг, будто в невидимой гигантской трубе, выло, стонало, даже звенело — впрочем, звенело, возможно, в ушах. От стужи больше всего доставалось рукам и коленям. Хорошо еще, что не было мокряди, крупчатый снег не задерживался на одежде, ветер больно сек им лицо.

Надо было отдохнуть, но Иван чувствовал, что если присядет, то наверняка больше уж не встанет. И он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молча прижималась к нему — он чутко ощущал ее движения и, странное дело, несмотря на усталость, на недавний спор и досаду, чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он нес бы ее так, покорно припавшую к нему, далеко, далеко.

Когда уже стали подкашиваться ноги и он испугался, что упадет, из снежной, мятущейся мглы выплыл огромный черный обломок скалы. Иван свернул с тропки и, скользя по камням колодками, направился к нему. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Возле камня Иван повернулся и прислонил к нему девушку. Руки ее под его подбородком разнялись, плечам стало свободнее, и только тогда он почувствовал, какая она все же тяжелая.

— Ну как? Замерзла?

— Но, но.

— А ноги?

— Да, — тихо сказала она. — Нёги да.

Все время она казалась необычно тихой, будто в чем-то виноватой перед ним. Он чувствовал это, и ему хотелось как-то по-хорошему, ласково успокоить ее. Только Иван не знал, как это сделать, у него просто не находилось слов, и потому внешне он по-прежнему оставался сдержанным.

Не оборачиваясь, Иван нащупал руками ее ноги. Они совсем окоченели — были холоднее, чем пальцы его рук. От его прикосновения она тихо вскрикнула и рванула ноги к себе.

— Э, так нельзя!

Она, видно, не поняла его, а он удобнее посадил ее на камень и набрал с земли пригоршню снежной крупы.

— А ну давай разотрем.

— Но, но.

— Давай, чего там «но», — незлобиво, но настойчиво сказал он, взял одну ногу, зажал ее в своих коленях, как это делают кузнецы, подковывая лошадей, и стал тереть ее снегом. Джулия дернулась, заохала, застонала, а он засмеялся.

— Ну что? Щекотно?

— Болно! Болно!

— Потерпи. Я тихо.

Как можно бережнее он растер одну ее маленькую, почти детскую, стопу, потом принялся за другую. Сначала девушка ойкала, потом, однако, притихла.

— Ну как, тепло? — спросил он, выпрямляясь.

— Тепло, тепло. Спасибо.

— На здоровье.

Она укутала ноги полами тужурки, а он, на минуту прислонившись спиной к настывшему камню, выровнял дыхание. Но без движения сразу стало холодно, ветер насквозь пронизывал его легкую куртку, почти не державшую тепла.

— Хлеба хочешь? — спросил он, вспомнив их прежний разговор внизу.

— Но, — сразу же ответила она. — Джулия но хляб. Иван эссен хляб.

— Так? Тогда побережем. Пригодится, — сказал Иван, и они почти одновременно проглотили слюну. Чувствуя, что замерзает, он с усилием заставил себя встать и подставил ей спину:

— Ну, берись!

Молча, с готовностью она обхватила его за шею, прижалась, и ему сразу стало теплее.

— Иван, — тихо сквозь ветер сказала она, дохнув теплом в его ухо. — Ду вундершон *.

Она уже несколько освоилась у него на спине, осмелела, чувствуя к себе его расположение, спросила:

— Руссо аллес, аллес вундершон! Да?

— Да, да, — согласился он, так как говорить о себе не привык, к тому же тропинка, казалось, вот-вот выведет их на пологое место, и он хотел одолеть крутизну как можно быстрее.

— Правда, Иван, хотель пугат Джулия? Да? Иван но бросат?

Он смущенно усмехнулся в темноте и с уверенностью, в которую сам готов был поверить, сказал:

— Ну конечно...

— Тяжело много, да?

— Что ты! Как пушинка.

— Как это — пушинка?

— Ну, пушок. Такое маленькое перышко.

— Это малё, малё?

— Ну!

Он шел по тропинке, хорошо обозначившейся на свежем снегу. Его шею сзади забавно щекотало теплое дыхание девушки. Гибкие тонкие пальцы ее вдруг погладили его по груди, и он слегка вздрогнул от неожиданной ласки.

— Ты научит меня говорить свой язик?

— Белорусский?

— Я.

Он засмеялся: такой странной тут показалась ему эта просьба.

— Обязательно. Вот придем в Триест и начнем.

Эта мысль вдруг вызвала в нем целый рой необыкновенно радостных чувств. Неужто и в самом деле им посчастливится добраться до Триеста, найти партизан? Если бы это случилось, они бы ни за что не расстались — пошли бы в один отряд. Как это важно на чужой земле — родной человек рядом! Иван уже ощутил ее ласковую привязанность к нему, ее присутствие здесь уже не казалось ему нежеланным или обременительным. Только теперь, пробыв с нею эти два дня, он почувство-

---

* Ты чудесный *(нем.)*.

вал, как одиноко прожил все годы войны — солдатское товарищество тут было не в счет. Ее теплота и участие чем-то напоминали сестринское, даже материнское, когда не нужны были особенные слова, — одно ощущение ее молчаливой близости наполняло его тихой радостью.

Они вошли в седловину, по обе стороны которой высились склоны вершин. Тропинка еще немного попетляла между ними и заметно побежала вниз. В ночной темени сыпал редкий снежок.

— Переваль? — встрепенулась на его спине Джулия.

— Перевал, да.

— О мадонна!

— Ну а ты говорила: капут! Видишь, дошли.

Он остановился, нагнулся, чтобы взять ее поудобнее, но она рванулась со спины:

— Джулия будет сам. Данке, грацие, спасибо!

— Куда ты рвешься? Сиди!

— Но сиди. Иван усталь.

— Ладно. С горы легко.

Он не отпускал ее ног, и девушке, чтобы не свалиться, снова пришлось обхватить его шею. Она припала щекой к его остывшему плечу и пальцами шутливо потрепала давно не бритый шершавый подбородок.

— О, риччо! Ёож! Колуча.

— В Триесте побреемся.

— Триесте!.. Триесте!.. — мечтательно подхватила она. — Партиджан Триесте. Иван, Джулия тэдэско тр-р-р-р, тр-р-р. Фашисто своляч!

Он со сдержанной усмешкой слушал ее, старательно выбирая в темноте дорогу. Однако спускаться было ненамного легче, чем идти в гору. Колодки часто скользили; от постоянного напряжения начали ныть колени; в груди, правда, стало свободней. Все время рискуя упасть, он изо всех сил держался на ногах и где скорым шагом, а где и бегом стремительно спускался с перевала. Джулия на его спине то и дело испуганно вскрикивала:

— О, о, Иван!

— Ничего. Держись!

Ветер тут почему-то стал тише, и оттого, казалось, потеплело. Куда вела тропа и что их ждало впереди, увидеть было невозможно.

Через некоторое время ветер почти стих, перестали мелькать снежинки, повсюду, насколько было видно, теснились запорошенные снегом скалы. Тропа кидалась то

вправо, то влево, причудливо изгибаясь на каменистых склонах, которые тут стали более пологими, чем на той стороне перевала. Чувствуя сильную усталость, Иван пошел ровнее, не оглядываясь и только стараясь не сбиться с тропы. Джулия почему-то умолкла. Однажды он попробовал заговорить с нею, но девушка не ответила.

Незаметно задремав у него за спиной, она мерно посапывала, руки ее мягко и нежно лежали на его плечах. Тужурка, видимо, распахнулась, и сзади на своих острых лопатках Иван почувствовал мягкое тепло ее груди. Как назло, в правую колодку его попал камешек. Раза два Иван, не нагибаясь, повертел ногой, но не смог вытряхнуть его. Идти было очень неудобно. Однако Иван не стал будить Джулию — зашагал медленнее и так еще долго шел вниз. Кажется, он и сам задремал на ходу — вдруг перестал понимать, где находится и кто у него за спиной. Но это длилось всего несколько коротких секунд, он тут же пришел в себя, почувствовал ее дыхание и успокоился. Вокруг по-прежнему толпились мрачные утесы с пятнами подтаявшего снега на склонах. Откуда-то снизу потянуло сыростью, порой доносился смолистый запах хвойного леса, где-то далеко сбоку шумел водопад — очевидно, там было ущелье.

Под утро они спустились в зону лугов.

Снежные пятна вокруг разом исчезли, будто растаяли; стих ветер, стало тепло, только в воздухе прибавилось сырости; по камням из долины поползли влажные клочья тумана. Еще ниже на них пахнуло устоявшимся ароматом трав, цветов, густым хвойным настоем, и он понял — самое трудное позади. Тропа где-то пропала, но идти было легко. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие, до колен, стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтоб не разбудить девушку, встал на колени и осторожно опустился вместе с ней на бок.

Она не проснулась.

14

Против обыкновения в этот раз ему не приснился его всегдашний тревожный сон. Несколько часов он спал беспробудно и глубоко, потом призрачная смесь бреда и реальности завладела его сознанием.

В двадцать пять лет юность уже на отлете, многого из простых человеческих радостей уже не вернуть и не пережить, если не пришлось пережить их в прежние годы, и в этом смысле люди, пожалуй, достойны большего, чем то, что приготовила судьба Ивану Терешке. Правда, он редко задумывался над этим, было не до погони за счастьем — дома приходилось заботиться о том, чтобы както прожить, встать на ноги; позже, во время войны, понятное дело, куда большие заботы волновали его. Было не до любви. Он не знал женщины и все же, как это часто случается в молодости, к обычным взаимоотношениям парней и девчат относился скептически.

Года два назад на Северо-Западном фронте Иван был ранен одновременно со своим ротным — старшим лейтенантом Глебовым, у которого служил ординарцем.

Ранило их в лесу, когда ротный шел на совещание к командиру полка. Сжав свое рассеченное осколком плечо, Терешка кое-как выволок командира из-под огня, перевязал, потом по снегу дотащил до дороги, где их и подобрали обозники. Иван при своей легкой ране чувствовал себя сносно, а вот с ротным дело было намного хуже. Старший лейтенант потерял много крови, почти не говорил, только попросил, чтобы его сразу отправили в госпиталь, минуя дивизионный санбат. Ординарец понимал беспокойство офицера: Глебов не хотел расстраивать Анюту — тоненькую, с широко раскрытыми глазами девчушку, недавнего санинструктора их роты, ставшую медсестрой санбата. Все в роте знали, что у них с Глебовым не просто игра, а самая настоящая любовь — именно поэтому ротный накануне добился перевода ее в санбат, где было все же потише, чем на передовой. Автоматчики роты по-своему тоже любили девушку — уважая ротного, уважали и его любовь. У ординарца же было свое отношение к ней — видимо, потому, что ближе других был к Глебову, он привязался и к Анюте, как к младшей сестре, а может, даже и больше.

Случилось, однако, так, что миновать санбат было нельзя. Где уж там везти раненого в тыловой госпиталь, когда Иван испугался, успеют ли его доставить хотя бы в санбат. Кони быстро неслись по наезженной санной дороге, а Иван все покрикивал на ездового — пожилого нерасторопного бойца в двух шинелях поверх телогрейки, — чтобы тот погонял быстрее. Глебов стал забываться, бредил, ругался. Ординарца он уже не узнавал, как

и не узнал и Анюту, которая с криком упала на сани, когда они подъехали к большой брезентовой палатке санбата.

Иван на всю жизнь запомнил тот вечер, звездное морозное небо, мрачные ели, привычный запах дыма, тихий гомон людей в палатке и больше всего — неутешное горе Анюты. Ее не пускали в операционную, хотя она рвалась туда и плакала. Иван тоже сидел у входа, забыв о собственной боли, ловил от выходящих сестер каждую весточку о состоянии ротного. Вести были неважные — оперировали старшего лейтенанта долго и трудно, переливали кровь, бегали за физиологическим раствором. Иван ждал, Анюту не утешал — самому было тяжко, только курил, пока не опустел кисет.

Глебов умер во время операции. Ему не успели даже наложить швы.

Внезапное горе будто испепелило что-то в душе Ивана. Он и сам не думал, что так тяжело будет переживать эту смерть. Видимо, его переживания усиливались при виде чужого несчастья. Анюта несколько дней не являлась на дежурство, и никто ее не осуждал за это. Наоборот, раненые, лежа на походных кроватях-носилках в огромной, как рига, палатке, с уважением отнеслись к ее горю. Только Иван молчал и думал. Тогда-то у него, очевидно, и зародилось особое чувство к ней. Нет, это новое чувство не было любовью: то, что он чувствовал к девушке, скорее напоминало глубокое уважение, и только.

За долгие зимние вечера, проведенные в санбате, он, пожалуй, вовсе разучился шутить, улыбаться, только бесконечно дымил моршанской махоркой, глядя на сияющее мелькание в печи, сооруженной из железной бочки, которую докрасна накаливал санитар Ахметшин. С Анютой после памятного вечера они почти не разговаривали, и без того хорошо понимая душевное состояние друг друга. Приступив после недолгого перерыва к дежурству, она потеряла свою всегдашнюю живость, стала не по годам задумчивой и строгой. Общее горе роднило их. Иван кое в чем помогал ей в палатке, никогда ни словом не обмолвившись об их переживаниях, и она была благодарна ему.

Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь; кто-нибудь в это время рассказывал в темном уг-

лу трудный фронтовой случай или что-либо повеселее из довоенного прошлого. И было так хорошо.

Но время шло, раненые в санбате менялись; одних эвакуировали дальше в тыл, других, подлечив, выписывали на передовую. И вот однажды небольшая на первый взгляд перемена сразу нарушила мирный покой этой палаты.

Как-то после обеда, когда Иван принялся собирать грязные котелки, чтобы отнести их на кухню, у входа в палатку послышались голоса, топот ног, и двое санитаров втащили носилки с раненым. На носилках под полушубком лежал молодой командир с двумя шпалами в черных петлицах (оказалось потом, что он из танковой части, которая поддерживала их дивизию). Майора начали устраивать в углу, всем распоряжался сам комиссар санбата. Иван, унося на кухню посуду, невольно удивился такому вниманию к раненому. Когда же он вернулся, майор уже сидел на носилках. Согревшись, он сбросил с себя овчинную безрукавку, из-под нее на широкой груди танкиста заблестели шесть орденов. Раненые в палате притихли, с любопытством повернув головы в его сторону.

Майор оказался бойким, общительным человеком, легко раненным в обе ноги. Он попусту не глядел в потолок, как другие в первые дни после ранения, а быстро перезнакомился с бойцами и санитарами, сразу стал на дружескую ногу с сестрами, обращаясь со всеми просто и весело. Через день-два к нему зачастили дружки-сослуживцы. Иногда заходило начальство. При всей своей завидной общительности командир вскоре, однако, потребовал устроить в углу перегородку. Ребята не удивились — все же он был майор, и потому понятным стало его желание как-то отделиться от бойцов, хотя это и не было принято в палате для легкораненых. Просьбу майора уважили: в углу появилась обвешанная простынями боковушка, и с тех пор самое интересное в палате происходило за этой ширмой.

Иван начал хмуриться, порой подавляя в себе, казалось бы, беспричинную злость, глядя, как повеселела, оживилась Анюта, как нет-нет да и забежит по какому-нибудь делу в эту боковушку. Майор тоже заметил шуструю сестру и всяческими знаками внимания начал выделять ее среди остальных. Однажды вечером она дольше обычного задержалась у него, майор что-то все говорил

ей о музыке, о какой-то опере. Анюта слушала, переспрашивала и вообще с чрезмерным интересом отнеслась к его рассказу. Даже опоздала с докладом к дежурному, за что получила выговор.

С того вечера она стала еще веселее, с беззаботной ловкостью носилась по проходу между носилками, шутила с бойцами и даже запела как-то: «Синенький, скромный платочек». Очевидно, она так бы и не догадалась о степени своего вероломства, если бы в эту минуту не взглянула на Ивана. Видно, взгляд попал ей в самое сердце — Анюта запнулась, выпустила из рук моток бинта и, не подняв его, выбежала из палаты. Он, разумеется, ничего не сказал ей, только думал: это не так, не может она так, он ошибается, ему все кажется! Чужая любовь незаживающей раной постоянно ныла в его душе, и Иван, как умел, оберегал ее, страдал из-за нее, как, может быть, не смог бы страдать из-за своей, которой у него еще не было.

Но, видно, он ошибался, успокаивая себя. Вскоре Иван заметил, что Анюта избегает его, не хочет даже встречаться взглядом, что ее настойчиво тянет туда, за простыни.

Иван еще больше замкнулся, похудел, начал реже ходить за дровами, и в палате помогать Ахметшину стали другие выздоравливающие.

Так прошло еще несколько дней.

Однажды Анюта делала майору укол. Было утро, слабо брезжил рассвет, и по ту сторону занавесок мигала «катюша». Чутко прислушиваясь к каждому движению в боковушке, Иван еловым веником выметал земляной проход в палатке, как вдруг увидел на простынях две тени. Видно было, как Анюта рванулась из мужских цепких рук, но затаилась, не крикнула. Иван кое-как домел пол, потом, потеряв интерес к окружающему, лег на крайний в темном углу матрац и долго лежал так, погруженный в себя. Когда же утренняя суета улеглась, он собрал свою одежду, завязал вещмешок и, ни с кем не простившись, вышел на дорогу.

К обеду он был уже в роте.

Старшина, который на другой день ездил в медсанбат за его продаттестатом, рассказал о непонятной выходке Терешки. Ребята немного позубоскалили и успокоились, а Иван долго еще молчал в темной землянке. Разве мог кто догадаться, что происходило в его душе! Рана на

плече постепенно зажила, а тоска от поруганной чужой любви осталась, и Иван думал, что девчата не для него.

15

Первым его ощущением реальности было тепло.

Даже не тепло, а жара, скорее духота. Чудилось, будто лежит он на носилках в медсанбате, возле бочки-печки, которую так немилосердно накалил Ахметшин. Пекло не только ноги, больше голову и плечи. Иван чувствовал на себе липкую мокроту пота. Ему очень хотелось пить, повернуться, чем-то заслониться от этого изнуряющего зноя. Но сонливая усталость овладела им так сильно, что он не мог даже раскрыть глаз.

Так он томился в дремоте, и сон постепенно начал отступать. Иван потянулся, откинул руки и неожиданно ощутил росистую прохладу травы. Он с усилием раскрыл глаза, и первое, что увидел, был ярко-красный цветок возле лица, робко и доверчиво подставлявший солнцу свои четыре широких глянцевитых лепестка, на краю одного из которых рдела-искрилась готовая вот-вот сорваться прозрачная как слеза капля. Легкий утренний ветерок тихо раскачивал его длинную тонкую ножку; где-то поодаль, в пестрой густой траве, сонно гудела оса. Вскоре, однако, басовитое жужжание оборвалось, и тогда Иван понял, что вокруг стояла полная, всеобъемлющая тишина. От тишины он давно отвык, она пугала; не понимая, где он, Иван рванулся с земли, широко раскрыл покрасневшие после сна глаза и радостно удивился невиданной, почти сказочной красоте вокруг.

Огромный луговой склон в каком-то непостижимом солнечном блеске безмятежно сиял широким разливом альпийских маков.

Крупные, лопушистые, не топтанные ногой человека цветы, взращенные великой щедростью матери-природы, миллионами красных бутонов переливались на слабом ветру, раздольно устремляясь вниз, на самый край горного луга. Иван бросил взгляд дальше, вперед, куда предстояло идти, и невольная радость его исчезла. Далеко за долиной снежными разводами синел все тот же массивный Медвежий хребет. Он был куда выше пройденного, который двумя близнецами-вершинами высился позади; огромная тень от него прозрачной сиреневой

дымкой накрывала половину широкой долины. Не заслоненный теперь ничем, этот великан оставался таким же далеким, сияющим и недоступным, как и вчера.

И тут Иван встрепенулся: только теперь до его сознания дошел тревожный смысл тишины — где Джулия? Он снова огляделся — вокруг никого не было, рядом на примятых маках одиноко валялась тужурка. Но первая тревога его тут же исчезла — пистолет и обломанная треть буханки, прикрытые, очевидно, от солнца рукавом тужурки, лежали в траве. Тогда он вскочил на ноги, его лихорадочный взгляд заметался по склону. Где она? Неужели?.. В душе возникла недобрая догадка, но он не мог поверить в нее. Почему не мог, сам не знал, только не хотел того — он жаждал видеть, слышать, чувствовать ее рядом. Одиночество внезапно поразило его хуже всякой неудачи.

Он схватил пистолет, хлеб, сунул под мышку тужурку и бросился по траве вниз. Влажные бутоны били его по распухшим и сбитым ногам. Он оглянулся, вспомнив про колодки, но их не было. Тогда он опять быстро зашагал по лугу, шаркая ногами в сплошных зарослях маков, отошел довольно далеко и остановился — сзади по росистым цветам пролег его след. Вокруг лежало никем не тронутое красное море.

Это навело его на догадку. Иван перехватил под мышкой тужурку и быстро вернулся назад.

Действительно, в росистой траве заметны были другие следы. Они вели в сторону, где начинался распадок, и Иван торопливо побежал к нему. Ступни и штанины его быстро намокли от росы. Сильный аромат цветов пьянил голову, очень хотелось есть, от истомы и слабости темнело в глазах. Это были старые, привычные ощущения. Крепкое от природы, закаленное тело Ивана противостояло им, он чувствовал, что силы у него еще не иссякли.

Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал колючие рододендроновые заросли, усыпанные большими, с кулак, красными цветами, и тут со стороны небольшого распадка услышал шум водопада. Вскоре шум усилился, стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, ниспадала блестящая водяная струя. Вокруг в туманном мареве рассыпались мелкие брызги, а в стороне от них на мрачном каменном фоне висело в воздухе разноцветное радужное пятно. Равнодушный к этой неожиданной красоте гор, Иван

взбежал выше, но вдруг остановился и тихонько опустился на землю: в полусотне шагов под струистой россыпью водопада спиной к нему стояла на камне и мылась Джулия.

Он сразу узнал ее, хотя, обнаженная, она утратила проклятые признаки гефтлинга и наедине с природой казалась совсем другой в своем чудесном девичьем совершенстве, полном таинственности и целомудрия. Девушка не видела его и, настороженно сжавшись, терпеливо подставляла свое худенькое легкое тело под густую сеть струй, готовая при первом же шорохе встрепенуться и исчезнуть. На ее блестящих от брызг остреньких плечах переливались разноцветные радужные блики.

Не в состоянии одолеть в себе застенчиво-радостного чувства, Иван медленно лег, повернулся на спину — над ним сияло чистейшее, без единого облачка, небо, влажные запахи земли хмельной брагой кружили голову. Иван распластался на прохладной траве и от избытка счастья тихо засмеялся.

В тайниках его души неугасимо тлела тревога: впереди был труднодоступный хребет, сзади... Ясно, чего можно было ждать сзади. Но теперь в этом заповедном уголке, рядом с найденной девушкой, ставшей уже дорогим ему человеком, Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было, пожалуй, ни разу за все годы плена. И он лежал в траве, жадно впитывая эту неожиданную, непостижимую радость и не стараясь даже осознать, откуда она и что с ним случилось, — просто был по-человечески счастлив, и все. Правда, вскоре он понял, что все это ненадолго — беспокойное и трудное упрямо не оставляло его в этом мире и если забылось, то лишь на время, уступив место вдруг охватившей его безмятежности.

Он не поднимался из маков и ни разу не взглянул на нее. Стыдливая деликатность мешала ему сделать это; лежа на животе, он рвал возле себя маки и машинально складывал их в букет. Полный тихой, сдержанной нежности, он продолжал это занятие, пока не услышал торопливые шаги. Он поднял голову: под водопадом никого уже не было. На ходу надевая полосатую куртку, Джулия пробежала невдалеке, направляясь туда, где оставила его. Он опять тихо засмеялся, увидев ее нетерпеливый, озабоченный, устремленный вдаль взгляд, но не окликнул, а, схватив тужурку, не спеша пошел следом.

Поблескивая на солнце мокрыми и черными как смоль волосами, она быстро обежала рододендрон и, будто споткнувшись, остановилась возле измятых маков. Даже издали нетрудно было заметить ее испуг и растерянность, с какими она взглянула в одну сторону, затем в другую и кинулась по склону вниз. Однако в следующее мгновение что-то заставило ее оглянуться.

— Иван!!!

В этом восклицании прозвучали одновременно испуг, облегчение и радость; она всплеснула руками и птицей бросилась ему навстречу. Иван остановился. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих, радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рванулось к ней, но он сдержал себя, молчал. Она же, подминая колодками маки, подскочила к Ивану, обеими руками обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его пьянящим, озорным поцелуем.

Он затаил дыхание, а она, все еще обнимая его, порывисто откинула голову и засмеялась, влюбленно вглядываясь в его лицо, горевшее от прикосновения ее холодных, упругих губ. Затем, не переставая смеяться, разжала пальцы, легко оттолкнула его и опустилась в траву. Глаза ее искрились и сияли, куртка, застегнутая на одну палочку-пуговицу, распахнулась, и в треугольнике-ямке меж грудей блеснул маленький синий эмалевый крестик. Этот крестик на миг задержал на себе его взгляд. Она сразу же спохватилась и запахнула куртку, по-прежнему смеясь глазами, лицом, широким белозубым ртом, каждой частицей молодого, холодного после купания тела.

Он, однако, внезапно насупился, смутился, за какие-нибудь полминуты, стоя так, почувствовал, как что-то в нем рушится, какая-то неведомая сила подчиняет себе его волю. Только теперь он уже не стал с этой силой бороться — подчинился, потому что в этом подчинении была радость, и он сделал шаг к девушке. Джулия вдруг оборвала смех и вскочила навстречу.

— Иван! — вскрикнула она, увидев цветы в его руках. — Это ест для синьорина? Да? Да?

Он и сам только теперь обратил внимание на букет маков, бессмысленно смятых в руках, и засмеялся. Она также засмеялась, понюхала цветы, утопив в букете свое маленькое милое личико. Затем положила букет

на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки.

— Джулия благодарит Иван. Благодарит — очэн...

— Не надо, что ты! — пытался остановить ее Иван.

— Очэн, очэн благодарит надо! Иван спасат синьорину! Руссо спасат итальяно! Это ест браво! — восторженно говорила она, продолжая рвать маки. Потом с целой охапкой их подбежала к Ивану и вывалила все цветы ему на грудь.

— Ну что ты! — удивился он. — Зачем?!

— Надó! Надó! — смешно коверкая русские слова, настаивала она, и он вынужден был обхватить вместе с охапкой маков и тужурку с завернутым в нее хлебом. Джулия, видно, на ощупь почувствовала там хлеб и, вдруг посерьезнев, вскрикнула:

— Хляб?!

— Ага, давай поедим, — оживился Иван, положил все на землю и сел сам. Джулия с готовностью присела рядом.

16

— Съесть бы все сразу, — сказал Иван, держа в руке черствый, с килограмм весом кусок хлеба — измятый, обломанный по краям и все же такой аппетитный и желанный, что оба, глядя на него, опять проглотили слюну.

— Асё, асё, — как эхо, согласно отозвалась Джулия, не сводя глаз с хлеба.

Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул:

— Нет, все нельзя.

— Нельзя? Но?

— Но.

Она поняла и также вздохнула, а Иван разостлал на земле тужурку и положил на нее этот их более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки.

Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней — то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой по-девичьи не приспособленной к великим невзгодам войны и такой ре-

шительной в своем почти подсознательном стремлении к свободе.

Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивались их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что согласно лагерной логике считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток граммов двести Иван засунул в карман тужурки.

— Это тебе, это мне, — сказал он просто, без традиционного ритуала дележки, и подвинул ей кусок с горбушкой. Она решительно вскинула смоляные брови:

— Но. Это Иван, это Джулия. — И поменяла куски местами.

Он глянул ей в лицо и улыбнулся:

— Нет, Джулия, не так. Это тебе.

Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руку. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван все же дотянулся до рук, Джулия отшатнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватилась за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его смутиться. Пересилив в себе новый, неосознанно-радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же, как девчонка, лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами и стала поправлять на груди куртку.

— Бери, ешь. Это же твоя, — сказал он, пододвигая ей корку.

— Но.

С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку.

— Бери, говорю.

— Но.

— Бери.

— Но, — не сдавалась она, смеясь глазами.

— Упрямая. Ну как хочешь, — сказал Иван и откусил от своего куска.

Она быстро проглотила все, разумеется, не наелась и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать: а не съесть ли все без остат-

ка, чтоб хоть один раз утолить голод? Но все же усилием воли отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому крохотному кусочку, как этот.

— Еще хочешь? — спросил он наконец, доев свою пайку.

Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой.

— Но! Но!

— А это? — кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки.

— Джулия но.

— Тогда давай так: пополам.

— Вас ист дас — пополям?

Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана.

Он разломил корку и одну часть дал ей. Она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его.

— Карашо. Гефтлинген чоколядо.

— Да уж при такой жизни и хлеб — шоколад.

— Джулия бежаль Наполи — кушаль чоколядо. Хляб биль малё — чоколядо много, — сказала она, щуря темные, как ночь, глаза.

Иван не понял.

— Бежала в Неаполь?

— Си. Рома бежаль. От отэц бежаль.

— От отца? Почему?

— А, уна... Една историй, — неохотно отозвалась она, еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. — Отэц хотель плёхой марито. Русско — ето муж.

Муж! Это слово неожиданно укололо его сознание, он сжал челюсти и нахмурился. Она, видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачившееся лицо и усмехнулась:

— Нон марито. Синьор не биль муж. Джулия не хотель синьор Дзангарини.

Иван, все еще хмурясь, спросил:

— А почему не хотела?

— О, то биль уно сегрето.

— Какой секрет?

Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то

исподлобья на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы.

— О, сегрето! Маленько сегрето. Джулия любиль, любиль... как ето русско?.. Уно джованотто — парень Марио.

— Вот как? — сказал он и отбросил вырванный пучок травы, ветер сразу рассеял в воздухе травинки. Иван повернулся боком. Теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. А она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила:

— Карашо биль парень. Джулия браль пистоля, бежаль Марио Наполи. Наполи гуэрра, война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен, — она вздохнула. — Партиджано итальяно биль мало, тэдэски мнёго.

— Что, против немцев воевали? — догадался Иван.

— Си. Да.

— Ого! — сдержанно удивился он и спросил: — А где же теперь твой Марио?

Она ответила не сразу, поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль:

— Марио фу уччизо.

— Убили?

— Си.

Они помолчали. Иван уже превозмог свою скованность, взглянул на нее. Она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом. Недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась.

— Почему Иван смотри, смотри?

— Так.

— Что ест так?

— Так есть так! Пошли в Триест.

— О, Триесте! — Она легко вскочила с травы. Он также встал, с неожиданной бодростью размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз.

Солнце припекало все больше. Тень от Медвежьего хребта постепенно укорачивалась в долине, знойное пепельное марево дрожало на дальнем подножии горы, окутывало лесные склоны. Только снежные хребты вверху ярко сияли, выставив, как напоказ, каждое блеклое пятно на своих пестрых боках.

— Триесте карашо. Триесте партиджано! Триесте мо-

ре! — оживленно лепетала Джулия и, очевидно, от избытка переполнявших ее радостных чувств запела:

Ми пар ди удире анкора,
Ля воче туа, им мэдзо ай фьори *.

Она негромко, но очень приятно выводила напевные слова. Он не знал, что это была за песня. Мелодичные ее переливы напоминали мерное волнение моря. Что-то безмятежное и доброе, очаровывая, влекло за собой...

Пэр нон софрире,
Пэр нон морире,
Ио ти пенсо, э ти амо... **

Иван затаив дыхание слушал этот мелодичный отголосок другого, неведомого мира, как вдруг девушка оборвала песню и повернулась к нему:

— Иван! Учит Джулия «Катуша»!

— «Катюшу»!

— Си. «Катушу».

Ра-а-сцветали явини и гуши,
По-о-пили туани над экой... —

пропела она, откинув голову, и он засмеялся: так это было неправильно и по-детски неумело, хотя мелодия у нее получалась неплохо.

— Почему Иван смехио? Почему смехио?

— Расцветали яблони и груши, — четко выговаривал он. — Поплыли туманы над рекой.

Она со смешинкой в глазах выслушала и закивала головой:

— Карашо. Понималь.

Ра-асцветали явини и груши...

— Вот теперь лучше, — сказал он. — Только не явини, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки.

— Да, понималь.

С усердием школьницы она начала петь «Катюшу», отчаянно перевирая слова, и оттого ему было смешно и хорошо с ней, будто с веселым, ласковым, послушным

---

* Мне до сих пор слышится
Твой голос среди цветов *(итал.)*.

** Чтобы не страдать,
Чтобы не умирать,
Я думаю о тебе и тебя люблю... *(итал.)*.

ребенком. Он шел рядом и все время улыбался в душе от тихой и светлой человеческой радости, какой не испытывал уже давно. Неизвестно, откуда и почему родилась эта его радость — то ли от высокого ясного неба, щедрого солнца, то ли от картинного очарования гор или необъятности простора, раскинувшегося вокруг, а может, от невиданного торжества маков, удивительно крепкий аромат которых наполнял всю долину. Казалось, чем-то праздничным, сердечным дышало все среди этих гор и лугов, не верилось даже в опасность, в плен и возможную погоню и почему-то думалось: не приснился ли ему весь минувший кошмар лагерей с эсэсманами, со смертью, смрадом крематориев, ненавистным лаем овчарок? А если все это было на самом деле, то как рядом с ним могла существовать на земле эта первозданная благодать — какая сила жизни сберегла ее чистоту от преступного безумия людей? Но то отвратительное, к сожалению, не приснилось, оно не было призраком — их разрисованная полосами одежда ежеминутно напоминала о том, что было и от чего они окончательно еще не избавились. И тут, среди благоухающей чистоты земли, эта их одежда показалась Ивану такой ненавистной, что он сорвал с себя куртку и прикрыл ее тужуркой. Джулия перестала петь и, улыбнувшись, осмотрела его слегка загоревшие, широкие плечи.

— О, Эрколе! Геркулес! Руссо Геркулес!

— Какой Геркулес. Доходяга! — скромно возразил Иван.

— Но, но! Геркулес!

Она шутливо хлопнула его по голой спине и обеими руками сжала опущенную вниз руку.

— Сильно, карашо, руссо! Почему плен шель?

— Шел! Вели, вот и шел.

— Надо бить фашисто! — она решительно взмахнула в воздухе маленьким кулачком.

— Бил, пока мог. Да вот...

Подняв локоть, он повернулся к ней другим боком, и на ее подвижном личике сразу отразилась жалость, почти испуг.

— Ой, ой! Санта Мария!

— Вот и Геркулес, — вздохнул он.

— Болно? — бережным прикосновением она осторожно пощупала огромный широкий рубец — след ножевого штыка. Он решительно потер бок.

— Уже нет. Отболело.

— Ой, ой!

— Да ты не бойся, чудачка, — ласково сказал он. — А ну сильней.

Она никак не осмеливалась, и он, взяв в ладонь ее тонкие пальцы, надавил ими на шрам. Джулия испуганно вскрикнула и прижалась к нему. Иван придержал девушку за плечи, и это короткое прикосновение опять заставило его поспешно отстраниться от нее. «Нет, так нельзя! Нельзя себя распускать! Надо скорее уходить».

— Вот что, — нахмурившись, сказал Иван, коротко взглянув на Джулию. — Надо быстрее идти. Марш-марш надо. Понимаешь?

— Я, — согласилась она, усмехнувшись и с какой-то испуганно-затаенной мыслью глядя ему в глаза.

17

Они спустились по склону от верхней границы луга к его середине. Тут маки начали постепенно редеть, уступая место другим цветам. Кое-где синели скопления душистых незабудок, качались на ветру колокольчики, от густого аромата желтой азалии кружилась голова. Местами в цветочных зарослях попадались каменистые плеши, возле них всегда было много колючей щебенки, особенно докучавшей его босым ногам. Иван начал осторожнее выбирать путь, поглядывая под ноги. Один раз перед его глазами в траве сверкнула красная капля, он нагнулся — между зубчатыми листочками рдело несколько крупных ягод земляники. Только он сорвал их, как рядом увидел еще такие же красные ягоды. Тогда Иван положил тужурку, присел; Джулия тоже со счастливым криком бросилась собирать ягоды.

Их было много — крупных, сочных, почти всюду спелых. Иван и Джулия собирали и ели их — жадно, пригоршнями, забыв о погоне и об опасности. Прошло немало времени, солнце передвинулось на другую сторону неба и в упор освещало долину с хвойными перелесками и изрезанный извилинами расселин Медвежий хребет.

Обливаясь пóтом, Иван ползал на коленях, раздвигая руками траву, когда услышал позади шаги Джулии. Он оглянулся и, вытирая лоб, сел на землю. Пряча в живых глазах лукавую усмешку, девушка быстро подошла

к нему, опустилась на колени и развернула уголок своей куртки. На измазанной земляничным соком поле краснела рассыпчатая кучка ягод.

— Битте, руссо Иван, — нарочито жеманно предложила она.

— Ну зачем? Я уже наелся!

— Но, но. Эссен! Эссен!

Захватив в горсть ягод, она почти силой заставила его съесть их. Потом съела немного сама и снова поднесла горсть к его рту. Ягоды из ее рук имели почему-то совсем другой вкус, чем съеденные по одной. Он вобрал их в рот губами и шутливо прихватил зубами теплую душистую кожицу ее ладони.

Джулия озорно пригрозила:

— Но, но!

Остатки они доели сообща. Встав с травы, Иван поднял лежавшую в маках тужурку.

— Айда?

— Айда, — согласно подхватила она.

Довольные друг другом и как-то сблизившиеся, они пошли дальше. Джулия доверчиво положила руку на его плечо.

— Земляника — это хорошо, — сказал он, нарушая тихое, доброе, но почему-то неловкое молчание. — Я до войны не одно лето ею кормился. Земляника да молоко.

— О, руссо — веджитариано! — удивилась она. — Джулия но веджитариана. Джулия любиль бифштекс, спагетти, омлет.

— Макароны еще, — добавил он, и оба засмеялась.

— Я, я, макарони, — подтвердила она и задорно поддразнила: — А русско землянько?

— Бывает. Что ж поделаешь, когда голод прижмет, — невесело согласился Иван.

Джулия удивленно взглянула на него.

— Почему голяд? Почему голяд? Русланд как голяд? Руслянд само богато? Правда?

— Правда. Все правда.

— Почему голяд? Говори! — настаивала она, заметно встревоженная его словами.

Он помолчал, ступая по траве и нерешительно соображая, стоит ли говорить ей о том, что было. Но он уверовал уже в ее ласковое расположение к нему, потянулся к ней сам, и потому в нем начала пробуждаться давно уже не испытываемая потребность в откровенности.

— Случается, когда неурожай. В тридцать третьем, например. Траву ели...

— Вас траву?

— Какую траву? — он нагнулся и сорвал горсть травы. — Вот эту самую. Без цветов, конечно. С голоду отец умер.

Джулия удивленно остановилась, строгое ее лицо помрачнело. Испытующе-подозрительным взглядом она смотрела на Ивана, но ничего не сказала, только выпустила его руку и почему-то сразу замкнулась. Он, опечаленный невеселым воспоминанием, тихонько зашагал дальше.

Да, голодали, и не только в тридцать третьем. Спасала обычно картошка, но и ее не всегда хватало до новой. После смерти отца в семье осталось четверо детей. Иван старший. Он вынужден был растить с матерью ребят, кормить семью. Ой, как нелегко это досталось ему!

Он задумчиво шел, поглядывая вниз, где мелькали в траве сизые колодки на ее ногах и тихо шевелились, плыли на ходу две короткие тени. Джулия, однако, начала отставать, он почувствовал какую-то перемену в ее настроении, но не оглядывался.

— И Сибирь биль? Плёхой колхоз биль? — с каким-то вызовом в неожиданно похолодевших глазах заговорила девушка.

Почти в испуге он остановился и внимательно посмотрел на нее:

— Ты что? Кто тебе сказал?

— Один плёхой руссо сказаль. Ты хочешь сказаль. Я зналь!..

— Я?

— Ти! Говори!

— Ничего я не хочу. Что я тебе скажу?

— Ну, говори: Джулия но правда. Джулия ошибалась!

Он смотрел на девушку — лицо ее стало злым, глаза остро блестели, ее недавнее расположение к нему исчезло, и он напряженно старался понять причину этой ее перемены, так же как и смысл ее неприятных вопросов.

— Ну говори! Говори!

Видно, действительно она что-то уже услышала, возможно, в лагере, а может, еще в Риме. Но он теперь не мог ничего объяснить ей, он уже жалел, что упомянул про голод.

— Биль несправьядливост? — настойчиво спрашивала Джулия.

— Какая несправедливость? О чем ты говоришь?

— Люди Сибирь гналь?

— В Сибирь?

Он испытующе вгляделся в ее колючие глаза и понял, что надо или сказать правду, или что-то придумать. Однако лгать он не умел и, чтобы разом прекратить этот разговор, неласково буркнул:

— Когда раскулачивали — гнали.

Джулия с горечью закусила губы.

— Нон правда! — вдруг крикнула она и будто ударила его взглядом — столько в ее глазах было горечи, обиды и самой неприкрытой враждебности.

— Нон правда! Нон! Иван — Влясов!

Она вдруг громко всхлипнула, прикрыла руками лицо. Иван испуганно подался к девушке, но она остановила его категорическим гневным: «Нон!» — и побежала по склону в сторону. Он стоял, не зная, что делать, и лишь растерянно смотрел ей вслед. Мысли его вдруг спутались. Он почувствовал, что произошло что-то нелепое, недоговоренное и дурное, но как исправить это — не знал.

Джулия добежала до голого взлобка, взобралась на него и, скорчившись, подогнула колени. На него она даже и не взглянула.

«Ну и ну! «Власов»!» — ошеломленный, сказал себе Иван и, вздохнув, затоптался в траве. Казалось, он действительно совершил что-то плохое, опрометчиво разрушил с таким трудом налаженное и нужное ему согласие с ней — от сознания этого все в нем мучительно запыло, увяла недавняя тихая радость, на душе стало одиноко и горько.

Ну конечно, она что-то слышала о том, что происходило в его стране в те давние годы. Возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на самом деле, только как теперь объяснить Джулии все, чтобы она поняла и не злилась?

Перекидывая с плеча на плечо тужурку, Иван топтался на месте. Затылок и плечи его сильно обжигало солнце, а он, сколько ни думал, все не мог понять, что же между ними произошло и в чем тут его вина. Конечно, о голоде лучше бы промолчать, может, не надо было упоминать и о раскулачивании, хоть и неприятно это—

скрывать правду, но теперь, по-видимому, надо было это сделать. Очень уж обидно было лишиться ее доверия именно сейчас, после всего совместно пережитого. В то же время Иван подсознательно чувствовал, что дело тут было не в нем: в душе обоих рождалось нечто великое и важное, перед которым всякая расчетливость казалась унизительной.

Вот жди теперь неизвестно чего! Можно было представить себе, как восприняла бы Джулия его правду, высказанную без обиняков, могла ли она понять всю сложность того, что происходило в его стране?

Что и говорить, действительно положение его было более чем затруднительное.

Ну и пусть! Он не станет ей врать, скажет все как было, и, если у этой девушки чуткое сердце в груди, она поймет, что никакой он не власовец, и как должно отнесется к нему и к его достойной уважения истории. Это Иван вдруг понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее — будто решилось что-то, и осталось только дождаться результата.

18

Но дождаться у Ивана не хватило терпения.

Джулия, отвернувшись, сидела поодаль, задумчиво ковыряя землю, и он, помедлив, взял тужурку и тихонько побрел к ней. Услышав его шаги, она вздрогнула, бросила на него протестующий взгляд, быстро вскочила и побежала по склону дальше. Он неторопливо взобрался на голый пригорок и остановился. Надо было ждать, а может, и идти — он просто не знал, что делать. Девушка же отбежала немного и, не оглядываясь, укрылась за острым камнем, который словно огромный причудливый клык торчал из травы.

Тогда он бросил к ногам тужурку и лег на нее, решившись терпеливо ждать, что последует дальше.

Стало жарко. От нагретой солнцем известковой земли, поросшей жесткой, как сивец, травой, несло сухим пыльным зноем — совсем как от натопленной русской печи. Голые Ивановы плечи, спина изнывали от жары и пота. Вокруг в луговой траве мелькала и порхала в воздухе разноцветная мошкара. Изредка он поглядывал на камень, за которым спряталась Джулия, но та все не показывалась, и от истомы и духоты, от неопределенности

ожидания его начала одолевать дремота. Видно, ягоды или зной притупили чувство голода, зато захотелось пить. «Вот еще не было заботы!» — подумал Иван. Надо бы идти, как можно ближе подобраться к снежному хребту, отыскать там какой-нибудь переход, добыть провианту. В самом деле, более чем нелепо обернулось все в этом его довольно удачном побеге. Чтобы не дать дремоте одолеть себя, он начал долбить каменным осколком землю, откуда-то из травы перед ним появился большой, черный, с огромными клешнями жук; очевидно удивленный неожиданной встречей, жук остановился, вытаращил рачьи глаза и ждал, грозно шевеля длинными подвижными усами. От легкого прикосновения камешком жук, растопырив все свои шесть ножек, повалился на бок.

Иван занес было руку, чтобы щелчком отбросить прочь эту не очень приятную тварь, как вдруг услышал сзади шаги.

Он повернулся так резко, что человек, видимо, от неожиданности громко крикнул и с необыкновенной ловкостью отпрянул в сторону. Подкрался он совсем близко и теперь настороженно стоял в траве, умоляюще глядя на Ивана безумными глазами. Это был все тот же сумасшедший гефтлинг.

— Привет! — иронически улыбнувшись, сказал Иван. — Живем, значит?

Иван удивился, он никак не ожидал увидеть его тут, такого же дикого, загнанного, почерневшего от пота и грязи, с почти нечеловеческим выражением на иссохшем лице, в расстегнутой куртке и изодранных в клочья штанах. К тому же немец хромал, еле ступая на одну ногу. Но гляди ты, притащился, при таком состоянии просто завидным было его упрямство. Как привидение, он неотступно следовал за ними, неизвестно на что рассчитывая.

— Брот! — тихо, но с отчаянием в голосе произнес немец.

— Опять брот? — удивился Иван. — Ты что, на довольствии у нас?

Сумасшедший сделал несколько нерешительных шагов к Ивану:

— Брот!

— Ты же собирался в гестапо. К своему Гитлеру.

— Никс Гитлер! Гитлер капут.

— Капут? Давно бы так.

Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, терпеливо и настороженно ждал.

— Ладно, несчастный ты Фриц!

Иван запустил руку в тужурку и, не вынимая оттуда буханку, отломил маленькую корку хлеба. Увидев ее в руках у Ивана, немец оживился, глаза его заблестели, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах потянулись вперед:

— Брот, брот!

— Держи! И проваливай отсюда.

Иван бросил хлеб немцу, но тот не поймал его, опрометью бросился на землю, обеими руками схватил корку вместе с травой и песком и вскочил. Затем, трусливо оглядываясь, боком подался вниз по склону, все быстрее и быстрее семеня ногами, видно ожидая и боясь погони.

«Может, отвяжется теперь», — подумал Иван. То, что этот гефтлинг опередил их, было безопаснее, чем если бы он все время шел сзади. Иван задумчивым взглядом проводил его, пока тот не скрылся во впадине, и снова лег.

Вчерашний его гнев к этому человеку угас, хотя он не чувствовал к нему и жалости — слишком живы были в его памяти многочисленные образы людей, которых загубили немцы. Правда, он мог быть и антифашистом по убеждениям, доведенным до животного состояния жестокостью своих соотечественников, но мог оказаться и штрафником из нацистской шайки, которому не повезло где-то в его разбойничьей службе. В концлагере были и такие. За последний побег пленных и взрыв бомбы, например, их командофюрера Зандлера (если только он останется жив) тоже по голове не погладят, могут бросить за проволоку вместо тех, кого он не смог укараулить. Впрочем, его поставят командовать и еще облекут властью (вот тебе и гефтлинг!). И как был он собакой по отношению к людям, так ею и останется, разве что ненависть его к гефтлингам в силу личной неудачи еще усилится.

Фашисты многого достигли в своем энтмэншунге * — самом подлом из всех черных дел на земле. И если их звериную жестокость к инакомыслящим еще можно было понять, то их беспощадность к своим, тем, которые не

---

* Буквально — расчеловечение, растление, составная часть фашистской идеологии.

угодили в чем-либо начальству, просто была необъяснимой. Боязнь наказания свыше стала основным побудителем их действий: все жили под угрозой расправы, разжалования, отправки на фронт, репрессий к родственникам. И потому, должно быть, так безжалостно мстили за этот свой страх, кому это было дозволено — пленным, гефтлингам в концлагерях, оккупированным народам. И кажется странным, что на фронте немцы дрались неплохо. Может, потому, что страх наказания там приобретал двойной смысл, а выбор был небольшой: военно-полевой суд или советская пуля.

Но разве в этом было что-либо героическое? А ведь немцы явно бравировали своей храбростью, которую отказывался признавать Иван, тем более что никогда не считал себя лично ни героем, ни смельчаком даже.

Будь он решительнее, наверно, не дал бы себя взять в плен, что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверно, надо было прикончить себя... На миг в его памяти возник тот день и тот ножевой, закоптившийся от выстрелов штык, на который Иван наткнулся, рванувшись от танка. Помнились лишь штык и сапог с брезентовым ушком, торчащим из голенища, да еще рукоять гранаты. Затем все заглушила пронзившая боль в боку. Что-то кричал небритый, страшный от пыли немец, у ног лежало окровавленное тело Абдурахманова, рядом громыхал танк, и на секунду Иван потерял тогда самообладание. Эта секунда дорого обошлась ему, следы от нее в душе и на теле останутся навсегда.

В полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев. За прежние бои получил три бумажки с благодарностью от командования да две медали «За отвагу» и думал, что на большее не способен. И уже в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью, в нем как-то сами собой проявились дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть не самое худшее из всех бед на войне.

— Отдаль хляб? — вдруг раздался над ним голос Джулии.

От неожиданности Иван вздрогнул и, обрадованный, порывисто обернулся.

— Отдаль хляб? — с прежней напряженностью на

лице спрашивала Джулия. — Ми но идет Триесте? Аллес финита? Да?

— Ну что ты! — сказал он, улыбнувшись. — Только корку отдал.

Она нахмурила лоб и сосредоточенно уставилась на него. Тогда он вынул из кармана остаток буханки.

— Вот, только корку, понимаешь?

Преодолевая в себе какие-то сомнения, Джулия промолчала. Лоб ее постепенно разгладился.

— Мы идем Триесте? Правда? Но?

— Пойдем, конечно. Откуда ты взяла, что не пойдем?

На ее лице все еще отражалась внутренняя борьба. Девушка теребила на груди куртку, что-то решала про себя и вдруг опустилась рядом с ним на землю. Подняв колени, она облокотилась на них и прикрыла лицо руками. Он сидел рядом, готовый помочь ей, но она, по-видимому, пересилила себя и вскоре, встряхнув волосами, вскинула голову.

— Руссо! Ти кароши, кароши, руссо, — заговорила она и пожала ему руку. — Нон Власов. Буоно руссо. Джулия плёхо.

— Ну зачем так? — мягко возразил Иван. — Зачем? Не надо.

— Очэн, очэн, — не слушая его, говорила Джулия. Видно, что-то она поняла и теперь попросила: — Иван нон бёзе Джулия...

— Ничего, все хорошо.

Сидя на земле, он осторожно взял в руки ее маленькую шершавую ладошку. Девушка не отняла ее.

— Нон бёзе Иван, — сказала она и впервые взглянула ему в глаза. — Нон безё Джулия. Иван знай правда. Джулия но знат правда.

— Ладно, ладно... Ты это вот что...

— Джулия очэн, очэн уважат Иван, любит Иван, — сказала она. Его рука, державшая ладонь девушки, еле заметно дрогнула. Чтобы перевести разговор на другое, он сказал:

— Ты это... Пить не хочешь? Воды, а?

Она вздохнула и умолкла, глядя на него, затаив в глубине широко раскрытых глаз раскаяние и бездну тепла к нему.

— Вода? Аква?

— Да, воды, — отозвался он. — Вон там, кажется, ручей. Айда!

Он быстро вскочил, она тоже поднялась, обхватила его руку повыше локтя и щекой сиротливо прижалась к ней. Другой рукой он погладил ее волосы, но, почувствовав, как она внутренне напряглась, опустил руку.

Так они не спеша пошли к краю луга.

19

Ручей был неглубокий, но очень бурный — широкий поток ледяной воды бешено мчался, взбивая по камням желтую пену и бросая ее на влажный каменистый берег. На одном из поворотов он намыл в траве широкую полосу гальки, перейдя которую Иван и Джулия вдоволь напились из пригоршней, и девушка отошла к берегу. Иван закатал разорванные собакой штаны и забрался глубже в воду. Ступни заломило от стужи, стремительное течение могло сбить с ног, но ему захотелось умыться, так как пот разъедал лицо. Он потер свои колючие, заросшие щеки, намереваясь увидеть отражение в воде, но бурное течение не давало этого сделать. «Видно, зарос, как бродяга», — с неожиданным беспокойством подумал он и оглянулся на Джулию.

— Я страшный небритый? — спросил он девушку. Но та не отозвалась — неподвижно сидела в задумчивости, глядя в одну точку на берегу.

— Говорю, я страшный? Как старик, наверно?

Она встрепенулась, вслушалась, стараясь понять вопрос, и, увидев, что он теребит свои заросшие щеки, вдруг догадалась:

— Карашо, Иван. Очэн вундэршон.

Иван умывался и думал, что с ней что-то случилось — девушка явно чем-то встревожена, что-то переживает, такой сосредоточенной она не была даже в самые трудные часы побега. Вовсе не в ее характере была такая задумчивость. Значит, какую-то боль причинил ей он, Иван. Но он, наоборот, избавился от всех своих прежних тревог и на этом луговом раздолье просто отдыхал душой. Ему было хорошо с ней, хотелось рассеять ее тревогу, увидеть Джулию прежней — искренней, веселой, доверчивой. Должно быть, надо было приласкать ее, успокоить. Только Иван все не мог перешагнуть через какую-то грань между ними, хоть и желал этого. Что-то застенчиво-мальчишеское стремилось в нем к девушке, но он сдерживал себя, колебался, медлил.

Умывшись, он набрал в пригоршни воды и издали брызнул ею на Джулию — девушка вздрогнула, недоуменно взглянула на него и усмехнулась. Он тоже улыбнулся — непривычно, во все широкое, заросшее бородой лицо:

— Испугалась?

— Но.

— А чего задумалась?

— Так.

— Что это так?

— Так, — покорно сказала она. — Иван так, Джулия так.

Несмотря на какую-то тяжесть в душе, она охотно воспринимала его шутки и, щуря глаза, с улыбкой смотрела, как он, оставляя на гальке следы от мокрых ног, неторопливой походкой выходил на траву.

— Быстро ты наловчилась по-нашему, — сказал он, припоминая недавний их разговор. — Способная, видно, была в школе?

— О, я била вундеркинд, — шутливо сказала она и вдруг, всплеснув руками, ойкнула: — Санта мадонна — иль сангуэ!

— Что?

— Кров! Кров! Иль сангуэ!

Он нагнулся, по мокрой ноге от колена ползла узкая струйка крови — это открылась рана. Ничего страшного: до сих пор он не нашел времени осмотреть ее, но теперь, сев возле девушки, закатал штанину выше. Нога над коленом была сильно расцарапана собакой и, намокнув в воде, закровоточила. Джулия испуганно наклонилась к нему и, будто это была бог знает какая рана, заохала:

— О, Иванио! Иванио! Очэн болно! О мадонна! Где получаль такой боль?

— Да это собака, — смеясь сказал Иван. — Пока я ее душил, она и царапнула.

— Санта мадонна! Собака!

Ловкими подвижными пальцами она начала ощупывать его ногу, стирать свежие и уже засохшие пятна крови. Он откинулся на локтях, ощущая ласковость ее прикосновений; на душе у него было хорошо и покойно. Правда, рана кровоточила, края ее разошлись, и, хотя было не очень больно, ногу полагалось перевязать. Джулия приподнялась на коленях и приказала ему:

— Гляди нах гора. Нах гора...

Он понял, что надо было отвернуться, и послушно выполнил ее просьбу. Она тотчас же что-то разорвала на себе и, когда он снова повернулся к ней, уже держала в руках чистый белый лоскут.

— Медикаменто надо. Медикаменто, — сказала она, собираясь начать перевязку.

— Какой там медикамент? Заживет как на собаке.

— Нон. Такой боль очэн плёхо.

— Не боль — рана. По-русски это — рана.

— Рана, рана. Плёхо рана.

Он оглянулся и, увидев неподалеку серую бахрому похожей на подорожник травы, оторвал от нее несколько мелких листочков.

— Вот и медикамент. Мать всегда им лечила.

— Это? Это плантаго майор. Нон медикаменто, — сказала она и взяла из его рук листья. Он сразу же выхватил их обратно.

— Ну что ты! Это же подорожник, знаешь, как раны заживляет?

— Нон подорожник. Это плантаго майор по-латыни.

— А, по-латыни. А ты и латынь знаешь?

Она шевельнула бровями:

— Джулия мнёго, мнёго знай латини. Джулия изучаль батаник.

Он тоже когда-то знакомился с ботаникой, но уже ничего не помнил и теперь, больше полагаясь на народный обычай, приложил листки подорожника к распухшей ране. Девушка протестующе покачала головой, но все же начала бинтовать ногу. Впервые Иван почувствовал ее превосходство над собой. Бесспорно, образование у Джулии было куда выше, чем у него, и это увеличивало его уважение к ней. Однако Ивана не очень беспокоила рана, его больше интересовали цветы, названия которых были ему незнакомы. Потянувшись рукой в сторону, он сорвал стебелек, похожий на обычную луговую ромашку.

— А это как называется?

Проворно бинтуя лоскутком ногу, она бросила быстрый взгляд на цветок:

— Перетрум розеум.

— Ну, совсем не по-нашему! А по-нашему это ромашка.

Он сорвал другой — маленький, синий цветочек, напоминавший отцветший василек.

— А это?

— Это?.. Это примула аурикулата.

— А это?..

— Гентина пиренеика, — сказала она, взяв из его рук два небольших синеньких колокольчика на жестком стебельке.

— Все знаешь. Молодчина. Только вот по-латыни...

Джулия тем временем кое-как перевязала рану — сверху на повязке проступило коричневое пятно.

— Лежи надо. Тихо надо, — потребовала она.

Он с какой-то небрежной снисходительностью к ее заботам подчинился, вытянул ногу и лег на бок, лицом к девушке. Она поджала под себя колени и положила руку на его горячую от солнца голень.

— Кароши руссо, кароши, — говорила она, бережно поглаживая ногу.

— Хороший, говоришь, а не веришь. Власовцем обзывала! — вспоминая недавнюю размолвку, с упреком сказал Иван.

Она вздохнула и рассудительно сказала:

— Но влясовец. Джулия веришь Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимат правда.

Иван пристально посмотрел в ее строгие опечаленные глаза:

— А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?

— Лягер слушаль, — с готовностью ответила Джулия. — Влясовец говори: руссо кольхоз голяд, кольхоз плёхо.

Иван усмехнулся:

— Сам он подонок. Из кулаков, видно. Конечно, жили по-разному, не такой уж у нас рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но...

— Говорит, Иван, правда! Говорит! — настойчиво просила Джулия. Он сорвал под руками ромашку и вздохнул.

— Вот. Были неурожаи. Правда, разные и колхозы были. И земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни. Да еще болота. Конечно, всему свой черед: добрались бы и до земли. Болот уже вон сколько осушили. Тракторы в деревне появились. Машины разные.

Помощь немалая мужику. И работать начали дружно в колхозе. Вот война только помешала...

Джулия придвинулась к нему ближе.

— Иван говори Сибирь. Джулия думаль: Иван шутиль.

— Нет, почему же. Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные, вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось.

— Враги? Почему враги?

— За буржуев стояли. Коров колхозных сапом — болезнь такая — хотели заразить.

— Ой, ой! Какой плёхой челёвек!

— Вот-вот. Правда, может, и не все. Но по десять лет дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь. На исправление.

— Правда?

— Ну а как ты думала.

Лежа на боку, он сосредоточенно обрывал ромашку.

— Иван очэн любит свой страна? — после короткого молчания спросила Джулия. — Белоруссио? Сибирь? Свой кароши люди?

— Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас: хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картошке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед Опанас дрова привозил зимой. Пока я подрос. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие: наговорили на учителя нашего Анатолия Евгеньевича, ну его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядков. За народ болел. Ну и какой-то сукин сын донес, что он якобы против власти шел. Тоже десять лет получил.

— Почему нон защищать честно учител?

— Защищали. Писали всей деревней. Только...

Иван не договорил. Невольные эти воспоминания вызвали в нем невеселые раздумья, и он лежал, кусая зубами оборванный стебелек ромашки. Озабоченно-внимательная Джулия тихо гладила его забинтованное горячее колено.

— Все было. Старое ломали, перестраивали — нелегко это далось. С кровью. И все же нет ничего милее,

чем Родина. Трудное все забывается, помнится больше хорошее. Кажется, и небо там другое — ласковее, и трава мягче, хоть и без этих букетов. И земля лучше пахнет. Я вот думаю: пусть бы опять все воротилось, как-нибудь сладили бы со своими бедами, справедливее стали бы. Главное, чтоб без войны.

— Руссо феномено. Парадоксо. Удивительно, — горячо заговорила Джулия.

Иван, сплюнув стебелек, перебил ее:

— Что ж тут удивительного: борьба. В окружении буржуев жили. Армию крепили.

— О, Армата Росса побеждать! — восторженно согласилась Джулия.

— Ну вот. Видишь, силища какая — Россия! А после войны, если эту силу на хозяйство пустить, ого!..

— Джулия много слышаль Россия. Россия — само болшой сила. — Она помолчала и, будто что-то припомнив, грустно улыбнулась. — Джулия за этот мысли от фатэр, иль падре, отэц, убегаль. Рома отэц делай вернисаж — юбилей фирма. Биль много гост, биль официр СД. Официр биль Россия, официр говори: Россия плёхо, бедно, Россия нон култур. Джулия сказаль: это обман. Россия лючше Германи. Официр сказаль: фройлен — коммунисти? Джулия сказал: нон коммунисти — так правда. Иль падре ударяль Джулия, — она прикоснулась к щеке. — Пощечин это руссо говорит. Джулия убегаль вернисаж, убегаль Марио Наполи. Марио биль коммунисти. Джулия всегда думаль: руссо — карашо, Лягер Иван бежаль, Джулия Иванио бежаль. Руссо Иван — герой.

— Ну какой я герой! — возразил Иван. — Солдат просто.

— Но просто сольдат! Руссо сольдат — герой! Само смело! Само умно. Само... Само... — воодушевленно говорила она, подбирая знакомые русские слова. Во всем ее тоне чувствовалась глубокая вера в правоту идеи, которой она ни за что не хотела поступиться. — Ми видель ваш герой лягер. Ми слышаль ваш герой на Остфронт. Ми думаль: ваш фатэрлянд само сильно, само справьядливо...

— Он и есть самый справедливый, — заметил Иван. — Я вот на тракториста выучился, и бесплатно... Потом в техникум поступил. Механизации. А учителей сколько стало. Из тех же мужиков...

Нахмуренные до сих пор брови ее шевельнулись, и в глазах впервые после размолвки сверкнули смешинки:

— Удивително! Джулия любит руссо. Руссо неправилно, феноменално. Джулия всегда любит неправилно, феноменално. Иван феномено. Аномали. Руссо коммунисти Иван спасаль Русланд, спасаль буржуазно монархия Итальяно, спасаль Джулия...

— Во-первых, я не коммунист: не дорос. А во-вторых, что тут такого: весь Советский Союз спасает и Италию, и Францию, и Германию... Да мало ли кого. Хотя они и буржуазные. Ведь, кроме нас, кто бы Гитлера остановил?

— Си, си. Так...

С затаенной улыбкой на губах она погладила его ногу, потом голый бок. Иван смущенно поежился, ощущая непривычное прикосновение ее ласковых рук, как вдруг она, нагнувшись, коснулась губами его синего штыкового шрама на боку. Он вздрогнул, будто его пронзили в то же место второй раз, вскинул руку, чтоб защититься от ее неожиданной ласки, но она поймала его руку, прижала ее к земле и в каком-то безудержном порыве стала целовать его шрамы: осколочный — в плече, другой, пулевой, — выше локтя, от штыка в боку, спустилась ниже и осторожно поцеловала повязку. Ошеломленный ее порывом, Иван замер, к сердцу прихлынула волна нежности, а она все целовала и целовала. И тогда какая-то грань между ними оказалась такой узкой, что балансировать на ней стало невозможно. Не зная, хорошо это или плохо, но уже отдавшись во власть какой-то неведомой, захлестнувшей его волны, он встрепенулся, приподнялся на локте, другой рукой обхватил ее через плечо, слегка прижал и, закрыв глаза, дотронулся до ее удивительно горячих, упругих губ.

Потом сразу же откинулся спиной на траву, разметал руки и засмеялся, не решаясь открыть прижмуренные глаза. А когда открыл их, в солнечном ореоле растрепанных волос увидел склоненное ее лицо и полуоткрытый, сияющий, белозубый рот. В первую секунду она будто захлебнулась, кажется, хотела и не могла что-то сказать, только широко раскрыла глаза, в них были удивление, радость, неуемное счастье. Припав к его груди, она обхватила шею Ивана руками и зашептала ему в лицо горячо и преданно:

— Иванио!.. Амико!..

20

Что-то недосказанное, второстепенное, все время удерживающее их на расстоянии, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Мучительные вопросы, которые до сих пор волновали Джулию, видимо, были ею отделены от главного и отодвинуты на задний план. С этого момента для обоих остались лишь пряный аромат земли, маковый дурман луга и знойный блеск высокого ясного неба. Среди дремучей первозданности гор, в одном шагу от смерти родилось неизведанное, таинственное и властное, оно жило, жаждало, пугало и звало.

Лежа на траве, Иван гладил и гладил ее узкую, нагретую солнцем спину, девушка, припав к его груди, терлась горячей щекой о его рассеченное осколком плечо. Губы ее, не переставая, шептали что-то непонятное, но Иван понимал все. Счастливо смеясь, он будто застыл в какой-то невесомости; небо вверху пьянило, кружилось, земля, словно огромное кособокое блюдо, покачивалась из стороны в сторону, готовая вот-вот опрокинуться, и оттого было сладко, боязно и хмельно.

Время, казалось ему, остановилось, исчезла опасность. У самого лица его жарко горели ее большие черные глаза. В них теперь не было ни озабоченности, ни страдания, ни озорства — ничего, кроме властного в своем молчании зова; что-то похожее Иван чувствовал на краю бездны, которая всегда пугала и влекла одновременно. У него не было сил противостоять этому зову, да он и не знал, нужно ли сдерживаться. Он снова нащупал губами ее влажный рот, твердые зубы, привлек ее обеими руками и замер. Стало тихо-тихо, и в этой тишине величественно, как из небытия в вечность, лился, клокотал горный поток. Хотелось раствориться, исчезнуть в этих ее трепетных объятиях, унестись в вечность вместе с потоком, впитать из земли ее силу и самому преобразиться в земную мощь — щедрую, тихую, ласковую...

А земля все качалась, кружилось небо, сквозь полураскрытые веки он близко-близко видел нежную округлость ее щеки, покрытую золотившимся на солнце пушком; горячей розовостью сияла освещенная сзади тонкая раковина уха. Невольно он потянулся к маленькой мочке с едва заметным следом от серьги, тихо нащупал

ее зубами. Джулия упруго встрепенулась, взвизгнула. Он выпустил ухо и почувствовал под своими лопатками ее быстрые, тонкие руки.

По-видимому, разбуженный ее жалобным вскриком, в нем так же растерянно отозвался незнакомый, чужой тут голос — он заколебался, запротестовал, он чего-то опасался. Однако Иван старался не слушать, заглушить в себе этот протест, он не хотел ничего знать теперь. В его сознании бурлил, плескался, шумел горный ручей, во всю глубину гудела земля, трубным хором вторил ей настойчивый и властный порыв души...

И земля напоила его своими извечными соками, неуемной силой налилось тело. Он бережно обхватил девушку, и земля с небом поменялись местами. Теперь уже ничто не имело значения — в его руках была она. Она — загадочная и неведомая, потонувшая в ярком сиянии маков, притихшая, маленькая, ослабевшая и такая властная — над землей, над собой, над ним...

Где-то совсем близко под ними, казалось, в глубинных недрах земли, гудел, бурлил, рвался шальной поток, он звал, увлекал в свои непознанные дали. Джулия забилась в его руках, на широко раскрытых ее губах рождались и умирали слова — чужие, родные, такие понятные ему слова.

Но какое значение имели теперь слова!

И земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли согласно притихли, оставив в мире только их двоих.

21

Он проснулся, испугавшись при мысли, что уснул и дал исчезнуть чему-то необыкновенно большому и радостному. Приподняв голову, сразу же увидел Джулию и улыбнулся оттого, что испуг его оказался напрасным — ничто не исчезло, не пропало, даже не приснилось, как показалось вначале.

Впервые за много лет явь была счастливее самого радостного сна.

Джулия лежала ничком, уронив голову на вытянутую в траве руку, и спала. Дыхание ее, однако, не было ровным, как у сонных людей, — порой она замирала, будто прислушиваясь к чему-то, прерывисто вздыхала во сне.

Полураскрытые губы ее шевелились, обнажая влажные кончики зубов. Он подумал сначала, что она шепчет что-то, но слов не было, губы, видимо, только отражали ход ее сновидений и так же, как и щеки и брови, слегка вздрагивали. Все эти сонные переживания ее были преисполнены нежности, наверно, снилось ей что-то хорошее, и на губах время от времени проступала тихая, доверчивая улыбка.

Они долго пробыли на этом поле. Солнце сползло с небосклона и скрылось за потемневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядел торжественно сиявший днем луг. Даль густо обволакивалась туманом, белесая дымка подмыла далекие сизые хребты, без остатка затопила долину. Медвежий хребет уже потерял лесное подножие и, будто подтаявший, плавал в сером туманном море. Ярко сияли, отражая невидимое солнце, лишь самые высокие пики. Это был последний прощальный свет необычного и неожиданного, как награда, дня. Вдали, на тусклом небосклоне, уже зажглась и тихо горела одинокая печальная звездочка.

Он снова повернулся к Джулии. Надо было подниматься и идти, но она сладко спала, такая беспомощная, обессиленная, что он просто не посмел нарушить ее сон. Он начал жадно всматриваться в ее подвижное во сне лицо, будто впервые видел его. После всего, что между ними произошло, каждая ее улыбка во сне, каждая гримаска обретали свой особенный смысл. Хотелось смотреть на нее долго, пристально, стараясь проникнуть в тайну дорогой человеческой души. Он обнаружил в ней неожиданное — чистое и радостное — и, кажется, чуть не захлебнулся от своего первого в жизни опьянения. Теперь, правда, хмель несколько убавился, зато ощущение счастья усилилось, и он, не двигаясь, в совершеннейшем одиночестве, как на непостижимую тайну, смотрел и смотрел на нее — маленькое человеческое чудо, так поздно и счастливо открытое им в жизни.

А она все спала, приникнув к широкой груди земли. Слабо подрагивали ее тонкие ноздри, и маленькая божья коровка задумчиво ползла по ее рукаву. Поднявшись с полосатой складки на бугорок плеча, она расправила крылышки, чтобы взлететь, но не взлетела, поползла дальше. Иван осторожно сбросил козявку, бережным прикосновением поправил на шее девушки тесемку

с крестиком. Она не проснулась, только слегка перевела дыхание. Тогда он осторожно одернул на ее спине завернувшийся край куртки и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что она за два дня станет для него всем, пленит его душу в такое, казалось бы, неподходящее для этого время? Разве мог он предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, переплелось на этом свете! Неизвестно только, кто перемешал все это — люди или дьявол, иначе как бы случилось такое — в плену, в двух шагах от смерти, с чужой, незнакомой девушкой, явившейся из совершенно другого мира и так неожиданно оказавшейся самой дорогой и значительной из всех, кто когда-нибудь встречался на его пути.

И все же надо было идти дальше. «Не время отлеживаться, пора будить Джулию», — подумал он, но и сам прилег рядом с ней, сбоку, осторожно, чтоб не нарушить ее сна. Охваченный нежностью к девушке, он отвел от ее головы низко нависшие стебли мака, смахнул белого порхающего мотылька, намеревавшегося сесть на ее волосы. «Пускай еще немного поспит, — думал Иван, усаживаясь поудобнее на траве. — Еще немного — и надо будет идти. Идти вниз, в долину...»

Над затуманенной громадой гор в спокойном вечернем небе тихо догорал широкий Медвежий хребет. По крутым его склонам все выше ползла сизая тень ночи, и все меньше становилось розового блеска на зубцах-вершинах. Вскоре они и вовсе погасли, хребет сразу поник и осел; серыми сумерками окутались горы, и на светлом еще небе прорезались первые звезды. Однако Иван уже не видел их — он уснул с последней мыслью: надо вставать.

Разбудила его уже Джулия. Наверное, от холода она заворочалась, плотнее прижимаясь к нему, сонный Иван сразу почувствовал это и проснулся. Она обхватила его рукой и горячо зашептала незнакомые, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнял ее, и снова сомкнулись их губы...

Было уже совсем темно. Похолодало. Черными в полнеба горбами высились ближние горы, вверху ярко горели редкие звезды; ветер стих совсем — даже не шелестели маки, только, не умолкая, ровно шумел, клокотал рядом поток. Все травы этого луга ночью запахли так

сильно, что их аромат хмелем наполнял кровь. Земля, горы и небо дремали во тьме, а Иван, приподнявшись, склонился над девушкой и долго смотрел ей в лицо, какое-то другое теперь, не такое, как днем, — затаившееся, будто слегка настороженное. В больших ее глазах мерцали темные зрачки, а в их глубине блестело несколько звезд. По ее лицу блуждали неясные ночные тени. Руки ее и ночью не теряли своей трепетной нежности и все гладили, ласкали его плечи, шею, затылок.

— Джулия! — тихо позвал он, прижимая ее к себе.

Она покорно отозвалась — тихо, с лаской и преданностью:

— Иванио!

— Ты не сердишься на меня?

— Но, Иванио.

— А если я оставлю тебя?

— Но, амика. Иван но оставить. Иван — руссо. Кароши, мили руссо.

Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой она прижала его к себе и тихо засмеялась:

— Иван — марито! Нон синьор Дзангарини, нон Марио. Руссо Иван — марито.

Он удовлетворенно, даже с затаенной гордостью в душе спросил:

— А ты рада? Не пожалеешь, что Иван — марито?

Она вскинула пушистые ресницы, затененные его склоненной головой, и звезды в ее зрачках, дрогнув, запрыгали.

— Иван — кароши, кароши марито. Мы будем маленко-маленко филиё... Как это руссо, скажи?

— Ребенок?

— Но ребьёнок. Как это маленко руссо?

— А, сын, — слегка удивленный, догадался он.

— Да, син! Это карашо. Такой маленко-маленко, карашо син. Он будет Иван, да?

— Иван? Ну, можно и Иван, — согласился он и, взглянув поверх нее на черный массив хребта, вздохнул.

Она притихла, о чем-то думая. Оба на минуту умолкли. Каждый погрузился в свои мысли. А вокруг тихо лежали горы, скупо поблескивали редкие звезды, черной, непроглядной пеленой покрылся маковый луг.

Было тихо-тихо, только мерно бурлил поток, но он не нарушал тишины, и Ивану казалось, что во всем мире их только трое — они и поток. Последние ее слова постепенно согнали с его лица улыбку, исчезла шутливая легкость, он наткнулся на что-то трудное и серьезное в себе, впервые обнаружив еще одно осложнение в их и без того непростых отношениях. А Джулия, наоборот, что-то осмыслив, снова радостно встрепенулась и сжала его в объятиях:

— Иванио! Иванио, карашо! Как это карашо — филиё! Син! Маленки син!

Потом разняла руки, повернулась лицом вниз — звезды в ее зрачках исчезли, и лицо тускло засерело светлым пятном, на котором в глубоких тенях чуть заметно мерцали глаза. Короткое возбуждение ее внезапно сменилось тревогой.

— Иванио, а где ми будэт жить? — она немного подумала. — Но Рома. Рома отэц уф бёзе. Триесто?..

— Что наперед загадывать!.. — сказал он.

— О! — вдруг тихо воскликнула она. — Джулия знат. Ми будэт жить Белоруссио. Дэрэвня Тэрэшки, близко-близко два озера... Правда?

— Может быть, что ж...

Вдруг она что-то вспомнила и насторожилась:

— Тэрэшки кольхоз?

— Колхоз, Джулия. А что?

— Иванио, плёхо кольхоз?

— Ну что ты? Я же сказал... Хорошо. Война только помешала.

Большой своей пятерней он взъерошил ее жесткие густые волосы, она, уклонясь, высвободила голову и пригладила ее.

— Джулия растет большой кароши волёс. Большой волёс красиво, да?

— Да, — согласился он. — Красиво.

Она помолчала немного и потом, возвращаясь к прежнему разговору, сказала:

— Иван будэт лавораре фэрма, плантация. Джулия будэт... Как это? Виртин вилла *. Ми сделаем много-много маки. Как этот люг.

— Да, да, — задумчиво соглашался Иван. У него очень заломила нога, надо было поправить повязку, но

---

* Хозяйка виллы *(итал.)*.

он не хотел лишний раз беспокоить девушку. Он лишь выпрямил и свободнее положил ногу в траве, рассеянно слушая Джулию, которая все говорила и говорила рядом.

— Ми будэт много-много счастя... Я очэн хочу счастя. Должен бить человек счастя, правда, Иванио?

— Да, да...

Наверно, Джулию одолевал сон, голос ее становился все тише, мысли путались, и вскоре девушка умолкла. Он тихонько погладил ее плечо, подумал: надо дать ей отдохнуть, выспаться, все равно сколько уж осталось той ночи — первой и, пожалуй, последней ночи их счастья. А завтра идти. Только кто знает, что уготовило им это завтра?

Он долго смотрел в небо — один на один со вселенной, с сотней звезд, больших и едва заметных, с серебристой тропой Млечного Пути через все небо, — и тревожное беспокойство все настойчивее вторгалось в его душу.

За годы войны он совсем отвык от естественной человеческой потребности в счастье. Все его силы расходовались на то, чтобы как-нибудь выжить, не дать уничтожить себя. Конечно, придет время, человечество уничтожит фашизм, люди испытают великую радость братства, свободную, без границ и запретов любовь, только вряд ли суждено этого дождаться им с Джулией. Милая сердечная девушка, она в мечтах залетает так высоко, совсем не представляя, что уготовано им на пути в Триест. Вырвавшись из лагеря и познав любовь в этом удивительном мире цветов, она решила, что все страшное уже позади. О, если бы это было так! Но стоит немного подумать, и станет понятно, сколько еще испытаний впереди: оживленные автострады в долине, бурные горные реки, населенные пункты. А заставы, собаки... И вдобавок ко всему огромный, недоступный снежный хребет! Как перейти его им, раздетым, разутым, голодным?

Одно лишь то, что ожидало их в ближайшие дни, могло заставить задуматься каждого, будь он на их месте. А потом? Что их ждало потом, в случае, если бы тут все удалось, — об этом даже не хотелось думать. Не вовремя, ой как не вовремя сошлись они на этой тропинке и полюбили друг друга.

А почему? Почему человек не может иметь маленькой надежды на счастье, ради которого рождается на свет и к которому всю жизнь стремится? Почему бы и в самом деле не приехать ей в тихие его Терешки у двух голубых озер, если она хочет этого, если он любит ее, как, очевидно, не способен полюбить ни одну девушку в мире? И — он ясно понимал это — она была бы лучшей в мире женой.

Как чудесно было бы привезти эту черноглазую хохотушку в его деревню! Разве не полюбили бы ее деревенские люди и разве она осталась бы в долгу перед ними? Что из того, что они малограмотные и, может, даже не очень культурные, зато чистосердечные, добрые, участливые в беде и щедрые в радости — почему бы не полюбить таких?

Он не мог представить себе разлуку с ней. Только с ней, пока он будет жив, а там, черт его побери, хоть бы и смерть. Смерти он не боялся, мог побороться за себя, тем более теперь, когда надо бороться за жизнь двоих. Пусть попробуют взять ее от него. А она безмятежно спала на боку, поджав к животу колени. Он встал, осмотрелся и опять сел рядом с ней, хмурый и злой, наверное, оттого, что очень хотелось есть, а главное — болела нога. Голень, кажется, распухала. Сильно давила повязка. Иван немного ослабил ее, ощупал — нога пылала жаром, его начала пробирать дрожь. Пришлось взять из травы ненавистную полосатую куртку и закутаться, но теперь и она грела слабо. Через минуту, прислушиваясь к себе, Иван подумал: «Не хватало еще заболеть, что тогда будет? Нет, так нельзя! — подбадривал он себя. — Держись! Во что бы то ни стало держись!»

Но что-то уже изменилось в нем самом. Иван чувствовал это, и тревога, как вода в дырявую лодку, все больше просачивалась в его сознание. Хорошо, что Джулия ничего не подозревала и сладко спала в маках. Он тоже сел рядом, босые ноги засунул под полу тужурки, которой прикрыл ее, и стал всматриваться в ночь. Вскоре его начало клонить ко сну, одолевала усталость. Но рядом доверчиво спала она, и Иван должен был сидеть так, оберегая ее сон.

Уже на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени.

22

Притихшая, пока он спал, тревога внезапным толчком ударила в сердце. Иван сразу проснулся и в то же мгновение услышал близкий непонятный крик:

— Во бист ду, руссэ? Зи габэн брот! Зи габэн филе брот *.

Постепенно светало, хотя солнце еще не взошло; вокруг было неуютно и серо. На луг надвигалось облако, и гор не было видно. Косматые пряди тумана, цепляясь за поникшие росистые маки, ползли и ползли вдоль склона. Иван сорвал тужурку с ног Джулии, она вскочила, испуганно заговорила о чем-то, а он, стоя на коленях, пристально всматривался в ту сторону, откуда донесся этот крик. Вскоре Иван догадался, что это сумасшедший, но сразу же показалось — он не один, с ним люди. И действительно, не успел он в тумане что-либо увидеть, как послышался злобный приглушенный окрик:

— Хельтс мауль! **

Джулия поняла все и бросилась к Ивану. Вцепившись в рукав его куртки, она жадно всматривалась вниз, в серый туман, в котором мелькнули живые тени. Но Иван схватил ее за руку и, пригнувшись, бросился к ручью. В другой его руке была тужурка, колодки же остались в маках.

Молча они побежали вдоль ручья вверх.

Иван не выпускал из своей руки пальцев Джулии; девушка, растерянно оглядываясь, едва поспевала за ним. Он старался найти подходящее место, чтобы перебраться на ту сторону — там можно было укрыться в скалах и густых зарослях рододендрона. Но поток бешено мчался с гор, бросаться в его быстрину было бессмысленно.

«Хорошо, что облако! Хорошо, что облако!» — стучала в его голове утешительная мысль. Стремительные клочья тумана пока укрывали их. «Проклятый сумасшедший, почему я не убил его? Все они, сволочи, одного поля ягоды!» — в отчаянии думал Иван и безжалост-

---

* Где ты есть, русский? Они дадут хлеб! У них много хлеба *(нем.)*.

** Молчать! *(нем.)*.

но тащил вверх Джулию. Они уже миновали поворот потока, взобрались на обрывистый здесь берег, дальше было открытое место. Поток со страшной силой несся по камням, от намерения перейти на ту сторону, очевидно, надо было отказаться. Прежде чем выскочить на луговой росистый простор, Иван, тяжело дыша, упал на колени, обернулся — туман заметно редел, уже стали видны дальние камни в маках, голое пятно взлобка, где он вчера дожидался Джулию. И тут в тумане показалось несколько гитлеровцев — неширокой цепью рассыпавшись по лугу, они приближались к тому месту, где Иван с Джулией провели ночь.

Иван взглянул на Джулию — ее полусонное лицо отражало испуг и крайнюю усталость. «Хоть бы выдержала! Хотя бы она выдержала!» — страстно пожелал Иван. Теперь только ноги могли принести спасение, и, слегка отдышавшись, он снова схватил ее за руку. Она бежала с огромным напряжением, но не отставала от него.

Задыхаясь, они выбрались на верхний участок луга, ноги по колени намокли от росы. Однако с каждой минутой Иван все сильнее прихрамывал на правую ногу, которая странно отяжелела, будто стала чужой — сначала он так и подумал, что, задремав, отсидел ее. Но неподатливая вялость в ней не проходила, в сухожилиях под коленом сильно болело. Джулия вскоре заметила его хромоту и испуганно дернула Ивана за рукав.

— Иванио, нёга?

Он проволок ногу по траве, стараясь ступать как можно осторожнее, но ему это плохо удавалось. Тогда Джулия, оглянувшись, бросилась перед ним на колени и вцепилась в штанину, намереваясь осмотреть рану.

— Надо вязат, да? Я немножко вязат, да?

Он решительно отвел ее руки:

— Ничего не надо. Давай быстрей.

— Больно, да? Больно? — спрашивала она с тревогой в больших глазах, заботливо всматриваясь в него. Было заметно, как от усталости под полосатой курткой бешено билось сердце; высоко поднятые жесткие брови нервно подрагивали.

— Ничего, ничего...

Превозмогая боль, он торопливо заковылял дальше. Рука Джулии выскользнула из его пальцев, и он не

взял ее — девушка, поминутно оглядываясь, бежала следом.

— Иванио, амико, ми будет жит? Скажи, будет? — в отчаянии, от которого разрывалось сердце, спрашивала она. Иван взглянул на нее, не зная, что ответить, но в ее взгляде было столько мольбы и надежды, что он поспешил утешить:

— Будем, конечно. Быстрей только...

— Иванио, я бистро. Я бистро. Я карашо...

— Хорошо, хорошо...

Они уже добежали до верхней границы луга, тут где-то в камнях начиналась тропинка, по которой они пришли сюда ночью; в скалах, пожалуй, можно было бы укрыться. Но облако уже сползло с луга, стало светлее, туман на глазах редел, в разрывах его отчетливо видны были красные заросли маков, камни; эти разрывы все увеличивались. «Черт, неужели не вырвемся? Неужели увидят? Нет, этого не должно быть», — успокаивал себя Иван и поднимался все выше и выше. Имея уже некоторый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то вряд ли упустят.

Тропы, однако, не было, они взбирались по травянистому косогору. Хорошо еще, что подъем был не очень крутой, мешали только низкорослые заросли рододендрона, которые вконец искололи их ноги. Правда, чуть выше начинался густой хвойный стланик, в нем уже можно было укрыться. Джулия не отставала, напрасно он беспокоился об этом. Босая, с окровавленными ступнями, она пробиралась чуть впереди него, и, когда оглядывалась, он видел на ее лице такую решимость избежать беды, какой не замечал за все время их пути из лагеря. Теперь ей будто не мешали ни камни, ни усталость, ни колючки, ни скальные выступы. Словно тигрица, она яростно боролась за жизнь.

— Иванио! Скоро, скоро...

Она уже торопит его! Заметив это, Иван сжал зубы — кажется, его дела становились все хуже. Нога еще больше налилась тяжестью, распухла в колене, он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил — колено сделалось как бревно, затвердело и посинело. «Что за напасть, неужто заражение?»

А тут, как на беду, последние клочья облака про-

плыли мимо и полностью открыли взору край луга, ярко зардевший маками. И сразу из тумана появились одна, вторая, третья темные, как камни, фигуры немцев. Человек восемь их устало шли лугом, подминая цветы и настороженно оглядывая склоны гор.

Теперь уже можно было не скрываться...

Иван сел, бросив тужурку, рядом остановилась поникшая, растерянная Джулия — несколько секунд от усталости они не могли произнести ни слова и молча смотрели на своих преследователей. А те вдруг загалдели, кто-то, вскинув руку, указал на них, донесся зычный голос команды. Посреди цепи тащился человек в полосатом, руки его, кажется, были связаны за спиной, и двое конвоиров, когда он остановился, толкнули его в спину. Это был сумасшедший.

Немцы сразу оживились и с гиканьем кинулись вверх.

— Ну что ж, — сказал Иван. — Ты только не бойся. Не бойся. Пусть идут!

Чтобы не мешала тужурка, он надел ее в рукава и достал из кармана пистолет. Джулия застыла в молчании. Брови ее сомкнулись, на лицо легла тень упрямой решимости. Он взглянул на девушку, но страха в ее глазах не увидел. Она уже отдышалась, и от недавней тревоги в темных больших глазах осталась лишь печаль обреченности.

—Пошли! Пусть бегут — запарятся!

— Шиссен будет? — удивленно спросила Джулия, будто только теперь поняла, что им угрожает.

— Стрелять далеко. Пусть стреляют, если патронов много.

Действительно, немцы пока не стреляли, они только кричали свое «хальт!», но беглецы торопливо поднимались выше, к зарослям стланика. Оправившись от первого испуга, Джулия опять стала подвижной, быстрой, внимательной и, казалось, готовой ко всему.

— Пусть шиссен! Я не боялся. Пусть шиссен!

Непрестанно оглядываясь, она подбежала к Ивану и взяла его за руку. Он благодарно пожал ее холодные пальцы и не выпустил их.

— Иванио, эсэсман шиссен — ми шиссен! Мы нон лягер, да? Да?

Он озабоченно шевельнул бровью.

— Конечно. Ты только не бойся.

— Я не бойся. Руссо Иван не бойся — Джулия не бойся.

Он не боялся. Слишком много пережил он за годы войны, чтобы и теперь бояться. Как только немцы обнаружили их, он почувствовал странное облегчение и внутренне подобрался: в хитрости уже отпала надобность, теперь только бы дал бог силы. И еще, конечно, чтобы рядом оставалась Джулия. С этого момента начинался поединок в ловкости, меткости, быстроте — надо было удирать и беречь силы, не подпустить немцев на выстрел, пробиваться к облакам, с ночи неподвижно лежащим на вершинах гор, и там оторваться от преследователей. Иного выхода у них не было.

23

Наконец они добрались до стланика, но прятаться в нем не стали — в укрытии уже не было надобности. Осыпая ногами песок и щебень, хватаясь руками за колючие ветви, Джулия первой влезла на край крутой осыпи и остановилась. Иван, с усилием занося больную ногу, карабкался следом. На самом крутом месте, у верха обрыва, он просто не знал, как ступить, чтоб выбраться из-под кручи: так болела нога. Тогда девушка, став на колени, протянула ему свою тоненькую слабую руку. Он взглянул на синие прожилки вен на ее запястье и сделал еще одну попытку вылезти самому — разве она смогла бы вытащить его? Но Джулия что-то затараторила на странной смеси итальянских, немецких и русских слов, настойчиво подхватила его под мышку, поддержала, и он в конце концов взвалил на край обрыва свое отяжелевшее тело.

— Скоро, Иванио, скоро! Эсэс!

Действительно, немцы догоняли их: самые проворные уже перешли луг и карабкались по крутизне; остальные старались не отставать. Последним, со связанными за спиной руками, спотыкаясь, брел сумасшедший, которого подталкивал конвоир. Кто-то из передних, увидев беглецов возле стланика, закричал и выпустил очередь из автомата. Выстрелы протрещали в утреннем воздухе и, подхваченные эхом, гулко раскатились по далеким ущельям. Иван оглянулся — конечно, до немцев было далековато,

а когда снова шагнул вперед, чуть не наткнулся на Джулию, лежавшую на склоне.

— Ты что?

— Нон, нон! Нон эршиссен! — оглядываясь с радостным блеском в глазах, сказала она и вскочила. Лицо ее загорелось злым озорством. — Сволячи эсэс! — звонким, негодующим голосом закричала она на немцев. — Фарфлюхтер! Швайн!

— Ладно, брось ты! — сказал Иван. Надо было беречь силы. Что пользы дразнить этих сволочей? Но Джулия не хотела просто так умирать — злость и наболевшие обиды пересиливали всякое благоразумие.

— Гитлер капут! Гитлер кретино! Ну, шиссен, ну!

Немцы выпустили еще несколько очередей, но беглецы были намного выше преследователей, и в таком положении — Иван это знал — согласно законам баллистики попасть из автоматов было почти невозможно. Это почувствовала и Джулия — то, что вокруг не просвистело ни одной пули, вызвало у нее ликование.

— Ну, шиссен! Шиссен, ну! Фашисти! Бриганти! *

Она раскраснелась от бега и азарта, глаза ее горели злым черным огнем, короткие густые волосы трепетали на ветру. Видимо исчерпав весь запас бранных слов, она схватила из-под ног камень и, неумело размахнувшись, швырнула его. Подскакивая, он покатился далеко вниз.

От обрыва первым полез вверх Иван. Кое-как они карабкались вдоль стланика, подъем становился все круче. Черт бы их побрал, эти заросли. Хорошо, если бы они были там, внизу, где еще можно было укрыться от погони, а теперь они только мешали, кололись, цеплялись за одежду. Лезть же через них напрямик было просто страшно — так густо переплелись жесткие, как проволока, смоляные ветки. То и дело бросая тревожный взгляд вверх, Иван искал более удобного пути, но ничего лучшего тут не было. Вверху их ждал новый, еще более сыпучий обрыв, и он понял, что влезть на него они не смогут...

Джулия, однако, не видела и не понимала этого. Занятая перебранкой с немцами, она немного отстала и теперь торопливо догоняла его. Запыхавшись, он присел и вытянул на камнях больную ногу.

---

* Ну, стреляйте! Стреляйте, ну! Фашисты! Разбойники! *(итал.)*.

— Иванио, нёга? — испуганно крикнула она снизу. Он не ответил.

— Нёга? Дай нёга!

Он молча встал и снова посмотрел вверх, на обрыв; она тоже взглянула туда, осмотрела сыпучую стену и насторожилась.

— Иванио!

— Ладно. Пошли.

— Иванио!

Ее лицо передернулось будто от боли, она оглянулась — немцы быстро лезли по их следам.

— Иванио, морто будем! Нон Тэрэшки. Аллес нон?

— Давай быстрей! Быстрей, — не отвечая, строго прикрикнул Иван: иного выхода, как повернуть в стланик, у них не было. И он, закусив губу, сунулся в непролазную его чащу, которой чурались даже звери. Тотчас колючие иглы сотнями впились в ноги, но он, не обращая на них внимания, оберегал только колено; от боли и напряжения на лбу выступил холодный пот. Не очень остерегаясь колючек и камней, он яростно полез через стланик в обход кручи.

— Ой, ой! Ой! — с отчаянием восклицала Джулия и лезла за ним, то и дело цепляясь за колючки и падая. Иван не успокаивал ее и не торопил — он лишь посматривал на край обрыва, где вот-вот должны были показаться немцы.

Правда, на этот раз беглецам повезло: они добрались почти до верхней границы зарослей, когда внизу из-за кручи вылез первый эсэсовец. Теперь он уже был опасен, потому что разница в высоте между ними и немцами стала незначительной. Как только немец поднял голову, Иван торопливо прицелился из пистолета и выстрелил.

В горах прокатилось гулкое эхо.

Он, разумеется, не попал — было далеко, но немец из предосторожности шмыгнул под обрыв, и вслед за тем раздалась длинная автоматная очередь. «Тр-р-р-рт... р-р-р-т... р-т...» — все дальше относя ее, удлинили очередь горы. Когда эхо затихло, беглецы бросились дальше. Внезапный пистолетный выстрел испугал немцев, и на круче какое-то время никто не появлялся. Потом из-за обрыва показалась полосатая фигура — первой ее увидела Джулия.

— Иванио, гефтлинг!

Сумасшедший, широко расставляя ноги, влез на обрыв

и, шатаясь, закричал своим отвратительным сорванным голосом:

— Руссэ! Руссэ! Хальт! Варум ду гейст вэг? Зи волен брот габэн! *

— Цурюк! ** — крикнул Иван.

Сумасшедший испуганно пригнулся и попятился назад. Там на него — слышно было — закричали немцы, которые немного погодя почти все сразу, сколько их было, высыпали из-за обрыва.

Положение ухудшалось. До седловины, где кончался стланик, было рукой подать, но тут немцы могли уже достать их из автоматов. Надо было во что бы то ни стало задержать эсэсовцев и прорываться за седловину. Иван опустился на колено, сунул ствол пистолета в шаткую развилку стланика и выстрелил второй раз, затем третий. Потом, пригнувшись, затаился в низкорослых зарослях. В это время к нему подоспела Джулия:

— Иван, но патрон аллес! Но аллес! ***

Он понял, прикоснулся к ее худенькому плечу, желая тем самым успокоить девушку — два патрона он, конечно, оставит. Он ждал выстрелов в ответ, но немцы молчали, широкой цепью они тоже полезли в стланик. Тогда он вскочил и, пригибаясь, чтоб хоть немного прикрыться, заковылял вверх, к седловине над кручей.

Наверно, немцы все же допустили ошибку, когда, глядя на беглецов, тоже подались в стланик. Эти заросли не только задерживали движение, они мешали видеть противника, прицеливаться, и, пока эсэсовцы возились там, Иван с Джулией понемногу продвигались вверх. Ожидая выстрелов сзади, они наконец выскочили из стланика, задыхаясь, добежали до узенькой седловины и почти скатились по другой ее стороне. Отсюда Иван прежде всего окинул взглядом местность: с одной стороны под низко нависшими облаками поднимался такой же, как и сзади, крутой каменистый склон: прямо из-под ног уходил спуск в лощину, за которой начиналась новая невысокая горная складка. Там и сям над горами плыли белые, как овечьи стада, облака, а над ними сплошная завеса туч закрывала снежные вершины.

---

* Русский! Русский! Стой! Почему ты убегаешь? Они хотят дать тебе хлеба! *(нем.)*.

** Назад! *(нем.)*.

*** Иван, только не все патроны! Не все! *(нем.)*.

Едва они выбежали из седловины, Джулия, сложив на груди ладони, упала на колени, и губы ее быстро-быстро зашептали какие-то слова.

— Ты что? Быстрей! — крикнул он.

Она не ответила, прошептала еще несколько слов, и он, сильно хромая, побежал вниз. Она торопливо вскочила и быстро догнала его.

— Санта Мария поможет. Я просит очэн, очэн...

Он искренне удивился:

— Брось ты! Кто поможет!

Не зная, куда податься, и не в силах уже лезть вверх, они спустились наискосок по склону в лощину. Седловина с кручей пока еще защищала их от немцев. Бежать вниз было намного легче, тело, казалось, само неслось вперед, только от усталости подгибались колени. Иван все сильнее хромал. Джулия опережала его, но далеко не отбегала и часто оглядывалась. Очевидно, то, что они вырвались чуть не из-под самого носа немцев, вызвало у девушки неудержимый азарт. Задорно оглядываясь на Ивана, она лепетала с надеждой и радостью:

— Иванио, ми будет жит! Жит, Иванио! Я очэн хотель жит! Браво, вита! *

«Ой, рано, рано радоваться!» — думал Иван, оглядываясь на бегу, и тотчас увидел на седловине первого эсэсовца. Он с трудом вылез из-за камней, высокий, в подтянутых бриджах. Мундир на нем был расстегнут, и на груди белела рубашка. Нет, он не спешил стрелять, хотя они были и не очень далеко от него и намного ниже. С полминуты он смотрел на них, стоя на месте, а потом крикнул что-то остальным, наверно подходившим к нему сзади, и захохотал. Смеялся он долго, что-то кричал вдогонку беглецам. Потом, вместо того чтобы бежать за ними, сел на камень и снял с головы пилотку.

Джулия подскочила к Ивану и затормошила его:

— Иванио, Иванио, смотри. Он благородни тэдэско! Он пустиль нас! Пустиль... Смотри!

Иван не мог понять, почему они не стреляли и не преследовали, почему они оставили их и все остановились на седловине. Один из них отошел в сторону и, размахивая автоматом, закричал:

* Да здравствует жизнь *(итал.)*.

— Шнеллер! Шнеллер! Ляуф шнеллер! *

— Иванио, тэдэски пустиль нас! — на бегу с вдруг загоревшейся радостью лепетала Джулия. — Ми жит! Ми жит!

Иван молчал.

«Что за напасть? Что они надумали?» Все это действительно казалось ему странным. Но Иван был уверен, что это неспроста, что эсэсовцы не от доброты своей остановили погоню, они готовят что-то еще худшее.

Но что?

Иван с Джулией добежали до самого дна лощины, сквозь рододендрон продрались на другую ее сторону — невысокий, пологий склон-взлобок — и обессиленно поплелись наверх. Выветрившийся песчаник и колючки низкорослой травы вконец искололи их ноги, но теперь они не ощущали жесткости земли. Джулия то убегала вперед, то возвращалась, оглядываясь на немцев. Радость ее все возрастала по мере того, как они отходили от седловины. Однако унылый, обеспокоенный вид Ивана в конце концов не мог не обратить на себя ее внимания.

— Иванио, почему фурьёзо? Нёга, да? — обеспокоенно спросила она.

— Не нога...

— Почему? Ми будем жит, Иванио. Ми убегаль...

Кажется, он уже догадался, в чем было дело. Не отвечая ей, Иван торопливо ковылял по взлобку, который дальше круто загибался вниз. Он скрывал их от немцев, это было хорошо, но... Они выходили из-за пригорка, и тут Джулия, наверное также о чем-то догадавшись, вдруг остановилась. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух — внизу лежало мрачное ущелье, из которого, клубясь, полз к небу туман.

С вдруг похолодевшими сердцами они молча добежали до обрыва и отшатнулись — склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна нерастаявшего зимнего снега.

24

Джулия лежала на каменном карнизе в пяти шагах от обрыва и плакала. Он не успокаивал ее, не утешал — сидел рядом, опершись руками на замшелые камни, и ду-

* Быстрей! Быстрей! Удирай быстрей! *(нем.)*.

мал, что, наверное, все уже кончилось. Впереди и сбоку к ним подступал обрыв, с другой стороны начинался крутой скалистый подъем под самые облака, сзади, в седловине, сидели немцы. Получилась самая отменная западня — надо же было попасть в такую! Для Джулии это было слишком внезапно и мучительно после вдруг вспыхнувшей надежды спастись, и он теперь не уговаривал ее — не находил для этого слов.

Из пропасти несло промозглой сыростью, их разгоряченные тела начали быстро остывать; вокруг в скалах, словно в гигантских трубах, выл, гудел ветер, было облачно и мрачно. Но почему немцы не идут, не стреляют, столпились вверху на седловине — одни сидят, другие стоят, обступив полосатую фигуру безумного? Иван всмотрелся и понял: они развлекались. Раскуривая, тыкали в гефтлинга сигаретами — в лоб, в шею, в спину, — и гефтлинг со связанными руками вьюном вертелся между ними, плевался, брыкался, а они ржали, обжигая его сигаретами.

— Руссэ! Рэттэн! Руссэ! * — летел оттуда истошный крик сумасшедшего.

Иван насторожился — сволочи, что они еще выдумали там? Почему они такие безжалостно-бесчеловечные и к своим и к чужим — ко всем? Неужели это только от душевной низости, ради забавы?

Похоже было, немцы чего-то ждали, только чего? Возможно, какой-либо подмоги? Но теперь ничто уже не страшно. Теперь явная финита, как говорит Джулия. Четвертый его побег, видимо, станет последним. Жаль только вот это маленькое человеческое чудо — эту черноглазую говорунью, счастье с которой было таким хмельным и таким мимолетным. Хотя он и так был благодарен случаю, который послал ему эту девушку в самые последние и самые памятные часы его жизни. После всего, что случилось, как это ни странно, умирать рядом с ней было все же легче, чем в ненасытной печи крематория.

Джулия, кажется, выплакалась, плечи ее перестали вздрагивать, только изредка подергивались от холода. Он снял с себя тужурку и, потянувшись к девушке, бережно укрыл ее. Джулия встрепенулась, пересилила се-

* Русский! Спаси! Русский! *(нем.)*.

бя, села и запачканными, в ссадинах кулачками начала вытирать заплаканные глаза.

— Плёхо, Иванио. Ой, ой, плёхо!..

— Ничего, не бойся! Тут два патрона, — показал он на пистолет.

— Но счастья Джулия. Фина вита* Джулия, — в отчаянии говорила она.

Он неподвижно сидел на земле, неотрывно следя за немцами, и все внутри у него разрывалось от горя и беспомощности. Все-таки перед собственной совестью он чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Только что он мог сделать? Если бы хоть немного доступнее был обрыв, а то проклятый, нависший над бездной карниз, за ним еще один, а дна так и не видно в мрачном тумане, даже не прослушивался шум потока. Опять же нога, разве можно удержаться на такой крутизне? И вот все это, собравшись одно к одному, определило их неизбежный конец.

— Руссэ! Рэттэн! Рэттэн! Руссэ! — слабо доносился из седловины голос безумного.

Джулия, увидев на седловине немцев, привстала на колени и вскинула маленькие свои кулачки;

— Фашисти! Бриганти! Своляч! Нэйман зи унс! **

На седловине примолкли, затихли, и ветер вскоре донес оттуда приглушенный расстоянием голос:

— Эй, рус унд гурен! Ми вас будет убиваль!..

И вслед второй:

— Ком плен! Бросай холодна гора. Шпацирен горяча крематориум!..

Лицо Джулии снова загорелось яростной злостью.

— Нейм! Нейм! — махала она кулачками. — Ком нейм унс! Нун, габен зи ангст? ***

Немцы выслушали долетевшие до них сквозь ветер слова и один за другим начали выкрикивать непристойности. Джулия, злясь от невозможности ответить им в таком поединке, только кусала губы. Тогда Иван взял ее за плечи и прижал к себе. Девушка послушно припала к его груди в безысходном отчаянии, как дитя, заплакала.

— Ну не надо! Не надо. Ничего, — неловко успокаи-

---

* Конец жизни *(итал.)*.

** Берите нас! *(нем.)*.

*** Нате! Нате! Идите возьмите нас! Ну, боитесь? *(нем.)*.

вал он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния.

Джулия вскоре затихла, и он долго держал ее в своих объятиях, горько думая, как здорово все началось и как нелепо кончается. Наверно, он абсолютный неудачник, самый несчастный из всех людей — не смог воспользоваться такой благоприятной возможностью спастись. Голодай, Янушка и другие сделали бы это куда лучше — добрались бы уже до Триеста и били бы фашистов. А он вот завяз тут, в этих проклятых горах, да еще, как волка, дал загнать себя в западню. Видно, надо было, как и взялся, рвать ту бомбу — пусть бы бежали другие. А так вот... И еще погубил Джулию, которая поверила в тебя, побежала за тобой, полюбила... Оправдал ты ее надежды, нечего сказать!

Он прижимал к груди ее заплаканное лицо, неясно, сквозь собственную боль ощущая трепет ее рук на своих плечах. Это вместе с отчаянием по-прежнему вызывало в нем невысказанную нежность к ней.

Потом Джулия села рядом, поправила рукой растрепанные ветром волосы:

— Малё, малё волёс. Нон большой волёс. Никогда!

От горя он только стиснул зубы. Рассудок его никак не мог примириться с неотвратимостью гибели. Но что делать? Что?

— Иванио, — вдруг оживившись, воскликнула она. — Давай манджаре хляб. Ест хляб!

Она достала из кармана остатки хлеба и с неожиданно вспыхнувшей радостью в заплаканных глазах разломила его пополам:

— На, Иванио.

Он взял больший кусок, но на этот раз не стал делиться, уравнивать порции — теперь это не имело смысла. С наслаждением они проглотили хлеб — последний остаток своего запаса, который берегли до Медвежьего хребта. И тут Иван с новой остротой почувствовал неизбежность конца. Странно, но с этим куском вдруг исчезла последняя надежда выжить — съев его, они тем самым как бы подытожили все свои жизненные заботы, и теперь осталось только одно — прожить недолгие минуты и умереть. Ивана снова охватила тоска при мысли о напрасной трате стольких усилий и в такое время! Ребята на востоке уже освободили родную землю, вышли за границы Сою-

за, идут сюда, но он уже не встретит их, хотя так рвался навстречу...

Джулия бросала полные отчаяния взгляды на мрачные ущелья, то и дело посматривала на тех, вверху, что не уходили, сидели, караулили их тут.

— Иванио! Где ест бог? Где ест мадонна? Где ест справьядливость! Почему нон кара фашизм? — спрашивала она, в горе ломая тонкие смуглые руки.

— Есть справедливость! — точно очнувшись, крикнул он. — Будет им кара! Будет!

— Кто ест кара? Кто? Энглиш? Американ? Совет Унион?

— Конечно! Советский Союз. Он свернет хребты этим сволочам.

— Совет Унион?

— Ну конечно.

Джулия с внезапной надеждой в глазах устремилась к нему.

— Он карашо? Люче, люче все?

Иван не понял, спросил:

— Что?

— Россия карашо? Справьядливо? Блягородно? Иванио вчера говори правду, да?

И вдруг будто в новом свете и совершенно другими, чем прежде, глазами увидел он и ее, и себя, и далекую свою Родину — то, чем она была для него всю жизнь и чем могла быть.

— Да, — твердо сказал он. — Россия! — чудесная, хорошая, справедливая страна. Лучше ее нет! А что еще будет! После войны! Когда раздавим Гитлера! Вот увидишь... Эх, если бы хоть один день!..

В неудержимом порыве Иван сорвал с камня жесткую поросль мха. Захлестнутый бурной волной нестерпимо жгучей любви к далекой своей Отчизне, он больше ничего не мог сказать, чувствуя, что готов заплакать, чего никогда с ним не случалось. Джулия, видно, поняла это и ласково прикоснулась к его колену.

— Я знат, — почти сквозь слезы, но со светлой улыбкой произнесла она. — Я знат. Я верит тебе. Я думаль, немножко Иван говорит неправда. Я ошибалься...

Она как-то сразу приободрилась. Было холодно, из ущелья дул пронизывающий ветер, и она запахнула полы тужурки. Только красные, окровавленные ступни ее стыли на камне — прикрыть их было нечем. Вдруг она, буд-

то вспомнив о чем-то, привстав на колени, просто, без всякого перехода, запела:

Расцветали явини и гуши,
Попили туани над экой...

Иван удивился: уж очень неуместной показалась ему песня на краю этой могилы. Но, увидев, как застыли на седловине немцы, тоже стал подпевать.

Видно, песня удивила немцев, они что-то закричали. Иван не слышал этих выкриков, он проникся простенькой этой мелодией, которая внезапно вырвала их из состояния обреченности и унесла в иной, человечный и несказанно светлый мир.

Однако немцы недолго удивлялись их дерзости — вскоре кто-то из них сорвал автомат и выпустил очередь. На этот раз тут и там пули высекли на камнях стремительные дымки, которые сразу подхватил ветер. Иван дернул Джулию за полы тужурки, девушка неохотно пригнулась и спрятала голову за камень. «Стреляйте, сволочи, стреляйте! Пусть слышат! — подумал он, имея в виду лагерь, в котором всегда прислушивались к каждому выстрелу с гор. — Пусть знают: еще живы!»

Несколько минут они лежали за каменным барьером, пережидая, пока над ущельем громом отгрохочут очереди. Пули все же редко попадали сюда: немцы больше пугали, стараясь держать их в страхе и покорности. Потом автоматы умолкли. Далеко раскатилось эхо, и не успело оно заглохнуть, как откуда-то со стороны луга прорвались сквозь ветер новые, знакомые звуки. Вскинув голову, Джулия хотела что-то сказать, но Иван жестом остановил ее — они стали вслушиваться, напряженно глядя друг на друга. Несмотря на то, что рядом была Джулия, Иван зло выругался — за седловиной заливались лаем собаки.

Долго подавляемый гнев вдруг прорвался в Иване, он поднялся на широко расставленные ноги — разъяренный и страшный.

— Звери! — закричал он на немцев. — Звери! Сами боитесь! Помощников ведете! Все равно нас не взять вам! Вот! Поняли?

Конечно, они легко могли застрелить его, но не стреляли. Кажется, они старались понять, что прокричал им этот флюгпункт. От нервного возбуждения Иван весь трясся, его знобило — начинался жар. Он оглянулся —

вверху немного прояснилось, в разрыве облаков стали видны блестящие от утренних лучей просветы голубизны. Казалось, вот-вот должен был выплыть из туч Медвежий хребет, до которого они не дошли. Очень хотелось увидеть его и солнце, но их все не было, и оттого стало невыносимо горько.

Иван опустился на землю — то, что вот-вот должно было произойти, уже не интересовало его, он знал все наперед. Он даже не оглянулся, когда собаки появились на седловине. Овчарки шли все время по следу и были разъярены погоней. Джулия вдруг бросилась к Ивану, прижалась к нему и закрыла лицо руками:

— Нон собак! Нон собак! Иванио, шиссен! Скоро!.. Шиссен!

Гнев и первое потрясение, прорвавшиеся в нем, сразу исчезли, он снова стал спокойным. Убить себя было просто, куда страшнее то же самое сделать с Джулией, но он должен это сделать. Нельзя было позволить эсэсовцам взять их живыми и повесить в лагере — пусть волокут мертвых! Если уж не удалось вырваться на свободу, так надо досадить им хотя бы своей смертью.

В это время немцы пустили собак.

Одна, две, три, четыре, пять пегих, спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремились по склону; за ними бежали немцы. Поняв, что вот-вот они окажутся тут, Иван вскочил, схватил за руку Джулию, та бросилась ему на шею и захлебнулась в плаче. Он чувствовал, что надо что-то сказать. Самое главное, самое важное осталось у него в сердце, но слова почему-то исчезли, а собаки с визгом неслись уже по лощине. Тогда он оторвал ее от себя, толкнул к обрыву — на самый край пропасти. Девушка не сопротивлялась, лишь слабо всхлипывала, будто задыхаясь, глаза ее стали огромными, но слез в них не было — стыл только страх и подавляемый страхом крик.

На обрыве он кинул взгляд в глубину ущелья — оно по-прежнему было мрачным, сырым и холодным; тумана, однако, там стало меньше, и в пропасти ярко забелели снежные пятна. Одно из них узким длинным языком поднималось вверх, и в сознании его вдруг сверкнула рискованная мысль-надежда. Боясь, что не успеет, он ничего так и не сказал Джулии, а опустил уже поднятый пистолет и толкнул девушку на самый край пропасти:

— Прыгай!

Джулия испуганно отшатнулась. Он еще раз крикнул: «Прыгай на снег!» — но она снова всем телом качнулась назад и закрыла руками лицо.

Собаки тем временем выскочили на взлобок. Иван почувствовал это по их лаю, который громко раздался за самой спиной. Тогда он сунул в зубы пистолет и подскочил к девушке. С внезапной яростной силой он схватил ее за воротник и штаны и, как показалось самому, бешено ногами вперед бросил в пропасть. В последнее мгновение успел увидеть, как распластанное в воздухе тело ее пролетело над обрывом, но попало ли оно на снег, он уже не заметил. Он только понял, что самому с больной ногой так прыгнуть не удастся.

Собаки бешено взвыли, увидев его тут, и Иван подался на два шага от обрыва. Впереди всех на него мчался широкогрудый поджарый волкодав с одним ухом — он перескочил через камни и взвился на дыбы уже совсем рядом. Иван не целился, но с неторопливым, почти нечеловеческим вниманием, на которое был еще способен, выстрелил в его раскрытую пасть и, не удержавшись сразу же в следующего. Одноухий с лету юзом пронесся мимо него в пропасть, а второй был не один — с ним рядом бежали еще два, и Иван не успел увидеть, попал он или нет.

Его недоумение оборвал бешеный удар в грудь, нестерпимая боль пронизала горло, на миг мелькнуло в глазах хмурое небо, и все навсегда погасло...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

«Здравствуйте, родные Ивана, здравствуйте, люди, знавшие Его, здравствуй, деревня Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии.

Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что незнакомая вам синьора знает вашего земляка, знает Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо.

Конечно, вы не забыли то страшное время в мире — черную ночь человечества, когда с отчаянием в сердцах тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом, — это давало им силы достойно

встретить финал и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения — столь относительной была их победа.

Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешка, с которым воля провидения свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с Ним последние три дня Его жизни — три огромных, как вечность, дня побега, любви и невообразимого счастья. Судьбе не угодно было дать мне разделить с Ним и смерть — рок или обычный нерастаявший сугроб снега на склоне горы не дали мне разбиться в пропасти. Потом меня подобрали добрые люди — отогрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг после моего падения в пропасть, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Иванио в живых уже не было — вверху под облаками утихал вой псов, и лишь эхо Его последних двух выстрелов, отдаляясь, грохотало в ущелье.

Постепенно я возвратилась к жизни. Она поначалу казалась мне лишенной всякого смысла без Него, и долгие месяцы моего одиночества были полны лишь теми скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним. Я могла бы описать вам, какой это был человек, но думаю, вы лучше меня знаете Его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с Ним, так же как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец, в воспитании сына Джиованни, которому уже восемнадцать лет и который готовится стать журналистом. (Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила ваш язык, но, конечно, не столь совершенно, как сын.) Еще в моей комнате висит карта Белоруссии — страны, так горячо любимой Иваном. Жаль, что у меня нет фото Ивана. Хоть бы какое-нибудь: детское, юношеское или еще лучше — солдатское...

Иногда, вспоминая Иванио, я содрогаюсь от мысли, что могла бы не встретиться с Ним, попасть в другой лагерь, не увидеть Его схватки с командофюрером, не побежать за Ним после страшного взрыва — пройти в жизни где-то мимо Него, не соприкоснуться с Ним. Но этого

не случилось, и теперь я говорю спасибо провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо случаю, сведшему меня с Ним.

Вот и все. Финита.

С благодарностью ко всем — родившим, воспитавшим и знавшим Человека, истинно русского по доброте и достойного восхищения в своем мужестве. Не забывайте Его!

Спасибо, спасибо за все.

Уважающая вас

Джулия Новелли из Рима».

1964 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛУБИНА И МОЩЬ ПРАВДЫ

Жизни и творчеству Василя Быкова посвящены следующие монографии:

И. Дедков. Василь Быков. Очерк творчества. М., «Советский писатель», 1980.
Л. Лазарев. Василь Быков. Очерк творчества. М., «Художественная литература», 1979.
В. Буран. Васіль Быкаў. Нарыс творчасці. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1976.

Кроме этих работ, творчеству писателя посвящены многие статьи, исследования, вышедшие на страницах газет и журналов:

С. Залыгин. Правда о войне и человеке. «Правда», 1984, 18 июня.
В. Карпов. Урок достоинства. «Известия», 1984, 17 июня.
М. Алексеев. Художник тонкий, совестливый. «Учительская газета», 1984, 21 июня.
А. Овчаренко. Пафос и главный герой книг Василя Быкова. «Дружба народов», 1983, № 11.
Г. Буравкин. По долгу и праву солдата. «Неман», 1980, № 1.
Ю. Бондарев. Человек. Война. Подвиг. «Литературная газета», 1973, 14 марта.

Неоднократно и сам писатель на страницах периодики рассказывал читателям об истории создания того или иного произведения, делился своими мыслями о путях развития военной прозы и актуальных задачах современной литературы, с напутственным словом обращался к молодым литераторам:

В. Быков. ...Мне открываются все новые страницы войны... «Литературная Россия», 1984, 22 июня.
В. Быков. Понять себя... «Дружба народов», 1984, № 6.
В. Быков. Помнить! Монолог о времени и о себе. «Литературная газета», 1984, 11 июня.
В. Быков. От имени моего поколения. «Советская культура», 1980, 21 марта.
Василь Быков. Великая академия — жизнь. «Вопросы литературы», 1975, № 1.

Эти выступления писателя, а также публицистические статьи входят в четвертый том Собрания сочинений.

ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК

Первое издание повести на белорусском языке в книге «Жураулiны крык». Аповесць i апавяданнi. Мiнск. Дзяржвыдат БССР, 1960 г. На русском — «Журавлиный крик». Повесть и рассказы. М., «Советский писатель», 1961.

ФРОНТОВАЯ СТРАНИЦА

Повесть впервые опубликована в журнале «Октябрь» № 9 за 1963 г. Первое издание — «Фронтовая страница». М., «Советский писатель», 1964.

ТРЕТЬЯ РАКЕТА

Впервые повесть опубликована в журнале «Дружба народов» № 2 за 1962 г. Первое издание на белорусском языке в книге «Здрада». Аповесцi. Мiнск. Дзяржвыдат БССР, 1962 г. На русском — в книге «Третья ракета». Повесть и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1963.

АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА

Впервые повесть опубликована в журнале «Огонек» № 12, 13, 14, 15, 16 за 1964 г. Первое издание на белорусском языке в книге «Альпiйская баллада». Мiнск. «Беларусь», 1964 г. На русском — в книге «Фронтовая страница». Повести. М., «Советский писатель», 1964.

СОДЕРЖАНИЕ

Быков В. В.

Б95 Собрание сочинений : В 4-х т. Т. 1. Повести. Пер с белорус. / Вступ. ст. Д. Бугаева; Худож. Ю. Боярский. — М. : Мол. гвардия, 1985. — 414 с.

В пер.: 1 р. 80 к. 100 000 экз.

В первый том вошли повести, написанные в раннем периоде творческого пути прозаика, — «Журавлиный крик», «Фронтовая страница», «Третья ракета», «Альпийская баллада». Эти произведения посвящены теме героической борьбы советского народа против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Б $\frac{4702120200-196}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985.

ББК 84Бел7
С(Бел)2

ИБ № 4243

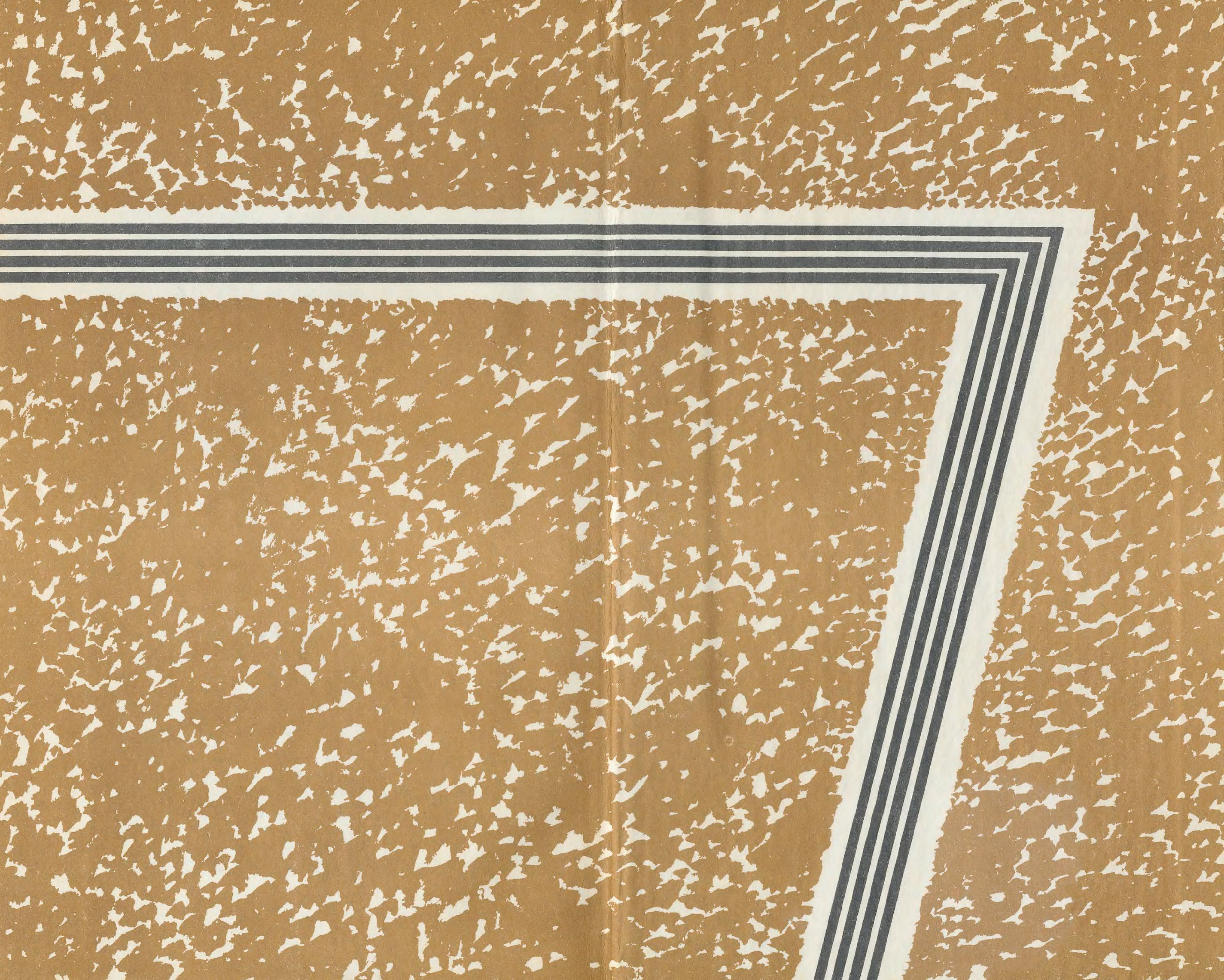
Василий Владимирович Быков

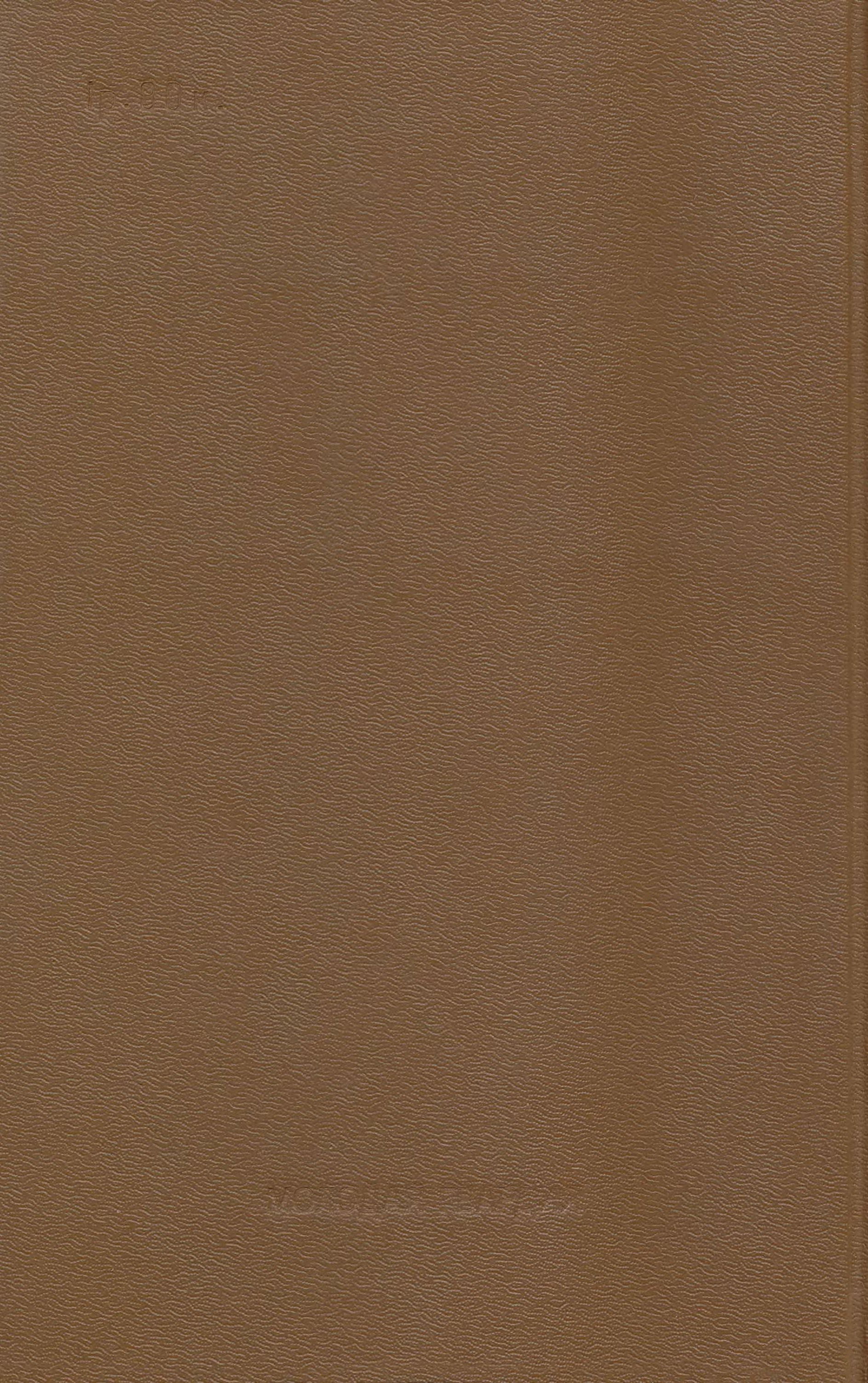
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. I.

Редактор
В. Пелихов
Художник
Ю. Боярский
Художественный редактор
А. Романова
Технический редактор
Н. Носова
Корректор
В. Назарова

Сдано в набор 22.11.84. Подписано в печать 18.04.85. А002233. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84+ +0,10 вкл. Усл. кр.-отт. 22,34. Учетно-изд. л. 23,2. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 80 к. Зак. 2001.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.




Ц. 90 к.